

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. В. В. ВИНОГРАДОВА

РУССКИЙ ЯЗЫК

В НАУЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ

№ 1
(13)



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Москва
2007

ОГЛАВЛЕНИЕ

Исследования

<i>В. М. Живов.</i> Язык и стиль А. П. Сумарокова.....	7
<i>Ф. Минлос.</i> Повтор предлогов в Новгородской первой летописи	52
<i>А. А. Пичхадзе.</i> О функционировании греческих книжных заимствований в древнерусском языке	73
<i>А. В. Сахарова.</i> К вопросу о прагматических критериях распределения предикаций на причастные и финитные в древнерусской летописи	85
<i>А. Родионова.</i> Форма <i>въшеть</i> в Рогожском летописце: образование, значение, употребление.....	114
<i>С. М. Шамин.</i> Слово «куранты» в русском языке XVII — начала XVIII в.	119
<i>М. Бобрик.</i> Полу-Ё. Из наблюдений над забытым памятником русского языка первой трети XIX века	153
<i>Т. В. Попова.</i> «Восточнославянские изоглоссы»: Некоторые итоги работы над темой.....	189
<i>С. В. Князев, Е. В. Шаульский.</i> Генезис диссимилятивного аканья (в связи с проблемой фонологизации фонетических явлений)	210
<i>О. В. Антонова.</i> О рефлексах старомосковского произношения в современной звучащей речи	225
<i>Т. Б. Радбиль.</i> Аномалии в сфере языковой концептуализации мира	239

Полемика

<i>М. Н. Шевелева.</i> Еще раз о написаниях типа ТРОТ (на месте рефлексов праславянских сочетаний гласных с плавными) в рукописях XIII—XVI вв.	266
--	-----

Информационно-хроникальные материалы

II Международная конференция «Актуальные проблемы русской диалектологии» (Е. В. Колесникова, Д. М. Савинов).....	283
Хроника научной конференции «Семантика языковых единиц разных уровней» (А. Н. Еремин).....	289
Хроника научной конференции «Скрытые смыслы в языке и коммуникации» (Е. Н. Чиркова).....	291
Отчет о диалектологических экспедициях Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН 2006 года (О. Г. Ровнова).....	297

Рецензии

М. А. Грачев. Словарь современного молодежного жаргона. М.: Эксмо, 2006. 672 с. (Школьные словари) (В. В. Шаповал).....	306
В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян, Е. Э. Бабаева, О. Ю. Богуславская, Б. Л. Иомдин, Т. В. Крылова, И. Б. Левонтина, А. В. Санников, Е. В. Урысон. Языковая картина мира и системная лексикография / Отв. ред. Ю. Д. Апресян. М.: Языки славянских культур, 2006. 912 с. (Л. П. Крысин).....	314

Обзоры

А. К. Матвеев. Ономатология. М.: Наука, 2006. 292 с.	317
Типографский устав: Устав с Кондакарем конца XI — начала XII века / Под ред. Б. А. Успенского. Т. 1—3. М.: Языки славянских культур, 2006.....	318
Helmut Keipert. Das «Sprache»-Kapitel in August Ludwig Schlözers «Nestor» und die Grundlegung der historisch-vergleichended Methode für die slavische Sprachwissenschaft. Mit einem Anhang: Josef Dobrovskýs «Slavin»-Artikel «Über die altslawonische Sprache nach Schlözer» und dessen russische Übersetzung von Aleksandr Chr. Vostokov. Hrsg. von H. Keipert in Verbindung mit Michail Šmil'evič Fajnštejn. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. 137 S. [Anhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-historische Klasse, Dritte Folge. Bd. 276].....	320
А. И. Соболевский. Труды по истории русского языка. Т. 2: Статьи и рецензии / Сост., подгот. текста, предисл., коммент. и указатели В. Б. Крысько. М.: Языки славянских культур, 2006. 688 с. [Классики отечественной филологии].....	321
А. П. Майоров. Очерки лексики региональной деловой письменности XVIII века. М.: Азбуковник, 2006. 262 с.....	322

Жития Павла Обнорского и Сергия Нуромского. Тексты и словоуказатель / Сост. И. В. Азарова, Е. Л. Алексеева, Л. А. Захарова, К. Н. Лемешев; Под ред. А. С. Герда. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2005. 331 с. [Памятники русской агиографической литературы].	323
В. М. Загребин. Исследования памятников южнославянской и древнерусской письменности. М.; СПб.: Альянс-архео, 2006. 304 с.	324

ИССЛЕДОВАНИЯ

В. М. ЖИВОВ

ЯЗЫК И СТИЛЬ А. П. СУМАРОКОВА *

В отличие от В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова, посвятивших лингвистическим проблемам обширные теоретические труды, А. П. Сумароков теорией почти не занимался, особенно в то время, когда Тредиаковский и Ломоносов были еще живы. Влияние Сумарокова на формирование русского литературного языка и его стилистических норм обусловлено не столько теоретическими разработками, сколько обширной и разнообразной литературной практикой. Как с современной точки зрения, так и по воззрениям, господствовавшим в XVIII в., литературная традиция, т. е. корпус образцовых в языковом и стилистическом отношении текстов, был одним из важнейших источников нормы литературного языка. Вклад Сумарокова в этот корпус был весьма значительным, по жанровому разнообразию и литературно-дидактической роли он, несомненно, перевешивал литературную продукцию других отцов-основателей новой русской литературы (Ломоносова и Тредиаковского). Как отмечает Амвросий Серебрянников в своей «Оратории российской», описывая корпус образцовых текстов русского литературного языка нового типа и имея в виду прежде всего произведения высокого стиля, «надлежит учиться из чтения древних и новых книг Писателей, каковы суть С. Отцы Греческие, а особливо творцы канонов, Панигиристы; более же всего С. Писание в повествованиях, песнях, псалмах, пророчествах, нравоучениях; из Российских писателей Г. Ломон. в одах, Г. Сумароков в одах же и трагедиях...» [Амвросий Серебрянников 1778: 155].

Таким образом, даже для высокого стиля, наиболее значимого в теоретических построениях XVIII в., Сумароков выступает как образцовый автор наряду с Ломоносовым, причем и здесь жанровый диапазон его сочинений шире ломоносовского: наряду с сумароковскими одами упоминаются его трагедии. Стоит сразу же заметить, что сумароковские трагедии ста-

* Данная статья была написана десять лет назад для академического издания од и элегий Сумарокова; это издание до сих пор находится в печати. Решившись печатать свою работу отдельно, я, однако же, не ставил целью учесть всю появившуюся с тех пор литературу и пополнить библиографию, ограничившись лишь самыми необходимыми дополнениями.

вились, пользовались популярностью, вошли в литературный канон и существенно повлияли на все развитие русской драматургии, тогда как две трагедии Ломоносова в последующем литературном развитии никакой роли не сыграли; не оказали они влияния и на эволюцию литературной стилистики. В литературном каноне Ломоносов представлен исключительно своими одами (прежде всего торжественными), Сумароков — как одами, так и трагедиями, если иметь в виду словесность высокого стиля. Если же говорить о менее престижных — с точки зрения литературной теории, но не литературной практики — жанрах (послании и элегии, идиллии и эклоге, песне и комедии), то здесь превосходство Сумарокова очевидно, и его роль в формировании корпуса образцовых текстов не подлежит сомнению. В определенном смысле именно Сумароков создает новую русскую литературу. Во всяком случае, именно он в двух эпистолах 1748 г. описывает полную классицистическую систему жанров, а в последующем своем творчестве эту систему реализует, причем не в единичных образцах, как это делает Тредиаковский в «Новом и кратком способе» 1735 г. [Тредиаковский 1735], а в массовой продукции, раскрывающей допустимое для каждого из жанров тематическое и стилистическое многообразие.

Сумароков недолго пробыл образцовым автором, и уже к концу XVIII в. его авторитет ставится под сомнение, его сочинения постепенно теряют популярность, а созданные им образцы стиля перестают играть эту роль. Отчасти это связано со скоропреходящим характером русского классицизма. Отчасти — с общим динамизмом русского литературного процесса второй половины XVIII в.: хотя Державина, Дмитриева, Карамзина и Муравьева отделяло от отцов-основателей новой русской литературы всего три или четыре десятилетия, они ощущали себя авторами иной литературной эпохи, вкусы и литературные навыки которой не имеют прямого отношения к задачам, решавшимся Сумароковым. В 1812 г. и литературные установки, и язык Сумарокова резко критикует А. Ф. Мерзляков [Мерзляков 1812: 86, 100, 102—103], а еще через четыре года Пушкин писал:

Ты ль это, слабое дитя чужих уроков,
Завистливый гордец, холодный Сумароков,
Без силы, без огня, с посредственным умом,
Предрассуждениям обязанный венцом
И с Пинда сброшенный и проклятый Расином?
.....

Нет, в тихой Лете он потонет молчаливо,
Уж на челе его забвения печать,
Предбудущим векам что мог он передать?
Страшилась грация цинической свирели,
И персты грубые на лире костенели.
Пусть будет Мением в речах превознесен —
Явится Депрео, исчезнет Шапелен

[Пушкин 1994: 166].

Позднее Пушкин может говорить и о «варварском изнеженном языке» Сумарокова [Пушкин, VII: 149], осуждая тем самым не только его литературные, но и стилистические принципы. Такой характер рецепции сказался на всем последующем восприятии сумароковского творчества, включая сюда и научное изучение. Между тем сколь бы краток ни был период сумароковского учительства, оно имело место, и его значение для формирования русского литературного языка и его стилистической системы было ничуть не меньшим, чем у его соперников — Ломоносова и Тредиаковского.

1. Общие лингвистические установки

Хотя, как уже сказано, филологические труды Сумарокова не столь обширны, его языковые позиции могут быть реконструированы достаточно полно. Так же как литературные позиции Сумарокова, его языковые установки восходят к языковым программам французского классицистического пуризма, и так же как литературные позиции, они не воспроизводят французские программы буквально, а представляют собой их существенную трансформацию, которую можно было бы назвать неадекватным переводом (см. о механизме неадекватного перевода [Кляйн 1990]). Таким же неадекватным переводом вожелизма были и языковые концепции Тредиаковского и Ломоносова, причем во всех трех случаях характер трансформации был схожим и определялся в первую очередь радикальными отличиями языковой ситуации в России XVIII в. от французской языковой ситуации времен короля-солнца. Отсюда не следует, конечно, что сходство между концепциями Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова было лишь типологическим. Сумароков вступает на путь профессионального литератора позже, чем два его соперника, на первых порах находится с ними в тесном контакте и поддерживает скорее дружеские отношения, так что естественно думать, что хуже образованный и менее заинтересованный в ученых предметах Сумароков непосредственно усваивает взгляды своих старших коллег. Poleмика Сумарокова с Тредиаковским и Ломоносовым свидетельствует не о принципиальных концептуальных расхождениях между ними, а о возможности частных отличий в интерпретации отдельных пуристических требований; эти отличия к тому же актуализировались при полемической установке и могли никак не выражаться в особенностях языковой практики.

Несходство русской языковой ситуации с французской заключалось в следующих принципиальных моментах. Французский классицистический пуризм ставил норму литературного языка в зависимость от разговорного употребления социальной элиты (наиболее здоровой части двора, по словам К. Вожеля, определявшего употребление как «la façon de parler de la plus saine partie de la Cour» [Вожеля 1647: л. а1 об.]) и от литературной традиции, т. е. языка образцовых авторов. В русской ситуации оба эти принци-

пиальные ориентиры отсутствовали. Никакой нормализованной разговорной речью социальная элита не располагала, а литературная традиция, если подразумевать под ней *belles-lettres*, как во Франции, ограничивалась небольшим корпусом силлабического стихотворства да переводным или созданным по образцу переводного рыцарским романом; и то и другое в качестве литературной традиции русские авторы 1730—1740-х гг. радикально отрицали, вменяя соответствующие тексты в ничто. В силу этого критерии обработки литературного языка, взятые у французов, оказывались фиктивными и годились только для того, чтобы критиковать друг друга, а не для реального отбора и стилистической дифференциации языкового материала.

Опыт прямого перенесения теорий классицистического пуризма на русскую почву имел место в начале 1730-х гг., когда задача европейского устройства русского литературного языка нового типа впервые была осознанно поставлена. В. К. Тредиаковский писал о языке, «каковым мы меж собою говорим» [Тредиаковский 1730: предисл., л. 6 об.; III, 649], выдвигая тем самым в качестве первичного критерия разговорное употребление. О литературной традиции Тредиаковский в это время еще не упоминает, если не считать ссылки на «всех Спасского моста стихотворцев», которые, впрочем, по мнению Тредиаковского, «сказать да несолгать <...> не знают» [Там же: предисл., л. 7 об.; III, 650], т. е. могут служить лишь негативным примером, а отнюдь не образцом. Однако уже в 1734 г. некое подобие литературной традиции в теоретических рассуждениях Тредиаковского появляется. В «Рассуждении о оде во обще», говоря о стилистических особенностях оды («и благородство материи, и богатство украшения, и великолепие слова»), Тредиаковский указывает на славянскую Псалтырь как на известный русскому читателю образец: «Охотник Российский может приметить высоту слова, какова должна быть в Одах, в псалмах святого Пииты псалтирического, то есть блаженнаго Пророка и Царя Давида» [Тредиаковский 1734: л. 14 об.].

Здесь впервые в качестве литературной традиции — субститута образцовых авторов западноевропейских теорий — выступают «церковные книги», о пользе которых впоследствии пишут и Ломоносов, и Тредиаковский, и Сумароков. Понятно, что этот ориентир литературного языка никак не согласовался и даже вступал в прямое противоречие с другим критерием, усвоенным от тех же западноевропейских учителей, — с разговорным употреблением. Церковные книги были написаны по-церковнославянски, разговаривали в России по-русски. Два этих разнонаправленных ориентира и определяли последующее развитие теоретической мысли о русском языке. Поскольку разговорное употребление как декларированная концепция было в большой мере фикцией, а церковные книги существовали вполне осязаемым образом, именно этот последний ориентир делался основным и подчинял себе прочие постулаты лингвостилистической теории. Чтобы пользоваться этим ориентиром, церковнославянский и русский должны были рассматриваться как один язык, и именно это понимание утверждает у русских теоретиков в 1740-е гг.

У Третьяковского концепция единства русского и церковнославянского вырастает в тезис о единстве их «природы», что предполагает и взаимопонятность, и структурную общность, и общность большей части словаря. У Ломоносова в «Рассуждении о пользе книг церковных» «славенский» и «русский» выступают как стилистические регистры одного языка. Взгляды Сумарокова не имеют подобной теоретической законченности, однако сводятся к тому же общему представлению. В Эпистоле о русском языке 1748 г., говоря об источниках его «богатства» (изобилия), он пишет:

Имеем сверх того духовных много книг:
Кто винен в том, что ты псалтыри не постиг,
И бегучи по ней, как в быстром море судно,
С конца в конец раз сто промчался безразсудно.
Коль, АЩЕ, ТОЧИЮ, обычай истребил;
Кто нудит, чтоб ты их опять в язык вводил?
А что из старины поныне неотменно,
То, может быть тобой повсюду положенно.
Не мни, что наш язык, не тот, что в книгах чтем,
Которы мы с тобой, не Русскими зовем.
Он тотже, а когда б он был иной, как мыслиш,
Лиш только от того, что ты его не смыслиш;
Так чтож осталось бы при Русском языке?

[Сумароков 1748: 7]

Таким образом, хотя церковные книги (Псалтырь) могут называться «не Русскими», они написаны на том же языке, который Сумароков и его собеседники именуют русским. Взятые из этих книг слова могут свободно употребляться в литературном языке (исключение таких слов привело бы к его катастрофическому обеднению — «Так чтож осталось бы при Русском языке?»). Не должны употребляться лишь те церковнославянские слова, которые «обычай истребил», т. е. слова, ставшие архаизмами. «Обычай», который их истребил, являет собой, конечно, пуристический usage, однако понятие это предстает в радикально трансформированном виде — имеется в виду не разговорное употребление, а употребление письменное — употребление внутри литературной традиции; имею в виду всю ту совокупность неделовых текстов, которая была написана и напечатана в первой половине XVIII в., и прежде всего тексты переводные (об употреблении союзов *аще* и *точию* в текстах этого типа см. [Хютль-Фольтер 1996: 118, 128, 215—218]). При ином понимании «обычая» указание духовных книг в качестве особого источника теряло всякий смысл: если из церковных книг можно брать лишь то, что сохраняется в разговорном употреблении, это употребление оказывается самодостаточным источником, не нуждающимся в дополнении церковными книгами. В этом случае о церковных книгах не стоило и упоминать.

В трансформированном таким образом классицистическом пуризме реинтерпретации подвергается прежде всего понимание источников чистоты

и правильности языка. Происходит сдвиг от употребления как основного критерия, которое, по определению Вожеда, «tout le monde appelle le Roy, ou le Tyran, l'arbitre, ou le maistre des langues» [Вожеда 1647: л. а1 об.], к множественному определению источников чистоты и правильности, когда в их числе наряду с употреблением фигурируют грамматика (грамматические правила) и литературная традиция. Нельзя сказать, что у французских теоретиков литературная традиция и грамматические правила не играли никакой роли¹, однако у их русских последователей имеет место смещение акцентов: если у французов два последних источника отодвинуты сравнительно с употреблением на второй план, то у русских именно они выдвигаются на авансцену, тогда как употребление определяется нечетко и неконкретно, так что не всегда ясно, идет ли речь о разговорном употреблении или употреблении письменном, об узусе социальной элиты или об узусе ученых филологов, которые в своей разговорной речи соблюдают традиции и грамматические установления.

Такая реинтерпретация пуристических критериев происходит и у Ломоносова, и у Тредиаковского. Так, например, Ломоносов в «Риторике» 1748 г. ставит чистоту «штиля» в зависимость «от основательного знания языка, от частаго чтения хороших книг, и от обхождения с людьми, которые говорят чисто. В первом способствует прилежное изучение правил грамматических, во втором выбирать из книг хороших речений, пословиц и поговорок; в третьем старание о чистом выговоре при людях, которые красоту языка знают и наблюдают. Что до чтения книг надлежит, то перед прочими советую держаться книг церковных...» [Ломоносов, III: 219; VII²: 236—237]. «Основательное знание языка» подразумевает грамматику, в качестве литературной традиции выступают церковные книги, а употребление оказывается речью людей, «которые красоту языка знают и наблюда-

¹ При всем влиянии Вожеда уже с конца XVII в. начинаются попытки создать концепцию, в которой употребление уживалось бы с разумом, т. е. концепцию, совмещающую вожедаизм с картезианскими идеями (идеями Пор-Руаяля — ср. [Капю, I: 245]). Эти попытки, нашедшие наиболее яркое выражение в «Риторике» Б. Лами [Лами 1737], оказали несомненное влияние и на Роллена, и на Готтшеда, и на ряд других авторов (например, на Тома и Гримаре), с которыми так или иначе были знакомы русские филологи. Основным для возникавшего таким образом рационалистического пуризма было понятие разумного употребления. В этом плане переосмысливается идея двух употреблений в языке — хорошего и дурного. Если у Вожеда хорошее употребление принадлежало двору, а дурное — черни (социолингвистический критерий), то в рационалистическом пуризме хорошее употребление — это употребление «разумных», ученых, знающих грамматику (как дань традиции сюда могут зачисляться и придворные), дурное же — употребление невежд (той же черни, но в ином модусе). Поэтому очищение языка связывается с правилами, грамматической традицией, рациональным началом в языке. Иррационализм Вожеда может подвергаться критике, а просвещение связывается с грамматической нормализацией и установлением правил (ср. [Капю, II: 20]).

ют», т. е. ученых филологов, что лишь повторяет апелляцию к грамматике (но вместе с тем позволяет по видимости не отступить от европейских образцов).

Подобное же определение источников чистоты и правильности языка можно найти и у Сумарокова, и это указывает на общность его теоретических воззрений с концепциями его литературных противников. Критикуя встречающиеся у Ломоносова формы прилагательных им.-вин. ед. м. р. типа *бывшей* (вместо *бывший*), Сумароков в статье «К несмысленным рифмоторцам» пишет: «А то еще и страннее, что многия правилу сему, ни на естестве языка, ни на древних книгах, ни на употреблении основанному, следуют» [Сумароков, IX: 279]; то же и в позднейшей статье «О правописании»: «...Сие нововведенное правило, не имеет основания, ни на свойстве языка, ни на древних книгах, ни на употреблении: а единственно на произволении г. Ломоносова» [Сумароков, X: 6]. Таким образом, наряду с употреблением в качестве источника правильности и чистоты выступают «естество языка», что практически означает грамматику, и «древние книги», т. е., надо думать, церковные книги, которые являются субститутами литературной традиции. Отличие от Ломоносова сводится в сущности лишь к формулировкам.

Сумароков, правда, может в отдельных случаях противопоставлять употребление и правила, но делает он это исключительно, когда полемизирует со своими оппонентами и защищает собственную языковую практику. Когда Третьяковский обвиняет его в нарушении правил, Сумароков оправдывается, ссылаясь на употребление. Так, например, по поводу написания существительных ср. рода на *-ие* через *-ье* Сумароков замечает: «Вольности *Паденье, Желанье, за Падение, Желание* и протч. называет он (Третьяковский. — В. Ж.) подлым употреблением. А то употребляют все, лутче бы он говорил, что то не правильно, а не в подлом употреблении» [Сумароков, X: 99]. Сумароков, однако, отнюдь не заявляет, что нужно следовать употреблению и пренебрегать правилами, но мелкие отступления от правил считает допустимыми в поэзии вольностями, порою создающими особую приятность стиха. Отвечая на другое возражение Третьяковского, Сумароков говорит: «А я употреблению с таким же следую рачением как и правилам: правильныя слова делают чистоту, а употребительныя слова из склада грубость выгоняют, на пример: Я люблю сего, а ты любишь другаго, есть правильно; но грубо. Я люблю етова, а ты другаго. — От употребления и от изгнания трех слогов *го* и *гаго* слышится приятня» [Там же: 97—98]. Сумароков не утверждает, что следовать надо употреблению, а не правилам, или, напротив, правилам, а не употреблению; он лишь обращает внимание на то, что в некоторых случаях разные ориентиры дают разный результат, и в этих (не особенно, впрочем, частых) случаях полагает, что выбор должен зависеть от вкусов и намерений автора.

Нет оснований считать, как это делал в свое время Б. А. Успенский, что «Сумароков в „Эпистоле о русском языке“ ориентирует русский литера-

турный язык на разговорное употребление... выступая при этом как противник славянизмов... Эта языковая программа соответствует взглядам, провозглашенным в свое время молодым Третьяковским, — последователем которого, в сущности, и является Сумароков» [Успенский 1984: 92] (ср., впрочем, иную точку зрения, высказанную позднее: [Гринберг, Успенский 1992: 195]). Сумароков, конечно, может сослаться на употребление, но то же самое делают и Ломоносов с Третьяковским (немолодым). Его высказывания, приведенные выше, равно как и его языковая практика никак не согласуются с радикальной установкой на употребление (типа декларированной молодым Третьяковским): литературный язык и у него, как и у его соперников, объединяет церковнославянские и русские образования, а специфические формы разговорного языка узакониваются не как нормативные, но как допустимые варианты и употребляются спорадически².

Как и у других авторов рассматриваемого периода, хорошее употребление понимается скорее как правильная, следующая норме речь, чем как узус определенной социальной группы (двора, элиты); соответственно и дурное употребление, которого следует избегать, представляется речью, нарушающей правила. Сумароков пользуется понятием «худова и просто-народного употребления» [Сумароков, X: 22], однако социальные параметры являются здесь данью европейскому филологическому дискурсу. Вряд ли правы поэтому М. С. Гринберг и Б. А. Успенский, полагая, что «дурное» или «подлое» употребление рассматривается Сумароковым «строго в социолингвистическом плане» [Гринберг, Успенский 1992: 209]. Во всяком случае, в своей поздней статье «О правописании» (1768—1771) Сумароков пишет о том, что неграмотные (не получившие грамматической вы-

² Говоря о протесте Сумарокова против славянизмов, Б. А. Успенский и ряд других исследователей приводят насмешки Сумарокова над Третьяковским в «Тресотиниусе» или полемические замечания в «Ответе на критику». Так, в «Тресотиниусе» педант Ксаксоксимениус (пародия на Третьяковского) говорит: «По-даждь ми перо, и абие положу знамение преславнаго моего имени, его же не всяк язык нареци может» [Сумароков, V: 322]. В «Ответе на критику» Сумароков упоминает «не употребительныя ныне слова *ижже, яже* и *еже*, которыя хорошо слышатся в церковных наших книгах, и очень будут дурны, не только в любовных, но и в геройских разговорах» [Сумароков, X: 98]. Речь здесь идет, однако, об элементах церковнославянского, которые ни Третьяковский, ни Ломоносов не употребляли. Они были такими же «обветшалыми», исключенными из нормы нового литературного языка формами, как *аще* и *точшо*, о которых Сумароков пишет в «Эпистоле о русском языке». Приписывая подобные формы Третьяковскому, Сумароков стремится изобразить его как педанта, вытаскивающего на поверхность никому не известные и никому не нужные слова. Такой прием откровенно полемичен и обусловлен конкретной полемической задачей. Никакого отношения к ориентации на употребление или к вопросу о допустимости «необветшалых» славянизмов, активно употреблявшихся как Третьяковским, так и Сумароковым, эти высказывания не имеют.

учки) авторы, насаждающие дурное употребление, пользуются успехом у «благороднейших читателей», т. е. у социальной элиты: «А инья пишут и стихотворствуют и ни где ни чему не обучаяся, и еще сим величаются, что они нигде и ни чему не училися и не только упражняются во сочинениях но и в высочайших родах стихи сочиняют: а что их сочинения гнусны; так етому ни они ни большая часть благороднейших читателей не верит: а они врут со славою. О невежество, что тебя почтенные, полезнее и легче на свете!» [Сумароков, X: 38]. Ясно, что хорошее употребление связывается, как и у Ломоносова и Тредиаковского, не с социальной принадлежностью носителей, а с их образованностью, так что и здесь позиции Сумарокова и его литературных противников не различаются.

Употребление у Сумарокова (как и у его современников) оказывается, таким образом, во многом фиктивным критерием. Он ссылается на него непоследовательно и несистематически, в основном для оправдания своих погрешностей в языке (которые он и сам признает погрешностями), и часто, как уже говорилось, остается неясным, что имеется в виду под употреблением, в частности, говорится ли об устном употреблении (основном понятии вожеластицкого пуризма) или об употреблении письменном (к которому вожеластицкий пуризм не обращается) (ср. [Гринберг, Успенский 1992: 209]). Поэтому существенно более важными для Сумарокова (и в этом случае в полном согласии с его литературными противниками) оказываются два других источника языковой чистоты — грамматические правила и литературная традиция. О важности грамматического учения и грамматических правил Сумароков пишет неоднократно, особенно в поздние годы, когда умер Ломоносов и сошел со сцены Тредиаковский, попрекавшие его недостаточной ученостью, и он стал ощущать и подавать себя как единственного практикующего мэтра (неслучайно он переиздает в это время две свои эпистолы 1748 г. с характерной переменной названия: «Наставление хотящим быти писателями» [Сумароков 1774а], ср. [Клейн 1993: 56—57]). Он говорит о том, что «невежи и безграмотные люди» портят язык [Сумароков, X: 46] и что он «испортится еще больше, когда Правописание и Грамматику за дело малонужное почитати не перестанут» [Там же: 20], что «наши многия писцы почти всегда грешат; ибо Грамматики не знают» [Там же: 22]; жалуется на то, что «в школах... Грамматике Российской не учат» [Там же: 37] и т. д.

Впрочем, и в более раннее время Сумароков восстает не против правил вообще, а лишь против излишней регламентации. Отсутствие правил, на его взгляд, обедняет выразительные возможности языка. Так, в статье «К типографским наборщикам» он говорит: «Что меньше правил, то легче языку научиться, а некоторые думают, что в легкости языка немалое состоит достоинство; однако тот Алмаз не дешевле, которой легче. Мне думается, что в умеренной тягости языка больше найти можно достоинства, по тому что от того больше разности, а где больше разности, там больше приятности и красоты, ежели разность не теряет согласия. Трудность языка к нау-

чению больше требует времени, но больше принесет и удовольствия» [Сумароков, VI: 310—311]. Характерно, что правила соотносятся у Сумарокова с тем свойством языка, которое он больше всего ценит, — с разнообразием. Отсутствие правил должно, видимо, привести, с его точки зрения (и здесь его взгляд вполне сходен с воззрениями Тредиаковского и Ломоносова), к «безразборному употреблению», наносящему ущерб средствам языковой выразительности.

Не меньшую значимость имеет для него литературная традиция. Его ссылки на древние книги уже приводились выше. Наряду с этим он говорит и об образцовых авторах. Вообще грамматика и литературная традиция выступают для него как равно важные факторы исправления языка. Он может писать, что «нашему прекрасному языку» грозит «всеконечное... разрушение, ежели паче чаяния сие гордое невежество многими летами продлится, и великими авторами и искусными Грамматистами не исторгнется» [Там же: 59]; и авторы, и грамматисты оказываются равно необходимыми устроителями языка. Впрочем, Сумароков может в некотором раздражении замечать, что «мы ни Грамматики не имеем, ни знания о Грамматике показанного естеством и употреблением, ни исправных авторов, а писателей, да и Пиитов излишно много» [Там же: 37]. Отсюда, однако, следует лишь утверждение авторитета самого Сумарокова как единственного исправного автора, на которого и должна ориентироваться формирующаяся в этот период норма; расплодившиеся же во множестве писатели и пииты этому образцу, по мнению обиженного Сумарокова, не следуют, что и приводит к неправильностям в их языке.

Именно с мыслью о своем собственном авторитете Сумароков в конце своей литературной карьеры может противопоставлять роль нормативной грамматики и образцовых авторов, отдавая предпочтение последним. Речь здесь идет не столько об общих принципах, сколько о том, кто именно — Ломоносов, создавший грамматику, или Сумароков, создавший литературу, — может претендовать на признательное ученичество потомков. При такой постановке вопроса ответ оказывается вполне предсказуем. Сумароков пишет: «Так на что же следовати Грамматике Г. Ломоносова? а Грамматика во всех народах есть во естестве: и всегда писатели весьма хорошия предшествовали Грамматике; ибо люди говорят и пишут не Грамматике следуя, но разуму основанному на естестве вещи: а Грамматика уставливается по народу и паче по авторам. Когда писал Гомер, тогда у Еллин еще не было написанной Грамматики, но сей Великий Пиит и отец Пиитов Грамматику знал» [Там же: 37]. В роли Гомера, знающего грамматику и своими творениями создающего основу для последующих грамматических трудов, Сумароков, естественно, видит себя. Он тем самым лишает Ломоносова главной роли в утверждении правил литературного русского языка и дискредитирует его грамматику как написанную преждевременно — до того как Гомер-Сумароков создал образцы, на которых она должна была бы основываться. Это, однако, лишь частности литературной борьбы, то-

гда как признание грамматики, образцовых авторов и нечетко определяемого употребления в качестве источников чистоты языка оказывается общим и для Сумарокова, и для Ломоносова, и для Тредиаковского.

Концепция источников правильности литературного языка непосредственно связана с пониманием состава входящих в него элементов и распределением их стилистических функций. Если в 1730-е гг. в качестве одной из основных задач совершенствования русского языка рассматривалось его обогащение, то со второй половины 1740-х гг. эта проблема перестает волновать российских авторов. Русский язык объявляется не только богатым, но даже особенно богатым, превосходящим в своем словесном изобилии другие европейские языки. Данное воззрение связано в конечном счете именно с тем, что в состав источников чистоты русского языка оказывается включенной литературная традиция, представленная церковными книгами. Пока церковнославянское языковое наследие считалось чуждым русскому языку, он был бедным; как только он оказался законным правопреемником церковнославянского, он сделался богатым, поскольку соединял в себе как церковнославянские, так и русские лексические запасы. О богатстве русского языка говорят и Тредиаковский, и Ломоносов, и нас не должно удивлять, что Сумароков им вторит. В Эпистоле о русском языке 1748 г. Сумароков пишет:

Возмем себе в пример словесных человек:
Такой нам надобен язык, как был у Греков,
Какой у Римлян был, и следуя в том им,
Как ныне говорит Италия и Рим,
Каков в прошедший век прекрасен стал Французской,
Иль на конец сказать, каков способен Русской.
Довольно наш язык в себе имеет слов...

[Сумароков 1748: 3]

Изобилие слов, как и вообще изобилие языкового материала, создает обширные возможности выбора, т. е. обуславливает многообразие лексических и грамматических вариантов. Это многообразие, в свой черед, требует упорядочения, которое может быть как формальным (основанным на формальных свойствах языковых элементов), так и стилистическим (апеллирующим к стилистическим характеристикам этих элементов). Многообразие выступает как данность, наведение в нем порядка — как насущная задача стилистической теории.

2. Стилистика и нормализация языка

Итак, узаконив церковнославянский компонент в составе русского литературного языка нового типа, русские авторы вплотную столкнулись с проблемой стилистической регламентации: соединенные в единую совокупность разнородные языковые средства сохраняли коннотации, отсы-

лающие к тем письменным традициям (церковнославянской книжной письменности, бытового языка и т. д.), из которых они были взяты. Нерегламентированное употребление всего этого разнообразия создавало, на взгляд усвоивших европейские представления авторов, стилистическую пестроту, и нужно было найти принципы, которые позволяли бы избежать прямого столкновения языковых элементов с противопоставленной стилистической нагрузкой. Третьяковский и Ломоносов пытаются решить эту задачу систематически, выделив у языковых элементов такие формальные свойства, которые позволили бы определить их стилистическую характеристику. Оба филолога обращаются при этом к происхождению языковых элементов, связывая высокую стилистическую окраску с генетической принадлежностью к церковнославянскому.

Такой подход давал, вообще говоря, не слишком хорошие результаты, поскольку однозначной соотнесенности стилистических и генетических характеристик не было и не могло быть. Формально, например, неполногласные основы должны были пониматься как «славенские» и, следовательно, «высокие», и такое определение было вполне уместно при наличии соотносительных пар типа *блато* — *болото*, однако последовательное приращение этого генетического принципа создавало явные неудобства. Лексема *время*, скажем, была такой же неполногласной, как и *блато*, следовательно, «славенской», а отсюда и «высокой»; между тем парная к ней основа *вермя* к XVIII в. давно вышла из употребления как в любой из разновидностей письменного языка, так и в языке разговорном. В силу этого *время* никакой стилистической окраски не имело. Трудно сказать, в какой мере Третьяковский и Ломоносов осознавали эти сложности, однако и у того и у другого теоретические декларации существенно расходились с языковой практикой, а общие положения иллюстрировались отдельными примерами, которые было бы достаточно сложно экстраполировать на весь подлежащий регламентации языковой материал.

Третьяковский рассуждает прежде всего о стилистической норме литературного языка в целом. Эта норма, на его взгляд, реализуется преимущественно в наиболее значимых («высоких») жанрах, таких как героическая поэма или духовная ода. Что же касается невысоких жанров (жанров, которые не относились к числу высоких в известных русским авторам риторических руководствах), Третьяковский в своих теоретических рассуждениях, как правило, обходит их стороной, полагая, видимо, что они не требуют автономной регламентации: регламентация в них просто характеризуется меньшей строгостью. «Ведомо; что во-французском языке, — пишет Третьяковский, — дружеский разговор есть правило красным сочинениям (*de la conversation à la tribune*), для того что у них нет другаго. Но у нас дружеский разговор есть употребление простонародное; а краснейшее сочинение есть иное изряднейшее употребление, отменное от простаго разговора, и подобное больше книжному Славенскому (...). Никто не пишет ни письма о домашнем деле, чтоб он не тшался его написать отменнее от простаго

разговора: так что сие всеобщим у нас правилом названо быть может, что-кто-ближе подходит писанием гражданским к Славенскому языку, или, кто-больше славенских обыкновенных и всем ведомых слов употребляет, тот у нас и не подло пишет, и есть лучший. Не дружеский разговор (la conversation) у нас правилом писания; но книжный церковный язык (la tribune) (...). Великое наше счастье в сем, пред многими Европейскими народами!» [Пекарский 1865: 109]. В языковой практике этот подход реализуется в снятии каких-либо ограничений на использование церковнославянского языкового материала — за исключением тех элементов, которые, по мнению Третьяковского, противоречили нормам гражданского языка (например, простые претериты, инфинитивы с безударным *-ти*); в эту славянизированную основу вкраплялись разнообразные элементы, которые, с точки зрения славянизированной нормы, характеризовались как «просторечные» (например, деепричастия на *-учи/-ючи*). Интенсивность использования элементов последнего рода соотносилась с жанром сочинения, однако четкие правила их употребления в зависимости от жанра отсутствовали. В частности, достаточно широкое употребление находят такого типа не книжные элементы в «Тилемахиде», создававшейся Третьяковским как образец героической поэмы (см. [Алексеев 1981: 81—86]).

Ломоносов стремится, оставаясь в рамках сходной общей концепции, устранить ту неопределенность, которую оставляет Третьяковский, установить не только общую связь между стилистическими и генетическими параметрами, но и построить на основе этой связи исчерпывающую классификацию. Именно такой классификацией и является ломоносовская теория трех штилей. В самом деле, он разделяет всю лексику на основании формальных генетических характеристик на три основных класса: слова «славенские», отсутствующие в русском языке, «славенороссийские», т. е. слова, общие церковнославянскому и русскому языкам, и «русские простонародные», т. е. русские слова, «которых нет в остатках Славенского языка, то есть в церковных книгах» [Ломоносов, IV: 227; VII²: 588]. Затем Ломоносов ставит в зависимость от этой классификации стилистические параметры, однако не напрямую, как это мыслит Третьяковский, говорящий о высоте или низкости отдельных слов, а через стилистическую принадлежность текста в целом: в высоких жанрах («высоком штиле») должны употребляться славенские и славенороссийские слова, в низких жанрах («низком штиле») — славенороссийские и русские слова, тогда как в средних жанрах («среднем штиле») могут быть употреблены и славенские, и славенороссийские, и русские слова [Там же: 227—228; 588—590]. Ломоносов приводит лексические примеры для каждого из рядов, однако не дает механизма, который позволил бы экстраполировать данную классификацию на всю лексику. Хотя формальная систематичность достигнута, построенная система плохо соотносится с языковой практикой, что проявляется, в частности, в том известном факте, что собственные тексты Ломоносова никак этой системе не подчиняются [Мартель

1933: 56]. Если реконструировать стилистические представления Ломоносова не по его теоретическим построениям, но по его языковой практике, то складывается впечатление, что он исходит не из тернарного, а из бинарного членения, при котором ограниченный набор лексики характеризуется как высокий, не менее ограниченный набор — как низкий, а основной лексический массив остается без стилистической нагрузки. Отсюда следует, что теория трех штилей остается концептуальным кунштштоком, тогда как реальное языковое поведение Ломоносова определяется достаточно традиционными стилистическими представлениями, лишенными систематичности и в то же время общими для него и его литературных противников³.

Сумароков, вообще говоря, занят теми же вопросами, что и его старшие коллеги, решает ту же проблему языкового изобилия, образующегося из слияния церковнославянского и русского языкового материала и требующего стилистического упорядочения, и исходит из тех же общих представлений: ряд языковых элементов (лексических и грамматических) церковнославянского происхождения рассматривается как стилистически «высокий», ряд языковых элементов нецерковнославянского происхождения рассматривается как «низкий», тогда как основной массив лишен стилистической выразительности. Так же как его современники и в полном соответствии с литературными концепциями классицизма Сумароков связывает стилистический выбор с жанровыми характеристиками текста (поскольку для классицизма литература не мыслится вне жанровой классификации). В Эпистоле о стихотворстве 1748 г. он предписывает поэту:

Знай въ стихотворствѣ ты различіе родовъ,
И что начнешь, ищи къ тому приличныхъ словъ...
[Сумароков 1748: 10]

Позиция Сумарокова противостоит взглядам Ломоносова и Тредиаковского именно в том, каким образом следует искать «приличных слов». Если названные авторы стремились, как мы видели, создать для этих поисков

³ Показательно в этом отношении, что стилистическая классификация грамматических элементов в «Российской грамматике» оперирует не тремя классами элементов, как в лексике, а всего двумя: русскими и славянскими, или низкими и высокими, — и при этом распространяется на очень ограниченный круг форм. Этого двойного членения достаточно для выявления стилистической разнородности и формулировки рекомендаций, как ее избегать. Отсюда ясно, что предназначенное для лексики тройное членение искусственно и обусловлено прежде всего стремлением оформить стилистические проблемы русского литературного языка в терминах классической риторической теории. Регламентация нужна была не непосредственно ради практики, а прежде всего ради осмысления литературного языка нового типа как соответствующего европейским стандартам обработанности. Для основного массива грамматических форм, утвержденных академической грамматической традицией и не ассоциировавшихся с противопоставлением русского и церковнославянского, никакой стилистической дифференциации не предусматривалось.

формальные критерии, то Сумароков полагает, что его ученые коллеги навязывают литературе слишком ригористическую нормализацию языка, которая не оставляет места для собственного эстетического суждения писателя. Стилистический выбор должен, на его взгляд, определяться не формальными параметрами избираемого элемента (в частности, его русским или славянским происхождением), а авторским вкусом, оценивающим уместность данного элемента в данном контексте. Хотя Сумароков признает, что

Нельзя чтобъ тотъ себя письмомъ своимъ прославиль,
Кто Грамматическихъ не знаетъ свойствъ ни правилъ...
[Сумароков 1748: 9],

однако сами по себе правила остаются необходимым, но отнюдь не достаточным условием создания эстетически значимого текста; поэтому роль ученой регламентации не стоит преувеличивать, излишнее нормирование лишь ограничивает возможности автора и подменяет вкус педантством. Для педанта

Однако тщетно все; когда искусства нѣтъ;
Хотя творецъ трудясь струями потъ прольеть...

Он только

⟨...⟩ вкусъ имѣя грубъ, бездѣльные труды,
Предъ общество кладезь за сладкія плоды
[Сумароков 1748: 9].

Этим расхождением определяется и полемика Сумарокова с Третьяковским и Ломоносовым. Так, например, отвечая на критику Третьяковского, упрекавшего его в том, что он «худо... умеет слова выбирать: ибо пишет в Трагедиях *опять* за *паки*, *этот* за *сей*, *эта* за *сия*, *это* за *сие*» [Куник 1865: 476], Сумароков возражает не против самих принципов стилистических оценок Третьяковского, но против претензий этого суждения на объективность, против академических популяризаций на свободу авторского замысла. В «Ответе на критику» Сумароков пишет: «*Этот, эта, это, за сей, сия, сие*, имею я за вольность, что в Оде положить нельзя, а в Трагедиях, в некоторых местах полагать можно; ибо они слова не чужестранные и не простонародные: да я ж кладу их и очень редко» [Сумароков, X: 97]. Таким образом, Сумароков принимает и соотносит стилистических и генетических характеристик, и общую стилистическую оценку отдельных элементов. Так же, как и Третьяковский, он считает *сей, сия, сие* высокими словами, которые одни только и могут полагаться в одах, а *этот, эта, это* — низкими словами, которым в одах нет места. На его взгляд, однако, трагедия отлична от оды, поскольку в ней представлена речь различных персонажей и их реплики не могут и не должны быть выдержаны в одном стиле⁴. По-

⁴ Такого рода аргументы встречаются и во французской литературной критике. Так, например, Сюдери, рассуждая о стилистике героической поэмы, замечает, что стилистическое однообразие не может не нарушаться в речи разных по своему

этому автор трагедии должен быть более свободен в выборе языковых средств, и ученые выкладки нормализаторов не могут доминировать над его ощущением уместности или неуместности отдельных выражений. Сумароков указывает, что предосудительные, с точки зрения Третьяковского, элементы он употребляет «очень редко», однако для него важна самая возможность такого употребления. Этот аргумент еще отчетливее звучит в его возражении Третьяковскому по поводу употребления *опять* вместо *наки*: «Кладет в порок что я пишу *опять* за *наки*; но прилично ли положить в рот девице семнадцати лет, когда она в крайней с любовником разговаривает страсти, между нежных слов *наки*, а *опять* слово совершенно употребительное» [Сумароков, X: 98]. Именно в подобных случаях ссылки на употребление противостоят апелляции к правилам: употребление не отменяет правил, но служит оправданием для «малых вольностей» [Сумароков, X: 97—100], которые, руководствуясь своим вкусом, может позволить себе искусный автор. Отказ от подобных возможностей ради абстрактной нормы представляется Сумарокову никак не обоснованным.

Нормализаторская деятельность академических филологов выступает в этой перспективе как бессмысленное педанство, противоположное деятельности подлинного литератора. Сначала в подобном педанстве Сумароков обличает Третьяковского. При этом, изображая его в виде педантов Тресотиниуса и Ксаксоксимениуса в комедиях «Тресотиниус» и «Чудовищи», Сумароков не только высмеивает своего литературного противника (см. [Гринберг, Успенский 1992]), но и обозначает свою литературно-языковую позицию как позицию антинормализаторскую. В согласии с комедийным изображением находятся и теоретические высказывания Сумарокова. Так, в своей поздней работе «О правописании» Сумароков осуждает ту практику написания *i* вместо *и* в заимствованиях из греческого и латыни, которой следовал Третьяковский в согласии со своим трактатом 1755 г. Сумароков пишет: «Древнее и новое педанство писать следующие на прим: слова литерою *I*, *Императорь*, *Ираклий* и подобныя сему; ибо де они и в Еллинском или Латинском так пишутся; но у Римлян нет и не бывало *I*; так им как инако и писати то было? И должно ли Россиянам ради Российскаго Правописания непременно учиться по Еллински и по Латински? По сему педантскому правилу, не только в начале слова, но и везде должно в восприятых Еллинских и Латинских словах ставить *I*. Что етова смешня!» [Сумароков, X: 27].

Обвинение в педантизме распространяется не только на Третьяковского, но и на всю академическую традицию, включая Ломоносова. Подрывая

статусу персонажей: «Le magnifique est donc le propre de l'Epopée: neantmoins le mediocre, & mesme le bas, y peuvent estre employez, comme ils le sont dans Virgile, selon les diuerses conditions des Personnes, que le Poëte fait parler» [Скюдери 1654: л. с3]. Аналогичные соображения распространяются, естественно, и на трагедию.

авторитет ломоносовской грамматики и указывая, что она «ни каким Ученым Собранием не утверждена» [Сумароков, X: 38], Сумароков в то же время отмечает, что этот авторитет основывается «на сем правиле, что г. Ломоносов был Академик; так полагают основание на Академии, хотя он не составлял Академии, но был ея член; и ни Академия, ни Россия того не утвердила: да и утверждати того Академии не можно; ибо она в Науках, а не в Словесных Науках упражняется» [Там же: 6—7]. Таким образом, регламентация языка и литературы, исходящая из Академии наук, объявляется лишенной ценности и не имеющей никакого сходства с той регламентацией, которой занималась Французская академия (посвящавшая свою деятельность не наукам, а словесности). Ученые, состоящие в Академии, не способны совершенствовать язык и литературу, а вся академическая традиция состоит лишь в создании бессмысленных правил, «ненадобных безделок», которые лишь производят видимость учености, а в действительности мешают «воображению и умствованию» автора.

Итак, согласно Сумарокову, язык получает свое достоинство не столько в результате ученой обработки (нормализации), сколько благодаря вкусу и умению тех авторов, «которых тщание искусству ревновало» [Сумароков 1748: 4, 6]. Поэтому он демонстративно противопоставляет свое искусство педантским измышлениям своих оппонентов. Искусство состоит, в частности, в уместном выборе слов и форм; чем больше исходное разнообразие, тем больше возможностей для такого выбора, поэтому Сумароков отрицательно относится к сокращению этого разнообразия, производимому нормализацией. Он, видимо, вполне сознательно сопоставляет варианты формы, наделяя эстетической функцией вариативность как таковую. Так, например, в первой элегии [Сумароков 1774б: 4] читаем:

*Лишаюсь милыхъ губъ и поцѣлуевъ ихъ.
И ахъ! лишаюся я всѣхъ утѣхъ моихъ,
Лишаюся, увы! всево единымъ словомъ.*

Вариативность возвратных форм, очевидно, обусловлена здесь не метрически (легко найти такой вариант второй и третьей из процитированных строк, при котором в *-ся*, присоединяемом к основе на гласный, необходимости не возникает), но желанием избежать монотонного повтора одной и той же формы. Ради этого Сумароков употребляет форму с *-ся*, присоединяемым к основе на гласный, которая в контексте академической обработки языка была ненормативной. Действительно, Ломоносов в своей грамматике таких форм не кодифицирует и практически не употребляет их в своей языковой практике зрелого периода. В данном случае обращает на себя внимание не только употребление ненормативной формы, но и ее прямое соположение с нормативным вариантом. Ненормативные варианты появлялись иногда и у Ломоносова, и у Третьяковского, но у них они были как бы спрятаны. Прямое соположение, которому, как мы видели, Сумароков

придает эстетическое значение, с позиций нормализаторов языка представлялось безобразным, обнаруживающим варварский макаронизм⁵.

О том, что в разобранном выше случае мы имеем дело не со случайным ляпусом, а со стилистической стратегией, свидетельствует относительная многочисленность подобных примеров (равно как и то, что они не подвергаются изменениям при переработке соответствующих текстов). Так, совершенно аналогичную вариативность обнаруживаем в Оде на погребение Елизаветы ([Сумароков, II: 35], ср. с несущественными разночтениями [Сумароков 1774в: 22]):

И вопили бь: возвратися,
Возвратися къ намъ назадъ,
Матерь наша, и *простися*,
ТЫ еще увидѣвъ чадь,
И *простись* еще ТЫ съ нами...⁶

⁵ Так, в «Письме от приятеля приятелю» 1750 г. Третьяковский несколько раз упрекает Сумарокова в употреблении такого типа неоднородных сочетаний. Он пишет, например: «Положенож у него в первом стихе: *слабья сей*, вместо *слабья сея*: ибо весьма сие досаждае слуху, когда непосредственно слова соединенныя, или до одной вещи взаимно принадлежащая, полагаются так, что одно из них полное, а другое сокращенное. Лучше всегда, а особливо в стихах, полагать оба таких слова полныя; однако сноснее, ежели они оба будут неполныя, когда того нужда меры требует, как то и у него во втором стихе, *невидимой своей*» [Куник 1865: 444]. Аналогичные возражения вызывает у Третьяковского словосочетание *любезной дщери* (род. ед.): «... *любезной дщери* вместо *любезныя дщери*, есть неправильно, и досадно слуху, для того что существительнаго имени *дщери*, есть полный родительный падеж, а прилагательнаго *любезной*, есть сокращенный, или лучше, развращенный от народнаго незнания, а в самой вещи он есть дательный» [Там же: 462]. Как можно видеть, критику вызывает прежде всего совмещение в одном контексте разнородных форм с одним грамматическим содержанием. Сумароков явно этот подход отвергает, и подобные сочетания появляются у него во множестве, ср.: *Своей рукою* (Ода на Государя Императора Петра Великого [Сумароков, II: 10]), *сей странюю* (Ода на Погребение Елизаветы [Там же: 36; Сумароков 1774в: 24]), *съ чистой гордою Невой* (Ода на рождение 1755 г. [Сумароков, II: 18]), *сей злыя части* (Ода на Восшествие 1762 г., вторая и третья редакции [Там же: 44; Сумароков 1774в: 28]) и т. д.

⁶ Подобный же пример находим и в притчах, см. в притче «Терпение»:

Збылися, говорить, збылися мои слова...
[Сумароков, VII: 66].

В притче «Коршуны и голуби»:

Дралися, голубей уж больше не губя:
Дрались между себя...
[Там же: 274].

В этой же функции могут использоваться и другие вариантные грамматические формы, например, формы императива с конечной безударной гласной или без нее. Нормативными были именно последние, только они кодифицированы в грамматике Ломоносова, который отмечает, что «когдаж ударения на последнем [складу] нет, вместо И принимается Ъ» (§ 333 [Ломоносов, IV: 125], ср. § 334, 384), и сам употребляет формы с безударным *-и* лишь в редких и стилистически маркированных случаях. Сумароков придерживается иной стратегии, ср. в IX элегии из «Елегий любовных» [Сумароков 1774б: 13]:

Прости, невѣрная и вѣчно мя *забудь*:
Забуди тѣ часы какъ я тобою таялъ⁷.

Прямое соположение разных вариантов одной словоформы представляет собой лишь наиболее заметный случай того пристрастия к многообразию языкового материала, которое побуждает Сумарокова отрицательно (или, во всяком случае, сдержанно) относиться к нормализации. Необязательно непосредственно сопрягать вариантные формы, они, естественно, могут употребляться и по отдельности, и у выбора одного из вариантов могут быть самые разные причины. Существенно для Сумарокова само сохранение возможности выбора, и эту возможность он отстаивает в своей языковой практике, так что само утверждение ее может быть одним из факторов, обуславливающих употребление вариантов в его текстах.

Именно этот фактор сказывается, надо думать, в том, как Сумароков употребляет формы инфинитива. Формы инфинитива с безударным *-ти* были одной из первых жертв нормализации. В прозаическом тексте они перестают употребляться уже в начале 1730-х гг., а инфинитив на *-ть* в качестве нормативного дается уже в «Anfangs-Gründe der Russischen Sprache» 1731 г., приписываемых В. Е. Адодурову [Адодуров 1731]. Правда, и Адодуров, и затем Третьяковский предусматривают употребление инфинитива на *-ти* в качестве поэтической вольности, соответствующая языковая практика характерна и для Третьяковского, и для Кантемира, и для Ломоносова. Однако в 1740-е гг. концепция литературного языка меняется (см. выше), новый литературный язык объявляется единым по природе со «славенским», и это устраняет нужду в рубрике поэтических вольностей как способе легализации церковнославянского языкового материала — поэтические вольности выходят из моды. В соответствии с этим меняется и языковая практика: с середины 1740-х гг. и Третьяковский, и Ломоносов пере-

⁷ В притчах можно обнаружить и соположение вариантных форм инфинитива, ср. в притче «Вояжир плясун»:

И слѣдственно, что онъ *плясати* не умѣть.
 А онъ по всѣмъ кричалъ гордясь мѣстамъ:
 Колико я *плясать* умѣю...
 [Сумароков, VII: 275].

стают употреблять инфинитив на *-ти*, и это было чисто нормализационным решением, поскольку его трактовка в качестве славянизма не делала его больше ненормативным. Об изменении подхода свидетельствует, в частности, та правка, которую Третьяковский вносит в свои поэтические произведения 1730-х гг., переиздавая их в 1752 г., — инфинитивы на *-ти* заменяются инфинитивами на *-ть*. Можно указать и на «Тилемахиду», язык которой часто рассматривается как особенно архаизированный, содержащий многочисленные славянизмы. Действительно, в «Тилемахиде» можно найти причастия типа *приведый, принесый*, формы атематических глаголов типа *имамь, вѣмь* (см. [Алексеев 1981: 77—78]), однако инфинитивов с безударным *-ти* в этом тексте не встречается.

Сумароков с этой нормализацией явно считаться не хочет и всей своей языковой практикой показывает решительное противостояние попыткам ограничить его свободу. Вариативность форм инфинитива обнаруживают ранние поэтические произведения Сумарокова, например Эпистола о стихотворстве 1748 г., однако они не показательны, поскольку могут трактоваться как поэтическая вольность, употребляемая Сумароковым по образцу его старших коллег. Он продолжает, однако, пользоваться этими формами и позднее; многочисленные случаи такого употребления встречаются, например, в его Эклогах: *имѣти* («Калиста» [Сумароков 1769: 251; 1774б: 30]), *убрати* («Сильвия» [Сумароков 1769: 271; 1774б: 50]), *имѣти, быти, молвити, искати* («Белиза» [Сумароков 1774б: 32—33]) и т. д. Сумароков ценит вариативность инфинитива и не хочет отказываться от нее, поскольку она увеличивает гибкость поэтической речи. На это указывают, в частности, исправления в эклоге «Дельфира»: «И можно бѣ было вдругъ ихъ все окинуть глазомъ» [Сумароков 1769: 261] — «И можно бѣ было вдругъ окинути ихъ глазомъ» [Сумароков 1774б: 39]; «Что было отвѣчать!» [Там же: 40] — «Отвѣтствовати что» [Там же: список опечаток].

Вариативность форм инфинитива свойственна и прозаическим текстам Сумарокова, и здесь речь явно идет не о вольности, а о принципиальном стремлении к разнообразию, нежелании ограничивать тот языковой материал, которым располагал русский литературный язык в силу своего «единства» с церковнославянским. Так, например, в «Некоторых статьях о добродетели» формы инфинитива на *-ти* и на *-ть* встречаются в примерно равной пропорции (с незначительным превосходством первых). Следующий пассаж хорошо иллюстрирует характер вариативности: «Не *дѣлати* зла, хорошо; но сие благо еще похвалы не заслуживаетъ: столбъ худа не делаетъ; но столбъ за то еще почтенія не удостоивается. Не *дѣлать* худа, неестъ добродетель: добродетель есть *дѣлати* людямъ добро, коли можно: похвально и то, что я могу и не *дѣлать* людямъ худа; но то еще не добродетель. Но можетъ ли еще ето *быти*, что бы кто не смогъ людямъ *дѣлати* добра?» [Сумароков, VI: 239].

Еще более красноречивой иллюстрацией могут служить сумароковские комедии. Остановлюсь, например, на комедии «Рогоносец по воображе-

нию». Инфинитив на *-ть* встречается здесь чаще, чем инфинитив на *-ти*, однако и форма на *-ти* появляется достаточно регулярно и представлена в речи всех персонажей, т. е. входит в нейтральный языковой фон, а не является речевой характеристикой кого-либо из действующих лиц. Действительно, эта форма встречается в речи провинциального помещика Викула (*пожаловати* [Сумароков, VI: 7], *быти* — 41⁸, *присаживати* — 46, *получити* — 47), его жены Хавроньи, речь которой наполнена знаками просторечно-диалектного употребления (*сварити* — 11, *сказати* — 17, *ревновати* — 19), дворецкого (*любити* — 44, *брати* — 48), бедной дворянки Флоризы, получившей хорошее воспитание и говорящей по-французски (*быти* — 15, 29, *почитати* — 32), столичного дворянина графа Касандра (*быти* — 29), служанки Нисы (*изготовити* — 12, *быти* — 14, *слышати*, *ожидати* — 15, *сватати* — 20, *посмотрѣти* — 35, *отдати* — 45 и т. д.)⁹. Таким образом, формы инфинитива на *-ти* представлены в речи всех персонажей вне зависимости от их характера и речевой маски.

Подобное употребление наблюдается и в элегиях, и в торжественных одах, при этом в одах инфинитив на *-ти* встречается существенно чаще, чем в элегиях. В самом деле, в элегиях встречается всего 96 инфинитивов от невозвратных глаголов с основой на гласную, причем лишь в 8 случаях они представлены формами на *-ти*, что составляет 8,33 %. В одах инфинитивы того же типа встречаются в 158 случаях, среди них 38 форм на *-ти*, что дает уже 24,05 %¹⁰. Можно было бы подумать, что эти различия в про-

⁸ Страницы указаны по [Сумароков, VI].

⁹ Особенно показательное появление форм на *-ти* в речи Нисы, которая противопоставляет свою речь крестьянской, жалуясь: «Должно еще ожидати такова жениха, которой будетъ говорить: чаво табѣ сердцуско надать? байста со мной; и другія подобныя етому крестьянскіе рѣчи» [Сумароков, VI: 15—16].

¹⁰ При подсчетах был использован полный корпус элегий, причем для каждой из элегий брался текст наиболее ранней существующей публикации. В силу этого корпус оказывается не вполне однородным, так как, например, первая элегия рассматривается по публикации в «Трудолюбивой пчеле» 1759 г., а элегия «Не вижу я тебя и разлучен судьбою» по публикации в «Елегиях любовных» 1774 г. Такая неоднородность представляется, однако, допустимой, поскольку в интересующем нас отношении (формы инфинитива) картина не меняется: при переиздании имеют место сокращения, уменьшающие и без того не слишком большую выборку, но формы инфинитива никакой правке не подвергаются (о процессе переработки сумароковских элегий см. [Вроон 2000]). Теми же принципами мы руководствовались и в отношении торжественных од. И в данном случае поздние издания отличаются от ранних только объемом, а правка форм инфинитива отсутствует. Лишь в одном случае форме на *-ти* в первой публикации 1766 г. и в «Разных стихотворениях» 1769 г. соответствует форма на *-ть* в «Одах торжественных» 1774 г. («Стремится Свой народ исправить, / И просвѣцати и Царей» — «Стремится Свой народ исправить, / И просвѣцать она Царей» [Сумароков 1766б: 7; 1769: 156; 1774в: 54]; правка в этом единичном случае явно не связана с преобразованием форм инфинитива как таковых, но имеет, видимо, целью устранить неблагозвучное зияние.

порциях связаны с жанровой иерархией: ода, будучи высоким жанром, допускает большее число книжных («церковнославянских») форм инфинитива, чем элегия, к числу высоких жанров не относящаяся. Такое объяснение, однако, видимым образом противоречит тем данным, которые были приведены выше. Действительно, хотя мы и не приводим статистических данных о соотношении форм инфинитива в прозе Сумарокова или его комедиях, указанные примеры говорят о том, что формы на *-ти* не несут, как правило, никакой стилистической нагрузки, а если это так, то диспропорции в их частоте невозможно объяснить стилистическими параметрами того или иного жанра. Об этом же свидетельствует и статистика. Так, при выборочном подсчете форм инфинитива в сумароковских притчах, т. е. баснях, несомненно относящихся к числу низких жанров, оказалось, что в пределах обследованного корпуса¹¹ из общего числа инфинитивов от невозвратных глаголов с основой на гласную (146) в форме на *-ти* представлено 17 инфинитивов, что составляет 11,64% от общего числа. Таким образом, оказывается, что в «низких» притчах пропорция инфинитивов на *-ти* выше, чем в «средних» элегиях, что исключает жанрово-стилистический фактор из круга возможных объяснений.

Более правдоподобным представляется иное объяснение. Основной корпус элегий, охватывающий около 90% проанализированного материала, появился в печати в 1759 г. в «Трудолюбивой пчеле». Если мы рассмотрим данные по первым пяти одам Сумарокова, напечатанным в тот же период (1755—1759 гг.), то их параметры окажутся вполне сопоставимыми с приводившимися выше для элегий: из общего числа инфинитивов (35) всего 2, т. е. 5,71% употреблены в форме на *-ти*. Можно полагать, следовательно, что именно с 1760-х гг. Сумароков переходит от окказионального употребления инфинитивов на *-ти* как поэтических вольностей к их интенсивному употреблению как выразителю его антинормализационной позиции. Именно в поздний период он формулирует и нечто подобное теоретическому обоснованию своего пристрастия. В «Примечании о правописании» Сумароков замечает: «Глаголы *любити*, *слышати* и протч. в неопределенном без вольности ТИ, а по вольности, приятой и утвержденной ко красоте языка *любить* могут великое производить изобилие и легкость, *Любить хвалу* хуже, нежели *любити хвалу*. Сим образом и предлоги украшают *во глубинѣ*, а не *въ глубинѣ*; лутче *во Италии*, нежели *въ Италии*; лутче *во Ерусалимѣ*, нежели *въ Ерусалимѣ*» [Сумароков, X: 43].

Данный пассаж заслуживает внимания в нескольких отношениях. Характерно, что вольностью объявляется инфинитив на *-ть*, а не на *-ти*, хотя

¹¹ Были обработаны данные из второй книги «Притч» по Новиковскому изданию [Сумароков, VII: 65—125]. Насколько можно судить, при всей текстологической непоследовательности и изменениях в правописании, никакой лингвистической правки, которая могла бы сказаться на статистике грамматических форм, в этом издании не проводилось.

эта «вольность» употребляется чаще, чем правильный в этой перспективе инфинитив на *-ти*. Здесь Сумароков повторяет Третьяковского, который — также вне всякого соответствия со своей языковой практикой, которая вообще исключала инфинитив на *-ти*, — упоминает «некоторые народные и стихотворческие вольности, каковы суть сии: *иль*, вместо *или*; *спать*, вместо *спати*» [Пекарский 1865: 106]¹². В таком подходе отражаются, надо думать, представления филологов XVIII в. об изменениях в языке как о порче, в результате которой уничтожаются нужные слоги и формы, при том что противопоставление форм инфинитива не связывается с оппозицией русского и церковнославянского языков или высокого и низкого стилей внутри русского литературного языка. Вместе с тем выбор формы соотносится с поисками благозвучия, и в этом плане Сумароков вступает в прямую полемику с Ломоносовым, который кодифицирует в своей грамматике только форму на *-ть* и заявляет при этом, что «свойство нашего Российского языка убежать от скучной буквы И, которая от окончания неопределенных глаголов и от второго лица единственного числа давно отставлена, и вместо *писати*, *пишеши*, *напишеши*, употребляем, *писать*, *пишешь*, *напишешь*» (§ 119 [Ломоносов, IV: 55; VII²: 432]). Ломоносов, таким образом, также говорит о благозвучии, однако в противность Сумарокову считает благозвучной именно форму на *-ть*. Полемика, следовательно, переводится в область эстетических оценок, и, подчеркивая этот эстетический момент, Сумароков как бы указывает, что вкус играет большую роль, чем нормализационные решения: его оппонент, создавая правила, погрешает ради них в эстетическом суждении. Именно это полемическое задание — протест против неумеренной нормализации — и отражается с начала 1760-х гг. в языковой практике Сумарокова. Такая практика могла восприниматься современниками как выпад против академической традиции обработки языка и вызывать протест в этом качестве. А. А. Барсов, в своих общих установках следовавший Ломоносову, в своей «Российской грамматике» замечал: «В новейшие времена покусились некоторые и кроме стихов и проч. употреблять *ти* вместо *ть*, да еще и в комедиях и проч. Но в сем случае оное есть не иное что как городской а не московской выговор; при том же и употребляют оное большая часть не постоянно и без всякаго, как видно, и для самих себя правила» [Барсов 1981: 592]. Под «некоторыми», надо полагать, подразумевается прежде всего Сумароков.

Итак, употребление форм инфинитива у Сумарокова ясно показывает, в чем его лингвистические установки отличаются от установок Ломоносова и Третьяковского. Он не принимает того формального подхода к определе-

¹² Стоит отметить, что в главе о поэтических вольностях в переиздании «Нового и краткого способа» 1752 г. Третьяковский данной вольности не предусматривает [Третьяковский 1752: I, 141—142]. Это, видимо, подчеркивает, что приведенное выше указание Третьяковского не имеет прямого отношения к языковой практике и служит прежде всего полемическим целям.

нию стилистических функций языковых элементов, которому стараются следовать его литературные противники. Естественно предположить, что он не признает и тех нормативных стилистических предписаний, с помощью которых они членят жанровое пространство, выделяя иерархию однородных в своем внутреннем устройстве стилей, к каждому из которых принадлежит определенный набор жанров. Это не означает, конечно же, что жанровая иерархия, установленная классицистической теорией и воспринятая Сумароковым в целом с большим догматизмом, чем Третьяковским и Ломоносовым, не соотносится для него со стилистической дифференциацией. Но, как и в разобранных выше примерах, соотношение не имеет здесь того формального и нормативного характера, который свойствен, например, теории трех штилей Ломоносова. Существенно понять, как в представлениях Сумарокова осуществляется стилистическое членение жанрового пространства и какие языковые и риторические параметры вовлекаются в это членение.

3. Стилистические параметры в жанровой иерархии

Еще В. В. Виноградов справедливо замечал, что «учение о трех стилях не давало исчерпывающих лингвистических критериев для стилистического разграничения слов, фраз и конструкций русского литературного языка» [Виноградов 1938: 120]. Можно было бы сказать и сильнее — эта теория не давала никаких лингвистических критериев для стилистического разграничения языковых элементов. Теория трех штилей остается риторической схемой, не имеющей прямого лингвистического выражения, и поэтому нередко появляющиеся суждения исследователей о развитии во второй половине XVIII в. среднего стиля, о значении этого процесса для становления стилистических норм русского литературного языка и т. д. остаются общими суждениями, лишенными верифицируемого лингвистического содержания.

Наиболее ясные сведения о стилистическом членении жанрового пространства могли бы дать грамматические признаки, поскольку они в данный период, когда грамматическая норма еще окончательно не сформировалась, несут ясно выраженную стилистическую нагрузку и вместе с тем образуют четкие оппозиции и поддаются статистическому анализу. Г. О. Винокур писал о литературе второй половины XVIII в.: «Высокая поэзия очень широко пользовалась всеми теми морфологическими архаизмами, которые считались допустимыми в стихотворном языке „вольностями“ вроде энклитических форм местоимений (*мя, ты, ся* и т. д.), инфинитивов на *-ти* безударное, *зват. падежа* и т. д., причем нет сомнения, что все подобные формы, помимо своего чисто версификационного значения, могли приобретать также в рамках соответствующих жанров значение элементов языка высокого и торжественного» [Винокур 1959: 147]. Винокур, впрочем, тут же замечает: «Интересно как частность, что Ломоносов совершен-

но не пользуется такими формами, как *мя*, *тя*, *ся*, и очень редко прибегает к инфинитиву на *-ти* безударное, тогда как в стихах Сумарокова эти языковые условности представлены в изобилии» [Там же]. Как явствует из приведенных выше данных, Винокур прав лишь отчасти. Сумароков в отличие от Ломоносова действительно широко пользуется инфинитивом на *-ти* безударное, однако никакой стилистической нагрузки он (инфинитив) не несет, поэтому не может рассматриваться как элемент «языка высокого и торжественного» и, следовательно, ничего не дает для членения жанрового пространства (кроме одного особого случая, о котором будет сказано ниже). К аналогичному заключению приводит и анализ в сумароковских текстах ряда других морфологических показателей, которые у других авторов (и у позднейших исследователей) могут наделяться стилистической функцией¹³.

Иначе обстоит дело с энклитическими местоимениями. Мы находим их в одах, элегиях, трагедиях, тогда как в притчах они полностью отсутствуют. Местоимение *мя* употребляется Сумароковым достаточно часто. В элегиях оно встречается 18 раз при 38 употреблении местоимения *меня*; в одах речь от первого лица встречается реже, и здесь соответствующие цифры выглядят как 7 и 15¹⁴. Местоимение *тя* появляется лишь в единич-

¹³ Так обстоит дело, например, с окончаниями прилагательных и местоимений род. ед. ж. рода типа *великія* — *великой*, *сея* — *сей*. А. А. Барсов в «Российской грамматике» называет формы первого типа «книжными и славенскими», указывая, что «общее употребление в разговорах, а часто и на письме (<...> переменет оныя на *ой* и *ей*» [Барсов 1981: 148, 468]. В. П. Светов в «Опыте нового русского правописания» отмечал, что «в важном слоге, а наипаче высокія слова пристойнее кажется кончить на *БЯ* и на *ІЯ*, на пр. *образъ пресвятѣя Богородицы; щедроты великія Государыни*; на против того не говорится и не пишется: *ѣбна черепаховѣя табакерки, человекъ подлыя природы...*» [Светов 1773: 20—21]. Однако у Сумарокова никакого стилистического значения этот признак не получает. И в одах, и в элегиях, и в притчах окончания *-ой*, *-ей* встречаются в два или три раза чаще, чем окончания *-ія*, *-ья*, *-ея*, так что данная вариативность никак не соотносена с жанровой иерархией. Не просматривается и связи «книжных» окончаний с «высокими» словами (ср. [Истомин 1898: 68—69]), см., например, в притчах *ордынскія овцы, болотныя лягушки* [Сумароков, VII: 143, 160]. Интересно, что такое же употребление данных вариантов и у ученика Сумарокова В. И. Майкова; так же, как Сумароков, употребляет он и формы инфинитива [Чернышев 1970: 46—47].

¹⁴ При подсчетах энклитических местоимений мы следовали тем же принципам, что и при подсчете форм инфинитива, т. е. подсчитывали все употребления в корпусе, исключая лишь повторные. И в данном случае никакой последовательной правки не обнаруживается. В каких-то случаях энклитическое местоимение исчезает при переиздании, в каких-то случаях, напротив, появляется. Так, например, в Первой элегии строка «Вспоминай союзъ всегда хранимый нами!» [Сумароков 1759: 535] во втором издании заменена на «Как *мя* на памяти представишь предъ глазами» [Сумароков 1769: 186], а в третьем — «Когда представишь ты *меня* передъ глазами» [Сумароков 1774: 4], т. е. интересующая нас форма появляется во

ных случаях (два примера в элегиях, четыре — в одах) при широко представленном местоимении *тебя*. Каковы бы ни были частности, такое распределение указывает, что употребление энклитических местоимений обладает стилистической функцией и может рассматриваться как стилистический параметр, позволяющий расчленить жанровое пространство. Членение, правда, оказывается бинарным: «низкий» стиль, представленный в притчах, противостоит «ненизкому», реализующемуся и в одах, и в трагедиях, и в элегиях. Такое же членение вытекает и из анализа распределения местоимений *сей* и *этом*. Мы уже упоминали о том, что Третьяковский упрекал Сумарокова за употребление местоимения *этом* в трагедии. Сумароков, оправдываясь, отмечает, что подобную вольность нельзя допустить в оде, но можно — хотя и редко — в трагедии [Сумароков, X: 97]. Действительно, данное местоимение в одах Сумарокова не встречается совсем, в трагедиях представлено единичными примерами и почти столь же редко появляется в элегиях. В первых двух изданиях единственный случай находим в XI элегии [Сумароков 1759: 540; 1769: 194]:

Коль жить и мучиться; такъ *это* смерти зляе,
А паче мучася отъ той кто всѣхъ миляе.

В издании 1774 г. к нему добавляются еще два примера [Сумароков 1774б: 14—15]:

Я часто думаю: коль *это* сердце строго,
Что есть и безъ тебя красоть на свѣтъ много;
Забуди тѣ часы какъ я тобою таяль.
О небо, никогда я *этова* не чаяль!

Из этих двух примеров, конечно, невозможно сделать вывод о том, что к концу жизни Сумароков употребляет местоимение *этомъ* более интенсивно. Единственный вывод состоит в том, что во всех перечисленных жанрах данное местоимение почти не употребляется; и в одах, и в трагедиях, и в элегиях основным местоимением является *сей*, встречающееся множество раз в любых стилистических контекстах. Совсем иное положение в притчах. Здесь, несомненно, основным местоимением оказывается *этомъ*, тогда как *сей* встречается существенно реже. Так, во второй и пятой книгах притч *этомъ* встречается 52 раза, а *сей* — лишь 6 раз. Таким образом, и по этому признаку жанровое пространство распадается на две части — низкие и ненизкие жанры.

втором издании, но исчезает в третьем. Во Второй элегии иной случай: строка «И *мя* среди ночи съ постели подымають» [Сумароков 1759: 537] заменена во втором и третьем на «И с нежностью мое тамъ имя восклицають» [Сумароков 1769: 188; 1774: 6], т. е. форма, имевшаяся в первом издании, исчезает во втором и третьем. Эти замены, однако, не сказываются существенно ни на пропорции отдельных форм, ни на однородности выборки, поэтому различиями между изданиями в данном случае позволительно пренебречь.

Можно было бы думать, что более дробное членение, например, выделяющее средний стиль, появляется, если учитывать не грамматические, а лексические элементы. Лексические элементы, однако, не образуют по большей части соотносительных классов. Третьяковский может, конечно, рассуждая о языке оды, говорить, что она «не терпит обыкновенных народных речей: она совсем от тех удаляется, и приемлет в себя токмо высокие и великолепные», и на этом основании предлагать Сумарокову «положить *воззри*, вместо *взгляни*» [Куник 1865: 456]. Однако, как мы уже говорили, никакой четкой классификацией лексики на «народные речи» и слова «высокие и великолепные» ни Третьяковский, ни Сумароков не располагали, как не располагают ею и современные исследователи. Ни из чего не следует, скажем, что оппозиция *око* — *глазь* обладает теми же стилистическими параметрами, что и *воззри* — *взгляни*¹⁵. Поэтому хотя множество лексических элементов несомненно обладало стилистической окраской, они не могли играть роль четких стилистических классификаторов, но годились лишь — и в литературной полемике сумароковского времени, и в рассуждениях о стиле современных авторов — для отдельных замечаний, не образующих общей картины.

Говоря о лексике, стоит, видимо, отметить и тот факт, что сопоставимости разных жанров по лексическим параметрам препятствует неизбежная жанровая разнородность лексики. Мотивика разных жанров различна, и это не может не сказываться на лексике: *дивящуюся вселенную* мы ожидаем в оде, *томящегося любовника* — в элегии. В оде, правда, можно найти пасторальные пассажи, близкие по мотивике идиллии или элегии. Такие пассажи есть у Ломоносова, можно найти их и у Сумарокова. Так, например, в Оде на коронацию 1766 г. читаем [Сумароков 1766а: 7]:

Пастухъ среди всего прїятства,
 Подъ тѣнію въ полдневный зной,
 Не зная славы, ни богатства,
 И жертвуя любви одной,
 Пастушки на колѣняхъ лежа,
 И ея духъ и сердце нѣжа,
 Миръ сладкій воспѣваетъ тамъ.
 Не видя птички бранной казни,
 Не слыша стога, безъ боязни,
 Гласятъ покой по всѣмъ мѣстамъ.

Прозрачныя струи катятся
 Въ доли, съ высокихъ горъ журча,
 По мѣлкимъ камышкамъ крутятся,
 Зелены муравы моча:

¹⁵ Замечу а прогос, что глагол *воззрѣть* не встречается в притчах, тогда как *око* не является редкостью и в этом низком жанре, ср. примеры *очамъ*, *очи* [Сумароков, VII: 109, 117, 264].

Довольства сельски умножаютъ,
 Сладчайшій миръ изображаютъ,
 И прославляютъ нашъ покой.
 ВЕЛИКАЯ ИМПЕРАТРИЦА!
 ТВОЯ пресильная десница,
 Даетъ Россіи вѣкъ такой.

Легко видеть, что лексический облик этих строф отличается от обычного одического «великолепия»: такие слова, как *нѣжить*, *журчатъ*, *мурава*, *мочить*, как правило, в одах не встречаются. Обращают на себя внимание и имена уменьшительные (*птички*, *камышки*), которые в европейских лингвостилистических теориях XVII—XVIII вв. рассматривались как особый с точки зрения стилистики и чистоты языка лексический пласт. В. В. Виноградов говорит, ссылаясь на Ломоносова, что «простой слог отличается от высокого широким распространением „имен увеличительных и умалительных“» ([Виноградов 1938: 107], у Ломоносова, впрочем, о стилистических характеристиках этих имен ничего не говорится). Действительно, в притчах (наиболее представительных для «простого слога») уменьшительные встречаются во множестве; они, однако, появляются и в идиллиях, элегиях и эклогах и — как свидетельствует приведенный выше пример — не абсолютно чужды и оде, репрезентирующей несомненно «высокий слог»¹⁶. Неизбежно возникает вопрос, в какой мере распределение уменьшительных имен зависит от стилистики жанра, а в какой — определяется его мотивикой, и однозначный ответ на этот вопрос дать достаточно трудно.

О роли лексических элементов в стилистическом членении жанрового пространства отчасти можно судить по тому ограниченному фрагменту словаря, для которого лексические пары выделяются формальным образом. Речь идет о полногласной и неполногласной лексике. Открывающиеся здесь возможности вполне очевидны, поэтому не раз предпринимался статистический анализ различных текстов (в том числе и текстов XVIII в.), раскрывающий соотношение в них полногласных и неполногласных лексем. Данный материал, однако, не так легко поддается статистической обработке, как это порою кажется. В самом деле, стилистически значимо может быть употребление только таких полногласных и неполногласных лексем, между которыми существует выбор, причем выбор, не детерминированный семантикой (или морфонологией). Так, скажем, нет смысла включать в подобные подсчеты лексемы с корнями *врем-* или *благ-*, которые лишь в сравнительно-исторической перспективе могут рассматриваться как неполногласные, однако в XVIII в. никаким полногласным коррелятом

¹⁶ Видимо, именно с этим маркированным статусом уменьшительных связана правка в первой элегии. Здесь на месте строки «Пусти, пусти хотя двѣ слезки изъ очей!» в первых двух вариантах [Сумароков 1759: 535; 1769: 186] в «Элегиях любовных» 1774 г. появляется «Ты вырони хотя слезъ каплю изъ очей!» [Сумароков 1774б: 4].

не обладают. Как справедливо отмечает Д. С. Ворт, «were it not for the existence of *золото*, *злато* would be no more of a Slavonism than *брат*. (...) The study of stylistically opposed pairs is important, but is not the same as the study of the diachronic fate of genetic Slavonisms; the two fields of study coincide only there where genetic Slavonisms also function as members of variant pairs with their ESI [East Slavic] counterparts» [Ворт 1974: 228—229]. О соотносительной паре не имеет смысла говорить и тогда, когда корреляты присутствуют в языке в целом, но один из них никогда не употребляется изучаемым автором. Так, скажем, *врагъ* — *ворогъ* образуют формальную пару, однако Сумароков употребляет только первый из вариантов, и это обуславливает его стилистическую нейтральность; соответственно, нецелесообразно было бы включать данное слово в статистические подсчеты.

Отсутствует выбор и в том случае, когда формальные корреляты различны по значению. Так, например, у Сумарокова встречается и *бремя*, и *беремя*, однако *бремя* выступает только в значении тяжелой ноши (переносном и прямом, ср. в притчах: «Такой товаръ телегамъ только *бремя*» [Сумароков, VII: 272]), а *беремя* — лишь в значении состояния беременности, ср. в притчах:

Пусти меня въ нево, на время,
Поколь мое пройдетъ *беремя*...
[Там же: 92].

Ясно, что стилистический выбор в этой паре не может иметь места. Так же обстоит дело и при менее очевидном расхождении значений, когда общий семантический компонент несомненно присутствует. Так, *гласъ* — *голосъ* образуют вполне значимую для стилистического анализа пару, однако соответствующие глагольные образования *гласить* — *голосить*, хотя и имеют общую семантику («производить громкие звуки»), настолько различаются по своим коннотациям, что не могут рассматриваться как варианты, выбор между которыми зависит от стилистики. Следует заметить, что оппозиция вариантов может не быть эквиполентной. Так, семантическая дифференциация в паре *страна* — *сторона* в языке XVIII в. и, в частности у Сумарокова, еще не пришла к тому состоянию, которое наблюдается в современном литературном языке. Значение ‘государство, область, земля’ выражается в этот период уже только неполногласным вариантом, однако значение ‘направление, часть целого’ имеется еще у обоих вариантов, ср. у Сумарокова в притчах:

Съ обѣихъ *странъ* рѣками кровь ліется
[Сумароков, VII: 236].

В этом случае, естественно, выбор варианта определяется стилистически при последнем значении, тогда как для первого значения он детерминирован семантикой. Соответственно, только в первом случае имеет смысл включать подобное употребление в подсчеты.

Если устранить все перечисленные выше нерелевантные случаи, останется приблизительно три десятка соотносительных пар типа *градъ* — *городъ*, *мразъ* — *морозъ*, *здравъ* — *здоровъ*, *глава* — *голова*, *премѣна* — *перемѣна*, *престать* — *перестать*, *предъ* — *передъ*, статистические данные об употреблении которых так или иначе указывают на стилистическое членение жанрового пространства. В элегиях стилистически релевантные неполногласные слова встречаются 79 раз, полногласные — 17 раз, полногласная лексика составляет 17,7% всех подсчитанных элементов. В одах соответствующие абсолютные цифры имеют вид 208 и 28, процент полногласной лексики — 11,86%. При относительно небольших объемах выборок различие менее чем 5% статистически незначимо. Для контраста эти данные можно сопоставить с цифрами, полученными для притч. Рассматривались вторая и пятая книги притч [Сумароков, VII: 65—125, 233—284]; неполногласные варианты встретились в этой выборке 32 раза, полногласные — 97 раз, процент полногласной лексики составляет 75,19%. Отличие притч от од и элегий в анализируемом аспекте очевидно, можно сказать, что мы имеем в них дело с зеркально противоположной картиной.

Какие выводы можно сделать из подобного распределения? Надо думать, что то членение жанрового пространства, на которое указывают отдельные морфологические параметры (энклитические местоимения, оппозиция *сей* — *этой* — см. выше), задается и параметрами лексическими, во всяком случае, распределением полногласной и неполногласной лексики. Это означает, что лингвистически для Сумарокова (и, видимо, многих других авторов XVIII в.) существенно только противопоставление низкого (невысокого) и высокого стилей, а какие-либо промежуточные стилистические пласты (например, средний стиль) отсутствуют. Важный вывод, истекающий отсюда и уже обозначенный выше, состоит в том, что «средний штиль» Ломоносова является теоретическим конструктом, не реализовавшимся в языковой практике, а все построения истории русского литературного языка, декларирующие в качестве ее основного направления развитие среднего стиля, — лишенными материального основания.

Два момента следует оговорить особо. Прежде всего бинарное противопоставление стилей отнюдь не является следствием бинарного характера рассматриваемых лингвистических оппозиций. Легко представить себе тернарное или вообще многомерное членение жанрового пространства, основанное на бинарных оппозициях. Если у нас имеется две оппозиции А — А' и В — В', то три класса получаются, например, в том случае, если в первом реализуются А и В, во втором — А' и В, а в третьем — А' и В'. Более того, лингвистические параметры позволяют выделить в корпусе сумароковских текстов по крайней мере один особый класс, не совпадающий по языковым характеристикам ни с одной из тех жанровых разновидностей, которые были рассмотрены выше. Формально это давало бы возможность говорить о тернарном членении, однако данный класс естественно трактовать иным образом — как частную разновидность внутри высокого стиля: по всем

тем лингвистическим признакам, по которым высокий стиль противостоит низкому, данный класс не отличается от жанров высокого стиля; его специфические признаки обособливают его как жанр «сверхвысокий» внутри иерархии высоких жанров.

Я имею в виду ту часть сумароковских «Стихотворений духовных» (переложений псалмов), которые написаны свободным стихом. Эти тексты отличает употребление форм простых претеритов (аориста и имперфекта) и перфекта со связкой, т. е. форм заведомо церковнославянских. В самом деле, эти формы воспринимались как наиболее яркая черта, противопоставляющая церковнославянский и русский, неоднократно упоминались в этом качестве в теоретических сочинениях русских авторов XVIII в. и были устранены из русского литературного языка нового типа с самого начала его формирования (в Петровскую эпоху). Ни Тредиаковский, ни Ломоносов, ни другие авторы интересующего нас периода данные формы не употребляли — даже в качестве поэтической вольности. Сумароков в одном из своих филологических сочинений с грустью пишет об их исчезновении: «Великаго достойно сожаления, что порчею языка, лишились мы сея точности и силы во Глаголах; *Видѣхъ, видѣль, видѣ, видѣхомъ, видѣсть, видѣша...*» [Сумароков, X: 23]. Тем не менее и он воспринимает их как принадлежность церковнославянского, не находящую себе места в новом литературном языке, и ни в трагедиях, ни в одах, ни в переложениях псалмов, сделанных несвободным стихом, ими не пользуется.

В псалмах, переложенных свободным стихом, указанные элементы встречаются неоднократно. Так, в переложении XXIX псалма находим: «Отвратил лице свое и *ужасохся*»; «К тебе Господи *воззвах* и *помолихся*» [Сумароков 1773—1774: III, 17]; в переложении LXII псалма: «*Прильпе* душа моя к тебе» [Там же: 27]; в переложении LXXVII псалма: «И *взыде* гнев на Израиля» [Там же: 31]. Наряду с простыми претеритами в переложениях появляются формы перфекта со связкой во 2 лице ед. ч., ср.: *сѣль еси* (IX [Там же: 12]), *извлекъ мя еси, исцѣлиль еси, превратилъ еси* (XXIX [Там же: 17—18]), *далъ еси, избралъ еси, усыновилъ еси, смѣшалъ еси* (LXXIX [Там же: 35—36]). Связь такого употребления со свободным стихом носит явно не случайный характер [Плетнева 1987]. Как отмечает М. Л. Гаспаров, свободный стих «в сочетании с высоким языковым регистром [осмыслялись] как знак вдохновенного порыва, когда писатель сам теряет власть над льющемся из его уст потоком божественной речи» [Гаспаров 1984: 60]. Любопытно, что в тех же написанных свободным стихом переложениях встречается лишь инфинитив на *-ти*, выступающий, видимо, как форма, наиболее соответствующая вдохновенной профетической речи (в переложениях, написанных несвободным стихом, инфинитив на *-ти* находится в обычной для Сумарокова свободной вариации с инфинитивом на *-ть*, см. [Плетнева 1987]); здесь тем самым актуализируется «славянская» природа инфинитива на *-ти*, а, следовательно, и его стилистическая значимость, обычно в сумароковских текстах не наблюдаемая. Таким образом, манифе-

стируя свободу поэтического дара, Сумароков демонстративно употребляет даже те формы, которые обычно рассматриваются им как недопустимая аномалия. Понятно, что данные тексты образуют частную жанровую разновидность внутри жанра духовной оды и в силу этого представляют собой обособленное отклонение внутри жанров высокого стиля. Вместе с тем они с еще одной стороны демонстрируют стремление Сумарокова к разнообразию стилистических средств, противопоставленное нормализационной установке Тредиаковского и Ломоносова, подобной свободы себе не позволявших.

Второй момент, на котором нельзя не остановиться, — это соотношение лингвистического членения с общим членением жанрового пространства. Бинарное членение по лингвистическим признакам не означает, что жанровая иерархия распадается лишь на две подсистемы и никакой иной дифференциации не подвержена. Более дробное членение основывается, однако, не на лингвистических признаках жанров, а на других уровнях их структуры, и прежде всего на их риторическом устройстве. В частности, риторическая стратегия оды радикально отличается от риторической стратегии элегии. В первом случае автор стремится передать читателю состояние внеличного и надличного («божественного») восторга, создать картину, заставляющую читателя забыть о разумном порядке вещей и увидеть — как бы с нечеловеческой высоты — всю вселенную торжествующей (или, напротив, скорбящей) по поводу описываемого события. Риторические задачи сумароковской элегии имеют совсем иной характер. Она рассчитана на читательскую интроспекцию и представляет собой по существу расчлененный и вполне рациональный анализ сознания разлученного любовника, повествующего в форме лирического монолога об основных составляющих своей несчастной любви. По словам Гуковского, «вся элегия состоит из перечисления признаков психологического состояния героя, переплетенного с аффективными формулами, как апострофы, вопрошения, восклицания» [Гуковский 1927: 57].

Различия в риторической стратегии определяют и несхожие наборы употребляемых в каждом из этих жанров риторических средств. Эти средства могут быть отнесены к числу конститутивных признаков жанра и, следовательно, обеспечивают членение жанрового пространства. Наиболее исследована в этом отношении ода (ср. [Тынянов 1977; Лахманн 1981]) — не только благодаря ее ярко выраженной специфике, но и в силу того, что именно поэтика оды была предметом постоянной полемики русских авторов в XVIII в. Именно основываясь на этой полемике, исследователи полагают, что риторические приемы Сумарокова резко отличались от аналогичных приемов Ломоносова. В самом деле, Сумароков пишет «Критику на Оду» [Сумароков, X: 77—92], в которой разбирает оду Ломоносова на восшествие Елизаветы на престол 1747 г. и упрекает своего оппонента в «бессмысленных» метафорах, в том сочетании «далековатых идей», которое Ломоносов рассматривает как основу поэтического «великолепия» и кото-

рое действительно присутствует в его одах как постоянный риторический прием¹⁷. Общая позиция протеста была сформулирована Сумароковым еще в 1759 г. в статье «К несмысленным рифмоторцам», напечатанной в декабрьском номере «Трудолюбивой пчелы». В этой статье Сумароков заявляет: «[Н]екоторые лирические стихотворцы рассуждают тако, что никак невозможно, чтоб была ода и великолепна и ясна: по моему пропади такое великолепие, в котором нет ясности. (...) Что похвальная естественная простота, искусством очищенной, и что глупые сих людей, которые вне естества хитрости ищут? Но когда таких людей много, слагайте, несмысленные виршесплетатели, оды; только темные пишете» [Сумароков, IX: 277]. В это же время Сумароков пишет и частично печатает Вздорные оды — несмотря на противодействие раздраженного Ломоносова, добившегося у президента Академии наук графа К. Г. Разумовского запрета на их публикацию в той же «Трудолюбивой пчеле» [Пекарский, ИА: II, 653—656]. Во Вздорных одах пародируется то самое великолепие, которое Сумароков осуждает в статье «К несмысленным рифмоторцам».

Сумарокова-теоретика возмущают прежде всего метафоры и другие тропы, не поддающиеся рационализации, в чем он, надо думать, следует в первую очередь ценимому им Вольтеру¹⁸. Так, например, критикуя строки Ломоносова [Ломоносов, I: 146]

Когда от радостной премъны
Петровы возвышали стъны
До звъздъ плесканіе и кликъ!

Сумароков замечает: «Не стены возвышают клик, но народы. Говорится весь град восклицает, вся страна и вся земля восклицает. Под именем града я разумею граждан, под именем страны разумеются народы живущие в ней, а под именем стен, я одни кирпичи разумею» [Сумароков, X: 80—81]. Равным образом, относительно строки «Верьхи Парнасски восстенали» [Ломоносов, I: 148] Сумароков пишет: «Возстенали Музы живущие на верьхах парнасских, а не верьхи» [Сумароков, X: 86]. О строке «Сомнѣнный ихъ шатался путь» [Ломоносов, I: 148] говорится: «Они на пути шатались, а не путь шатался. Дорога никогда не шатается, но шатается что сто-

¹⁷ Именно эта черта одической риторики оказывается в противоречии с нормами классицистической поэтики и побуждает говорить о барочном характере ломоносовских од (ср. [Чижевский 1960; 1970; Морозов 1965; 1974]).

¹⁸ Вольтер писал о метафоре: «La métaphore est la marque d'un génie qui se représente vivement les objets. C'est une comparaison vive et subite qu'il fait des choses qui le touchent, avec les images sensibles que présente la nature. C'est l'effet d'une imagination animée et heureuse. Mais cette figure doit être employée avec ménagement. (...) Les conditions essentielles à la métaphore sont qu'elle soit juste, et qu'elle ne soit pas mêlée avec une autre image qui lui soit étrangère» [Вольтер, IX: 163]. И далее Вольтер критикует Ж.-Б. Руссо как раз по той схеме, которую мы находим затем в полемике Сумарокова с Ломоносовым.

ит или ходит, а что лежит, то не шатается никогда» [Сумароков, X: 86]. Нападки Сумарокова могут вызывать и куда более простые тропы. Например, по поводу слов «Въ печальнѣйшей ночи» [Ломоносов, I: примеч., 261] Сумароков восклицает: «Что это за печальнейшая ночь: иное бы дело было. В темнейшей» [Сумароков, X: 76]¹⁹.

Начиная с Гуковского [Гуковский 1927: 9—47; 1927a], данный конфликт рассматривается как адекватное отражение принципиальных различий в стихотворческой практике Ломоносова и Сумарокова, что приводит к недооценке рационального момента в одическом стиле Ломоносова (ср. [Лахманн 1981]) и преемственной зависимости сумароковской оды от ломоносовской. Выше мы уже говорили о том, что пуристические требования могли актуализоваться при полемической установке, никак не выражаясь при этом в языковой практике; это относится, естественно, и к практике литературной. Показательно в этом плане двойственное отношение Сумарокова к самой риторической стратегии оды. В Первой вздорной оде, пародируя Ломоносова, Сумароков пишет:

Не сплю, но в бодрой я дремоте,
И на яву зрю страшный сон...
[Сумароков, II: 206].

Сумароков пародирует здесь Оду на прибытие Елизаветы из Москвы в Санкт-Петербург 1742 г. [Ломоносов, I: 97], в первой строфе которой, описывающей божественный восторг одического поэта, содержатся те самые оксюмороны, над которыми насмехается Сумароков, — *бодрая дремота* и *явный сон* (т. е. сон наяву):

Какая бодрая дремота
Открыла мысли явный сон?
Еще горит во мне охота
Торжественный возвысить тон.

Оксюмороны, естественно, противоречат классицистической риторике, и поэтому неудивительно, что Сумароков обращает на них внимание. Еще важнее, однако, смысловое задание этих аномалий — они манифестируют иррациональность одического вдохновения. На эту иррациональность и ополчается Сумароков, противопоставляя, как он это делает и в своих теоретических писаниях, ясность сумбурному великолепию²⁰. Это, однако, не

¹⁹ О том, насколько далеко мог распространяться этот протест против тропов, можно судить по следующему пассажиру из статьи «О неестественности»: «[Ж]ены их носят туфли, или лутче сказать ходят в туфлях, ради того что они туфли носят ногами» [Сумароков, VI: 300].

²⁰ Критика, направленная против Ломоносова, повторяет в этой своей линии нападки Сумарокова на Третьяковского. У Третьяковского Сумароков осуждает оксюморон «трезвое пианство», употребленный поэтом в Оде о взятии города Гданска с тем же, что и у Ломоносова, смысловым заданием [Сумароков, X: 95], см. [Живов 1996: 251—254].

мешает Сумарокову воспользоваться таким же точно оксюмороном для обозначения такой же точно одической установки. В Дифирамве Государыне Императрице Екатерине Второй на день Ея тезоименитства 1763 г. (после того, как были написаны Вздорные оды) последняя строфа читается так [Сумароков 1763: 7]:

Будуть поздны Россовъ дѣти,
 Всею Азіей владѣти:
 Ей законы изрекутъ:
 Тигра и Ефрата волны,
 Преждней радостію полны,
 По Россіи потекутъ.
 Ты народъ Россійскій славенъ,
 Силою по всей земли:
 Скоро сонъ мой будетъ явенъ;
 Брѣдъ мой истинной внемли.

Истинной брѣдъ ничем, конечно, не отличается от *бодрой дремоты* и *явного сна* и появляется в последней строке Дифирамва именно как указание на пророческое великолепие всего стихотворения. Поэт бредит, но его безумие — это пророческий дар, и поэтому его снам предначертано превратиться в явь («Скоро сонъ мой будетъ явенъ»). Литературная практика явно расходится здесь с теоретическими постулатами, провозглашавшимися в ином контексте — при обличении заблуждений и недостаточного искусства литературных противников автора.

Если так обстоит дело с наиболее значимым моментом — риторической стратегией, не приходится удивляться, что аналогичное отклонение от декларированных концепций наблюдается и в риторической фактуре сумароковских од. Показательно, что Сумароков в них неоднократно употребляет те самые выражения, образы и тропы, с помощью которых он пародирует Ломоносова. Так, например, в Первой вздорной оде встречается имеющая большую литературную предысторию гипербола:

Нептунъ изъ пропастей выходить,

 Главою небесамъ касаясь...

[Сумароков, II: 206].

Эта гипербола восходит к Гомеру (Илиада, песнь V, строка 443), затем появляется у Вергилия, вызывает критическую реакцию Ш. Перро, обвинявшего «древних» в неестественности, находит защиту у Буало и употребляется Расином (см. [Живов 1996: 250]); как всякая гипербола она противоречит классицистическому требованию к «style naturel» и правдоподобию²¹ и потому требует особых оправданий. Встречается данная ги-

²¹ Ср. у авторитетного для Сумарокова Вольтера: «[J]e crois que l'hyperbole est une figure défectueuse par elle-même, puisque par sa nature elle va toujours au-delà du vrai» [Вольтер, IX: 163].

пербола и у пародируемого Сумароковым Ломоносова, ср. в Оде на восшествие 1747 г.:

Сквозь всё препятства Онъ вознесъ
 Главу побѣдами вѣнчанну,
 Россію варварствомъ поправну
 Съ Собой возвысилъ до небесъ.
 [Ломоносов, I: 147].

Или в Оде на рождение Павла 1754 г.:

Но грады Росскіе...
 Верхами къ высотъ несутся,
 И тщатся облакамъ коснуться.
 Москва стоя въ срединѣ всѣхъ,
 Главу великими стѣнами
 Вѣнчанну взводитъ къ высотъ...
 [Ломоносов, II: 120].

Ближайший аналог находится, однако, не у пародируемого автора, а у самого Сумарокова в Оде Елизавете о Прусской войне [Сумароков 1758: 390]:

Хотя пучина проломила
 Свѣтъ древній, учинивъ врата,
 Европу съ Югомъ раздѣлила,
 Прекрасны потопивъ мѣста;
 Но ону Атласъ презираеть,
 Ея ногами попираеть,
Главой касаясь небесамъ...

Возникает вопрос: до какой степени Сумароков пародирует именно оды Ломоносова (о такой прямой направленности свидетельствуют, конечно, достаточно многочисленные примеры, ср. хотя бы [Виноградов 1938: 122—123]), а до какой степени предметом пародии служит поэтика русской оды в целом, свойственная, в частности, и одам самого Сумарокова? Если рассматривать Вздорные оды как жанровую пародию, они обнажают не столько «безумства» Ломоносова или Петрова, сколько конститутивные признаки жанра. В этом случае Сумароков может ориентироваться не только на творчество своего литературного противника, но и на собственную поэтическую практику; более того, он может использовать в своих «серьезных» одах те поэтические средства, которые первоначально были отработаны им в пародии. Именно к такой интерпретации подталкивает сопоставление и ряда других пассажей из Вздорных од с одами торжественными.

Так, например, в Первой вздорной оде читаем:

Борей замерзлыми руками
 Изъ бездны китовъ извлекаеть,
 И злобно ими въ твердь разить.
 [Сумароков, II: 205].

Здесь можно видеть пародийный отклик на ломоносовские стихи из Оды на восшествие 1746 г.:

Я духомъ зрю минувше время,
 Там грозный злится исполинъ

 Онъ ревомъ бездну возмущаетъ,
 Лѣсисты съ мѣсть бугры хватаетъ,
 И въ твердь сквозь облака разить.

[Ломоносов, I: 124], ср. еще [Там же: 27].

Осмеивая неестественную грандиозность ломоносовских образов, Сумароков, тем не менее, складывает их в собственную копилку и без всяких сдержек затем ими пользуется. Действительно, в Оде на первый день новго 1763 года находим [Сумароков 1762б: 5]:

Гигантовъ страшныя машины,
 Воюющихъ на облакахъ,
 Зрю льдисты жидкихъ горъ вершины,
 Во мрачныхъ тамо небесахъ:
 Пучина тамъ на звѣзды плещеть,
 Вершины льдяны въ небо мещеть,
 И пѣну разъяренныхъ водъ:
 Бросаеть вѣтръ огромны глыбы,
 И тяжкія изъ бездны рыбы;
 Да разрушать небесный сводъ.

Правда, в последующих изданиях эта строфа устранена, и правдоподобно, что причина устранения именно в слишком выраженном «ломоносовском» гиперболизме (ср. наблюдения Р. Вроона [Вроон 1995—1996: 230—231]), однако это не отменяет значимости ее появления в первом варианте: Сумароков воспроизводит ломоносовскую гиперболику как — для оды — нечто само собой разумеющееся, и ему нужно несколько лет рефлексии, чтобы осознать, что это плохо согласуется с его декларациями. К таким же выводам подводят и другие сопоставления. Так, во Второй вздорной оде находим:

Ефес горить, Дамаск пылаеть,
 Тремя Церберъ гортанми лаёт,
 Средьземный возжигает понт.

[Сумароков, II: 207].

Картина разнообразных плавающих городов, несомненно, восходит к Ломоносову, ср., например, в Хотинской оде 1739 г.: «Дамаскъ, Каиръ, Алеппъ згорить» [Ломоносов, I: 19]; или в Оде на тезоименитство Петра Федоровича 1743 г. (о предыстории этой образности в контексте гиперболической поэтики «пиндарической» оды см. [Пумпянский 1935: 124—127]:

Фиссонъ шумить, Багдадъ пылаеть,
 Тамъ вопль и звуки въ воздухъ бьютъ,

Ассирски стѣны огонь терзаетъ,
И Тавръ и Кавказъ въ понть бѣгутъ.
[Ломоносов, I: 104].

Ближайшее соответствие обнаруживается, однако, в уже цитированной Оде на первый день нового 1763 года [Сумароков 1762б: 11], в которой повторяется и лающий многочисленными гортанями Цербер, и картина пылающего пространства:

Церберъ гортаньми всѣми лаеть,
Геенна изовратъ пылаеть.
Раздвинуль челюсти Плутонъ...

Приведу и еще один пример использования поэтических средств Вздорных од в одах торжественных (ср. еще [Кляйн, Живов 1987: 244—245]). В Первой вздорной оде говорится:

Отверзь уста правитель моря,
Сто кратъ сильная стала буря,
И Океанъ вострепеталь...
[Сумароков, II: 206].

В Оде на тезоименитство 1762 г. находим [Сумароков 1762а: 7]:

Вѣщаетъ Царь небесныхъ странъ:
Природа бурей возшумѣла,
Потряся вихремъ Океанъ,
Подсолнечная возгремѣла.

Приведенные примеры позволяют считать, что риторические средства, создающие одическое величие, являются конститутивными признаками жанра оды, реализующимися в соответствующих текстах вне зависимости от теоретических воззрений автора (ср. сходные соображения у М. Л. Гаспарова [Гаспаров 2003]). Поскольку ода была центральным жанром русского классицизма, в большей или меньшей степени повлиявшим на все другие высокие жанры, эти риторические средства можно рассматривать как параметры стилистического членения жанрового пространства. Таким образом, если на лингвистическом уровне мы имеем дело с бинарным членением, отделяющим низкие жанры от низких, то на уровне риторической организации членение оказывается более дробным.

Не останавливаясь сейчас на том, как в этом отношении устроены жанры низкие (о басне в этом отношении см. работу [Виндт 1926]), сделаю несколько кратких замечаний об элегии. Вопрос этот хорошо изучен (см. статью Г. А. Гуковского «Элегия в XVIII веке» [Гуковский 1927: 48—102]; см. также [Кронеберг 1972: 1—14, 72—87, 141—158]), и необходимости в его новом рассмотрении не возникает. Элегия, в отличие от оды, призвана воплотить принцип естественности [Гуковский 1927: 58; Кронеберг 1972: 52], поэтому в ней нет ни сложных тропов, ни изощренных метафор, ни гипербола. Монологическая форма обуславливает определенную драматиза-

цию повествования, а потому и употребление соответствующих риторических средств: риторических вопросов и восклицаний, афористической структуры отдельных строк и т. д. Употребление данных средств может быть интенсивным, но может быть и редуцировано до минимума. Б. Кронеберг полагает, что развитие жанра элегии у Сумарокова позволяет говорить о его «дериторизации» (Enthetorierung [Кронеберг 1972: 82, 146]). В любом случае данные средства в их совокупности составляют специфику данного жанра — по крайней мере, в той его канонической реализации, которую мы находим у Сумарокова. Эта совокупность, естественно, не представлена в других средних жанрах (например, идиллии или эклоге), так что вопрос об объединяющих эти жанры стилистических или риторических чертах остается открытым. В любом случае членение по данным признакам оказывается более дробным, чем по параметрам собственно лингвистическим, и это существенным образом характеризует состояние всей стилистической системы русского литературного языка в середине XVIII в.: в этот период она все еще сохраняет на себе отпечаток старой дихотомии книжного (церковнославянского) и некнижного (русского) языка, характеризовавшей эпоху, предшествующую формированию русского литературного языка нового типа.

4. Значение Сумарокова для формирования стилистической системы русского литературного языка

В начале настоящей работы говорилось о том, что слава Сумарокова была скоропреходящей. Столь же недолговечными были и лингвистические, и стилистические рецепты, выработанные в теоретических рассуждениях и литературной практике российского Расина. Вряд ли стоит утверждать, что именно отказ от сумароковских стилистических рецептов подорвал его литературную репутацию, однако несомненно, что процессы эти были взаимосвязаны. Видимо, в этом сказалась литературная позиция Сумарокова, позиция мэтра: он создавал образцы, предназначенные для прямого подражания; как только им переставали подражать, они теряли всякое значение, утрачивали свою эстетическую функцию и воспринимались как претенциозные опыты, не обладающие самостоятельной ценностью. Такая судьба этих образцов создает впечатление, что они вообще никакой роли в литературно-языковом процессе не играли, — впечатление безусловно ложное. Сам жанровый диапазон сочинений Сумарокова определял вовлечение таких языковых ресурсов и формирование (пусть лишь начальное и не имеющее ясных очертаний) таких стилистических пластов, которые почти не были затронуты в творчестве его современников (Тредиаковского и Ломоносова).

М. Н. Муравьев в «Опыте о стихотворстве», составленном в конце 1770-х гг., писал, обращаясь к российским поэтам:

Каких красот искать и убежать пороков,
Вам скажет Буало, Гораций, Сумароков.
Вникайте, тщательно учась в писаньях их,
Как можно образцов достигнуть вам своих.
[Муравьев 1967: 132].

Само сочетание имен Буало, Горация и Сумарокова свидетельствует о том, что речь здесь идет прежде всего о сумароковской Эпистоле о стихотворстве как русском варианте «Art poétique» (см. [Клейн 1993]). Столь же очевидно, однако, что Сумароков выступает здесь в качестве образцового автора, и это показывает, что он, хоть и недолго, в самом деле играл роль мэтра, а потому и был отвергнут и забыт именно в этом качестве.

В статье, появившейся через год после смерти Сумарокова в «Санктпетербургском вестнике», говорилось: «Оды его торжественныя и духовныя, были бы лучшия, если бы од не писал Г. Ломоносов; как и трагедии Г. Ломоносова были бы у нас в числе изрядных, если бы Г. Сумароков своих не издавал, но оба сии великие мужи были на то произведены, дабы один открыл все великолепие, силу и величие, а другой все приятства, нежности и сладость нашего прекраснаго языка» [Сокращенная повесть 1778: 41]. Далее автор развивает эту мысль: «Оды его как торжественныя, так и духовныя писаны чистым, звучным и приятным слогом; но не имеют ни такова напряжения, ни великолепия, чем блистают бессмертныя оды Г. Ломоносова, имевшаго истинный лирический дух. Еклоги, требующия той простоты слога чем Феокрит у греков, творец Енеиды у Римлян и превосходящий может быть, сих обоих Геснер у Немцов славны, и до котораго достигнуть не легко, ибо быть просту без подлости есть отменный и пленяющий дар, еклоги, говорю я, Г. Сумарокова имеют сие достоинство, и во многих местах, в разсуждении слога а не моральнаго предмета, суть довольныя образцы желающим упражняться в сем роде стихотворства» [Там же: 46]. Таким образом, именно с Сумароковым связывается «простота слога» или «приятства» языка, т. е. достоинства, приписывавшиеся позднее Карамзину. В лингвистическом материале как таковом преемственность здесь ясно не просматривается, однако в основании той не раз трансформировавшейся традиции, которую можно обозначить именем Карамзина, несомненно, стоит Сумароков.

Именно об этом свидетельствует ближайший единомышленник Карамзина И. И. Дмитриев. Во «Взгляде на мою жизнь» он вспоминает о своем знакомстве с поэзией Сумарокова и замечает: «Сумароков и поныне в глазах моих поэт необыкновенный, и как отказать ему в этом титуле? В то время, когда только и слышны были жалкие стихи Тредьяковского и Кирьяка Кондратовича, писанные силлабическим размером, чуждые вкуса и остроумия, несносные для слуха, без малейшаго дара; в то время, когда и в самой Франции еще не было Френонов, Клеманов, Мармонтелей и Лагарпов; когда еще никто не оценивал изящности в стихах Расина и Лафонтена, — вдруг, из среды юношей кадетскаго корпуса, выходит на поприще Сумаро-

ков, и вскоре мы услышали новое благозвучие в родном языке, обрадовались игре остроумия; узнали оды, элегии, эпиграммы, комедии, трагедии и, не смотря на привычку к старине, на новость в формах, словах и оборотах, тотчас почувствовали превосходство молодого сподвижника над придворным пиитом Тредьяковским, и все прельстились его поэзией. Это истинно шаг исполинский! Это права одного гения!» [Дмитриев, II: 19].

Если в основных текстах самого И. И. Дмитриева трудно различить влияние Сумарокова, а Дмитриевские басни могут рассматриваться как прямая противоположность басням Сумарокова; если нет оснований говорить о влиянии Сумарокова на Державина (кроме раннего ученического периода творчества последнего); если характерные черты языковой практики нашего автора уходят вместе с ним и в последующей нормализации литературного языка никак не учитываются²²; если вообще для поэзии последнего десятилетия XVIII в. Сумароков — это уже отжитое прошлое, то для 1760—1770-х гг. Сумароков остается центральной фигурой, и для этой эпохи можно повторить, хотя и с определенными оговорками, тезис Гуковского о школе Сумарокова. В непосредственной зависимости от элегий Сумарокова находятся элегии Хераскова, Ржевского и ряда других авторов [Гуковский 1927], ода Сумарокова оказывает достаточно сильное влияние на В. И. Майкова [Кляйн, Живов 1987: 238—244]²³. В рамках этой преем-

²² В развитии литературного языка явно побеждает нормализаторское (академическое) направление, к которому столь неприязненно относился Сумароков. В частности, характерное для Сумарокова свободное варьирование форм инфинитива на *-ти* и на *-ть* не только не учитывается нормализаторами русского языка (например, в «Российской грамматике» А. А. Барсова или в «Грамматике Российской академии» 1802 г.), но не повторяется в языковой практике ни одного из авторов конца XVIII в. Точно так же не находит продолжателя (кроме В. И. Майкова — см. следующее примечание) сумароковский опыт использования церковнославянских глагольных форм в его переложениях псалмов. Соположение морфологических вариантов, которое, как мы видели, достаточно интенсивно использовалось Сумароковым с определенным эстетическим заданием, такой функции в дальнейшем не имеет. Список таких неустребованных инноваций можно было бы продолжить.

²³ Майков следует Сумарокову и в своих переложениях из Псалтыри и других библейских книг. Хотя он не пользуется свободным стихом, он повторяет в своих переложениях такую характерную черту сумароковских переложений, как аномальные глагольные формы. Так, в переложении LXXXI псалма находим аорист *ста* [Майков 1867: 8], в подражании псалму «внегда единоборствовал Давид на Голиафа» аорист *бѣхъ* [Там же: 11], в переложении XV главы Исхода аористы *бысть, пояде, рече* [Там же: 16—17], в переложении XXXII главы Второзакония аорист *бысть* [Там же: 18—20] (см. [Кляйн, Живов 1987: 285]). У Майкова, впрочем, имеет место определенная трансформация функции этих аномалий: они перестают быть связаны с пророческой поэтикой свободного стиха и превращаются в особые элементы высокого стиля, присущие жанру библейских переложений. Пророчество свободного стиха в версии Сумарокова вообще, видимо, плохо укладывается в сознании и его современников, и потомков. А. Ф. Мерзляков говорит об

ственности, содержащей многообразные отклонения от исходных образцов, формируется тот диапазон стилистических возможностей, с которым имеет дело литература конца XVIII в. И именно это опосредованное влияние связывает Сумарокова с последующим литературным развитием и определяет место его творчества в образовании стилистической системы русского литературного языка.

Л и т е р а т у р а

Адодуров 1731 — [В. Е. А д о д у р о в]. *Anfangs-Gründe der Russischen Sprache // Deutsch-Lateinisch- und Russischen Lexicon...* СПб., 1731 [Унбегаун 1969].

Алексеев 1981 — А. А. А л е к с е е в. Эпический стиль «Тилемахиды» // *Язык русских писателей XVIII века*. Л., 1981. С. 68—95.

Амвросий Серебrenников 1778 — [Московской Академии Префект Иеромонах А м в р о с и й]. *Краткое руководство к оратории российской, сочиненное в Лаврской семинарии, в пользу юношества, красноречию обучающегося*. М., 1778.

Барсов 1981 — *Российская грамматика Антона Антоновича Барсова* / Под ред. Б. А. Успенского. М., 1981.

Виндт 1926 — Л. В и н д т. Басня сумароковской школы // *Поэтика: Сб. ст.* Л., 1926. С. 81—92. (Гос. ин-т истории искусств. Временник отдела словесных искусств, I).

Виноградов 1938 — В. В. В и н о г р а д о в. *Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.* 2-е изд. М., 1938.

Винокур 1959 — Г. О. В и н о к у р. *Избранные работы по русскому языку*. М., 1959.

Вожела 1647 — C. F. de V a u g e l a s. *Remarques svr la langve françoise vtiles a ceux qvi vevlant bien parler et bien escrire*. Paris, 1647. [C. F. de V a u g e l a s. *Remarques sur la langue françoise. Fac similé de l'édition originale* / *Introd., bblg., index par J. Streicher*. Paris, 1934].

Вольтер, I—XII — F. M. A. V o l t a i r e. *Oeuvres complètes, avec des notes et une notice historique sur la vie de Voltaire*. Vol. 1—12. Paris, 1835—1837.

Ворп 1974 — D. S. W o r t h. Slavonisms in the Uloženie of 1649 // *Russian Linguistics*. Vol. 1 (1974). P. 225—249.

Вроон 1995—1996 — R. V r o o n. Aleksandr Sumarokov's *Ody toržestvennyye* (Toward a History of the Russian Lyric Sequence in the Eighteenth Century) // *Zeitschrift für slavische Philologie*. LV (1995/96), 2. P. 223—263.

Вроон 2000 — R. V r o o n. Aleksandr Sumarokov's *Elegii liubovnyye* and the Development of Verse Narrative in the Eighteenth Century: Toward a History of the Russian Lyric Sequence // *Slavic Review* 59 (2000). № 3. P. 521—546.

Гаспаров 1984 — М. Л. Г а с п а р о в. *Очерк истории русского стиха: Метрика, ритмика, рифма, строфика*. М., 1984.

Гаспаров 2003 — М. Л. Г а с п а р о в. Стиль Ломоносова и стиль Сумарокова — некоторые коррективы // *Новое литературное обозрение*. 2003. № 59. С. 235—243.

этих переложениях, что «[н]екоторые псалмы писаны размером и слогом басен, и притом слогом басен Сумарокова» [Мерзляков 1812: 85].

- Гринберг, Успенский 1992 — М. С. Гринберг, Б. А. Успенский. Литературная война Тредиаковского и Сумарокова в 1740-х — начале 1750-х годов // *Russian Literature*. XXXI. 1992. С. 133—272.
- Гуковский 1927 — Г. А. Гуковский. Русская поэзия XVIII века. Л., 1927.
- Гуковский 1927a — Г. А. Гуковский. Из истории русской оды XVIII века (опыт истолкования пародии) // *Поэтика*, III. Л., 1927. С. 129—147.
- Дмитриев, I—II — И. И. Дмитриев. Сочинения / Ред. и примеч. А. А. Флоридова. Т. I—II. СПб., 1895.
- Живов 1996 — В. М. Живов. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
- Истомин 1898 — В. Истомин. Главнейшие особенности языка и слога произведений М. М. Хераскова, А. П. Сумарокова и Императрицы Екатерины II в лексическом, этимологическом, синтаксическом и стилистическом отношениях. Варшава, 1898.
- Капю, I—II — J.-P. Caput. La langue française: Histoire d'une institution. Т. I. 842—1715; Т. II. 1715—1974. Paris, 1972—1975.
- Клейн 1993 — И. Клейн. Русский Буало? (Эпистола Сумарокова «О стихотворстве» в восприятии современников) // XVIII век. Сб. 18. СПб., 1993. С. 40—58.
- Кляйн 1990 — J. Klein. Sumarokov und Boileau. Die Epistel «Über die Verskunst» in ihrem Verhältnis zur «Art poétique»: Kontextwechsel als Kategorie der Vergleichenden Literaturwissenschaft // *Zeitschrift für slavische Philologie*. L (1990). Heft 2. S. 254—304.
- Кляйн, Живов 1987 — J. Klein, V. Živov. Zur Problematik und Spezifik des russischen Klassizismus: Die Oden des Vasilij Majkov // *Zeitschrift für slavische Philologie*. XLVII (1987). Heft 2. S. 234—288.
- Кронеберг 1972 — В. Kroneberg. Studien zur Geschichte der russischen klassizistischen Elegie. Wiesbaden, 1972. (Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen, Reihe III. Frankfurter Abhandlungen zur Slavistik. Bd. 20).
- Куник 1865 — А. Куник. Сборник материалов для истории Императорской Академии наук. Ч. I—II. СПб., 1865.
- Лами 1737 — В. Lami. La rhétorique, ou L'art de parler. 6-ème éd. La Haye, 1737.
- Лахманн 1981 — R. Lachmann. Zur Frage der Wertung poetischer Verfahren (am Beispiel einer Lomonosov-Ode) // *Colloquium Slavicum Basiliense*. Gedankenschrift für H. Schroeder / Hrsg. H. Riggenbach. Bern; Frankfurt am M.; Las Vegas, 1981. S. 361—385.
- Ломоносов, I—VIII — М. В. Ломоносов. Сочинения. Т. I—VIII. СПб.; М.; Л., 1891—1948.
- Ломоносов, I²—X² — М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений. Т. I—X. М.; Л., 1950—1959.
- Майков 1867 — В. И. Майков. Сочинения и переводы. СПб., 1867.
- Мартель 1933 — A. Martel. Michel Lomonosov et la langue littéraire russe. Paris, 1933. (Bibl. de l'Institut française de Leningrad. 13).
- Мерзляков 1812 — А. Ф. Мерзляков. Рассуждение о российской словесности в нынешнем ее состоянии // *Труды Общества любителей российской словесности при имп. Моск. ун-те*. 1812. Ч. I. С. 53—110.
- Морозов 1965 — А. Морозов. Ломоносов и барокко // *Русская литература*. 1965. № 2. С. 70—96.
- Морозов 1974 — А. Морозов. Судьбы русского классицизма // *Русская литература*. 1974. № 1. С. 13—27.

- Муравьев 1967 — М. Н. Муравьев. Стихотворения. Л., 1967.
- Пекарский, ИА, I—II — П. П. Пекарский. История императорской Академии наук в Петербурге. Т. 1—2. СПб., 1870—1873.
- Пекарский 1865 — П. П. Пекарский. Дополнительные известия для биографии Ломоносова. СПб., 1865 (Записки Академии наук. 1865. Т. 8, прилож. № 7).
- Плетнева 1987 — А. А. Плетнева. Из истории формирования нормы русского литературного языка XVIII века (На материале текстов В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова). Дипломная работа. МГУ. М., 1987.
- Пумпянский 1935 — Л. В. Пумпянский. Очерки по литературе первой половины XVIII века // XVIII век. [Сб. I]. Л., 1935. С. 81—102.
- Пушкин, I—X — А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. В 10 т. 4-е изд. Л., 1977—1979.
- Пушкин 1994 — А. С. Пушкин. Стихотворения лицейских лет. СПб., 1994.
- Светов 1773 — В. П. Светов. Опыт нового российского правописания, утвержденный на правилах Российской Грамматики и на лучших примерах российских писателей. СПб., 1773.
- Скюдери 1654 — Alaric ov Rome Vaincuë. Poëme Heroïque... Par M. De Scvdegy... Paris, chez A. Covbre, 1654.
- Сокращенная повесть 1778 — Сокращенная повесть о жизни и писаниях господина статскаго действит. советника и Святыя Анны кавалера, Александра Петровича Сумарокова // Санктпетербургский вестник. Ч. I (1778). С. 39—49.
- Сумароков, I—X — А. П. Сумароков. Полное собрание всех сочинений. Ч. I—X. 2-е изд. М., 1787.
- Сумароков 1748 — Две Епистолы, Александра Сумарокова. В первой предлагается о Руском языке, а во второй о Стихотворстве. СПб., 1748.
- Сумароков 1758 — А. П. Сумароков. Ода Государыне Императрице Елисавете Первой о Прусской войне // Ежемесячные сочинения. Т. 7 (1758). С. 2—8.
- Сумароков 1759 — А. П. Сумароков. Елегии // Трудолюбивая пчела. 1759. С. 113—117, 447—448, 506—510, 531—542.
- Сумароков 1762a — А. П. Сумароков. Ода Ея Императорскому Величеству Государыне Екатерине Алексеевне Императрице и Самодержице Всероссийской на День Тезоименитства Ея Ноября 24 дня 1762 года. СПб., 1762.
- Сумароков 1762b — А. П. Сумароков. Ода Ея Императорскому Величеству Государыне Екатерине Алексеевне Императрице и Самодержице Всероссийской на 1763 год Января 1 дня. СПб., 1762.
- Сумароков 1763 — А. П. Сумароков. Дифирамв Ея Императорскому Величеству Государыне Екатерине Алексеевне Самодержице Всероссийской на День Тезоименитства Ея Ноября 24 дня 1763 года. СПб., 1763.
- Сумароков 1766a — А. П. Сумароков. Ода Ея Императорскому Величеству Государыне Екатерине Алексеевне Императрице и Самодержице Всероссийской на День Коронования Ея Сентября 22 дня 1766 года. СПб., 1766.
- Сумароков 1766b — А. П. Сумароков. Ода Ея Императорскому Величеству Государыне Екатерине Алексеевне Императрице и Самодержице Всероссийской на день тезоименитства Ея Ноября 24 дня 1766 года. СПб., 1766.
- Сумароков 1769 — А. П. Сумароков. Разныя стихотворения. СПб., 1769.
- Сумароков 1773—1774 — А. П. Сумароков. Стихотворения духовныя. Ч. I. Стихотворения духовныя. Ч. II. Некоторые духовныя сочинения. Ч. III. Дополнение к Духовным стихотворениям. СПб., 1773—1774.

- Сумароков 1774 — А. П. Сумароков. Еклоги. СПб., 1774.
- Сумароков 1774а — Наставление хотящим быти писателями от Александра Сумарокова. СПб., 1774.
- Сумароков 1774б — А. П. Сумароков. Елегия любовныя. СПб., 1774.
- Сумароков 1774в — А. П. Сумароков. Оды торжественныя. СПб., 1774.
- Третьяковский, I—III — В. К. Третьяковский. Сочинения. Т. 1—3. СПб.: Изд-во А. Смирдина, 1849.
- Третьяковский 1730 — [П. Тальман]. Езда в остров любви / Переведена с французскаго на руской чрез студента Василья Третьяковскаго. СПб., 1730.
- Третьяковский 1734 — В. Третьяковский. Ода торжественная о здаче города Гданска. СПб., 1734.
- Третьяковский 1735 — В. К. Третьяковский. Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих званий. СПб., 1735.
- Третьяковский 1752 — В. Третьяковский. Сочинения и переводы как стихами так и прозою... Т. 1—2. СПб., 1752.
- Тынянов 1977 — Ю. Н. Тынянов. Ода как ораторский жанр // Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 227—252.
- Унбегаун 1969 — Drei russische Grammatiken des 18. Jahrhunderts / Nachdruck der Ausgaben von 1706, 1731 und 1750 mit einer Einleitung von B. O. Unbegaun. München, 1969 (Slavische Propyläen. Bd. 55).
- Успенский 1984 — Б. А. Успенский. К истории одной эпиграммы Третьяковского (эпизод языковой полемики середины XVIII в.) // Russian Linguistics. Vol. VIII (1984). № 2. С. 75—127.
- Хютль-Фольтер 1996 — G. Hüttl-Folter. Syntaktische Studien zur neueren russischen Literatursprache. Die frühen Übersetzungen aus dem Französischen. Wien; Köln; Weimar: Böhlau Verlag, 1996.
- Чижевский 1960 — D. Tschizewskij. History of Russian Literature from the Eleventh Century to the End of the Barock. S'Gravenhage, 1960.
- Чижевский 1970 — D. Tschizewskij. Das Barock in der russischen Literatur // Slavische Barockliteratur. Bd. 1 / Hrsg. D. Tschizewskij. München, 1970.
- Чернышев 1970 — В. И. Чернышев. Заметки о языке басен и сказок В. И. Майкова // Избранные труды: В 2 т. Т. 2. М., 1970. С. 36—62.

Ф. МИНЛОС

ПОВТОР ПРЕДЛОГОВ В НОВГОРОДСКОЙ ПЕРВОЙ ЛЕТОПИСИ

1. Постановка проблемы

В настоящей статье рассматривается характерное для древнерусского и старорусского языка появление двух или нескольких экземпляров одного и того же предлога в сложной именной (предложной) группе¹. Вот некоторые примеры, по которым можно составить самое общее представление об обсуждаемом явлении: *съ посадникомъ съ Нежатою* (Синод. НПЛ, 1164²), *по Оуѣ по рѣцѣ* (НЧЛ, «этногеографический» пролог «Повести временных лет»), *съ своею братьею съ князи* (Комис. НПЛ, 1346), *от брата своего от великого князя Василья* (Комис. НПЛ, 1408), *по мосту по великому* (Синод. НПЛ, 1230), *с нихъ с живыхъ* (НЧЛ, 1042).

В настоящей статье повтор предлога рассматривается прежде всего на материале двух памятников новгородского происхождения: Новгородской первой летописи старшей (Синодальный список, далее Синод. НПЛ) и

¹ Автор очень благодарен коллегам, замечания и вопросы которых существенно продвигали это исследование на разных этапах: это П. М. Аркадьев, И. Б. Иткин, А. С. Касьян, С. В. Князев, А. И. Рыко и анонимный рецензент журнала «Русский язык в научном освещении». Работа выполнена в рамках программы Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям» (проект «История восточнославянского лингвистического ландшафта») и при поддержке гранта РГНФ № 05-04-04-051а. Примеры из современного русского языка найдены в Национальном корпусе русского языка (www.ruscorgora.ru).

² После сокращенного названия списка летописи следует либо год, к которому приурочена запись (условная дата по современному летоисчислению, полученная вычитанием 5508 лет из года, указанного в летописи), либо, если такой приуроченности нет, обозначение раздела летописи. Запись «Комис. НПЛ = Синод. НПЛ» означает, что пример цитируется по Комиссионному списку, а в Синодальном списке в соответствующем месте такая же конструкция с точностью до фонетики, орфографии или несущественных морфологических вариантов. Примеры приводятся в той орфографии, в которой они даны в публикациях.

младшей (по Комиссионному списку³, далее Комис. НПЛ) редакции. Для сравнения систематически привлекается Новгородская четвертая летопись (по Строевскому списку, далее НЧЛ). Интересующее нас явление в НЧЛ исследовалось в дипломной работе [Агапов 1994]; некоторые примеры повтора предлогов в НПЛ даются в работе [Истрина 1923]. Для интерпретации полученных данных мы привлекаем материал некоторых других памятников, в частности, материал, описанный в предшествующих работах. Кроме указанных летописей, древнерусский повтор предлогов исследовался, в частности, на материале следующих источников: новгородских берестяных и пергаменных грамот [Борковский 1963: 296—298; Зализняк 1987: 153—154; 2004: 164—166], московских княжеских грамот (статья Д. Ворта 1982 г., ссылки на [Ворт 2006]) и Лаврентьевской летописи [Klenin 1989].

В указанных работах сформулированы основные структурные параметры, от которых зависит повтор предлога в древнерусском. Локальные вариации и исторические изменения системы повтора предлога еще недостаточно изучены. Хорошо известна связь повтора предлога с языковым регистром: повтор предлогов относительно регулярно встречается только в обиходном или деловом языке, значительно меньше представлен в летописях и почти не представлен в церковнокнижном языке (см. [Зализняк 2004: 166], где говорится о новгородских памятниках).

Обе редакции НПЛ созданы в Новгороде в XII—XV вв. (подробнее см. в разделе 3). Изучение новгородских летописей дает возможность сопоставить полученные результаты с данными бытовой письменности (берестяных грамот) того же времени и того же региона. Лингвистические данные Синод. НПЛ неоднократно привлекались для сравнения с языком берестяных грамот, причем в определенных отношениях эти идиомы демонстрировали нетривиальное сходство (см. [Зализняк 2004; Иткин, Коган 2006]). Новгородские известия, объединенные с большим количеством общерусских, вошли в летописный свод XV в., отраженный в НЧЛ и Софийской первой летописи. Точная датировка этого свода для нашей работы серьезного значения не имеет; существенно, что новгородские тексты были в нем в значительной степени отредактированы и что создан был этот свод не в Новгороде (как полагал А. А. Шахматов), а в Москве [Лурье 1976: 104—107; Клосс 2000]. Сравнение НПЛ с НЧЛ (особенно сравнение совпадающего текста) позволяет указать на тенденции в эволюции языковых установок в русском летописании.

Кроме структурных факторов, в достаточной степени известных из предшествующих исследований, в настоящей работе рассматривается зависимость повтора предлога от конкретных лексем или семантических групп

³ Здесь «по такому-то списку» означает, что летопись используется и цитируется по указанному списку; данные других списков (только для записей, имеющих в основном списке) в некоторых случаях используются для сравнения, но не учитываются в подсчетах.

лексем, входящих в конструкцию. Всем случаям такой зависимости можно дать социолингвистическое объяснение. Систематические различия обнаруживаются как между разными летописями и их списками, так и между разными частями летописей. Найденным различиям невозможно дать сколько-нибудь полную интерпретацию, исходя только из данных самих летописей, т. к. мы не знаем, какие факты отражают языковые установки писцов, а какие — изменения в устных формах языка. В этом отношении мы видим свою задачу в том, чтобы предоставить материал летописей в виде, пригодном для сопоставления с другими данными.

Изучение древнерусского синтаксиса в значительной мере оторвано от развития современных синтаксических теорий. В заключение статьи мы обсуждаем возможные теоретические объяснения основных, хорошо известных фактов, связанных с повтором предлога в древнерусском языке.

2. Описание материала

2.0. Общие замечания. Для базового определения структурных контекстов повтора предлога можно ввести понятие *согласованные элементы именной группы*. Такими элементами могут быть два или более слов субстантивного грамматического класса (= субстантивов) или сочетание субстантива со словами атрибутивного грамматического класса (= атрибутов)⁴. В первом приближении можно сказать, что предлог может встречаться перед каждым согласованным элементом именной группы. Кроме того, иногда предлог повторяется в конструкции с зависимым субстантивом в родительном падеже.

В данной работе не рассматривается повтор предлога при сочиненных именных группах (например, *съ смолняны и с полочаны*, Комис. НПЛ = Синод. НПЛ, 1167). Следует отметить, что в тех же некнижных регистрах (например, в новгородских берестяных грамотах), в которых регулярно встречался повтор предлога в сложных именных группах, повтор предлога при сочинении был почти обязательным. Возможно, между этими явлениями существует некоторая связь (например, в [Yadroff 1999: 121] согласованные сочетания субстантивов предлагается рассматривать как бессоюзное сочинение; см. также [Klenin 1989: 202]). Не отрицая возможности сопос-

⁴ Мы не используем принятые в описаниях древнерусского языка понятия «согласованное определение» и «приложение». Термин «согласованное определение» (для атрибутов) не очень удачен в качестве противопоставления «приложению», так как «приложение» также в абсолютном большинстве случаев согласуется по падежу и числу. При описании сочетаний субстантивов выделение вершинного элемента (и, соответственно, определение того, какое слово является приложением) не является для нас очевидной задачей (особенно для сочетаний двух имен нарицательных, см. [Борковский, Кузнецов 1963: 414—415]).

тавления этих случаев повтора предлогов на уровне интерпретации, мы считаем, что при описании следует рассматривать их отдельно: структурные параметры, которые выделяются для именных групп, совершенно неприменимы к сочиненным группам.

Реальная именная группа может содержать сразу несколько контекстов, в которых возможен повтор предлога. Все эти контексты рассматриваются независимо. В качестве основы нашей классификации выступают такие параметры: сочетание двух субстантивов / сочетание субстантива и атрибутивов, контактное / неконтактное сочетание. Неконтактными считаются такие конструкции, которые разорваны элементами, не входящими в данную именную группу. Рассматриваются только согласованные сочетания. Повтор предлога перед зависимым существительным в родительном падеже, например *в твоей братьи в вотчинах* [Ворт 2006: 222], в НПЛ не представлен; в [Агапов 1994] отмечается несколько примеров такого повтора в НЧЛ. Принята следующая последовательность описания контекстов: контактные сочетания субстантивов (2.1), контактные сочетания субстантива с атрибутами (2.2), неконтактные сочетания (2.3).

В НПЛ есть один пример повтора предлога в сочетании двух местоимений, которые употребляются и как атрибуты при субстантивах, и независимо: *над то надо все* (Комис. НПЛ, 1412). Ввиду обособленности этого примера и неочевидности его грамматической трактовки мы упоминаем его вне классификации (аналогично в [Зализняк 2004: 166]).

2.1. Контактные сочетания субстантивов. Для целей нашего описания следует выделить три основных типа субстантивов: личные местоимения, имена нарицательные и индивидуальные имена собственные. В отличие от Э. Кленин, которая относит к именам собственным, в частности, этнонимы (например, *половцы* [Klenin 1989: 196]), мы ограничиваем группу имен собственных индивидуальными именами: топонимами, личными именами, субстантивными прозвищами и отчествами на *-ич*.

Среди гипотетически возможных комбинаций двух субстантивов для нашего материала важны такие типы:

1. личное имя + отчество на *-ич* (например, *Святославъ Олговиць*; следуют всегда в этом порядке);

2. имя нарицательное + личное имя (например, *князь Святославъ*) или топоним (*рѣка Ока*; существует два варианта линейного порядка: *рѣка Ока ~ Ока рѣка*);

3. имя нарицательное + имя нарицательное (*съ своими мужи съ суздальци*, Комис. НПЛ, 1301).

За рамками этой классификации остаются сочетания с субстантивными прозвищами, т. к. они почти не представлены в нашем материале. Имена нарицательные могут быть распространены атрибутами или другими зависимыми. В сочетании личного имени с отчеством вершиной мы считаем личное имя; таким образом, в конструкции *князь Святославъ Олговиць* мы

выделяем два сочетания: *Святославъ Олговиць* (тип 1) и князь *Святославъ* (тип 2). Воздерживаясь от выделения вершины в сочетаниях имен собственных с именами нарицательными, такие сочетания в типе 3 мы рассматриваем наравне с одиночными именами нарицательными (например, *съ братомъ своимъ съ княземъ Володимеромъ*, Комис. НПЛ, 1380).

В конструкциях с нераспространенным отчеством (тип 1) в Новгородской первой летописи предлог повторяется примерно в 30% случаев (всего 71 пример, из них 21 с повтором хотя бы в одной из двух редакций и 50 без повтора). При этом в записях разного времени заметно разное соотношение форм с повтором предлога и без него, см. таблицу 1.

Таблица 1

	Примеры с повтором	Примеры без повтора	Процент примеров с повтором
XII в.	7	3	70%
XIII в.	10	20	33%
XIV в.	4	18	18%
XV в.	1	9	10%

Данные, приведенные в таблице, можно обобщить следующим образом: с течением времени в погодных записях НПЛ повтор предлога перед отчеством встречается все реже. Различия можно наблюдать не только между записями разного времени, но и между разными редакциями. Между редакциями НПЛ есть расхождения, которым затруднительно дать однозначную интерпретацию. С одной стороны, в двух сочетаниях с отчествами в Синод. НПЛ предлог перед отчеством повторяется, а в Комис. НПЛ — нет:

(1) *о князи Романъ о Мьстиславици о Изяслави вънуце* (Синод. НПЛ, 1169) ~ *о князи Романъ Мьстиславици о Изяслави внуць* (Комис. НПЛ);

(2) *от Ивана от Ярышевиця* (Синод. НПЛ, 1217) ~ *от Иоанна Ярышевица* (Комис. НПЛ).

Другие два примера демонстрируют обратное соотношение редакций:

(3) *съ княземъ Ярославомъ с Володимирицемъ* (Комис. НПЛ, 1233) ~ *съ князьмъ Ярославомъ Володимирицемъ* (Синод. НПЛ = НЧЛ);

(4) *съ княземъ своимъ съ Дмитриемъ съ Александровицемъ* (Комис. НПЛ, 1261) ~ *съ княземъ Дмитриемъ Александровичемъ* (Синод. НПЛ).

В НЧЛ предлог повторяется в этих конструкциях уже очень редко, он плохо сохранился даже в записях, относящихся к XII—XIII вв. Наиболее показательны примеры явных расхождений в общем тексте:

(5) *по Святослава по Олговица* (Комис. НПЛ = Синод. НПЛ, 1139) ~ *по Святослава Олговича* (НЧЛ);

(6) *въсташа на князя Мьстислава на Юрьевича* (Комис. НПЛ = Синод. НПЛ. 1157) ~ *на князя Мьстислава Юрьевича* (НЧЛ);

(7) *по Ярослава по Всеволодица по Юрьевъ внукъ* (Комис. НПЛ = Синод. НПЛ, 1215), *по князя Ярослава по Всеволодича* (Архив. НЧЛ) ~ *по князя Ярослава Всевълодича* (Строев. НЧЛ).

Особенно широко представлен тип 2, сочетание личного имени или топонима с именем нарицательным (с личным именем обычно сочетаются слова *князь, посадникъ, митрополитъ, воевода, братъ* и т. п., с топонимом — *рѣка, градъ, городъ* и некоторые другие). Для сочетаний с личным именем существенна распространенность группы имени нарицательного — в нераспространенных конструкциях предлог обычно не повторяется (например, *съ княземъ Ярославомъ*, Комис. НПЛ = Синод. НПЛ = НЧЛ, 1193), тогда как в распространенных конструкциях повтор представлен достаточно широко (*по брата его по Мьстислава*, Комис. НПЛ = Синод. НПЛ, 1179). Для сочетаний с топонимами (чаще всего в них выступает нераспространенное имя) повтор предлога также довольно обычен (*над рѣкою над Калкомъ*, Комис. НПЛ = Синод. НПЛ = НЧЛ, 1224).

В новгородских летописях представлено около 140 примеров сочетаний вида: нераспространенное имя собственное + личное имя, из них всего в 14 (т. е. в 10%) хотя бы в одной из двух редакций есть повтор предлога. Распределение примеров по времени погодных записей описано (с точностью до века) в таблице 2.

Таблица 2

	Примеров с повтором	Примеров без повтора	Процент примеров с повтором
XII в.	0	6	0%
XII в.	6	34	15%
XIII в.	3	53	5%
XIV в.	3	46	6%

Таким образом, перед личным именем после нераспространенного имени нарицательного предлог с наибольшей регулярностью повторялся в записях XII в. В трех случаях повтор предлога есть в старшей редакции НПЛ, но отсутствует в параллельном месте младшей редакции: *съ посадникомъ съ Нежатою* (Синод. НПЛ, 1164) ~ *с посадникомъ своимъ Нѣжатою* (Комис. НПЛ), *о посадницѣ о Якунѣ* (Синод. НПЛ, 1169) ~ *о посадници Якунѣ* (Комис. НПЛ), *съ зятьемъ съ Глѣбомъ* (Синод. НПЛ, 1176) ~ *съ зятьемъ своимъ Глѣбомъ* (Комис. НПЛ; отметим, что в этом примере имя нарицательное распространено). Примеров с обратным порядком элементов (т. е. личное имя + имя нарицательное) значительно меньше: 13 примеров без повтора предлога и 2 примера с повтором предлога, причем один из

них демонстрирует то же соотношение редакций: *по Гюргя по князя* (1141, Синод. НПЛ) ~ *по Юргя князя* (Комис. НПЛ), другой пример — *на Патракиа на князя* (1384, Комис. НПЛ).

Если группа имени нарицательного распространена атрибутами, предлог перед личным именем повторяется значительно чаще. С базовым порядком слов (с именем нарицательным в начале) на 44 примера без повтора приходится 21 пример с повтором (хотя бы в одном списке), что составляет 32%. Повтор в этом контексте характерен для Синодального списка в меньшей степени, чем для Комиссионного, ср. такие расхождения: *съ своимъ воеводою съ Гемябъгомъ* (Комис. НПЛ, 1224) ~ *съ воеводою своимъ Гемябъгомъ* (Синод. НПЛ), *съ княземъ своимъ съ Юрьемъ* (Комис. НПЛ, 1268) ~ *с княземъ своимъ Юрьемъ* (Синод. НПЛ = Акад. НПЛ = Толст. НПЛ = НЧЛ, 1266). В одном примере второй экземпляр предлога, согласно издателям, вставлен в текст Синод. НПЛ позднее: *на зять свои на Ярослава* (Комис. НПЛ = Синод. НПЛ = НЧЛ, 1216). В одном случае повтор предлога в НЧЛ соответствует отсутствию повтора в НПЛ: *с братомъ его с Прокопьею* (НЧЛ, 1141) ~ *с братомъ его Прокопьею* (Комис. НПЛ = Синод. НПЛ). Таким образом, с течением времени повтор после распространенного имени стал для авторов и редакторов летописей более обязательным. С обратным порядком слов соотношение примерно такое же, только примеров значительно меньше. Обнаружено 4 примера без повтора предлога и 3 — с повтором. Один из примеров демонстрирует уже известное нам расхождение редакций: *у Миндовга у литовскаго князя* (Комис. НПЛ, 1265) ~ *у Миндовга князя литовскаго* (Синод. НПЛ); другие два примера с повтором: *по Ярослава по Всеволодица по Юрьевъ внукъ* (Синод. НПЛ = Комис. НПЛ, 1215), *по Фому посла по Доброцинича по новоторьскыи посадникъ* (Синод. НПЛ = Комис. НПЛ = НЧЛ, 1215)⁵.

По всей видимости, повтору предлога способствует ситуация, когда в конструкции представлено не одно личное имя, а их ситуенная цепочка, как в таком примере: *с воеводами съ Михаиломъ с Даниловичемъ, съ Юрьемъ съ Ивановичемъ, съ Яковомъ с Хотовымъ* (Комис. НПЛ, 1350). К сожалению, у нас недостаточно материала, чтобы судить об этом с уверенностью.

В сочетаниях с топонимами предлог повторяется значительно чаще, чем в сочетаниях с личными именами. Конструкции с разными лексемами (*рѣка, городъ, градъ, озеро, острогъ*) следует рассматривать по отдельности. В сочетаниях с лексемой *рѣка*, стоящей на первом месте, находим 8 примеров с повтором предлога и 12 примеров — без повтора. Этимологические дублиеты *городъ / градъ* ведут себя совершенно различно с точки зрения повтора предлогов (распределение самих этих лексем в тексте НПЛ

⁵ Последние два примера демонстрируют морфологическое рассогласование элементов именной группы: имя собственное стоит в специальной форме для одушевленных субстантивов, а имя нарицательное имеет стандартный показатель винительного падежа; см. о таком рассогласовании [Крысько 1994: 24—25].

изучено А. А. Гиппиусом [Гиппиус 2006: 175—176]). Рассмотрим материал Комис. НПЛ. После лексемы *градъ* предлог никогда не повторяется: *из града Корестеня* (945), *въ градъ Киевѣ* (968), *въ градъ Роднѣ* (980), *около града Чернигова* (1068), *въ градъ Берне* (1204), *ко граду Антупату* (1240), *къ граду Пскову* (1242), *во градъ Суздаѣ* (1445). После лексемы *городъ* предлог, напротив, чаще повторяется. Есть 5 примеров без повтора предлога: *под городомъ Воробиномъ* (1214), *в город Галиць* (1219), *к городу Ваню* (1311), *в городъ Людовли* (1339), *къ городу Смоленську* (1404) и 11 примеров с повтором предлога: *на город на Копорью* (1241), *къ городу к Выбору* (1350), *къ городу ко Пскову* (1367), *до городка до Орѣшка* (1392), *къ городу к Орлецу* (1398), *с города с Киева* (1399), *до города до Киева* (1399), *у города у Выбора* (1411), *у города у Дѣмьяна* (1441), *под город под Яму* (1444), *в городъ въ Ямѣ* (1444). Возможно, отдельно стоит рассматривать случай, когда топоним состоит из двух слов: *к городу къ Медвѣжьи головѣ* (Комис. НПЛ, 1343). Другие анализируемые летописи подтверждают распределение, представленное на материале Комис. НПЛ. Отметим, что другие списки младшей редакции НПЛ дают еще один случай повтора предлога после лексемы *городъ* там, где в Комис. НПЛ предлог не повторяется: *в городъ в Людовли* (Акад. НПЛ = Толст. НПЛ, 1399). В НЧЛ отмечается еще 2 примера повтора предлога после лексемы *городъ* (*в городъ в Галичь*, 1219; *к городу къ Колодяжню*, 1240); один пример без повтора после этой лексемы (*оу города Вероучаго*, 977) и полдюжины примеров с лексемой *градъ* без повтора (исключение — *в градъ въ Володимери* в Новоросийском списке НЧЛ в записи за 1177 г., при *въ градъ Володимерѣ* в Строевском списке). После слова *озеро* есть 2 примера с повтором предлога и 2 примера без повтора предлога; в единственном примере с лексемой *острогъ* предлог повторяется (*на острогъ на Васильевѣ*, Комис. НПЛ, 1445). Рассмотренный материал можно обобщить следующим образом: после лексемы *городъ* 69% примеров демонстрируют повтор предлога, после лексемы *рѣка* предлог повторяется в 40% случаев, после лексемы *градъ* предлог почти никогда не повторяется. Представлены следующие расхождения текстов: *на озѣре на Касѣле* (Синод. НПЛ, 1198) ~ *на озерѣ Касоплѣ* (Комис. НПЛ), *на рѣку на Оку* (Синод. НПЛ = Комис. НПЛ, 1209) ~ *на рѣку Оку* (НЧЛ), *в городъ в Галичь* (НЧЛ) ~ *в город Галиць* (Синод. НПЛ = Комис. НПЛ, 1219), *к городу къ Медвѣжьи головѣ* (Комис. НПЛ, 1343) ~ *к городу Медвѣжьи Головѣ* (НЧЛ). После распространенного имени нарицательного распределение немногочисленных примеров совершенно идеальное: после слова *городокъ* предлог всегда повторяется (*из нѣмечкого городка из Выбора*, Комис. НПЛ, 1338, и еще 2 примера), после слова *градъ* предлог не повторяется (единственный пример: *въ свои град Киевѣ*, Комис. НПЛ, 946). При постпозиции имени нарицательного материал выглядит так: с лексемой *рѣка* 4 примера с повтором предлога и 3 — без повтора, с лексемой *городокъ* 2 примера с повтором предлога, с лексемами *градъ* и *городъ* по одному примеру без повтора.

Наконец, в конструкциях типа 3 (две группы с именем нарицательным) предлог в НПЛ в большинстве случаев повторяется, например: *о князи Романѣ о Мьстиславлици о Изяслави вьнуце* (Синод. НПЛ, 1169), *с дѣтми его с новгородци* (Комис. НПЛ, 1333), *от брата своего от великого князя Василья* (Комис. НПЛ, 1408). На 19 примеров с повтором предлога приходится 6 примеров без повтора, в частности: *съ княземъ своим каганомъ* (Комис. НПЛ = НЧЛ, 965), *съ своею братьею съ князи* (Комис. НПЛ, 1345), *на братью свою поганую Литву* (Комис. НПЛ, 1266).

2.2. Контактные сочетания субстантива с атрибутами. Повтор предлога перед постпозитивным атрибутом более характерен для Комиссионного, чем для Синодального списка. В четырех случаях конструкция с повтором предлога в Комис. НПЛ соответствует конструкции без повтора предлога в Синод. НПЛ: *къ Юрью к Володимерьскому* (Комис. НПЛ, 1238) ~ *къ Юрью Володимирьскому* (Синод. НПЛ); *на волость на Новгородскую* (Комис. НПЛ, 1240) ~ *на волость Новгородскую* (Синод. НПЛ), *на Всеволода на Чермьнаго* (Комис. НПЛ, 1214) ~ *на Всѣволода Чьрмьнаго* (Синод. НПЛ). С другой стороны, в Синод. НПЛ есть три примера с повтором предлога между именем нарицательным и постпозитивным атрибутом, таким конструкциям в Комис. НПЛ соответствуют конструкции с иным расположением атрибутов (т. е. ни один из этих случаев нельзя классифицировать как пример расхождения редакций собственно в повторе предлогов). Все три примера содержатся в записи за 1230 г.: *на грамотахъ на всѣхъ Ярославлихъ* (Синод. НПЛ, 1230) ~ *на всѣхъ грамотахъ Ярославлих* (Комис. НПЛ), *по улицамъ и по трѣгу и по мосту по великому* (Синод. НПЛ, 1230) ~ *по улицамъ и по торгу и по великому мосту* (Комис. НПЛ), *не въ нашей земли въ одной* (Синод. НПЛ, 1230) ~ *се же горе бысть не в нашей одной области* (Комис. НПЛ). Один пример, наличествующий в обеих редакциях, содержит повтор предлога после личного имени: *с Володимиром со Плесковьскимъ* (Комис. НПЛ = Синод. НПЛ, 1216). Остальные примеры повтора предлога при постпозитивном атрибуте есть только в младшей редакции (Комис. НПЛ): *къ Ярославу къ Переяславьскому* (1225), *с воеводами съ княжими* (1292), *с Борисовым сыномъ с намѣстникомъ* (1350), *въ Юрьевъ в Нѣмечкои* (1363), *по владычню благословению по Алексѣву* (1365), *к новому городку к нѣмечьскому* (1370), *за обиду за новгородскую* (1372), *из иных городовъ изо многих* (1391), *отъ своих мужи от волных* (1397), *по владычню благословению по Иванову* (1398), *въ их земли въ Прускои* (1410), *с Михаилоу съ Росхохиньмъ* (1417), *изъ князя великого отцины изъ тѣрьскогого* (1444). Отметим, что ряд примеров имеют тождественную структуру, в которой постпозитивный атрибут семантически связан с препозитивным атрибутом или именем: *с Борисовым сыномъ с намѣстникомъ* 'с сыном Бориса наместника', *изъ князя великого отцины изъ тѣрьскогого* 'из вотчины великого князя тверского', *по владычню благословению по Алексѣву* 'по благословению владыки Алексея', *по владычню благословению по Иванову*

‘по благословению владыки Ивана’. Как мы видим, формула *по владычню благословению по ...-ову*, связанная с церковной сферой, для постпозитивных атрибутов не исключает повтора предлогов (ср. сходное наблюдение Э. Кленин). Итак, в Синод. НПЛ есть 4 случая повтора предлога при постпозитивном прилагательном, а в Комис. НПЛ — 16 таких примеров. По нашим предварительным подсчетам, для обеих редакций это составляет около 7%.

Жанровая специфика летописей практически исключает использование личных местоимений первого и второго лица; единственный пример с местоимением и постпозитивным атрибутом находим в НЧЛ, и он содержит повтор предлога: *с нихъ с живыхъ* (1042). В НПЛ и НЧЛ есть лишь пара примеров повтора предлога между двумя препозитивными атрибутами: *въ Христовѣ въ церкви* (Комис. НПЛ, 1299), *в сильную в Соудальскую землю* (НЧЛ, 1216), *в Новгородскии въ Бѣжицкіи Верхъ* (НЧЛ, 1442)⁶ и 4 примера повтора предлога между препозитивным атрибутом и существительным — после квантора (*по всимъ по суставомъ*, 1417) и после притяжательного атрибута (*на отьнѣ на столѣ* 1210; *в кановѣ въ рдѣ* 1247; *въ свою въ епископью* 1476).

2.3. Неконтактные сочетания. Наиболее общая закономерность повтора предлога, сформулированная А. А. Зализняком, состоит в том, что «в случае разрыва именной группы не входящими в нее словами предлог обязательно повторяется, например: *у Гюргя възьми у Сьмъкниница* (№ 710)» [Зализняк 2004: 164]. Вот некоторые примеры повтора предлога при таком разрыве: *тогда же родися у князя сынъ у Ярослава* (Синод. НПЛ, 1191), *съ княземъ есмь с московскимъ миру не възьмь* (Комис. НПЛ, 1444). В НПЛ мы обнаружили 8 примеров с повтором предлога в неконтактных сочетаниях⁷ и один пример неконтактного сочетания, в котором нет повтора предлога (отсутствие предлога в этом примере может объясняться фонетически, как упрощение геминации $k + k > k$):

(8) *поуха владыка Иоанн к митрополиту на Москву Киприяну* (Комис. НПЛ, 1401).

⁶ Такой повтор очень характерен для старорусской деловой письменности (*во всей в моей отчине* [Ворт 2006: 220], *псков. с тою с вашею грамотою* [Зализняк 2004: 692]). Следует отметить, что новгородские летописи создают сравнительно мало контекстов для такого повтора, т. к. два атрибута при одном имени располагаются обычно в НПЛ по разным сторонам от него, т. е. используется конструкция вроде *на всѣх грамотах Ярославлих*. По подсчетам Р. А. Евстифеевой (устное сообщение), в Комис. НПЛ есть 26 примеров с порядком атрибут — субстантив — атрибут (АСА), 5 примеров с порядком САА и 9 примеров с порядком ААС.

⁷ Мы не усматриваем разрыва именной группы в примерах с *рекше* ‘то есть’, которые относит к этому типу Э. Кленин (например, *въ храмѣ рекше в ропати*, Лаврент. 987, см. [Klenin 1989: 191]).

В НЧЛ есть 6 надежных примеров повтора предлога в неконтактных сочетаниях [Агапов 1994: 50—51] и 4 примера неконтактных сочетаний без повтора предлога:

(9) *къ вамъ отъ Олгови Александру и Костянтину великимъ о Бозѣ самодержьцемъ царемъ Греческимъ* (НЧЛ, 912);

(10) *при цари бывшаго Романъ и Костантинъ и Стефане* (НЧЛ, 945);

(11) *в малѣ приидеть дружинѣ* (НЧЛ, 1069);

(12) *не хоташе въ воли быти князи Андрѣви* (НЧЛ, 1174).

Примеры (9) и (10) содержатся в официальных речах русских послов перед византийскими императорами. Относительно примеров (11) и (12) следует отметить, что повтор предлогов в неразорванных сочетаниях такого вида не очень вероятен (см. 2.2); возможно, это уменьшает вероятность и повтора при разрыве. В любом случае правило, требующее повтора предлога при разрыве именной группы, по крайней мере, для некоторых древнерусских текстов не было автоматическим. В связи с этим следует отметить, что в берестяной грамоте № 630 середины XII в. есть — по крайней мере, на первый взгляд — исключение из этого правила: *оу жирока поло гривнь оньковиця* [Зализняк 2004: 295]. В комментарии к грамоте утверждается, что налицо описка: *Оньковиця* вместо *оу Оньковиця*. Эта интерпретация остается наиболее вероятной, однако следует считаться и с возможностью морфосинтаксического отклонения.

3. Интерпретация материала

3.1. Неоднородность рассмотренного материала. В отношении повтора предлога проанализированные летописи оказываются неоднородными. Выделяются некоторые относительно последовательные изменения, которые фиксируются на протяжении текста НПЛ. Кроме того, систематически различаются и летописные редакции: младшая редакция НПЛ иногда характеризуется теми же чертами, что и более поздние записи, а в НЧЛ эти черты выражены еще ярче. Повтор предлога между нераспространенным именем нарицательным и личным именем, а также между личным именем и отчеством становится с течением времени более редким; повтор предлога между распространенным именем нарицательным и личным именем, перед постпозитивным атрибутом и в конструкциях с топонимами — наоборот, более частым.

Увеличение частоты повтора предлога в конструкциях с топонимами в записях XIV—XV вв. в НЧЛ отмечен в работе [Агапов 1994]. При этом, по данным [Klenin 1989], в Лаврентьевской летописи повтор предлога в топонимических конструкциях представлен лишь небольшим количеством примеров. Этот факт следует объяснять архаичностью текста Лаврентьевской летописи и тем, что ее погодные записи заканчиваются рубежом XIII—XIV вв.

Экспансия повтора предлога в конструкциях с постпозитивным атрибутом, наблюдаемая в нашем материале, согласуется с данными Э. Кленин, полученными при обследовании Лаврентьевской летописи. Как предположила Э. Кленин, повтор предлога перед именем является более древним явлением, чем повтор перед атрибутом. Последний, по ее предположению, распространился лишь в XIII—XIV вв. Данные новгородских летописей, как кажется, подтверждают гипотезу об экспансии повтора предлога в этой конструкции.

Тот факт, что в сочетаниях с отчествами с течением времени наблюдается утрата второго предлога, получил прозрачную интерпретацию в [Klenin 1989: 202]: если в XI—XII вв. отчества являлись относительно независимыми субстантивами, то постепенно их независимость сошла на нет, они стали частью сложного имени собственного. Независимость отчеств в древнерусском языке можно продемонстрировать тем, что они модифицировались атрибутами (*съ княземъ Изяславомъ съ третьимъ Володимирицемъ*, Комис. НПЛ = Синод. НПЛ, 1209) и выступали отдельно от личных имен, особенно во множественном числе (напр., *Ольговичи*).

К интерпретации изменений в языке летописей следует подходить, как уже отмечено выше, с большой осторожностью по следующим соображениям: эти изменения могут отражать изменения языковых установок писцов, а не изменения, происходившие в устных формах языка (или во всей совокупности форм языка). Например, следует отметить, что наши данные о древности повтора предлога перед постпозитивным атрибутом могут быть ненадежны. Если Э. Кленин ссылалась на примеры из смоленских грамот конца XII в. как на самые древние точно датируемые примеры повтора предлога в таких конструкциях, то сейчас можно привести и более древний пример из недавно найденной новгородской берестяной грамоты: *къ разоуилови ко старьшоум[о](у)* (№ 831, 2-я четв. — сер. XII в.) [Зализняк 2004: 166]. Еще более очевидно, что уменьшение частоты повтора предлога перед личным именем, отмеченное в летописях, не следует трактовать прямолинейно, как исчезновение такого повтора предлога из «живого» языка: количество таких примеров не уменьшается в новгородских берестяных грамотах, их много в новгородской деловой письменности еще и в XVII в. Отмирание повтора предлога перед отчествами должно быть подтверждено исследованием данных других регистров (прежде всего деловой письменности)⁸.

3.2. Лексические факторы. В нашем материале обнаружена зависимость повтора предлога перед именем собственным от лексического состава именной группы. Если при имени нарицательном нет атрибута, перед лич-

⁸ Отметим наблюдение А. А. Зализняка о том, что в государственных новгородских грамотах предлог нередко отсутствует перед отчествами на *-ичь* [Зализняк 1987: 154].

ным именем (*на сочькаго на Ставра*, Комис. НПЛ = Синод. НПЛ, 1118) предлог повторяется очень редко (примерно в 10%), а перед топонимом (*в рѣцѣ во Тѣѣрци*, Комис. НПЛ = НЧЛ, 1372) — достаточно часто (22 случая из 47, т. е. 47%). С другой стороны, среди имен нарицательных, которые стоят перед топонимом, различаются лексемы *городъ* (2/3 примеров содержат повтор предлога), *рѣка* (повтор в 40% случаев) и лексема *градъ* (в основных рассматриваемых списках повтор предлога не встретился ни разу).

Всем этим случаям мы предлагаем единообразную социолингвистическую интерпретацию. Как известно, регулярность повтора предлога напрямую связана с языковым регистром текста. Согласно нашему предположению, повтор предлога коррелирует также с социолингвистической характеристикой самой именной группы — в более официальных сочетаниях предлог обычно не повторяется, а в более бытовых — повторяется. Для пары *городъ / градъ* достаточно ясно, что русская полногласная лексема *городъ* является менее официальной, чем церковнославянская *градъ*. Лексема *рѣка*, по всей видимости, никак не маркирована с точки зрения официальности / неофициальности, поэтому она демонстрирует промежуточные результаты. При этом не кажется очевидным, что именная группа с именем собственным должна принадлежать более официальному регистру, чем именная группа с топонимом. Такое распределение можно объяснить тем, что в летописях референтами именных групп вида имя нарицательное + имя собственное чаще всего являются представители высших социальных слоев. Самые частые имена нарицательные — *князь*, *посадник*, *брат*, *митрополит*, причем *брат* во многих случаях относится к одному из братьев-князей.

Социолингвистическое объяснение для выбора разных конструкций в зависимости от лексического наполнения конструкций позволяет сопоставить описанное распределение с некоторыми другими случаями. В диссертации О. А. Абраменко [Абраменко 2000: 69—72] для сходного морфологического явления предложен удачный, как кажется, термин «официальные слова» (в данной работе они противопоставлены «обычным словам»). Эта классификация лексем вводится для объяснения морфологических вариантов в *gen.*, *dat.* и *loc. sg.* у слов I субстантивного типа склонения в некоторых северо-западных диалектах русского языка. «Официальные слова» связаны со сферами, которые находятся вне традиционного «малого мира» деревенской жизни (*тюрьма*, *война*, *почта*, *школа*, *зарплата*, *Москва*). «Официальные слова» либо присоединяют морфологические показатели, тождественные показателям стандартного литературного языка, либо демонстрируют обобщение окончания *-ы* на все три падежа. При этом по крайней мере у некоторых классов «обычных слов» представлена парадигма, не совпадающая с литературной: *gen. -e*, *dat.-loc. -ы*. Другой пример такого рода отмечен в английском языке детей штата Новая Англия: причастный суффикс имеет вид *[-ing]* у слов, которые они знают прежде всего из разговоров с родителями (*visiting*, *correcting*, *reading*) и *[-in]* у тех слов, ко-

торые активно используются в общении сверстников (*swimin, chewin, hittin*), см. [Эрвин-Трипп 1975: 348]. Кажется вероятным, что механизм использования разных окончаний или разных вариантов синтаксической конструкции не обязательно связан с «переключением регистров» в тексте. По крайней мере, возможно, что в некоторых случаях речь идет об использовании готовых форм или конструкций, которые берутся целиком из разных контекстов.

Отсутствие повтора предлога в конструкции с «официальными словами» можно проиллюстрировать также на сочетаниях нарицательных существительных с личными именами в старорусской деловой письменности. Повтор предлога в этих контекстах был почти обязательным. Однако по крайней мере после лексемы *князь* регулярно наблюдается отсутствие второго экземпляра предлога. Данное утверждение можно проиллюстрировать на примере собрания документов, связанных со служилыми землевладельцами [АСЗ]. Это грамоты XV—XVI вв., в основном в более поздних списках. Предлог перед личным именем в абсолютном большинстве случаев повторяется: *с Ивановым и своим сыном с Павликом (№ 2), з братом его с Федором (№ 2), от чашиника и воеводы от Василья Ивановича Бутурлина (№ 35)*. Однако после слова *князь*, даже если исключить из рассмотрения официальную царскую формулу в начале грамоты, вроде *от царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Руси (№ 18)*⁹, предлог повторяется лишь в небольшой доле случаев: в текстах № 1—190 на 18 примеров без повтора приходится 2 примера с повтором. Сходная картина наблюдается и в новгородских кабальных грамотах начала XVII в. [НКВ]. Вполне естественно, что синтаксическая конструкция *князь* + личное имя принадлежит официальному регистру, и в этой конструкции маловероятно явление, характеризующее прежде всего разговорный язык.

При всей естественности объяснения, предложенного для сочетаний со словом *князь*, следует упомянуть альтернативную возможность. Отмеченные факты можно объяснить структурной особенностью сочетаний со словом *князь*: особая слитность сочетаний с этим титулом обуславливала то, что этот субстантив терял свой морфосинтаксический статус полноценного согласованного элемента именной группы. Это проявлялось как в отмеченном отсутствии повтора предлога после него, так и в потере склонения. Д. Ворт пишет о сочетаниях типа *князь Иван*: «высокая степень лексикализации таких субстантивных сочетаний находит выражение в тенденции к тому, чтобы склонять только одно из них; ср. более позднее *у князь-Григория* („Горе от ума“, IV, 5)»; сходные примеры из Д. И. Фонвизина и Н. М. Карамзина приводятся в [Буслаев 1959: 455]. Такие примеры есть и в старорусской письменности, в частности в уже упомянутых документах,

⁹ Ср. [Зализняк 2004: 164], где говорится, что общие правила повтора предлога не действуют на «начальных формулах в любых документах, исходящих от представителей власти».

связанных с земельными наделами служилых людей [АСЗ]: *пожаловал еси князь Ивана Федоровича Перемышльскаго Горшакова (№ 63), за князь Андреем да за князь Борисом (№ 72), на князь Иване (№ 146), перед князь Борисом (№ 146)*, а также в Псковской третьей летописи [ПТЛ]: *князь Ярославом* (Строевский список, 1472), *со князь Васильемъ* (Архивский II список, 1471).

3.3. Устройство конструкций с повтором предлога. Некоторые отмеченные закономерности объясняются тем, что предлог с большей степенью обязательности повторяется в более расчлененных группах, т. е. таких группах, элементы которых обладают большей самостоятельностью. Д. Ворт, описывая контексты относительной обязательности повтора предлога, говорит о эквиолентных конструкциях (т. е. конструкциях, элементы которых обладают семантической равноправностью) — в частности, это конструкции, первый элемент которых является личным местоимением (*ко мне ко князю великому*), а также сочетания двух групп с именами нарицательными (*к своему брату старейшему к великому князю Васильевичу*). Исследователь апеллирует к практике издания древнерусских текстов, в которых второй элемент обсуждаемых конструкций (например, *съ братомъ своимъ съ княземъ Володимеромъ*, Комис. НПЛ, 1380) часто выделяется запятыми, т. е. интерпретируется как обособленный. Независимо от того, как оценивать попытки применить современную пунктуацию к древнерусским текстам, можно признать, что такие древнерусские конструкции похожи на обособленные обороты, известные и из современного русского языка, и кажутся более тривиальными, чем конструкции с повтором предлога после нераспространенных именных групп. Однако нам кажется, что было бы предпочтительнее найти относительно единообразную интерпретацию для всех случаев повтора предлога¹⁰.

Э. Кленин предлагает синтаксическое объяснение повтора предлога, в значительной степени основываясь на том факте, что предлог с наибольшей вероятностью повторяется, если первый субстантив является личным именем или личным местоимением (см. прежде всего описание новгородских грамот у А. А. Зализняка). Исследовательница опирается на распространенную точку зрения о том, что личное имя или личное местоимение в

¹⁰ В современном литературном русском языке есть факультативный повтор предлога в сочетании личного местоимения с квантором, возможный как при постпозиции, так и при препозиции квантора:

(13) *У нас у всех случился припадок отчаянного и бессмысленного страха* (Н. Я. Мандельштам, Воспоминания).

(14) *У всех у них голова ушла в плечи* (А. И. Солженицын, Один день Ивана Денисовича).

Сопоставление с этой конструкцией существенно потому, что в ней не наблюдается интонационного обособления.

отличие от нарицательного существительного само по себе образует полноценную именную группу (такие субстантивы плохо сочетаются с атрибутами, в некоторых языках — например, в английском и литературном немецком — они также не сочетаются с артиклем). Оказывается, что базовый случай («syntactic kernel») повтора предлога — это случай, когда внутри сложной именной группы выделяется еще по крайней мере одна вложенная именная группа. Видимо, такое же синтаксическое объяснение можно дать и для случаев, когда личному имени предшествует распространенная именная группа (например, *на зять его на Ондръѣ* (Комис. НПЛ = Синод. НПЛ, 1224). Следует отметить, что примерам с распространенной именной группой в общем случае невозможно дать семантическое объяснение. В некоторых случаях при распространении имени нарицательного его референция становится однозначной и конструкция, возможно, становится эквиполентной, однако во многих случаях, особенно у терминов родства, референция столь же однозначна и без модификаторов. Еще один случай синтаксического распространения конструкции — сочинение личных имен; в этом случае предлог, видимо, обычно повторяется (влияние этого фактора отмечено также Э. Кленин на материале Лаврентьевской летописи).

Регулярность повтора предлога при разрыве именной группы наталкивает на мысль о том, что функциональная необходимость в повторе предлога как дополнительного средства, обеспечивающего морфосинтаксическое единство именной группы, связана с тем, что для древнерусского предложения вполне нормальными были непроективность, разрыв многих именных групп [Зализняк 2004: 189—190]. Без повтора предлога увеличивалась бы неоднозначность некоторых предложений, особенно при разрыве именной группы¹¹.

При изложении материала мы стремились минимально эксплицировать синтаксическую структуру рассматриваемых конструкций, описывая непосредственно наблюдаемые факты в терминах грамматических классов и линейного порядка (сходным образом описывает контексты А. А. Зализняк). Как кажется, в нашем материале есть две конструкции, в которых определение синтаксической структуры является особенно спорным: согласо-

¹¹ В современном русском языке повтор предлога, сопоставимый с древнерусским, является обязательным исключительно в неконтактных конструкциях — при «плавающих определителях» [Testelet 2001], как в совершенно нормативном примере (18):

(18) *На двух маленьких окошках помещались на каждом по горшку с геранями* (Ф. М. Достоевский, Братья Карамазовы).

Следует, впрочем, учитывать, что описание этих конструкций как разорванных именных групп по крайней мере для современного русского языка кажется неудовлетворительным.

ванные сочетания субстантивов (*к новгородцем к послом*, Комис. НПЛ, 1437; в таких сочетаниях есть трудности с определением синтаксической вершины, этот случай мы оговорили и не будем к нему возвращаться) и повтор предлога при атрибутах (*из иных городовъ изо многих, в Новгородскии въ Бѣжицкіи Верхъ, въ свою въ епископью*). В последнем случае описание синтаксической структуры неразрывно связано не только с принятием содержательных решений о природе рассматриваемых конструкций, но и с выбором той или иной теории. Первая теоретическая дилемма состоит в том, вводим ли мы в структуру элементы, которые по определению не имеют поверхностного выражения. Если такие элементы не вводить, повтор предлога при атрибутах (в конструкциях вроде *ко князю к великому* и *во всей в моей отчине*) объясняется, видимо, тем, что аргументом предлога может быть атрибут (другая возможность, которую никто, насколько нам известно, не рассматривал, состоит в том, что все экземпляры предлога относятся к имени). Для описания повтора предлога при постпозитивном атрибуте (*ко князю к великому*) это решение дает однозначный результат. Для конструкций с препозитивными атрибутами (*во всей в моей отчине*) теоретически можно предложить два разбора: либо первый предлог относится к ИГ, а второй — к атрибуту *моей* (15), либо первый предлог относится к первому атрибуту, а второй — к оставшейся группе (16):

(15) *во ((всей)(в моей) отчине)*;

(16) *во всей) (в (моей отчине)*);

(17) *во ((всей) (моей) отчине)*.

Д. Ворт выбирает вариант (15). Такой выбор аргументируется тем, что решение (15) предсказывает невозможность сочетания *в моей в отчине*. Следует отметить, что этому решению (в рамках логики Д. Ворта) можно дать еще одно обоснование. В самом деле, структура (15) отличается от структуры без повтора предлога (17) лишь отсутствием второго экземпляра предлога, а структуре (16) (где первый атрибут каким-то образом оказывается за границами своей именной группы) нужно давать какое-то специальное объяснение.

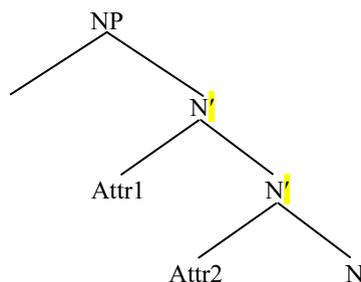
Решение Д. Ворта вполне естественно вписывается в его объяснение повтора предлога как разновидности согласования атрибута с субстантивом. При этом вводится дополнительное, но довольно естественное поверхностное ограничение, запрещающее два экземпляра предлога подряд (**в в всей отчине*; один из двух экземпляров предлога стирается).

Главная эмпирическая проблема этого решения связана с теми конструкциями, крайнюю редкость которых Д. Ворт хотел объяснить, — с повтором предлога непосредственно перед существительным. В материалах княжеских грамот, обследованных Д. Вортом, такой повтор возможен после атрибутов *тъ* и *съ* (например, *по тому же по разочту, в сей в грамоте* [Ворт 2006: 219]); подобные примеры вполне обычны для более поздней деловой письменности (*у всех у помещиков*, АСЗ, № 24; *в своем целе во уме*

и в разуме, АСЗ, № 158). Ясно, что предложенный исследователем формализм не просто предсказывает редкость или ограниченность таких конструкций, а вообще исключает их возможность.

Наиболее очевидная из сказанного выше теоретическая проблема решения Д. Ворта заключается в том, что к повтору предлога перед атрибутом оказывается неприменимо объяснение, предложенное Э. Кленин на материале Лаврентьевской летописи (предлог выделяет вложенную именную группу). Другая, более общая теоретическая проблема состоит в необходимости предполагать, что предлог может присоединяться к атрибутам.

Мы для объяснения повтора предлога будем использовать базовую версию X'-теории (ее доступное изложение можно найти в [Тестелец 2001: 559—583]). Ядром именной группы (NP) является имя (N). С каждым атрибутом связан промежуточный уровень («проекция») N'. Таким образом, в конструкции с несколькими препозитивными атрибутами каждый следующий атрибут модифицирует предыдущую проекцию N'; для простоты будем считать, что ближайший к имени препозитивный атрибут модифицирует непосредственно имя.



Работая в рамках X'-теории, Г. Чинкве выдвинул на материале романских языков гипотезу о том, что подобная структура, предсказывающая препозицию атрибутов, является универсальной для всех языков, а постпозиция атрибутов является результатом перемещения ядра именной группы из своей обычной позиции в некоторое более высокое положение в именной группе [Cinque 1994]. С течением времени разделились мнения относительно деталей этого перемещения, но в том или ином виде такое объяснение было применено к постпозитивным атрибутам и квантификаторам ряда других языков, в частности к аппроксимативной инверсии в русском языке (например, *часа на два*, см. [Yadroff, Billings 1998; Исакадзе 1998] и др.). В работе [Исакадзе 1998] был произведен краткий анализ древнерусских данных в рамках гипотезы о перемещении ядра. Однако сейчас не существует достаточно полной дескриптивной работы, посвященной расположению элементов именной группы в древнерусском языке; естественно, на этом этапе не может быть и доказательной формальной интерпретации этого явления.

Примем рабочую гипотезу о том, что постпозиция прилагательных в древнерусском языке является результатом перемещения имени. В этом случае постпозитивный атрибут модифицирует некоторую проекцию N', вершиной которой является либо нулевой след, оставшийся от перемещения, либо один из экземпляров N, эллиптированный на поверхностном уровне (в зависимости от того, какие используются более общие теоретические допущения). Если описывать это явление как эллипсис, конструкция с постпозитивным атрибутом оказывается похожей на эллипсис N', как в таких примерах (подчеркнута позиция, в которой опущено имя):

(19) *съ всеми князи низовьськими и с рязаньськими* — (Синод. НПЛ, 1232);

(20) *на всеи волѣ новгородчкои и на пьсковьскои* — (Комис. НПЛ. = Синод. НПЛ, 1253).

Естественно считать, что первообразные предлоги, маркирующие основные синтаксические отношения, отсутствуют как таковые в некотором синтаксическом представлении достаточной степени абстрактности. В рамках современного хомскианского синтаксиса это означает, что предлоги не следует рассматривать как спецификаторы отдельного функционального уровня, предложной группы. В этом случае такие предлоги можно рассматривать как поверхностную («морфологическую») реализацию падежа именной группы [Yadroff, Franks 2001]. Повтор предлога в этой модели представляет собой возможность поверхностной реализации падежа именной группы при промежуточных проекциях N'. Как кажется, такое предположение позволяет создать полную и непротиворечивую модель повтора предлога. В частности, редкий случай повтора предлога непосредственно перед именем (*в сей в грамоте*), который принципиально не укладывается в модель Д. Ворта, в нашей модели не исключается, но может быть ограничен дополнительными параметрами.

Создание полной формальной модели повтора предлога выходит за рамки данной статьи, т. к. должно быть основано не только на изучении самого этого явления в текстах разных жанров, разного времени и разной локализации, но и на целостном синтаксическом описании древнерусской именной группы, в частности, постпозитивных атрибутов, N'-эллипсиса и перемещений.

Источники

- АСЗ — Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII века. М., 1997.
 НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. ПСРЛ. Т. 3. М., 2000.
 НЧЛ — Новгородская четвертая летопись. ПСРЛ. Т. 4, ч. 1. М., 2000.
 ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
 ПТЛ — Псковская третья летопись. ПСРЛ. Т. 5, вып. 2. М., 2000.

NKB — The Novgorod kabala books of 1614—1616 / Ed. by H. Sundberg. Stockholm, 1982.

Литература

Абраменко 2000 — О. А. Абраменко. Новые данные по рефлексации индоевропейских окончаний *gen., dat. и loc. sg. a*-склонения (на материале западных и северо-западных русских говоров): Дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2000.

Агапов 1994 — А. В. Агапов. К вопросу о повторении предлога в русских летописях: Дипломная работа. Филол. фак. МГУ, каф. рус. яз. 1994.

Борковский 1963 — В. И. Борковский. Лингвистические данные новгородских грамот на бересте (из раскопок 1956—1957 гг.) // А. В. Арциховский, В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956—1957 гг.). М., 1963. С. 167—332.

Борковский, Кузнецов 1963 — В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. М., 1963.

Буслаев 1959 — Ф. И. Буслаев. Историческая грамматика русского языка. Л., 1959.

Ворт 2006 — Д. Ворт. Повторение предлога в древнерусском // Д. Ворт. Очерки по русской филологии. М., 2006. С. 216—232. (рус. пер. с изд.: D. Worth. Preposition repetition in old Russian // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. Essays in Honor of E. Stankiewicz. 1982. № 25/26. P. 495—507).

Гиппиус 2006 — А. А. Гиппиус. Новгородская владычная летопись XII—XIV вв. и ее авторы: (История и структура текста в лингвистическом освещении) // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2004—2005. М., 2006. С. 114—252.

Зализняк 1987 — А. А. Зализняк. К изучению языка берестяных грамот // В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984—1989 гг.). М., 1993. С. 191—321.

Зализняк 2004 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 2004.

Исакадзе 1998 — Н. В. Исакадзе. Отражение морфологии и референциальной семантики именной группы в формальном синтаксисе: Дис. ... канд. филол. наук. МГУ, 1998.

Истрина 1923 — Е. С. Истрина. Синтаксические явления Синодального списка I Новгородской летописи. Пг., 1923.

Иткин, Коган 2006 — И. Б. Иткин, Ю. К. Коган. Окончание дательного падежа *-ови* в древненовгородском диалекте // Рус. яз. в науч. освещении. 2006. № 12. С. 204—212.

Клосс 2000 — Б. М. Клосс. Второе предисловие к изданию 2000 года // ПСРЛ. Т. 4, ч. 1. Новгородская четвертая летопись. М., 2000. С. XI—XX.

Крысько 1994 — В. Б. Крысько. Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994.

Лурье 1976 — Я. С. Лурье. Общерусские летописи XIV—XV вв. Л., 1976.

Тестелец 2001 — Я. Г. Тестелец. Введение в общий синтаксис. М., 2001.

Эрвин-Трипп 1975 — С. М. Эрвин-Трипп. Язык. Тема. Слушатель: Анализ взаимодействия // Новое в лингвистике. Вып. 7. Социолингвистика. М., 1975. С. 336—362.

Cinque 1994 — G. C i n q u e. On the evidence for partial N-movement in the Romance DP' // G. Cinque, J. Koster, J.-Y. Pollock, L. Rizzi, R. Zanuttini (eds). *Towards Universal Grammar: Studies in Honor of Richard Kayne*. Washington: Georgetown Univ. Press, 1994. P. 85—110.

Klenin 1989 — E. K l e n i n. On preposition repetition: A study in the history of syntactic government in Old Russian // *Russian Linguistics*. Vol. 13. 1989. №3. P. 185—206.

Testeleets 2001 — Y. T e s t e l e e t s. Distributive Quantifier Float in Russian and Some Related Constructions // *Current Issues in Formal Slavic Linguistics* / Ed. G. Zybatow et al. Frankfurt am M. etc., 2001. P. 268—279.

Yadroff 1999 — M. Y a d r o f f. *Formal Properties of Functional Categories: The Minimalist Syntax of Russian Nominal and Prepositional Expressions*: Ph. D. Dis. Bloomington: Indiana Univ., 1999.

Yadroff, Billings 1998 — M. Y a d r o f f, L. B i l l i n g s. The Syntax of Approximative Inversion in Russian (and the general architecture of nominal expressions) // *Formal Approaches to Slavic Linguistics: The Connecticut Meeting 1997* / Ed. by O. Bošković, S. Franks, W. Snyder. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 1998. P. 319—338.

Yadroff, Franks 2001 — M. Y a d r o f f, S. F r a n k s. The Origin of Prepositions // G. Zybatow et al. (eds) *Current Issues in Formal Slavic Linguistics*. Frankfurt am M. etc., 2001. P. 69—79.

А. А. ПИЧХАДЗЕ

О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ГРЕЧЕСКИХ КНИЖНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ *

В 1958 г. Н. А. Мещерский опубликовал статью, посвященную греческим заимствованиям в древнерусском переводе «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия [Мещерский 1958], возникшем не позже середины XIII в. в Юго-Западной Руси. В статье грецизмы были разделены на группы в зависимости от того, что соответствует им в оригинале: 1) грецизмы, копирующие слово оригинала, 2) грецизмы, которым вообще нет соответствия в оригинале, 3) в оригинале употреблено другое греческое слово, нежели в переводе. Слова второй и третьей категорий составили довольно обширный перечень, что наглядно продемонстрировало глубокую укорененность греческих заимствований в древнерусском литературном языке домонгольской поры. Результаты, полученные Н. А. Мещерским на материале «Истории Иудейской войны», подтверждают данные других домонгольских переводов с греческого: «Пчелы», древнейший список которой датируется XIII в., и «Жития Андрея Юродивого», переведенного не позже середины XII в., по-видимому, в «северо-западной части восточнославянской территории» [Молдован 2000: 17, 102].

Традиция использования грецизмов в церковнославянской письменности восходит к кирилло-мефодиевской эпохе: вступая в круг книжных языков Европы и претендуя на роль культурного интернационального языка, старославянский охотно использовал заимствования из греческого [Večerka 1997: 371, 382]. В Великой Моравии грецизмы функционировали как яркая примета книжного стиля; в болгарских текстах X в. их круг еще бо-

* Статья представляет собой расширенный вариант доклада, прочитанного в январе 2006 г. в Санкт-Петербургском гос. ун-те на конференции «Язык и литература Киевской Руси», посвященной 100-летию Н. А. Мещерского. В статье использованы материалы, полученные в ходе работы над проектом 5.23 «Древние восточнославянские памятники в русской и восточнославянской письменности» программы ОИФН РАН «История, языки и литература славянских народов в мировом социокультурном контексте» и проектом «Корпус древнерусских переводов XI—XII вв.» программы ОИФН РАН «Филология и информатика» (гос. контракт 10002-251/ОИФН-2/241-242/150604-526 от 28.05.04).

лее расширился — в Болгарии, благодаря интенсивным контактам с Византией, греческую лексику активно усваивал не только книжный, но и народный язык [Večerka 1974: 54—58]. Из старославянского и болгарских памятников X—XI вв. книжные грецизмы переходили в древнерусскую письменность. Употребление грецизмов являлось признаком «образованности переводчика, его начитанности в современной ему оригинальной и переводной славяно-русской письменности» [Мещерский 1958: 258]. В первую очередь заимствовались слова, обозначающие предметы и явления, которых не было у восточных славян (бытовые, социальные, церковные и другие реалии). В сфере бытовых реалий преобладали изустные заимствования, в социальной и культурной сферах — книжные.

Прежде всего, в книжном языке могла существовать семантическая лакуна, которую заполняло заимствование. Так, в «Истории Иудейской войны» зафиксирован гапак **адокситѣ**, который соответствует форме наст. мн. 2 л. $\acute{\alpha}\delta\omicron\xi\epsilon\iota\tau\epsilon$ греческого глагола $\acute{\alpha}\delta\omicron\xi\epsilon\omega$ ‘считать позорным’ в контексте: **єднини * ми адокситѣ стражемъ. нѣже покараше** (вместо **покарашесѧ**) **всѧческага** [ИИВ, I: 184]. В этом пассаже цесарь Агриппа укоряет иудеев за то, что они не желают подчиняться римлянам, которым уже покорился весь мир. Форма **адокситѣ** — неясно, является ли она простой транслитерацией или образована от заимствованного глагола ***адоксити** — означает здесь ‘отвергаете, выказывая пренебрежение’. Переводчик «Истории Иудейской войны» хорошо знал глагол $\acute{\alpha}\delta\omicron\xi\epsilon\omega$ и в других местах переводил его как **отъмѣтатисѧ** или **неславно ксть** [ИИВ, II: 486], однако в данном контексте важно было передать значение ‘отвергать, считая недостойным себя’, а поскольку в древнерусском книжном языке не было глагола с такой семантикой и однословное соответствие казалось переводчику предпочтительнее описательного выражения, он решился ввести в текст заимствование. Но эксперимент не увенчался успехом: ни в старославянских, ни в южнославянских памятниках глагол ***адоксити** не встречался, а в Древней Руси владение греческим было уделом немногих и отсутствовала среда, в которой могло бы быть подхвачено новое заимствование, не подержанное авторитетными текстами.

Важно иметь в виду, что из греческого заимствовались не только обозначения вещей и явлений, чуждых славянской действительности. Нередко слово заимствовалось несмотря на то, что обозначаемое им явление было хорошо известно на славянской почве и имело либо славянское наименование, либо название, заимствованное раньше — часто тоже из греческого изустным путем (ср. [Bláhová 1997: 361—362]). В таких случаях новые книжные заимствования вступали в конкуренцию со славянским словом или старым освоенным грецизмом.

Иногда заимствование брало на себя функцию эвфемизма — прежде всего в физиологической сфере. Заимствования такого рода имеют многочисленные типологические параллели как в современных, так и в древних европейских языках [Weinreich 1968: 58]. К этой категории относится грецизм

афедронъ, употребляющийся в кирилло-мефодиевском переводе Евангелия; в церковнославянских памятниках он функционировал наряду с синонимами **проходъ**, **оходъ**. В Апостоле [SJS, 38: 168] и других церковнославянских текстах южнославянского происхождения [Срз., III: 520] встречается заимствованное название желудка (живота) — **стомахъ**; это слово сохранилось и в современном болгарском языке. Из восточнославянских переводов этот грецизм знает только «Пчела», причем переводчик ввел его в текст по собственной инициативе: в оригинале слово *στόμαχος* отсутствует [Семенов 1893: 360].

В некоторых случаях заимствование становилось обозначением особого рода, особой разновидности того или иного явления. Видимо, к этой категории относится грецизм **епистолиа** < *ἐπιστολή* ‘письмо, послание’. В византийском греческом *ἐπιστολή* употреблялось чаще всего как название апостольских посланий [Tchéremissinoff 2001: 197]. В церковнославянском **епистолиа** конкурировало с целым рядом синонимов германского, греческого и славянского происхождения. В Апостоле *ἐπιστολή* переводится как **боукъви**, **кънигы**, **посъланик** или передается как **епистолиа** [Речник: 191—192], причем грецизм использовался прежде всего применительно к посланиям апостолов [SJS, 11: 577—578]. Не все древние южнославянские памятники знают это слово [Tchéremissinoff 2001: 197—199], однако постепенно оно получает широкое распространение в церковнославянских текстах [СДЯ XI—XIV, 3: 215—216; Дубровина 1964: 48]. На восточнославянской почве оно вступает в конкуренцию со старым грецизмом **грамота**, об укорененности которого в древнерусском с древнейших времен свидетельствует огромная частотность в памятниках любых жанров, в том числе в бытовых и юридических текстах, а также большое число значений (в том числе специальных, терминологических) и наличие производных. Вероятно, грецизм **грамота**, не известный старославянским памятникам, представлял собою изустное заимствование [Львов 1966: 88, 101—102]. Слово **епистолиа**, по-видимому, было заимствовано позже и исключительно книжным путем. Сфера его функционирования гораздо уже: судя по данным [СДЯ XI—XIV], оно употреблялось примерно в пять раз реже, только в церковнославянских текстах, всегда в одном и том же значении и не имело производных. Именно благодаря тому, что **епистолиа** воспринималось как сугубо книжное слово на фоне нейтрального **грамота**, оно казалось более уместным в переводном произведении, где речь идет о посланиях, даже по внешней форме отличающихся от тех, что бытовали у славян. В «Пчеле» *ἐπιστολή* всегда передается как **епистолиа**, в «Истории Иудейской войны» в качестве эквивалента функционируют оба грецизма, **епистолиа** чуть чаще, чем **грамота**, причем один раз вообще без соответствия в оригинале, а один раз даже в соответствии с греч. *ὑράκιατα* [ИИВ, I: 846; II: 586]. Более того, грецизм **епистолиа** проникает и в оригинальные древнерусские памятники, древнейшие из которых — «Житие Феодосия» и «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора [СДЯ XI—XIV, 3: 215; Срз., I: 829]. Успех нового заимствования, по-видимому, определялся тем, что с его помощью

можно было обозначить особый жанр, отличавшийся от бытового письма, — послание иерарха или пастыря князю (как в «Житии Феодосия») или пастве, имевшее наставительное содержание, пространное по объему и написанное на церковнославянском языке. В то же время слово могло выполнять чисто стилистическую функцию, т. е. выступать в роли церковнославянизма¹: так, в «Чтении о Борисе и Глебе» грецизмом **епистолина** названо письмо князя старейшине города. Употребление заимствованного **епистолина** как более престижного «иноязычного слова по сравнению с исконным или ранее заимствованным» [Крысин 1995: 125] в контекстах, где упоминаются послания лиц, стоящих на высших ступенях социальной иерархии, имело место уже в старославянских памятниках [SJS, 11: 577].

Труднее уловить семантическую или стилистическую разницу между славянским **бѣсъ** и заимствованием **дѣмонъ**. Греч. *δαίμων* заимствовалось в славянские языки несмотря на наличие исконного синонима, по-видимому, потому, что входило в одну тематическую группу с другими грецизмами: **дѣволъ**, **сотона**, **ангелъ**. В старославянских и церковнославянских памятниках **бѣсъ** и **дѣмонъ** фигурируют в сходных контекстах [Дубровина 1964: 55; 1968: 136], но грецизм употребляется гораздо реже — очевидно, именно из-за того, что славянское слово полностью совпадало с греческим по семантике, а само понятие не нуждалось в обозначении престижным заимствованием (поэтому Нестор, употребляющий грецизм **епистолина**, не употребляет слова **дѣмонъ** [Дубровина 1968: 136]). Однако разница в функционировании двух синонимов все-таки имелась: негативные коннотации грецизма **дѣмонъ**, в отличие от исконного **бѣсъ**, не являлись строго обязательными. Об этом свидетельствует, например, следующий контекст из «Истории Иудейской войны», в котором о душах воинов, погибших в бою, говорится: **и пото́моу соу́тъ дѣмони** (*δαίμονες*) **блазни. и полове́зи милости́ви тавлающе́са своимъ срѣдникомъ съ кротостию** [ИИВ, I: 330]. Чуть ниже переводчик, передавая восхищение автора военными подвигами одного из римских воинов, говорит, что он рубил противников, **скача́ тако дѣмонъ** [ИИВ, I: 334], — это сравнение не имеет соответствия в оригинале, оно добавлено самим переводчиком. Прилагательное *δαίμονιος* в «Истории Иудейской войны» в большинстве случаев переводится как **божни** или **божьствѣнни** [ИИВ, II: 536]. Переводчик «Пчелы» в изречении Сократа переводит *δαίμων* как **богъ** [Семенов 1893: 314]. Таким образом, у грецизма, по сравнению с его славянским синонимом, отрицательная оценочность была выражена слабее, и эта его особенность сказалась на последующей истории слова.

Одно из самых интересных книжных заимствований из греческого — название воздуха **аеръ**, засвидетельствованное уже в старославянских памятниках (**бѣсы сжштад на аерѣ** Супр., **вода въ облацѣхъ аеръныхъ**

¹ Ср. замену **грамота** на **епистолина** во второй кассиановской редакции Киево-Печерского патерика, созданной в Киеве в 1460-е гг. [Абрамович 1930: 86; Дубровина 1974: 66], ср. [Срз., I: 829].

Син. Пс. и др.). Слово пользовалось большой популярностью у южнославянских и древнерусских авторов и переводчиков: по данным [СДЯ XI—XIV], оно встречается в памятниках всего в два раза реже, чем **въздѣхъ**. Контексты, в которых оно зафиксировано, разнообразны: птицы летают на аере, духи обитают на аере, аер наполняется благоуханием, дух черпает ощущения из аера, отсюда же являются знамения, слова наполняют аер и даже могут осквернить его [СДЯ XI—XIV, 1: 75—76; Срз., I: 7—8]. Однако семантический объем греческого заимствования не полностью совпадал с тем, который был присущ славянскому **въздѣхъ**: в отличие от последнего, оно не обозначало воздух, заполняющий пространство между предметами или внутри полого предмета [СДЯ XI—XIV, 2: 47]. С другой стороны, именно заимствование употребляется, когда речь идет о климате (благоприятном или неблагоприятном для жизни и земледелия): **въ время же жатвенное изгараетъ поле то. и аеръ (ἀέρας) на немъ недоуженъ** [ИИВ, I: 266], **плодитын анеръ (ἀέρας)** [ИИВ, I: 267], **аерьска (ἀήρ) естество** (вместо **аерьскоу естествоу**) **заноудившю съвокѣпитиса нестьвокѣпленимъ зимоу любашимъ и знои любашимъ** [ИИВ, I: 233]. Кроме того, **аеръ** может выступать синонимом слова **небо** [СДЯ XI—XIV, 1: 75]. Пассаж из «Истории Иудейской войны» показывает, что эти два понятия были тесно связаны в представлении древнерусских книжников: **тавшася по аероу и по нѣбу... колесници и полци съ оружнемъ скачюще сквозѣ шелаки** (сочетанию **по аероу и по нѣбу** соответствует греч. прилагательное **μετέωρα**) [ИИВ, I: 353]. Возможно, именно ситуация с названием неба, которое в древнерусском языке было представлено двумя вариантами (превратившись впоследствии в омонимы) — народным, с закономерным переходом *e* в *o* в корне (ср. **нобо** в берестяной грамоте № 10 втор. пол. XIV в. [Зализняк 2004: 617]), и церковнославянским, без перехода *e* в *o*, — объясняет мотивацию заимствования греческого слова для обозначения воздушных слоев, находящихся ближе к небу, чем к земле: заимствование выполняло ту же стилистическую функцию, что и церковнославянизм **небо**.

На древнерусской почве могло происходить вторичное заимствование, когда старый грецизм использовался в новом значении. Употребление грецизма **(и)гемонъ** (из греч. ἡγεμών ‘предводитель’) имело старую традицию, восходящую к переводу Евангелия, где это слово обозначает прокуратора, правителя области. Греч. ἡγεμών в знач. ‘военачальник’ переводится в Евангелии как **воквода**. Соответственно в церковнославянской письменности — как южнославянской, так и древнерусской — получает широкое распространение грецизм **(и)гемонъ** в значении ‘прокуратор’ [Dubrovina 1982: 421—423]. В этом значении **(и)гемонъ** многократно зафиксировано в Прологе и других произведениях [СДЯ XI—XIV, 3: 442], в том числе в древнерусских переводах — «Александрии», «Пчеле» (только один раз в цитате из Апостола [Семенов 1893: 96], в остальных местах — **воквода**, **владыка**, **властелинъ**, **наставьникъ**, **вожьскыи**). Однако в «Истории Иудейской войны» **(и)гемонъ** имеет значение ‘военачальник’, не известное

другим памятникам. Понятно, что побудило переводчика прибегнуть к заимствованию: римский военачальник не был вполне идентичен предводителю войска у славян, и слово **воквода** казалось не всегда уместным в применении к Веспасиану, Титу и другим римским полководцам. Грецизмом **(и)гемонъ** переводчик передавал не только греч. ἡγεμών, но и στρατηγός и πολεμάρχης [ИИВ, II: 46—47]. Показательно, что он не использовал заимствование **стратигъ**, отсутствующее также в «Пчеле» (в оригинале «Жития Андрея Юродивого» στρατηγός не встречается), но употребляющееся в «Хронике» Георгия Амартола [Dubrovina 1982: 418—420], «Повести о Варлааме и Иоасафе»² и южнославянских памятниках [Чернышева 1994: 415] — по-видимому, в активном лексиконе переводчика слова **стратигъ** не было. Вместо него он использовал старое заимствование **(и)гемонъ**, но актуализовал другое значение греческого слова-этимона — ‘военачальник’.

Вероятно, вторично заимствовался в древнерусский период и грецизм **исторниа**. В церковнославянских текстах это слово означает ‘систематическое и последовательное изложение событий’ и применяется к истории как отрасли знания [СДЯ XI—XIV, 4: 176—177]. Однако в «Пчеле» **исторниа** употребляется не только в этом значении в соответствии с греч. ἱστορία, но и в значении ‘рассказ, байка’ в соответствии с греч. διήγημα: **Нѣкому много исторѣвъ предѣъ ними молващю и въпросивъшю, аще дивныи... соуть исторѣи си...** [Семенов 1893: 309]. Кроме «Пчелы», это значение древнерусскими словарями нигде не зафиксировано. Скорее всего, второе значение не развилось из первого на восточнославянской почве, а заимствовалось из греческого.

Греческие заимствования, пришедшие из церковнославянского, на восточнославянской почве могли входить в устойчивые словосочетания. В древнерусских памятниках часто употребляются грецизмы **философъ** и **философия**, известные уже старославянскому языку [SJS, 47: 749]. Слово **философъ** (как показывает, между прочим, эпитет Константина-Кирилла) обозначало в церковнославянском языке мудреца, знатока книг, эрудита и ученого (в первую очередь теолога) [Дубровина 1974: 86—87]. Существительное **философия** имело значения ‘стремление к знаниям и мудрости’, ‘книжная мудрость’, ‘наука философия’, ‘наука’ (например, **числената философия** ἡ ἀριθμητικὴ φιλοσοφία, **грамматическата философия** ἡ γραμματικὴ φιλοσοφία в болгарской «Хронике» Иоанна Малалы X в. [Чернышева 1994: 432]). Значение, близкое к последнему, но более специальное мы находим в древнерусских переводах (И. И. Срезневский сформулировал его как ‘науки’ [Срз., III: 1354]). В «Истории Иудейской войны» о сыновьях Ирода Великого сообщается, что они получали образование в Риме. В оригинале трижды употреблен глагол παιδεύομαι ‘получать образование’, который трижды переводится **оучитиса философни** [ИИВ, II: 449]. Это выражение

² Данные о лексике «Повести о Варлааме и Иоасафе» приводятся по [Лебедева 1988].

является аналогом выражения **οὔχιντιςα грамотѣ**, которое А. И. Соболевский считал русизмом [Соболевский 1980: 137]. Если **οὔчннтисα грамотѣ** означает ‘учиться чтению и письму’, т. е. обозначает первоначальное обучение, то **οὔчннтисα философнн** относится к более высокой ступени образования. Можно было бы считать, что такой перевод представляет собой индивидуальную находку переводчика «Истории Иудейской войны», если бы точно такое же соответствие не встретилось в «Пчеле», где **οὔчнщесα философнн** переводит τοὺς παιδείας ὀρεγομένους [Семенов 1893: 96]. Поскольку переводы «Истории Иудейской войны» и «Пчелы» близки, но выполнены, безусловно, разными переводчиками, есть основания полагать, что оба переводчика опирались на древнерусский книжный узус — это подтверждается наличием сочетания **οὔчнтн(сα) философнн** в «Хождении» Даниила игумена [Срз., III: 1354]).

Проникновение чужой лексики в древнерусский язык стимулировали причины, которые вызывают языковые заимствования в любые эпохи: престижность языка-источника; потребность в наименовании нового предмета, явления или понятия; необходимость дифференцировать близкие, но различающиеся в каком-либо отношении понятия; желание назвать одним словом объект, который в родном языке мог быть обозначен только словосочетанием; принадлежность объекта к тематической области, для которой характерны иноязычные номинации; стремление к созданию стилистического эффекта [Weinreich 1968: 58—60, 64—65; Крысин 1993: 134—135; 1995: 124]. Как правило, несколько причин действовали одновременно. Однако при использовании книжных заимствований из греческого в древнерусском главным фактором, на фоне которого действовали все остальные, являлся стилистический: в стилистическом отношении книжный грецизм эквивалентен церковнославянизму. Это положение сохранялось и в эпоху второго южнославянского влияния, когда одновременно с увеличением числа церковнославянизмов в русских текстах происходило расширение сфер употребления старых грецизмов и распространение новых (см., например, специально о литургической лексике [Пентковская 2006: 153—158]). Это положение сохранялось и позже (ср. ниже о слове **салось**).

Усвоение книжных заимствований из греческого было протяженным во времени и сложным процессом, поэтому церковнославянские памятники заметно отличаются друг от друга по употреблению грецизмов. Прежде всего, переводные тексты отличаются от оригинальных. Вопрос о различном использовании грецизмов в переводных и оригинальных памятниках был поставлен В. Ф. Дубровиной [1968: 136], однако он до сих пор остается совершенно неизученным. Разумеется, благодаря тематической специфике и влиянию оригинала в переводных текстах иноязычные слова употребляются чаще. В то же время в древнерусских оригинальных сочинениях встречаются грецизмы, которых нет в древнерусских переводах. Например, у Нестора, Кирилла Туровского и в «Повести временных лет» зафиксировано усвоенное из восточноболгарских текстов название рая **порода**

(из греч. παράδεισος) и прилагательное **породьныи** ‘райский’ [СДЯ XI—XIV, 7: 218—219]. Древнерусские переводы не знают этого грецизма; правда, он отмечен в 16-ти Словах Григория Богослова с Толкованиями Никиты Ираклийского [Там же: 219], но этот памятник содержит немало лексических южнославянизмов. Аналогичным образом обстоит дело и с исконной славянской лексикой: в оригинальных древнерусских произведениях южнославянизмы употреблялись более активно, чем в древнерусских переводах (ср. [Пичхадзе 2002: 156, 164]). Причина этого явления в том, что древнерусские авторы вставляли в свои сочинения целые фрагменты из текстов южнославянского происхождения (в одном из таких фрагментов зафиксировано слово **порода** у Нестора, см. [Дубровина 1974: 73—74]), чего не могли позволить себе переводчики, вынужденные следовать за иноязычным подлинником. В результате именно оригинальные сочинения оказывались более восприимчивыми к некоторым южнославянским лексемам и грецизмам.

Древнерусские переводчики в целом менее активно использовали книжные грецизмы, чем южнославянские (см. перечни грецизмов южнославянских переводов в [Чернышева 1994; Tchérémissinoff 2001]). Например, в южнославянских переводах употребляются грецизмы **магъ** и **єнохъ** / **ємнохъ** / **євнохъ**, которых не знают древнерусские переводы, использующие славянские эквиваленты этих заимствований **вълхвъ** и **каженикъ** или **скопць**. Переводные памятники, в которых встречаются как южнославянские, так и восточнославянские лексические элементы («Хроника» Георгия Амартола, «Повесть о Варлааме и Иоасафе»), отличаются набором грецизмов от древнерусских переводов, в которых отсутствуют специфически южнославянские лексические элементы («История Иудейской войны», «Пчела», «Житие Андрея Юродивого»). Так, в «Хронике» Георгия Амартола зафиксирован грецизм **имармени** ‘судьба’, в «Хронике» Георгия Амартола и «Повести о Варлааме и Иоасафе» — **стратигъ** (см. выше) и такое редкое в церковнославянских памятниках заимствование, как **дида-скалъ** ‘учитель’; «История Иудейской войны», «Пчела» и «Житие Андрея Юродивого» этих слов не знают. С другой стороны, в «Хронике» Георгия Амартола и «Повести о Варлааме и Иоасафе» отсутствует грецизм **дог-матъ**, который употребляется в «Истории Иудейской войны» (в значении ‘повеление, указ’) и в «Пчеле» (в значении ‘учение, положение (философское или религиозное)»³, а греч. πορφύρα переводится архаичным славянским образованием **прапроуда** / **прапроудъ** / **прапроудь**, в то время как «История Иудейской войны» и «Пчела» используют грецизм **порфира** / **перфира**. Слово **прапроуда** / **прапроудъ** / **прапроудь** известно лишь узкому кругу памятников, принадлежащих к консервативной западноболгарской (македонской) традиции, во многом сохраняющей особенности кирилло-

³ Трижды, причем в одном из трех контекстов с глоссой: **злымъ догматомъ, еже ксть зловѣрькмъ** [Семенов 1893: 321].

мефодиевского словоупотребления: оно фиксируется в древнейших славянских евангелиях и паримейниках, в древнейших гимнографических текстах, 16-ти Словах Григория Богослова с Толкованиями Никиты Иракийского, «Хронике» Георгия Амартола, «Повести о Варлааме и Иоасафе» и близкой к ним в языковом отношении «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова [SJS, 28: 251; СДЯ XI—XIV, 7: 476—477; Срз., II: 1372]. Отсутствие грецизма **порфира** / **перфира**, широко распространенного в церковнославянских текстах, является яркой характерной особенностью «Хроники» Георгия Амартола и «Повести о Варлааме и Иоасафе», а использование вместо него архаичного слова **прапроуда** свидетельствует об их генетической связи с западноболгарской книжностью.

Из трех переводов, свободных от лексических южнославянизмов, наиболее активно использует книжные грецизмы «Пчела»: здесь зафиксированы **стомахъ** (см. выше), **схолниа** (в греч. διατριβή) ‘занятие (философией)’, **влюѡника** (в греч. κιβωτός) ‘книжное хранилище’, **икнописьць** ‘художник’ (в греч. ζωγράφος), **ѡнопъ** (в греч. нет) ‘негр’; грецизм **идолъ** ‘статуя’ употребляется в «Пчеле» не только в соответствии с греч. εἶδωλον, как в «Истории Иудейской войны» и «Житии Андрея Юродивого», но и в соответствии с ἀνδριάς и ἀνδράποδον. Меньше всего книжных грецизмов в «Житии Андрея Юродивого». Это неудивительно, поскольку памятник по многим языковым параметрам отклоняется от древнерусского церковнославянского стандарта. «Житие Андрея Юродивого» не знает таких широко распространенных в восточнославянских текстах грецизмов, как **аеръ**, **порфира** / **перфира**, **стихна**, **ароматы** (вместо них используются соответственно **въздоухъ**, **баграница**, **дѣло** или **тварь** или **облако**, а греч. ἄρωμα не переводится вовсе или переводится описательно). Вот как выглядят два сходных пассажа в «Пчеле» и «Житии Андрея Юродивого»: **ароматы приближающа анера исполняютъ бѣговоньствомъ свои**^а (τὰ εὐώδη τῶν ἀρωμάτων τῆς ἰδίας εὐπνοίας τὸν παρακειμένον ἀέρα πλήρη ποιοῦσιν) [Семенов 1893: 57] — **вона добра прииде. како изъ многа цвѣта** (εὐωδία ὡς πολλῶν ἀρωμάτων διεδόθη, в оригинале нет упоминания о цветах) [Молдован 2000: 447]. Большие трудности у переводчика вызывал термин στοιχεῖον ‘элемент’, который в «Истории Иудейской войны», как и во многих других церковнославянских памятниках, передается заимствованием **истихниа**. Переводчик «Жития Андрея Юродивого» находит для него очень отдаленные эквиваленты: **сега мира видимага дѣла** (τὰ... στοιχεῖα) **кдино по кдиному створена быша, на всю тварь (στοιχεῖα) нвѣнню, сами облаци** (τὰ στοιχεῖα) **тѣ даютъ дождь** [Молдован 2000: 354, 363].

«Житие Андрея Юродивого» отличается от других восточнославянских переводов и характером использования греческих заимствований. Если в «Истории Иудейской войны», в полном соответствии с древнерусским книжным узусом, **бѣсъ** употребляется гораздо чаще, чем **дѣмонъ**, то в «Житии Андрея Юродивого», вопреки обычному соотношению, превалирует грецизм (в «Пчеле» частотность грецизма и его славянского эквива-

лента примерно одинакова). Неожиданным образом ἡγεμών ‘правитель’, во множестве церковнославянских текстов передаваемое как (и)гемонъ, в «Житии Андрея Юродивого» переводится как епархъ (церковнославянское заимствование из греч. ἑπαρχος). Любопытна попытка переводчика ввести греческое название юродивого салось (греч. σαλός) [Молдован 2000: 181, 186], не зафиксированное в других древнерусских текстах⁴. Нестандартное употребление грецизмов в этом памятнике хорошо согласуется с предположением о его периферийном происхождении.

Употребляя книжные заимствования, переводчик «Жития Андрея Юродивого» обычно пассивно следует оригиналу. Так, грецизм **ипподромне** используется исключительно в соответствии с греч. ἵπποδρόμιον, и только прилагательное **ипподромный** в одном контексте передает греч. θέατρον⁵ (это слово в византийском греческом также означало ‘ипподром’), в то время как в «Истории Иудейской войны» **ипподроумне** в одном контексте переводит греч. γυμνάσια, в другом — сочетание ἀμφιθέατρον καὶ θέατρον, а греч. ἵπποδρόμος переводится как **конеристанне** [ИИВ, II: 66, 609]; в «Пчеле» **подроумне** соответствует греч. στάδιον и θέατρον [Семенов 1893: 380, 387].

Даже приведенные немногочисленные примеры показывают, что набор грецизмов и характер их применения (более активный или более пассивный, зависимый от греческого оригинала; более традиционный или отклоняющийся от стандарта) меняются от текста к тексту. В то же время выделяются группы текстов, близкие по набору и характеру использования грецизмов: очевидно, например, что в одну группу могут быть объединены «Хроника» Георгия Амартола и «Повесть о Варлааме и Иоасафе», с одной стороны, и «История Иудейской войны» и «Пчела» — с другой. Таким же образом были сгруппированы эти тексты на основе анализа исконной лексики [Пичхадзе 2002]. Следовательно, книжные грецизмы и особенности их употребления должны учитываться при характеристике каждого переводного памятника в отдельности и при группировке церковнославянских переводов наряду с исконной лексикой.

Очень многие древние книжные грецизмы сохранились в современном русском языке: **исторниа**, **порфира**, **ароматъ**, **стихуна**, **дѣмонъ** и др. Некоторые были утрачены сравнительно недавно: например, слово **стомахъ** употреблялось еще в XVIII в. [Ворт 2006: 351]. Сохранению грецизмов способствовало влияние европейских языков, которое русский язык испытывал в Новое время: сохранялись, как правило, грецизмы, усвоенные латынью и из латыни вошедшие в европейские языки. Если старый грецизм в русском языке терял исходное значение, оно начинало передаваться другим заимствованием — как это произошло со словом **стихуна**, первоначально

⁴ Показательно, что оно снова появляется в русских памятниках в XVII в. [СРЯ XI—XVII, 23: 25].

⁵ В остальных случаях θέατρον в «Житии Андрея Юродивого» переводится как **позорище** и **помостъ** [Молдован 2000: 162, 323 и 448].

чальное значение которого перешло к латинизму *элемент* [Кутина 1966: 108—110; История 1981: 194; Ворт 2006: 349]. Если же греческое заимствование утрачивалось, его место занимали заимствования из европейских языков. Так, например, значения грецизма *аеръ* передаются в современном русском новыми заимствованиями *климат*, *атмосфера*. В том же значении, что и древнерусское *салось* 'юродивый', употреблялось пришедшее из европейских языков заимствование *идиот*. Даже такой экзотический гапакс, как *адоксите*, становится понятнее в свете поздних заимствований *манкировать* и *неглижировать*, передающих идею пренебрежения. Тот факт, что на место старых иноязычных слов приходят новые, указывает на глубокую закономерность: существуют понятия, для обозначения которых язык на разных этапах своего развития охотно использует заимствования.

Литература и источники

Абрамович 1930 — Д. И. А б р а м о в и ч. Киево-Печерський патерик: Вступ., Текст. Примітки. У Києві, 1930 (Пам'ятки мови та письменства давньої України. Т. 4).

Ворт 2006 — Д. В о р т. Порядок в хаосе: глоссы на полях памятника XVIII века («Книга Систіма» Дмитрия Кантемира) // Очерки по русской филологии. М., 2006. С. 343—362 (рус. пер. с изд.: D. Worth. Order in Chaos: Marginal Glosses in Dmitrii Kantemir's *Книга свстіма* // Доломоносковский период русского литературного языка. Материалы конференции на Фагерудде, 20—25 мая 1989 г. / Eds A. Sjöberg, L. D'ugovič, U. Birgegård. Stockholm, 1992. P. 325—338).

Дубровина 1964 — В. Ф. Д у б р о в и н а. Из наблюдений над употреблением грецизмов в переводном тексте русской рукописи XI в. // Источниковедение и история русского языка. М., 1964. С. 44—58.

Дубровина 1968 — В. Ф. Д у б р о в и н а. О лексических грецизмах в оригинальных и переводных житийных текстах по русским спискам // Памятники древнерусской письменности: язык и текстология. М., 1968. С. 117—136.

Дубровина 1974 — В. Ф. Д у б р о в и н а. К изучению слов греческого происхождения в сочинениях древнерусских авторов // Памятники русского языка: Вопросы исследования и издания. М., 1974. С. 62—104.

Зализняк 2004 — А. А. З а л и з н я к. Древненовгородский диалект. М., 2004.

ИИВ I—II — «История Иудейской войны» Иосифа Флавия: Древнерусский перевод / Изд. подгот. А. А. Пичхадзе, И. И. Макеева, Г. С. Баранкова, А. А. Уткин. Т. 1—2. М., 2004.

История лексики 1981 — История лексики русского литературного языка конца XVII — начала XIX века. М., 1981.

Крысин 1993 — Л. П. К р ы с и н. Языковое заимствование как проблема диахронической социолингвистики // Диахроническая социолингвистика. М., 1993. С. 131—152.

Крысин 1995 — Л. П. К р ы с и н. Языковое заимствование: взаимодействие внутренних и внешних факторов (на материале русского языка современности) // Русистика сегодня. 1995. № 1. С. 117—134.

Кутина 1966 — Л. Л. К у т и н а. Формирование терминологии физики в России. М.; Л., 1966.

Лебедева 1988 — Словоуказатель к тексту «Повести о Варлааме и Иоасафе», памятнику древнерусской переводной литературы XI—XII вв. / Сост. И. Н. Лебедева. Л., 1988.

Львов 1966 — А. С. Львов. К истории слова *грамота* в древнерусской письменности // Исследования источников по истории русского языка и письменности. М., 1966. С. 88—103.

Мещерский 1958 — Н. А. Мещерский. К вопросу о заимствованиях из греческого в словарном составе древнерусского литературного языка (по материалам переводных произведений Киевского периода) // ВВ. Т. 13. 1958. С. 246—261.

Молдован 2000 — А. М. Молдован. «Житие Андрея Юродивого» в славянской письменности. М., 2000.

Пентковская 2006 — Т. В. Пентковская. Иерусалимский Устав в рукописи из коллекции П. Фекулы (Fekula VI) // Вереница литер: К 60-летию В. М. Живова. М., 2006. С. 147—174.

Пичхадзе 2002 — А. А. Пичхадзе. Литературно-языковые и переводческие традиции в словоупотреблении церковнославянских памятников и русских летописей XI—XIII вв. // Рус. яз. в науч. освещении. 2002. № 4 (2). С. 147—170.

Речник — Речник на грчко-црковнословенски лексички паралели. Скопје, 2003.

СДЯ XI—XIV 1—7 — Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.). Т. 1—7. М., 1988—2004.

Семенов 1893 — Древняя русская Пчела по пергаменному списку / Изд. В. Семенова // Сб. ОРЯС. Т. 54. 1893. № 4.

Соболевский 1980 — А. И. Соболевский. Особенности русских переводов домонгольского периода // История русского литературного языка. Л., 1980. С. 134—147.

Срз. I—III — И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1—3. СПб., 1893—1912.

СРЯ XI—XVII, 23 — Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 23. М., 1996.

Чернышева 1994 — М. И. Чернышева. Греческие слова, способы их адаптации и функционирование в славянском переводе «Хроники» Иоанна Малалы // В. М. Истрин. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе / Репр. изд., подгот. М. И. Чернышевой. М., 1994. С. 402—462.

Bláhová 1997 — E. Bláhová. Griechische Lehnwörter im altkirchenslavischen Parömienbuch // Byzantinoslavica. Vol. 58. 1997/2. S. 350—362.

Dubrovina 1982 — V. F. Dubrovina. Zur Aufnahme altgriechischer Begriffe mit der Bedeutung 'Anführer, Herrscher' in die russische Schriftsprache // Sociale Typenbegriffe im alten Griechenland / Hrsgb. von E. Ch. Welskopf. Bd. 6. Berlin, 1982. S. 418—430.

SJS 1—51 — Slovník jazyka staroslověnského. D. 1—51. Praha, 1958—1997.

Tchéremissinoff 2001 — K. Tchéremissinoff. Recherches sur le lexique des chroniques slaves traduites du grec au Moyen-Âge. Paris, 2001.

Večerka 1974 — R. Večerka. Der Anteil des Griechischen am Funktionieren des Altkirchenslawischen als Schriftsprache des Ersten bulgarischen Zarentums // Les Études balkaniques tchécoslovaques. [T.] V. Prague, 1974. S. 51—59.

Večerka 1997 — R. Večerka. The Influence of Greek on Old Church Slavonic // Byzantinoslavica. Vol. 58. 1997/2. P. 363—386.

Weinreich 1968 — U. Weinreich. Languages in Contact. The Hague; Paris, 1968.

А. В. САХАРОВА

**К ВОПРОСУ О ПРАГМАТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЯХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДИКАЦИЙ
НА ПРИЧАСТНЫЕ И ФИНИТНЫЕ
В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛЕТОПИСИ**

Функционирование причастий в средневековых восточнославянских текстах — одна из тех тем, которым традиционно уделяется серьезное внимание в исторической русистике.

Как известно, восточнославянские краткие (нечленные) причастия пошли по пути изменения своих синтаксических функций от подчиненности имени к подчиненности финитному глаголу, потеряв при этом склонение, а позднее и согласование по роду. Уже для раннедревнерусского периода данные формы терминологически некорректно называть причастиями, так как они почти не использовались в качестве синтаксических определений [Зализняк 2004: 134, 184—185]. Таким образом, правильнее было бы говорить о деепричастиях, но в русистике давно сложилась традиция использовать термин *краткое причастие* (видимо, потому, что в некоторых текстах форма согласование сохраняла), и в данной работе не будем ее нарушать.

Но прежде чем перейти к дальнейшему описанию функционирования русского краткого причастия действительного залога, необходимо дать некоторые общие сведения о синтаксических и дискурсивно-прагматических особенностях функционирования деепричастий (и причастий в адвербиальном употреблении).

**1. Синтаксис и дискурсивные функции деепричастий
(и причастий в адвербиальном употреблении)**

Обычно когда говорят о деепричастии, его определяют как глагольную форму, чья главная функция — маркирование обстоятельственно подчиненной синтаксической группы, т. е. такой, которая не обозначает актанта глагола и не является определением [Haspelmath 1995: 3; Nedjalkov 1995: 97]. Единицы, возглавляемые причастиями и деепричастиями, считают синтаксически подчиненными именно на том основании, что там употреблена не-

финитная репрезентация глагола. (Напомним, что для языков европейского стандарта нефинитными называются глагольные формы, не имеющие показателей личного согласования, времени, наклонения.)

Считается, что поверхностно-синтаксическое подчинение имеет прагматический, когнитивный смысл. Дискурс имеет ядерную структуру, где одна информация в большей степени соответствует глобальной риторической цели говорящего / пишущего (пересказать, описать, объяснить нечто и т. п.), а другая — в меньшей, и этой менее важной, второстепенной информации и соответствуют приблизительно подчиненные предикативные единицы [Lakoff 1984; Matthiesen, Thompson 1988; см. также Tomlin et al. 1997: 91—92].

Для этого противопоставления основной и второстепенной информации используют обычно термины *foreground* и *background*, которые принято переводить как *передний план* и *задний план*, или *фон*, соответственно.

Цель нарратива — рассказать об определенных изменениях положений дел, причем в той последовательности, в которой они реально происходили. Поэтому основным, передним планом в нарративе называют собственно линию повествования, т. е. предикации, описывающие происходившие одно за другим события, где характер следующего события в той или иной степени определен обстоятельствами предыдущего [Horper 1979; Dry 1981; 1983 (цит. по: Wårvik 2002: 29)]. Таким образом, не принадлежащими нарративной последовательности (не двигающими изложение вперед) считают предикации, обозначающие ситуации, одновременные событиям основной последовательности и вообще хронологически на них накладывающиеся, а также предикации, представляющие собой прагматические презумпции — отсылки к уже сообщенной информации.

Обстоятельственные предикации (в том числе и причастные, и деепричастные), если они обозначают перфективные ситуации и не представляют собой пресуппозиционных отсылок назад, таким образом, следует относить к линии нарративной последовательности [Dry 1981 и 1983; цит. по: Wårvik 1994: 29]: несмотря на то что они подчиненные, они двигают изложение вперед¹.

Но важно отметить, что существует еще один критерий деления информации в нарративе на уровни, когда принадлежность предикации к переднему плану понимают как ее важность, или выделенность (*importance*,

¹ Считают, что у предикаций нарративной последовательности должна быть еще одна характеристика: события должны быть отражены иконически, без инверсий. Но инверсия, нарушение иконического порядка, сама есть формально-синтаксическое средство выражения, а не дискурсивная характеристика контекста. Одним из распространенных средств маркирования инверсии является и превращение передвигаемой предикации в подчиненную (в том числе и деепричастную). Но даже если мы сочтем, что употребление деепричастия при инверсии диктуется синтаксическим правилом, возникнет вопрос о том, каким дискурсивным фактором вызвана сама инверсия.

saliency). При этом выделенность может осознаваться как прагматическая характеристика предикации — ее неожиданность, нестереотипность по сравнению с другими; одним из средств языкового кодирования такой прагматической выделенности может быть длина или степень сложности предикативной единицы [Polanyi, Hopper 1981]. При таком прагматическом подходе к переднему плану повествования также безусловно относят и предикативные единицы, сообщающие центральную, ключевую с точки зрения жанра и сюжета информацию [Polanyi, Hopper 1981; Chafe 1987].

Финитные предикации в таком случае считают более прагматически выделенными по сравнению с нефинитными². Так, в греческом языке Евангелия употребление обстоятельственных причастных оборотов называют средством выделения следующей после такого оборота финитной предикации, обозначающей некое ключевое для небольшого фрагмента событие [Longacre 1983: 30—34].

Логично предположить, что и распределение славянских причастий могло подчиняться закономерностям в том числе и такого плана, но прежде чем рассуждать о дискурсивных функциях древнерусского причастия, напомним и о том, каковы были синтаксические особенности его функционирования.

2. Древнерусское краткое причастие

Древнерусские краткие причастия действительного залога (далее речь пойдет только о них) издавна привлекали внимание исследователей благодаря в первую очередь своему особому синтаксису. Как известно, претеритное *ш*-причастие традиционно употреблялось для обозначения действия, предшествующего обозначенному финитным глаголом, от которого оно зависело, а презентное *ш*-причастие — одновременного действия [Růžička 1963: 82—83; Борковский, Кузнецов 1965: 318—319; Лопатина 1978:

² Глагольные репрезентации, где не выражены некоторые грамматические категории, обязательно выражаемые в независимых предикациях, также называют иногда редуцированными [Haiman, Thompson 1984; Haiman 1985: 196 ff.]. Однако в первую очередь этот термин следует отнести к таким деепричастиям агглютинативных языков (некоторых северокавказских, тюркских и др., см. выборку [Калинина 2001: 79—91]), которые имеют нулевой аффикс и поэтому могут трактоваться как чистые основы презенса или претерита (к которым не присоединены показатели лица или какой-то иной обязательно выражаемой в финитном глаголе категории). Употребление деепричастий как редуцированных глагольных форм объясняют просто действием механизма экономии языковых средств: в языке есть общая тенденция не повторять информацию, которая предсказуема или известна, поэтому и появление редуцированных предикаций есть результат своеобразного эллипсиса: в случае объединения серии глаголов по каким-то признакам, которые в данном случае оказываются важными, у всех глаголов, кроме одного, эти признаки оказываются не отмечены [Haiman, Thompson 1984].

108—109; Кузьмина, Немченко 1982: 292]. В «гибридных», т. е. соединяющих восточнославянские и церковнославянские элементы, древнерусских текстах были возможны такие употребления кратких причастий в именительном падеже, когда не обнаруживалось никакого финитного глагола с тем же подлежащим, от которого их можно было бы считать зависимыми³. Специфический летописный синтаксис причастий объясняют и тем, что списчик мог недостаточно владеть грамматикой церковнославянского причастия, и тем, что подобный синтаксис причастия мог стать осознанно воспринимаемой нормой, свойственной определенному кругу письменных жанров [Алексеев 1987б: 44]⁴.

Однако факторы, могущие обуславливать само распределение предикаций на оформляемые финитными глаголами и причастными оборотами, почти не исследовались. Летописные причастные обороты в именительном падеже, осознаваемые как особое синтаксическое явление, именно поэтому получили, как известно, специальное название «второстепенные сказуемые» [Потебня 1958: 185—187]. Термин этот стал для большинства отечественных исследователей метафорическим обозначением того, что подоб-

³ Обороты с краткими причастиями в именительном падеже имели ряд и других синтаксических особенностей употребления, в целом не характерных для старославянских текстов, которые сближали их с финитными глаголами [Потебня 1958: 185—186; Истрина 1923: 73; Лопатина 1978: 115; Алексеев 1987а]. Так, следует отметить «глагольный» порядок слов, когда подлежащее главной предикации находится внутри составляющей с причастием во главе (типа *на ель ворона взгро-моздьясь*), и наличие сочинительного союза между причастным оборотом и финитным глаголом (*вставь и рече; иде, а оставивь*). Точно так же в восточнославянских текстах не действовали синтаксические ограничения на употребление дательного самостоятельного [Белоруссов 1899; Сабенина 1978; Борковский, Кузнецов 1965].

⁴ Напомним также о том, что представляла собой литературная норма для языка средневековой Руси и какие механизмы действовали при порождении книжных текстов [Живов 1995; 1998]. Обучение книжному языку (разумеется, достаточно отличному от разговорного на всех уровнях) могло включать в себя изучение орфографии, но на синтаксическом уровне никакие правила не формулировались. Навыки владения книжным языком формировались опытом чтения. Поэтому, создавая тексты, от которых требовалось хотя бы формальное сходство с образцовыми, авторы нередко переосмыслили специфически книжные элементы и конструкции, не имеющие соответствий в их разговорном языке, в тех категориях, которые были им доступны. А одно такое переосмысление могло уже стать для последующих читателей подобием прецедента, легализующего это отклонение. Закономерности употребления причастий некоторых глаголов, разобранных в работе [Сахарова 2007], заставляют предположить, что действием подобного механизма переинтерпретаций (когда причастие определенного глагола может быть осознано как категория, привязанная к определенным содержательным контекстам, но не ограниченная синтаксически) и объясняется появление и «прогрессирование» синтаксических черт финитного глагола у краткого причастия.

ного рода предикации хотя и похожи на глагол («сказуемые»), но имеют меньшую важность с точки зрения организации дискурса (второстепенны) [Истрина 1923; Борковский, Кузнецов 1965; Стеценко 1972; Лопатина 1978; Кузьмина, Немченко 1982]. Второстепенность называли и свойством современных русских деепричастных оборотов [Шахматов 1929/2001]⁵.

Дискурсивной функцией дательного самостоятельного в работах последних лет точно так же называют дискурсивную второстепенность (*backgrounding*) и отмечают, что в поздних восточнославянских текстах он теряет это значение и превращается просто в стилистическое средство [Worth 1994: 33; Corin 1995: 259—260].

При исследовании распределения предикаций на причастные и финитные для отдельных глаголов подтверждается, что его критерии по большей части (но не во всем) совпадают с критериями выделения фона повествования; так, для стативных глаголов в контекстах, фоновых по аспектуальному критерию (если нет иных особых факторов: противопоставлений, разъяснений), используются именно обороты с *ш*-причастием, а не имперфект [Сахарова 2007].

Сложнее с *ш*-причастиями — им даже гипотетически нельзя приписать одну конкретную дискурсивную функцию. Отмечалось, что в старославянском Евангелии краткое причастие может «строить мост к предшествующему повествованию» [Růžička 1963: 19], т. е. использоваться в презумпционных контекстах (что логично, так как в этой же функции могли появляться и причастия греческого Евангелия [Longacre 1983: 34])⁶.

Функция маркирования прагматически невыделенных, ожидаемых сочетаний также, видимо, должна была быть свойственна краткому причастию. По крайней мере известно, что *ш*-причастия некоторых глаголов (если речь идет не о презумпционном контексте) могут появляться в нарративе, в основном тогда, когда следующая ситуация принадлежит некоему конкретному типу — своему для глаголов каждого лексического класса [Сахарова 2005; 2007].

⁵ Часто, говоря о значении восточнославянских причастных оборотов, исследователи перечисляли те смысловые связи, в которых могут находиться причастная и главная предикации (или вообще причастная и ближайшая финитная): обычный причастный оборот может быть для главной предикации обстоятельством времени, причины, образа действия, условия (см., например, [Руднев 1959: 93—100; Večerka 1961: 116—118; Лопатина 1978: 107]), равно как и уточнением или разъяснением уже сообщенной информации; дательный самостоятельный является чаще всего обстоятельством времени или причины [Белоруссов 1899: 78—82; Борковский, Кузнецов 1965: 483; Сабенина 1978: 420; Worth 1994: 39]. Однако очевидно, что наличие этих связей не обязательно, они имеют место просто в силу лексической сочетаемости конкретных слов, а не являются «значениями» причастного оборота как синтаксической трансформации.

⁶ *Ш*-причастиям же стативных глаголов такая функция, видимо, не свойственна [Сахарова 2007].

На закономерности употребления *и*-причастия такого рода мы хотим обратить внимание и в данной статье. При этом для подтверждения или опровержения тех или иных гипотез в таких случаях недостаточно просто иллюстративного материала — следует сравнить, как употребляются причастные и финитные формы в контекстах, характеризующихся различными значениями дискурсивных параметров (т. е. в первую очередь прагматической выделенности предикации по отношению к соседним), а также в контекстах, различных с формально синтаксической точки зрения.

Характеризуя тот или иной контекст, в котором мы изучаем допустимые способы оформления, следует также отмечать и синтаксические свойства предикативной единицы по ряду причин. Если бы в летописном языке существовали жесткие синтаксические ограничения на употребление кратких причастий (как в современном литературном русском — на употребление деепричастий), то, однажды оговорив эти ограничения, можно было бы сосредоточиться на изучении способов оформления предикаций только в тех контекстах, где синтаксические правила допускают оба способа оформления (т. е., например, для современного литературного русского — на контекстах типа *встав, сказал / встал и сказал*).

Такого рода строгих ограничений в летописном языке, как уже говорилось, не было, однако и свободно варьирующихся (с точки зрения синтаксиса) с финитными формами причастия летописных текстов более ранней эпохи все же назвать нельзя: такие переинтерпретации традиционных церковнославянских синтаксических правил, как, например, именительный самостоятельный, в них все же нечасты. Точнее было бы сказать, что вместо стопроцентных синтаксических ограничений мы в данном случае имеем дело просто с некими тенденциями — факторами синтаксического плана (способствующими тому, чтобы предикация была оформлена определенным образом), с которыми факторы дискурсивного плана могли вступать в более или менее успешную конкуренцию. (При этом могло происходить и так, что тенденции употреблять причастия определенных глаголов в определенном прагматическом или даже узком лексическом контексте «перекрывали» действие синтаксических правил их функционирования [Сахарова 2007].)

Данная работа представляет собой еще один из примеров исследования закономерностей употребления причастий определенных глаголов в летописном языке. В ней проведен анализ всех употреблений причастных и финитных форм группы однокоренных и семантически близких глаголов совершенного вида *яти, изяти, възяти, пояти* и *приняти* в одном конкретном тексте — Комиссионном списке Новгородской первой летописи младшего извода⁷ по изданию [НПЛ 1950].

⁷ Он имеет средние размеры, 264 листа в оригинале (т. е. он не настолько велик, чтобы с ним было очень трудно работать, и не настолько мал, чтобы употреблений наиболее частотных глаголов было недостаточно, чтобы делать выводы); начальная его часть принадлежит древнейшему периоду истории письменного языка, когда

3. Распределение предикаций на причастные и финитные для исследованных глаголов

Обратим внимание на то, что все изучаемые глаголы — совершенного вида и обозначают моменты состояний определенного типа. Это значит, что они не образуют *щ*-причастий, а только *ш*-причастия (и вообще предикации с ними не могут быть фоновыми по аспектуальному критерию). Забегая вперед, заметим также, что для всех этих глаголов в исследуемом тексте несвойственно образование дательного самостоятельного, но только причастных оборотов в именительном падеже.

Яти

В НПЛ данный глагол не очень употребителен и значение его узко: прямым объектом обозначаемого им действия («схватить», «задержать») почти всегда является одушевленное лицо (в других текстах возможен, впрочем, более широкий круг значений [Срезневский, III: 1670]).

Когда предикация с данным глаголом является последней из относящихся к одному подлежащему, употребляются только финитные формы (т. е. именительных самостоятельных с данным глаголом в исследуемом тексте нет), поэтому остановимся подробно только на синтаксически традиционных для *ш*-причастия контекстах.

В этих контекстах ограничения на употребление причастия глагола *яти* оказываются достаточно просты. Когда глагол имеет то же прямое дополнение, что и глагол, обозначающий следующую ситуацию (при этом можно сказать, что данная и следующая ситуации сочетаются ожидаемым образом: взяв человека, логично его же подвергнуть еще какому-то воздействию), он может оформляться как *ш*-причастием, так и финитно. Причастных примеров всего четыре:

*И приплыша ко Цесарюграду, и многа зла створиша Русь: Суд бо весь пожгоша огнемъ; а ихъже **имше плѣнники**, овѣх растинаху, иныя же къ землѣ посъкаху [6480];*

*Учащу же ему въ церкви, архиерѣи и книжници исполнишася зависти, и искаху убити и, **имше**, ведоша и къ игѣмону Пилату [речь Философа];*

*И пакы вси хотяху Радиноса; он же не хотяше царства, и скрыся от них, измѣнивъся въ черныя ризы; а жену его, **емше**, приведоша въ святую Софью и много нудиша ю: «повѣжь намъ: гдѣ есть муж твои» [6712];*

*⟨...⟩ глаголаху предстоящи: «Михаиле, се убици от цесаря идут убивать вас; поклонитася и жива будета» ⟨...⟩ Тогда же убици, приѣхавше, скочивши с конь, и яша Михаила и растягоша и, **имше за руцѣ**, и начаша и бити руками по сердцу, и повергоша и ниць [6753].*

параметры литературного языка, в том числе изучаемый, только формировались. Разумеется, в текстологическом отношении он достаточно неоднороден, но на данном этапе исследований принимать во внимание эту неоднородность не имеет смысла.

В остальных примерах (а именно в 12) в подобном контексте употребляются финитные формы исследуемого глагола:

*Янь же, вшед въ град къ бѣлозерчемъ, и рече имъ: «аще не имете волхву сею, не иду от васъ за лѣто». Бѣлозерци же, шедши, **яша их** и приведоша к нему [6576];*

*⟨...⟩ солгаша бо, яко Святополкъ у города со плесковици; и выступиша весь град къ Синилицю, и не бысть ничтоже, а Святославию прияша в Новѣгородѣ с лучшими мужи, а **самого Святослава яша на пути** смолнянѣ и стрѣжаху его на Смядынѣ [6646];*

*⟨...⟩ оттолѣ въспятися назадъ князь Святославъ в Русь, и уразумѣвъ, яко сии солгаша имъ; они же вгоняша въ Плесковъ и **яша Вячеслава Горисланица**, и бивъши его, оковаша [6740];*

*Чюдъ даша плещи; и гонящися билѣ на 7 верѣсть по леду до Соболичькаго берега; и паде Чюди беицисла, а Немѣць 500, а **иных 50 руками яша** и приведоша в Новѣгород [6751];*

*Тогда же убици, приѣхавше, скочивши с конь, и **яша Михаила и растягоша** и, имше за руцѣ, и начаша и бити руками по сердцу [6753] и т. д.*

В таком контексте, где глагол, обозначающий следующую ситуацию (притом какую угодно), не имеет того же прямого дополнения, глагол *яти* оформляется только финитно. Всего таких примеров пять:

*⟨...⟩ събрашася чернь, и вѣлъчаху добрые мужи, думаяще с ними, кого цесаремъ поставят ⟨...⟩ **Потом же яша человекъ, именемъ Николу, воина нарочита**, и на того възложиша вѣнецъ безъ патриарха [6712];*

*Тогда же бояре, убоявшеся введения Фрягъ, сдумавше с Муръчюфломъ, **яша цесаря Исаковица** и на Муръчюфла вѣнецъ възложиша [6712];*

*⟨...⟩ заутра убиша Смена Борисовица въ 9, на зачатие святыя Анны, а домъ его розграбиха всѣ и села его, а **жену его яша**, а самого погребоша в манастири святого Георгия [6738];*

*Новгородци же изидоша вси полкомъ противу, на озеро Ильмерь; князь же Копорьи отступися, а новгородци князю путь показаша, **а не яша его**, а двѣ дщери его и бояры его с женами и с дѣтми приведоша в Новѣгород в таль [6790];*

*⟨...⟩ на Душилца, на Липиньскаго старосту, тамо послаша грабить, а самого хотѣша повѣсити, нь ускочи къ Ярославу; а **жену его яша**, ркуще тако: яко «ти князя на зло подводятъ» [6735].*

Имеется всего один пример⁸ на такой контекст, где прямым объектом глагола *яти* является предмет, а не человек, предикация с глаголом *яти* оформлена *ш*-причастием:

⁸ Еще одним исключением является употребление глагола во фразеологическом сочетании *яти веру*, где он оформляется финитно: *Глаголашеть бо, яко провѣде вся, и хуляшеть вѣру крестияньску, и тако глаголаше, яко «преиду по Волхову пред*

*Посем же, вземше Глѣба в раѣѣ камни, вѣставиша на сани; **имше за ужа, везоша** и [6580].*

При этом глагол, обозначающий следующую ситуацию, имеет другое прямое дополнение (*сани*), но все же совпадение дополнений в данном примере представить можно, поэтому его нельзя назвать исключением из правила.

Статистика распределения форм на причастные и финитные для данного глагола (в случаях, когда предикация является не последней в нарративной цепочке, относящейся к одному подлежащему) показана в таблице 1.

Таблица 1

Предикация	<i>и</i> -причастие в им. п.	Финитно
Следующий глагол имеет то же прямое дополнение	4 (25%)	12 (75%)
Следующий глагол не имеет того же прямого дополнения	—	5

Изымати

Данный глагол имеет значение «схватить, задержать» [СлДРЯ XI—XIV вв., IV: 8], прямым объектом обозначаемого действия (так же, как и у *яти*) в НПЛ оказывается только одушевленное лицо⁹.

Так же, как и в случае *яти*, именительных самостоятельных с данным глаголом в исследуемом тексте нет, поэтому остановимся подробно только на тех синтаксических контекстах, где возможно появление *и*-причастия, т. е. где предикация с данным глаголом является не последней из относящихся к одному подлежащему.

Ограничения на употребление причастий данного глагола похожи на ограничения для *яти*: в таком контексте, где глагол имеет то же прямое дополнение, что и глагол, обозначающий следующую ситуацию (при этом можно сказать, что ситуации сочетаются ожидаемым образом), он может оформляться как *и*-причастием, так и финитно. Причастных примеров всего четыре:

*Устрѣлиша Ярополка в городѣ и бѣ имъ вѣлика бѣда и предашася новоторжѣци, а Ярополка (Всеволодъ) **изымавъ** окова и веде съ собою [6689];*

*(...) «не ими, княже, вѣры братьи наю, свѣцялися суть с черниговьскыми князи», и тѣмъ е облици рязаньстии князи. И Всеволод **изымавъ мужи их**, и исковавъ, посла е в Володимирь, а самъ поиде с новгородци [6717];*

*всѣми людьми». И бысть мятежь въ градѣ великъ, и вси **яша ему вѣру**, и хотяху побити епископа Федора [6576].*

⁹ В отличие от *яти*, он употребляется не во всей летописи (первое появление в статье 6643 года).

*Тимофьевича и Григорью Щебелкова и иных нѣколко ту мужь паде и инѣи побѣгоша **а иныхъ изимаѡ** на Тѣрь поведе полонѣ мужеи и женѣи бецисла множество [6880];*

*⟨...⟩ по грѣхомъ нашимъ побѣженѣ бысть князь великыи; **изымаѡше его** Тотарове, и ведоша его во Орду, а с нимъ князя Михаила Ондръевича и иныхъ множество боярь [6953].*

Примеров финитного оформления всего семь:

*В Новѣградѣ же бысть мятежъ великъ: не бѣше бо князя Ярослава, нѣ в Переяславли бысть тогда; и приша князь ис Переяславля, и **изима плесковицѣ** и посади их на Городици въ грядьници; и посла въ Плесковѣ, рекши имѣ [6740];*

*И князь Александръ зая вси пути до Плескова; и изгони князь Псковѣ, и **изима Нѣмци и Чюдѣ**, и, сковавѣ, поточи в Новѣгород [6750];*

*Того же лѣта, еше не дошедшу князю Михаилу до города, **изимаша Игната Бѣска**, и биша и на вѣщѣ, и свергоша его с мосту въ Волхово, творяща его перевѣтъ держаща к Михаилу [6824];*

*⟨...⟩ послаша Матѣя Валфромѣевича, и Терентия Даниловича с братомъ, и Валфромѣя посадница сына Остафьева, и Федора Авраамова с полкы; и ѣхавши, изгониша Торжокѣ безѣ вѣсти, и **изимаша намѣстниковѣ** Михаила князя Давыдовица, Ивана Рыбкина сына, и борцовѣ, Бориса Сменова сына, и жены их и дѣти, и сковаша я [6848];*

*Того же лѣта пришедше Нѣмци в Корѣльскую землю и повоеваша 2 погоста: Кюрѣскыи и Кюлоласкыи, и церковь сожгоша; и князь Костянтинъ с Корѣлюю гнася по них, и **языкъ изима** и присла в Новѣгород [6904];*

*⟨...⟩ и воеводы новгородчкыи и вси вои, по своего господина по новгородчкому слову, челобитьѣ приша двинянь, а нелюбѣи имѣ отдаша, а **воевод заволочкыи Ивана и Конана с другы изимаша**, овыхъ смертию казниша, а Ивана и брата его Афанаса, Герасима, Родивона исковаша, кто водилъ Двиньскую землю на зло [6906];*

*Воеваше князь Рославъ Олговичъ Рязаньскыи землю Литовьскую; и князь Семеонъ Олгердовичъ, наихавѣ на него, **самого князя Рослава изима** и приведе князю Витовту, а вои его изби [6910].*

В таком контексте, где глагол, обозначающий следующую за данной ситуацией (притом какую угодно), не имеет того же прямого дополнения, глагол *изымати* оформляется только финитно:

*Ту же убиша Гаврилу Горислалicia воеводу, и плесковицѣ в сугонѣ много побииша, **а иныхъ рукама изимаша**; и пригонивши под город, и зажгоша посадь весь [6748];*

*И поиде князь съ своими полкы и с новгородци И пришед на землю Ѣмьскую, овыхъ избиша, **а другихъ изима силою честнаго креста и святыя Софѣя**; приидоша новгородци съ княземъ Александромъ вси здрави [6764];*

⟨...⟩ побѣгоша Нѣмци в город, и убиша ту нѣсколко Нѣмецъ, и волость около города воеваша и пожъгоша, а Нѣмецъ иссѣкоша много, и **жонъ и дѣтии, а иных живых изимаша**; и прихаша в Новѣград вси здрави [6859];

А в то время наславъ князь великий Василии Дмитриевич бояръ своих Александра Поля, Ивана Марина на Торжокъ воиноу въ 300 человекъ; **изимаша Семеона Васильевича и Михаилу Фефилатова на крестномъ цѣловании**, и животы их изъ святого Спаса поимаша [6909];

⟨...⟩ выбиша е ис товаръ; и побѣгоша Нѣмцѣ къ городу, и убиша новгородци два воеводѣ, а **третии руками изимаша**, а коневъ отъяша 700, и приидоша вси здрави [6725];

Выидоша галициане противу, и Чехове и Ляхове и Морава и Угре, и съступишася полкове; и пособи Богъ Мьстиславу, и в город Галиць воиде, а **королевица руками изима и жену его**, и взя миръ с королемъ [6727].

Статистика для глагола (в случаях, когда предикация является не последней в нарративной цепочке, относящейся к одному подлежащему) показана в таблице 2.

Таблица 2

Предикация	ш-прич. в им. п.	Финитно
Глагол, обозначающий следующую ситуацию, имеет то же прямое дополнение	4 (36%)	7 (64%)
Глагол, обозначающий следующую ситуацию, не имеет того же прямого дополнения	—	6

Взяти

Данный глагол в НПЛ употребляется весьма широко как в прямом значении «взять в руки», так и в значениях типа «начать владеть, распоряжаться и т. п.» [Срезневский, I: 373 и далее; СлРЯ XI—XVII вв.: II, 166]. (При этом прямым объектом обозначаемого им действия почти никогда не бывает человек — по этому признаку данный глагол оказывается дополнительно распределенным с близким к нему по значению *яти*¹⁰.)

¹⁰ Исключений всего четыре: *В се же время изиде дщи фараоня Фермуфии купятя, и видѣ отрочя плачущеся, и взя и пощаде* [речь Философа]; *повелъ цесарь ражающияся дѣти жидовскыя вмѣтатъ в рѣку. Мати же Моисиева, убоившися погубления, **вземши младенецъ**, вложи въ крабицю, и изънесъши, постави в лузѣ* [речь Философа]; *Князь же Иванъ приша в Новѣгород, и не поиха к новгородцомъ в Ладугу. А в то время Магнушъ король взя Орѣховець на Спасовъ день, Авраама же и Кузму и **иных бояръ 8 взялъ** к собѣ, а иных всѣх пустил из городка, а самъ поиде от городка прочь* [6856]; *потом сташа на них велневици съ юрьевци и избиша Чюди 14000, а избытокъ убъжа в Островскую землю; тамо по них ходиша велневици въ Островскую землю, **их же не взяша**, но сами биты отъидоша* [6852].

Для этого глагола так же, как и для других рассматриваемых глаголов, именительных самостоятельных в исследуемом тексте нет, поэтому остановимся подробно только на тех синтаксических контекстах, где предикация с данным глаголом является не последней из относящихся к одному подлежащему, — появление причастий возможно только в них.

Для исследования разделим употребления глагола на группы не просто в зависимости от того, какое значение имеет глагол, но и от того, каково его прямое дополнение. Именно от того, с каким дополнением употребляется глагол, зависит то, какие сочетания ситуаций являются ожидаемыми, стереотипными (иными словами, когда предикация может быть прагматически невыделенной по отношению к следующей).

Разберем вначале те случаи, когда прямым объектом действия, обозначаемого глаголом, является некий предмет, который можно взять в руки, — при этом ограничения на употребление *и*-причастия оказываются теми же, что и для однокоренных глаголов *яти* и *изымати*. В таком контексте, где глагол, обозначающий следующую ситуацию, имеет то же прямое дополнение (а это в данном случае значит, что ситуации сочетаются ожидаемым образом), употребляются *и*-причастия данного глагола (всего семь примеров):

*И видѣ жена, яко добро древо въ снѣдь, и **вземши**, снѣсть, и дать мужеву своему, и оба ядоста* [речь Философа];

*⟨...⟩ повелѣ цесарь ражающияся дѣти жидовьскыя **вмѣтатѣ** в рѣку. Мати же Моисиева, убоявшися погубления, **вземши младенецъ**, вложи въ крабицю, и изънесъши, постави в лузѣ* [речь Философа];

*Пренесоша святая страсотерпца Бориса и Глѣба... **Вземши бо первое Бориса въ древянѣ раѣ** Изяславъ, Святославъ, Всеволод, **вземши на рама своя** и понесоша, предидущими чернци* [6580];

*Посем же, **вземше** Глѣба в раѣ **камени**, въставиша на сани; имше за ужа, везоша и* [6580];

*⟨...⟩ повелѣ изнести ся на дворѣ; братья же, **вземши носило и изнесъши**, поставиша прямо церкви* [6582];

*И посемъ **вземше** братья, и несоша его в келию* [6582].

В одном случае в таком контексте появляется и аорист:

*В се же время изиде дщи фараона Фермуфии купятя, и видѣ отроця плачущесе, и **взя** и пощадѣ* [речь Философа].

В тех случаях, когда следующий глагол не имеет того же прямого дополнения, что и данный, но при этом данное прямое дополнение — оружие

Но в первых двух из этих примеров младенец рассматривается не как человек, так как он не способен в данной ситуации как-либо отреагировать. В третьем примере глагол употребляется в особом сочетании «взять с собой (в дорогу)». Настоящее исключение представляет собой только последний пример.

или крест, предикация с глаголом *възяти* тоже оформляется *ш*-причастием. Примеров на подобного рода контекст тоже немного (всего пять):

*⟨...⟩ и хотяху побити епископа Федора. И епископъ же Федоръ, **вземши честнии крестъ и** оболчеса в ризы, и ста пред народомъ [6579];*

*И пришед святитель ста посредѣ мосту и, **вземъ животворящий крест**, нача благословляти обѣ странѣ; ови, взирающе на честнии крестъ, плакахуся [6926];*

*«...Не дам сына своего бѣсомъ». Они же, шедше, повѣдаша людемъ; абие же онѣ народѣ, **вземше оружье**, поидоша на нь и обоидоша дворъ около его [6491];*

*И бысть, яко изидоста, и абие въставши Каинъ хотяше убити и не умѣаше, како убити. И рче сатана: «**вземъши камень**, удари Авеля, и уби его» [речь Философа];*

*Глѣбъ же, **вземъ топоръ под скуд**, и прииде къ волхву, и рече ему: «то вѣси ли, что утро хоцетъ быти, что ли вечеръ»... Глѣбъ же, выимя топоръ, ростя и, и паде мертвъ; и людѣ разидошася [6579].*

Действием фактора прагматической невыделенности (ожидаемости) такое употребление не объясняется.

В том случае, когда прямое дополнение — предмет, который можно взять в руки и притом часть тела, и оно не является прямым дополнением глагола, обозначающего следующую ситуацию, предикация оформляется финитно. Таких примеров всего два:

*Поиде Святославъ в порогы, и нападе Куря, князь Печенѣжьскыи и убиха Святослава, и **взяша главу его**, и во лѣбъ его сдѣлаша чашю и пиаху изъ неи [6480];*

*И възложи Богъ сонъ на Адама, и успе Адамъ; и **взя Богъ едино ребро у Адама**, и сътвори ему помощницу жену и приведе ю къ Адаму [речь Философа].*

Далее разберем случаи, где прямым объектом являются деньги или какие-то иные ценности, являющиеся военной добычей.

Примеров на такие контексты, где бы при этом следующий глагол имел то же дополнение, что и данный, нет. В тех же случаях, когда следующая ситуация есть ситуация движения со взятым (чаще — удаленная захватчика с добычей, так что можно сказать, что эти ситуации сочетаются ожидаемым образом), возможно употребление *ш*-причастий. Причастных примеров всего четыре:

*Послаша к нему злато и паволокы и мужа мудра, и рѣша ему: «глядаи взора его и лица его и смысла его». Он же, **вземъ дары**, иде къ Святославу [6479];*

*«...идеть вы Святославъ в Русь, **вземъ имѣние много у Грѣкъ** и полонъ бецисленыи, с маломъ дружины». Слышавши же Печенѣзѣ и заступиха Печенѣзи пороки [6479];*

*Идоша (новгородци) ис Кыева къ Чернигову, и стоявшие 12 дни, и взяша миръ, и **въземше дары**, приидоша в Новъгород въси здрави [6722];*

*⟨...⟩ почаша ѣздити оканнии по улицамъ, пишюще дома крестяньскыя... и отъихаша оканнии, **вземше число**, а князь Александръ послѣ поиха, а сына своего Дмитриа посадивъ на столѣ [6767].*

Примеров на финитные формы в таком контексте три:

*Володимиръ же посемъ поимши цесарицю и Анастаса и попы корсуньскыя, съ мощьми святого Климента и Фива, ученика его, и поима съсуды церковныя и иконы на благословение собѣ, ... И **взя же**, идущи, мѣдянѣ двѣ капици и 4 конѣ мѣдяны, яже и нынѣ стоятъ за святою Богородицею, яко уже не вѣдуще мѣнять я мраморянѣ суца [6496];*

*«...не ходи ко граду и возми на нас дань, еже хоцещи»; мало же бѣ не дошелъ Цесаряграда. И даша ему дань; он же и на убиенныя имаше, глаголя, яко «род его возметъ». И **взя же дары многы**, и възвратися къ Переяславцю съ похвалою великою [6479];*

*⟨...⟩ бишася с ними, и бяше новгородѣць 400, а суздаецъ 7000; и пособи Богъ новгородцемъ, и паде ихъ 300 и 1000, а новгородцовъ 15 мужь, и отступиша новгородци, и опять ся воротивше, **взяша всю дань**, а на суздальскихъ смердехъ другую, и приидоша вси здрави [6677].*

Еще один пример не учитываем, так как в нем употребление финитной формы может объясняться наличием противопоставления объектов глагола:

*Прииде князь Ярославъ от брата и со всею областью къ Колываню, и повоева всю землю Чюдскую, а полона приведоша бецисла, но город не **взяша, а злата много взяша**, и приидоша вси здрави [6731].*

В таком контексте, где при этом глагол, обозначающий следующую за данной ситуацией, не является глаголом движения и не имеет того же прямого дополнения, употребляются только финитные формы. Всего примеров восемь:

*И заповѣда Олегъ дань даяти на 100, 200 корабль, по 12 гривнѣ на челоуѣкъ, а в корабль по сороку мужь. Самъ же **взя злато и паволокы**, и возложи дань [6429];*

*Изяславъ же иде в Ляхы съ имѣниемъ многымъ и съ женою, уповая богатствомъ многымъ, глаголя, яко «симъ налѣзу воя», **еже все взяша** Ляхове у него, показавше ему путь от себе [6578];*

*⟨...⟩ нъ помощьюъ божиею единемъ приступлениемъ **взять бысть**, и люди многы града того овыхъ побиха, а другыя изимаша живы, а иныи огнемъ пожжены, и жены и дѣти их; и **взяша товара бецисла и полона**; а мужа добра застрѣлиша с города, и Петра убиша Мясниковица [6770];*

*Татарове поидоша по них, буюци на 500 верѣсть до города до Кыева, **а с города с Кыева окупъ взяша 500 рублевъ** и намѣстники свои посадиша; а на Печерскомъ монастыри **взяша окупъ 30 рублевъ**. Тако бо Богъ навель поганыхъ Татаръ на землю Литовьскую за високоумье князя их [6906] и т. д.*

Глагол *възяти* также часто используется в сочетании *възяти миръ*. При этом если следующая ситуация есть ситуация движения (и опять же, ситуации сочетаются логично: заключить договор о мире и вернуться восвояси), тоже используются и финитные, и причастные формы. Примеров на *ш*-причастие всего четыре:

⟨...⟩ *ходи князь Ярославъ с новгородци и со плесковици и с новоторжьци и с ладожаны и со всею областью новгородскою к Полотску, и устрѣтоша полочанѣ с поклономъ на озерѣ Касопль; и **вземше миръ**, възвратишася в Новгород [6705];*

*И приходи князь Витовтъ со всею силою литовскою къ Смоленску, и стоя под городом 4 недѣли, и биша пушками город, и отъиде от города, **съ княземъ Юрьемъ миръ** **вземъ по старинѣ**; а смолянѣ съ княземъ Юрьемъ бояръ своих избиша, котори переѣтъ держалѣ ко князю Витовту [6909];*

⟨...⟩ *поиде князь Михаило к Новугороду со всею землею Низовскою... Князь же Михаило, не дошед города, ста въ Устьянехъ; и тако **мира не возмя**, поиде прочь, не успѣвъ ничтоже, нъ болюю рану въспримъ; възвратися назадъ [6824];*

⟨...⟩ *прииха князь Андрѣи со псковьскыми послы и поиха из Новаграда **а миру не возмя** [6902].*

Еще в одном случае в таком контексте используется финитная форма глагола:

*И поидоша новгородци ратью къ Пскову, и псковици добиша чолом Новугороду, и **взяша миръ**, и воротишася от Солци [6898].*

В таком контексте, где глагол *възяти* используется в сочетании *възяти миръ* и где глагол, обозначающий следующую ситуацию, не есть глагол движения, глагол *възяти* оформляется финитно. Примеров подобного типа всего четыре:

⟨...⟩ *воиде Мьстиславъ с братьею и с новгородци в Киевѣ, и поклонишася кияне, и посадиша в Киевѣ Мьстислава Романовича, внукъ Ростиславль. Идоша ис Кыева къ Чернигову, и стоявшѣ 12 дни, **и взяша миръ**, и въземше дары, приидоша в Новъгород въси здрави [6722];*

⟨...⟩ *сѣступишася полкове; и пособи Богъ Мьстиславу, и в город Галиць воиде, а королевица руками изима и жену его, и **взя миръ с королемъ**, а сына его пусти, а самъ сѣде въ Галиць, а Володимиръ Рюриковиць в Киевѣ [6727];*

*То же слышавше плесковици, яко приведе Ярославъ полкы, и убоявшѣя того, **взяша миръ с рижаны**, Новгород выложивше, ркуце: «то вы, а то новгородци; а намъ не надобѣ [6736];*

*Дмитрии бѣжа ис Плескова во Тфѣрь, и присла в Торжокъ владыку тфѣрьскаго и Святослава с поклономъ къ брату Андрѣю и к новгородцомъ, съсылающеся послы **взяша миръ**, а Волокъ опять Новугороду [6801].*

(В последнем примере принимаем, что у предикации *Волокъ опять Новгороду* подразумевается сказуемое типа *отдали* или *договорились*.)

Есть очень большая группа употреблений данного глагола, где прямым объектом действия, обозначаемого им, является какая-либо местность, населенный пункт или укрепление. При этом если глагол, обозначающий следующую ситуацию, имеет то же прямое дополнение (чаще всего это глагол *пожечи*, так что опять же ситуации связаны ожидаемым образом), могут употребляться и причастные, и финитные формы. Примеров на *ш-причастие* всего два:

⟨...⟩ князь бояринъ Юрьевъ Глѣбъ Семеонович с новгородчкыми бѣглиць... изыхаша в насадех безъ вѣсти в Заволочькую землю и повоеваша волость Борокъ Ивановых дѣтеи Васильевича, **и Емцю и Колмогоры возьмъ и пожгли**, и боярь новгородчкых изимаша [6925];

Свѣи много исѣкоша, а иных поимаша, а у города у Выбора **охабень возьмъ и пожьжгоша мѣсяца марта въ 26** [6919].

Еще в восьми случаях в таком контексте употребляются финитные формы:

Иде князь Ярославъ къ Плескову на Петровъ день, и новгородци вмаѣ; и самъ сѣде въ Плесковѣ, а дворъ свои посла съ плесковици воевать, и шедши, **взяша город Медвѣжию голову и пожгоша**, и възвратишася вси здрави [6700];

Того же лѣта постави Титмановиць отиши городокъ на сеи сторонѣ Наровѣ; новгородци же, ѣхавше, **пожгоша и, и село его великое взяша и пожгоша** [6802];

Тои же осени пришедши Нѣмци, **взяша 7 селъ у Ямьского городка и пожгоша** [6905];

⟨...⟩ ркоша своеи братии воеводам: «дажь, братие, тако сдумалъ нашъ господинъ князь великии съ крестопреступники съ двиньскими воеводами, лучши, братие, нам изомрети за святую Софѣю, нежелли въ обидѣ быти от своего князя великаго». И поидоша на князя великаго волости на Бѣлоозеро, и **взяша бѣлозерьскыи волости на щитъ**, повоевавъ, и пожгоша, и старьи городокъ Бѣлозерьскыи **пожгоша** [6905];

Того же лѣта князь Данилѣи Борисович, Нижняго Новагорода отциць старьи, **взя столныи град Володимиръ**, попленивъ и пожьже; а Татарове и церковь святую Богородицю златоверхую одраша [6918];

На ту же зиму прииде рать татарьская множество много, и **взяша Тѣфъръ и Кашинъ и Новоторьскую волость и просто ркуще всю землю Рускую** и положиша ю пусту, токмо Новъград ублюде Богъ и святая Софѣя [6832];

Потомъ **взяша Черную рѣку такоже всю**, по Черной приидоша къ городу Ваная, **городъ взяша и пожьжгоша**; а Немци **въбгоша в Дѣтиниць** [6819] и т. д.

В контексте, отличающемся от вышеописанного только тем, что глагол, обозначающий следующую ситуацию, не имеет того же прямого дополне-

ния, что и *възяти*, используются почти всегда финитные формы. Таких примеров всего 48.

*Иде Святославъ на Дунаи на Болгары. И бившемся обоимъ, одолъ Святославъ Болгаромъ, и **възя городовъ 80 по Дунаю**, и съде княжа ту въ Переяславци [6475];*

*Иде Володимерь на Ятвягы, и побѣдѣ Ятвягы, **и взя землю их**. И прииде Кыеву, и творяще требу кумиромъ с людьми своими [6491];*

*Тои же зимъ прииде Изяславъ Нову городу, сынъ Мъстиславъ, ис Кыева, иде на Юрга к Ростову с новгородци; и много воеваша людеи Гюрговъ, и **по Волзѣ взяша 6 городовъ**, даждь и до Ярославля попустошиша, а голловъ взяша 7000 и воротѣшася роспутья дѣля [6656];*

***В то же лѣто взя** Святославъ Мъстиславич, внукъ Романовъ, **Смолнескъ на щит с полочаны**, на память святых мученикъ Бориса и Глѣба, исѣче смолнянъ много, а самъ съде на столѣ [6740];*

*⟨...⟩ созвониша вѣче на Ярославѣ дворѣ, и убиша Иванка, а инии вбѣгоша въ Николу святыи; а заутра побѣжаша к князю на Городище тысячкою Ратиборъ и Гаврила Кьяниновиць а инии приятели его. И **взяша дома их на грабление** и хоромы рознесоша; а къ князю послаша на Городище, исписавше на грамоту всю вину его [6778];*

*И стояща 3 дни и 3 ноци, волость труще, села великая пожгоша, обиле все потратиша, а скота не оставиша ни рога; и потомъ идуще, **взяша Кавгалу рѣку, Перну рѣку**, и выидоша на море, и приидоша здрави в Новъгород [6819];*

*⟨...⟩ стоя под Москвою самъ цесарь, а вои свои роспусти на Рускую землю. И **взяша город Переяславль, Ростовъ, Нижнии Новъгород, Серпоховъ**, и много христианъ поѣкоша, а иных в полонъ сведоша и воеваша и до Клина, до тѣрѣскаго рубежа, а все крестиянъ съкуще, аки траву [6916] и т. д.*

Отметим, что критерий наличия глагола движения, обозначающего следующую после данной ситуацию, для подобных контекстов (с дополнением-местом) не работает. Это объясняется тем, что связь между предикациями с глаголом *възяти* и глаголом движения здесь иная: такой объект, как город или местность, в отличие от материальных ценностей или мирного договора, нельзя унести с собой, и таким образом данная ситуация с ситуацией движения (удаления) стереотипным образом никак не сочетается.

Исключением можно считать употребление данного глагола в сочетании *отъити не вземше* (города); таких примеров всего два:

*⟨...⟩ ходиша новгородци съ плесковциѣ к Новому городку к нѣмечьскому и отъидоша **не вземше** зане бяшетъ твердѣ [6878];*

*⟨...⟩ и заступи Богъ и святая Софѣя свои домъ и отъидоша **города не вземше** [6889].*

Возможно, в этом случае невзятие города осмысливается как некий результат, который остается при удаляющемся субъекте действия.

Также есть один пример на *ш*-причастие не в сочетании *отъити не вземше*, который следует отнести к контексту подобного типа. В нем прямым объектом действия, обозначаемого глаголом *взяти*, является не город или местность, а укрепление:

*Того же дни иде князь Мьстиславъ с новгородци на Чюдь на Ереву, сквозь землю Чудьскую к морю, села их потрати и оськы ихъ **возмя**; и ста с новгородци под городомъ Воробиномъ, и Чюдь поклонишася ему; и Мьстиславъ же князь взя на них дань, и да новгородцемъ двѣ чьсти дани, а третьюю часть дворяномъ [6722].*

В примере, где прямым объектом действия, обозначаемого глаголом *възяти*, являются одушевленные лица и при этом глагол, обозначающий следующую ситуацию, не имеет того же прямого дополнения, что и *възяти*, предикация оформляется финитно:

*⟨...⟩ потом стаща на них велневиць съ юрьевци и избиха Чюди 14000, а избытокъ убѣжа в Островьскую землю; тамо по них ходиша велневици въ Островьскую землю, **ихже не възиа**, но сами биты отъидоша [6852].*

Есть еще один неоднозначный пример на *ш*-причастие данного глагола, где причастный оборот, видимо, описывает ту же ситуацию, что и предыдущий (*пакости подбѣя*) (иначе же, если он описывает другую ситуацию, его употребление можно объяснить действием механизма переинтерпретации, когда причастие появляется потому, что речь идет о завхватчике, взявшем военную добычу):

*Новгородци же послаша по Михаила, а Юрьи съ князи поиде с Торжьску, и много имъ пакости подбѣя, **възмя у них 7000 новую** [6732].*

Статистика для глагола *възяти* (в случаях, когда предикация является не последней в нарративной цепочке, относящейся к одному подлежащему) показана в таблице 3.

Таблица 3

Предикация	<i>ш</i> -прич. в им. п.	Финитно
Прямой объект — предмет, тот же, что и у следующей ситуации	6	—
Прямой объект — предмет (оружие или крест), не тот же, что у следующей ситуации	5	—
Прямой объект — предмет (часть тела), не тот же, что у следующей ситуации	—	2
Прямой объект — нечто материально ценное; глагол, обозначающий следующую ситуацию, — глагол движения	4 (50%)	4 (50%)
Прямой объект — деньги или материальные ценности; глагол, обозначающий следующую ситуацию, не есть глагол движения и не имеет того же прямого объекта	—	10

Предикация	<i>ш</i> -прич. в им. п.	Финитно
Дополнение — <i>миръ</i> ; глагол, обозначающий следующую ситуацию, есть глагол движения	4 (80%)	1 (20%)
Дополнение — <i>миръ</i> ; глагол, обозначающий следующую ситуацию, не есть глагол движения и не имеет того же прямого дополнения	—	4
Прямой объект — населенный пункт или укрепление; то же прямое дополнение у следующего глагола	2 (20%)	8 (80%)
Прямой объект — населенный пункт или укрепление; глагол, обозначающий следующую ситуацию, не <i>отъити</i>	1 (8%)	48 (92%)
Прямой объект — населенный пункт или укрепление; глагол, обозначающий следующую ситуацию, — <i>отъити</i> , <i>възяти</i> употреблен только с отрицанием	2	—

Пояти

Данный глагол отличается от *възяти*, в частности, тем, что в рассматриваемом летописном тексте прямым объектом действия, обозначаемого им, бывают, как правило, люди (см. также [Срезневский, II: 1340—1342; СлРЯ XI—XVII вв., XIX: 94]), поэтому контексты, где он встречается, делятся на гораздо меньшее, чем для *възяти*, количество типов.

Точно так же, как и для других исследованных глаголов, рассмотрим только те контексты, где данный глагол является не последним в цепочке, относящейся к одному подлежащему (так как причастные формы этого глагола появляются только в них). При этом ограничения на употребление причастных форм данного глагола похожи на характерные для глагола *възяти*.

Глагол *пояти* в таком контексте, где его прямое дополнение совпадает с прямым дополнением глагола, обозначающего следующую ситуацию, встречается редко. При этом в одном случае он оформляется причастием:

Он же рече: «мъстите своих». Они же поимше, убиша я и повѣснша их на дубѣ; отместие примше от Бога по правдѣ. А Яневъ идущи къ домовѣ своему [6579].

Еще в одном случае — финитно:

В то же лѣто собрася весь град людши, изволѣша собѣ епископомъ поставити мужа свята и Богомъ избрана именемъ Аркадиа; и шед весь народ, пояша из монастыря святыя Богородица, и князь Мъстиславъ Юрьевич, и весь крилось святыя Софѣя, и вси попове городстѣи, игумены и чернци, и введоша и [6664].

Здесь между предикацией с *пояша* и следующей вставлена часть подлежащего, тогда как объект при глаголе *пояти* опущен.

В таком контексте, где глагол, обозначающий следующую за данной ситуацией, есть глагол движения, глагол *пояти*, обозначающий здесь «присоединить к себе» и иногда сопровождаемый сочетанием *съ собою* (ситуации, таким образом, тоже сочетаются ожидаемо), оформляется чаще всего причастно. Есть всего 16 таких примеров:

А Ольга же поимши мало дружины и легко идуци приде къ гробу его и плакася по мужи своемъ плачемъ велимъ [6453];

И яко уже скопшиася вои и выслашася изъ города к воеводѣ рекши тако «пойди в город поемши со собою 12 мужа» [6701];

*Того же лѣта поиде князь Ярославъ на Торжокъ **появши съ собою Твердислава Михайловича, Микифора, Полюда, Сбыслава, Семеона, Олексу, и много бояръ, и одаривъ, присла въ Новгород; а самъ съде на Торжьку*** [6722];

*«⟨...⟩ еже есть по обычаю нашему, створите князю Михаилу, то потомъ пред мя приведите его». Оним же шедшимъ к Михаилу, глаголюще ему: «цесарь Батыи зовет тя». Он же **поимъ Федора, воеводу своего, идяше с нимъ*** [6753];

*Тогдаже Андрѣи князь поиде из Новагорода, **поимя съ собою новгородцовъ, Смена ? Михайловича и иных муж старѣиших, иде в Володимиръ*** [6790] и т. д.

Есть только один финитно оформленный пример на подобный контекст:

*⟨...⟩ ркоша: «земля наша велика и обилна, а наряда у нас нѣту; да поидѣте к намъ княжити и владѣти нами». Изъбрашася 3 брата с роды своими, и **пояша со собою дружину многу и предивну, и приидоша к Новгороду*** [6352].

В таком контексте, где глагол, обозначающий следующую ситуацию, не имеет того же прямого дополнения и не является глаголом движения, могут использоваться и финитные, и причастные формы. Есть один причастный пример:

Володимиръ же посемъ поимши цесарицю и Анастаса и поны корсуньскыя, съ мощми святого Климента и Фива, ученика его, и поима съсуды церковныя и иконы на благословение собѣ, и постави церковь въ Корсунѣ на горѣ, иже сыпаша средѣ града, крадуще приспу; сиа же церкви стоит и до сего дне [6496].

В данном случае ситуация, обозначаемая глаголом *пояти*, и следующая связаны только тем, что имеют общего участника, обозначаемого подлежащим, т. е. прагматической невыделенностью предикации употребление причастия объяснить нельзя. Оно может объясняться разве что тем, что, так как данный глагол чаще всего употребляется в причастной форме и перед глаголом движения, автор пассажа (или последующий редактор, менявший порядок предикаций) «привык» к данному глаголу в причастной форме.

Еще в трех случаях при этом используются финитные формы:

*И целоваши послы крестъ; а тамо ѣздивъ, Лазарь Моисѣвич водилъ их къ кресту, пискуповъ и божсих дворянъ, яко не помагати имъ колыванцомъ и раковорцемъ; и **пояша на свои руки мужа добра из Новогорода Семьюна, цѣловаши крестъ** [6776];*

*⟨...⟩ а князь с новгородци посыллаху к нимъ, просяще голку, нь Богъ своєю милостью болиши крови не проля крестияньстѣи: спипали бо ся бяху на малъ часу, и убиша их новгородци близъ трех сотъ, а сами вси здрави и воспятишася; и **пояша князя самого Святослава в Новѣгород, а Ярополка посадиша на Новѣмъ торгу; и вниде Святославъ великий Всеволодиць в Новѣгород** [6688];*

*Оженися князь Александръ, сынъ Ярославъ, в Новѣгородѣ, и **поя в Полочьскѣ у Брячислава дщерь, и вѣнчася въ Торопѣ; и ту кашю чини, а в Новѣгородѣ другую** [6747].*

Статистика для глагола (в случаях, когда предикация является не последней в нарративной цепочке, относящейся к одному подлежащему) показана в таблице 4.

Таблица 4

Предикация	<i>и</i> -прич. в им. п.	Финитно
Прямой объект тот же, что и у следующей ситуации	1 (50%)	1 (50%)
Глагол, обозначающий следующую ситуацию, есть глагол движения	16 (94%)	1 (6%)
Глагол, обозначающий следующую ситуацию, не имеет того же прямого дополнения и не есть глагол движения	1 (25%)	3 (75%)

Приняти

Данный глагол имеет достаточно широкий круг значений («получить в руки», «получить в распоряжение», «воспользоваться», «встретить», «подвергнуться» и т. д. [Срезневский, II: 1502—1504; СлРЯ XI—XVII вв., XIX: 235 и далее]); в отличие от уже исследованных родственных ему глаголов он нередко обозначает и неконтролируемые ситуации. При этом так же, как и для *възяти*, имеет смысл классифицировать употребления данного глагола прежде всего в зависимости от того, каково его прямое дополнение.

Рассмотрим только те контексты, где данный глагол является не последним в цепочке, относящейся к одному подлежащему (так как причастные формы этого глагола появляются не в них только в нескольких случаях, которые не будем сравнивать с другими).

В таком контексте, где дополнение исследуемого глагола — предмет или нечто, что можно взять в руки (глагол оказывается, таким образом, си-

нонимом *възяти*), и при этом объект действия может считаться участником следующей ситуации, глагол оформляется причастно. Таких примеров всего четыре:

⟨...⟩ *пошли к нему оружье бранное. Онъ же послуша его, и послаше ему мечъ и иное оружье. Слу же цесареву принесъшио къ Святославу, он же **приимъ**, нача любити и хвалити и цѣловати, [яко самого] цесаря [6479];*

*И рече Авраамъ: «искушо богы отца своего... И **приимъ** Аврамъ **огнь**, зажьже кумиры въ храминѣ. Видѣ же се Аранъ, братъ Аврамовъ, ревнуя по идолѣхъ, хотѣ вымъцати идолы; самъ сгорѣ ту [речь Философа];*

⟨...⟩ *повелѣ хлѣбомъ служитѣ, и преда апостоломъ, и **приимъ** хлѣбъ, и **рекъ**: се есть тѣло мое, ломимое за вы; такоже и чашю **приимъ**, рече: се есть кровь моя новаго завета [6494].*

(Последний пример не является точной новозаветной цитатой, но во фрагментах соответствующего содержания — Мф 26: 6; Мк 14: 22; 1 Кор 10: 16; Лк 22: 19 — используется именно причастие *приимъ*.)

В таком очень узком контексте, где прямое дополнение глагола *приняти* — *мнишькый чинъ*, а глагол, обозначающий следующую ситуацию, — *преставится*, предикация с данным глаголом инвертируется относительно обозначающей следующую ситуацию и используется только причастная форма этого глагола. Обе ситуации при этом тоже сочетаются ожидаемым образом (принадлежат одному социокультурному фрейму). Данный контекст отличается от всех прочих тем, что следующая ситуация является неконтролируемой, а причастная предикация обозначает связанное с ней контролируемое действие и, видимо, поэтому оказывается в постпозиции. Всего таких примеров восемь:

*Того же лѣта преставися Мирошка, посадникъ новгородчкый, **приимъши** мнишькый чинъ, и положенъ бысть в монастырь святого Георгия [6712];*

*Преставися посадник новгородчкый Михалко, маа въ 18, **приимши** мнишьскый чинъ, и наркоша имя Митрофанъ [6712];*

*Преставися княгиня Ярославля, у монастыри святого Георгия **принявши** мнишкии чин; и абие ту положена бысть [6751];*

⟨...⟩ *того же лѣта преставися посадникъ Василии Федоровичъ **приимши** мнишьскый чинъ мѣсяца июня и положишиа у святого Николы [6900] и т. д.*

Данный глагол употребляется, разумеется, и в других значениях, которые мы перечислим. (При этом ни в одном случае нельзя сказать, что ситуации сочетаются ожидаемым образом, но причастное оформление изредка оказывается возможным.)

В таком контексте, где рассматриваемый глагол имеет значение «согласится (с просьбой или предложением)», дополнениями его, соответственно, являются *мольба*, *челобитье* и т. п., и где следующий глагол (относящийся к тому же подлежащему) обозначает действие субъекта, по которо-

му становится ясно, что он согласился, используются финитные формы. Всего найдено пять примеров, иллюстрирующих указанный контекст:

⟨...⟩ *благослови я, рекъ: «дѣти, не достѣите поганымъ похвалы, а святымъ церквамъ и мѣсту сему пустоты; не съступитесь битяся». И **прияша слово его, и разидошася** [6868];*

⟨...⟩ *послаша послы к великому князю с челобитьемъ о старинѣ, а к митрополиту послаша грамоту человальную; и митрополит словомъ повѣстоваше: «язь у васъ грамоту ѡбловальную емлю, а грѣхъ с васъ снимаю, а васъ благословляю»; а князь великий **новгородское челобитье приялъ и взя миръ по старинѣ** [6901];*

⟨...⟩ *вышедши двинянь ис городка, и начаша бити челомъ съ плачемъ воеводамъ и всѣмъ воемъ новгородцемъ, и воеводы новгородчкыи и вси вои, по своего господина по новгородчкому слову, **челобитье прияша двинянь, а нелюбья имъ отдаша** [6906];*

⟨...⟩ *а послы отъ Новаграда чолобитъе; рекъ тако: «чтобы еси, господине и сыну, князь великий, **мое благословение и слово добро приялъ, а новгородское челобитье, а отъ Новагорода отъ своихъ мужии отъ волныхъ нелюбье бы отложилъ, а приялъ бы еси въ старину; а при твоёмъ бы, сыну, князю промежи крестиянь другое бы кровопролитъе не учинилося бы**» [6905];*

*И послаша новгородци послы, зовуще в Новъгород: анхимандрѣта Лаврентиа, и Федора Твердиславля, Луку Валфромѣва и онъ **молбы не приялъ, а ихъ не послушалъ, а миру не далъ** [6841].*

Есть один похожий контекст, но такой, в котором глагол, относящийся к тому же подлежащему, обозначает ситуацию, по которой неясно, что действующее лицо не послушалось просьбы (и именно этим данный пример отличается от предыдущих, где информация о том, что субъект согласился с просьбой, фактически дублируется). В таком контексте употребляется *и*-причастие:

⟨...⟩ *благослови я, рекъ: «дѣти, не достѣите поганымъ похвалы, а святымъ церквамъ и мѣсту сему пустоты; не съступитесь битяся». И **прияша слово его, и разидошася** [6868];*

⟨...⟩ *послаша послы к великому князю с челобитьемъ о старинѣ, а к митрополиту послаша грамоту человальную; и митрополит словомъ повѣстоваше: «язь у васъ грамоту ѡбловальную емлю, а грѣхъ с васъ снимаю, а васъ благословляю»; а князь великий **новгородское челобитье приялъ и взя миръ по старинѣ** [6901];*

⟨...⟩ *вышедши двинянь ис городка, и начаша бити челомъ съ плачемъ воеводамъ и всѣмъ воемъ новгородцемъ, и воеводы новгородчкыи и вси вои, по своего господина по новгородчкому слову, **челобитье прияша двинянь, а нелюбья имъ отдаша** [6906];*

⟨...⟩ *а послы отъ Новаграда чолобитъе; рекъ тако: «чтобы еси, господине и сыну, князь великий, **мое благословение и слово добро приялъ, а новгородское челобитье, а отъ Новагорода отъ своихъ мужии отъ волныхъ не-***

любье бы отложилъ, а принять бы еси въ старину; а при твоём бы, сыну, княженъи промежи крестиянъ другое бы кровопролитье не учинилося бы» [6905];

*И послаша новгородци послы, зовуще в Новъгород: анхимандрѣта Лаврентиа, и Федора Твердиславля, Луку Валфромѣва и онъ **молбы не приять**, а ихъ не послушать, а миру не дать [6841].*

В контексте, где прямой объект действия, обозначаемого данным глаголом, — люди, т. е. речь идет о приеме гостей или послов, используются только финитные формы. При этом следующая за данной ситуацией может быть какой угодно. Подобных примеров всего 11:

*Древляномъ же пришедшимъ къ Киеву къ княгинѣ Ольги, и **прияше** Ольга **въ честь деревьскихъ мужъ**, и повелѣ на них мовь створити: «измывишеся, приидѣте ко мнѣ»* [6453];

*На вербъницю прииде князь Юрьи къ Киеву и сѣде на столѣ, а Изяславъ избѣжа Давыдовиць к Чернигову; и **прия** Юрьи **сынъ его в миръ с любовию**, и волости имъ раздая достойныя* [6663];

*И **прия** Всеволод **посадника Мирожску и Бориса и Иванка и Фому**, и не пусти их в Новъгород, а самъ послаше в Половци* [6703];

*Тои же осени поиде князь Михаило Тфѣрьскый в Орду, ища великаго княженя. А в Новъгород прихаша князь Патрикии Наримантович, и **прияша его навгородци**, и даша ему кормление* [6891] и т. д.

В контексте, где дополнение исследуемого глагола — *власть*, он оформляется финитно. Примеров на такую конструкцию всего три (все принадлежат древнейшей части летописи):

*По двою же лѣту умре Синеусъ и брат его Труворъ, и **прия власть единъ Рюрикъ**, обою брату **власть**, и нача владѣти **единъ*** [6352];

*И вшед Ярополкъ въ градъ Олговъ, и **прия власть его**; и посла искати брата своего; искавшие его, не обрѣтоша* [6485];

*⟨...⟩ и умре Моиси на горѣ. И **прия власть** Исус Навгинъ; и сеи прииде в землю обѣтованную [речь Философа].*

Прагматически невыделенной предикацию в этом случае тоже не назовешь.

Есть примеры, где речь идет о получении субъектом того или иного вреда. Ожидаемых сочетаний ситуаций в этом случае тоже нет:

*Егда же сбьется проречение сих, сниде на землю, **распятие прия волею**, въскресе и на небеса взиде [речь Философа];*

*⟨...⟩ злодѣи исперва не хотя добра, зависть вложи людемъ на архиепископа Митрофана съ княземъ Мьстиславомъ, и не даша ему правитися и ведоша и в Торопецъ; онъ же **то прия с радостию яко Иоан Златоустый и Григорий Акраганьскый**, тую же въсприять скорбь и печаль, слава и благодаря Бога* [6719];

⟨...⟩ *лишиши посадничества: немощенъ бо бяше; и даша посадничество Иванку Дмитровичю; в той же немощи пребысть 7 недѣль, и **прия и болшую немощь**; и утаився жены и дитии, и абие поиде в манастырь къ святѣи Богородици въ Аркажъ [6728].*

Один из этих примеров отличается от всех прочих тем, что предикация с исследуемым глаголом является прагматической презумпцией: повторяет уже сообщенную информацию. При этом как раз используется причастие:

*Князь же Михаило, не дошед города, ста въ Устьянехъ; и тако мира не возмя, поиде прочь, не устѣвъ ничтоже, нъ болшую рану въспримъ; възвратися назадъ, и заблудиша во озерехъ, в болотех... **приидоша пѣши** в домы своя, **примиме рану**, якоже древле иерусалимлянѣ [6824].*

В таком контексте, где речь идет о принятии веры или крещения, появляется финитная форма:

*Былъ убо князь Витовтъ преже крестиянѣ, а имя ему Александръ, и отвержесе правовѣрныя вѣры и крестиянства и **прия лятскую вѣру**, церкви святѣи превратилъ на богомерское служение [6907].*

В похожем случае, где предикация при этом тоже является прагматической презумпцией, используется причастие:

*Царь же послуша словесѣ сего и абие крести ю (Ольгу) съ патриархомъ... И благословивъши патриархъ со вселеньскимъ соборомъ, и отпусти ю с миромъ въ свою землю; и пришедши ей пакы къ Киеву, **принявши святое крещение и божественныя дары въ Цесарскомъ градѣ от честнѣишаго патриарха** [6463].*

Есть еще несколько редких употреблений рассматриваемого глагола в других значениях (в основном в цитатах из церковнославянских текстов), но к ним в этой работе не будем обращаться: примеров на каждый контекст слишком мало.

Статистика для исследованных употреблений данного глагола показана в таблице 5.

Таблица 5

Предикация	<i>и</i> -прич. в им. п.	Финитно
Прямой объект — вещь	4	—
Прямой объект — просьба, предложение; следующая ситуация — подтверждение данной	—	5
Прямой объект — просьба, предложение; следующая ситуация не есть подтверждение данной	1	—
Прямой объект — люди (гости, послы)	—	11
В сочетании «преставися примѣши мнишьскый чинъ»	8	—
Прямой объект — власть	—	3

Предикация	<i>ш</i> -прич. в им. п.	Финитно
Прямой объект — тот или иной вред	–	3
Прагматическая презумпция, прямой объект — тот или иной вред	1	
Речь идет о принятии веры	–	1
Прагматическая презумпция, речь идет о принятии веры	1	–

В целом результаты данного исследования подтверждают, что глаголы одного лексического класса обнаруживают схожие критерии распределения предикаций на причастные и финитные. Эти критерии связаны именно с критериями выделения фона нарратива. Для изученных глаголов это прежде всего прагматическая невыделенность (ожидаемое сочетание данной ситуации со следующей): только в случае, когда принадлежащая нарративной последовательности предикация является прагматически невыделенной по сравнению со следующей, в исследованном материале оказывается возможным употребление причастий. Для глаголов других лексических классов подобного рода правила не относятся к обязательно выполняемым [Сахарова 2005; 2007]. Для исследованных в данной статье глаголов употребление причастий в фоновом контексте тоже не необходимо — стопроцентно это правило работает только в случае лексически устойчивых сочетаний, летописных штампов, в прочих же случаях возможно употребление и финитных форм.

Еще одна важная особенность изученных глаголов — то, что их причастия не встречаются в рамках именительного самостоятельного и вообще конструкций, где для *ш*-причастия нет глагола-вершины традиционного типа. Объясняется это, видимо, тем, что исследованные в данной статье глаголы (в отличие от других глаголов из того же текста, рассмотренных в статье [Сахарова 2007]) просто в силу своей семантики не оказываются в таких контекстах, где прагматические закономерности употребления их причастий вступали бы в конфликт с синтаксическими факторами.

Можно считать, что исследованный материал подтверждает и типологическое наблюдение над употреблением деепричастий в случае объединения серии предикаций (см. разд. 1) — причастное оформление в нем не наблюдается в тех случаях, когда единственное, что объединяет две предикации нарративной последовательности, — это общность участника-подлежащего.

Впрочем, не все употребления краткого причастия объясняются именно ожидаемостью. Как и следовало ожидать, причастное маркирование может быть средством выделения прагматической презумпции (отсылки назад). Есть и определенные закономерности употребления краткого *ш*-причастия, которые нельзя объяснить только исходя из синхронных прагматических критериев, — в данном случае это оформление причастием *приятн*, имеющим прямое дополнение определенного типа. (Ограничения употребления

и-причастия, не объяснимые с помощью одних изучаемых дискурсивных параметров, есть, например, и для глагола *быти* [Сахарова 2007] — объяснить их можно только предположив, что они произошли в результате определенного переосмысления летописцами закономерностей употреблений причастий образцовых для них текстов.)

Разумеется, эти выводы, сделанные главным образом на основе результатов данного исследования, могут быть существенно дополнены при изучении употреблений других глагольных лексем и, что важно, других памятников — как летописей разных эпох, так и образцовых для летописца текстов. Такого рода исследования обогатили бы конкретными деталями описание языкового поведения древнерусского книжника и вписывались бы в актуальную проблематику изучения прагматических факторов в истории языка русской письменности, риторических и нарративных стратегий.

Л и т е р а т у р а

Алексеев 1987а — А. А. Алексеев. Пути стабилизации языковой нормы в России XI—XVI вв. // ВЯ. 1987. № 2. С. 34—46.

Алексеев 1987б — А. А. Алексеев. *Participium activi* в русской летописи: особенности функционирования // Russian Linguistics. Vol. 11. 1987. С. 187—200.

Белоруссов 1899 — И. М. Белоруссов. Дательный самостоятельный падеж в памятниках церковнославянской и древнерусской письменности // РФВ. Т. 41. 1899. С. 71—146.

Борковский, Кузнецов 1965 — В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. М., 1965.

Живов 1995 — В. М. Живов. *Usus scribendi* Ж Простые претериты у летописца-самоучки // Russian Linguistics. Vol. 19. 1995. № 1. С. 45—75.

Живов 1998 — В. М. Живов. Автономность письменного узуса и проблема преемственности в восточнославянской средневековой письменности // Славянское языкознание. XII Междунар. съезд славистов. Краков, 1998: Докл. рос. делегации. М., 1998. С. 212—247.

Зализняк 2004 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. 2-е изд., перераб. с учетом находок 1995—2003 гг. М., 2004.

Истрина 1923 — Е. С. Истрина. Синтаксические явления Синодального списка I Новгородской летописи // ИОРЯС. 1923. Т. 24. Кн. 2. С. 207—239.

Калинина 2001 — Е. Ю. Калинина. Нефинитные сказуемые в независимом предложении. М., 2001.

Кузьмина, Немченко 1982 — И. Б. Кузьмина, Е. В. Немченко. История причастий // Историческая грамматика русского языка: Морфология. Глагол / Ред. Р. И. Аванесов, В. В. Иванов. М., 1982. С. 349—416.

Лопатина 1978 — Л. Е. Лопатина. Второстепенное сказуемое // Историческая грамматика русского языка: Синтаксис. Простое предложение / Ред. В. И. Борковский. М., 1978. С. 142—188.

НПЛ 1950 — Полное собрание русских летописей. Т. 3. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.

- Потебня 1958 — А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике. Т. 1—2. М., 1958.
- Руднев 1959 — А. Г. Руднев. Обособленные члены предложения в истории русского языка // Учен. зап. ЛГПИ. Т. 174. Л., 1959. С. 113—191.
- Сабенина 1978 — А. М. Сабенина. Дательный самостоятельный // Историческая грамматика русского языка: Синтаксис. Простое предложение / Ред. В. И. Борковский. М., 1978. С. 328—361.
- Сахарова 2005 — А. В. Сахарова. Причастные обороты в древнерусской летописи: содержательные параметры их употребления для глаголов восприятия // Рус. яз. в науч. освещении. 2005. № 2 (10). С. 250—266.
- Сахарова 2007 — А. В. Сахарова. Содержательные параметры употребления кратких причастий в древнерусской летописи для некоторых стативных глаголов // ВЯ. 2007. № 2 (в печати).
- СлДРЯ XI—XIV вв. — Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.). Т. 1—10. М., 1988—2004—.
- СлРЯ XI—XVII вв. — Словарь русского языка XI—XVII вв. Т. 1—24. М., 1975—2006—.
- Срезневский I—III — И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1—3. СПб., 1903.
- Стеценко 1972 — А. Н. Стеценко. Исторический синтаксис русского языка: Учеб. пособие. М., 1972.
- Шахматов 1929/2001 — А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка. М., 1929 (цит. по изд.: М., 2001).
- Chafe 1987 — W. Chafe. Cognitive constraints on information flow // R. S. Tomlin (ed.). Coherence and Grounding in Discourse: Outcome of Symposium, Eugene, Oregon, June 1984. Amsterdam, Philadelphia, 1987. P. 21—51. (Typological Studies in Language. Vol. 11)
- Corin 1995 — A. Corin. The dative absolute in Old Church Slavonic and Old East Slavic // Die Welt der Slaven. Bd. 42. 1995. № 1. P. 251—284.
- Dry 1981 — H. Dry. Sentence aspect and the movement of the narrative time // Text. Vol. 1. 1981. № 3. P. 233—240.
- Dry 1983 — H. Dry. The movement of narrative time // Journal of Literary Semantics. 1983. XII/2. P. 19—53.
- Haiman, Thompson 1984 — J. Haiman, S. A. Thompson. 'Subordination' in universal grammar // Proceedings of the Tenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society. Berkeley, 1984. P. 510—523.
- Haiman 1985 — J. Haiman. Natural syntax. Iconicity and Erosion. Cambridge, 1985 (Cambridge Studies in Linguistics. Vol. 44).
- Haspelmath 1995 — M. Haspelmath. The converb as a cross-linguistically valid category // M. Haspelmath, E. König (eds.). Converbs in Cross-Linguistic Perspective. Berlin; N. Y., 1995. P. 1—55. (Empirical Approach to Language Typology. Vol. 13).
- Hopper 1979 — P. J. Hopper. Aspect and foregrounding in discourse // T. Givón (ed.). Discourse and Syntax. N. Y., 1979. P. 213—241. (Syntax and Semantics. Vol. 12).
- Lakoff 1984 — R. Lakoff. The pragmatics of subordination // Proceedings of the Tenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society. Berkeley, 1984. P. 481—549.
- Longacre 1983 — R. E. Longacre. The Grammar of Discourse (Topics in Language and Linguistics). N. Y., 1983.

Matthiesen, Thompson 1988 — C. Matthiesen, S. A. Thompson. The structure of discourse and 'subordination' // J. Haiman and S. A. Thompson (eds). *Clause Combining in Grammar and Discourse*. Amsterdam, Philadelphia, 1988. P. 350—389 (Typological Studies in Language. Vol. 18).

Nedjalkov 1995 — V. Nedjalkov. Some typological parameters of converbs // M. Haspelmath, E. König (eds). *Converbs in Cross-Linguistic Perspective*. Berlin; N. Y., 1995. P. 97—136 (Empirical Approach to Language Typology. Vol. 13).

Polanyi, Hopper 1981 — L. Polanyi, P. J. Hopper. A Revision of the Foreground-Background Distinction: Paper presented at the 1981 Winter meeting of the Linguistic Society of America. [Электрон. ресурс]. <http://eserver.org/langs/polanyi-hopper1981.hqx> [21.6.2000].

Růžička 1963 — R. Růžička. *Das syntaktische System der Altslavischen Partizipien und sein Verhältnis zum Griechischen*. Berlin: Akademie Verlag, 1963.

Tomlin et al. 1997 — Discourse Semantics / R. S. Tomlin, L. Forrest, Ming Ping Pu and Myung Hee Kim // T. A. van Dijk (ed.). *Discourse as Structure and Process. Discourse Studies: A multidisciplinary introduction*. Vol. 1. London; Thousand Oaks; New Delhi, 1997. P. 63—111.

Večerka 1961 — R. Večerka. *Syntax aktivních participií v staroslověnině*. Praha, 1961.

Wårvik 2002 — B. Wårvik. *On Grounding in Narrative: A Survey of Models and Criteria*. Turku, 2002 (English Departement Publications. Vol. 5).

Worth 1994 — D. S. Worth. The dative absolute in the *Primary Chronicle*: some observations // Harvard Ukrainian Studies: Special issue. *Ukrainian Philology and Linguistics*. Vol. XVIII. 1994. № 1/2. P. 29—46.

А. РОДИОНОВА

ФОРМА **ВЪШЕТЬ** В РОГОЖСКОМ ЛЕТОПИСЦЕ: ОБРАЗОВАНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ, УПОТРЕБЛЕНИЕ

Рогожский летописец (РГБ, ф. 247, Рогожск. собр., № 253) представляет собой краткий летописный свод середины XV в., основанный в значительной степени на тверских источниках [Шахматов 1938; Приселков 1940; Лурье 1989; Клосс 2000]. Согласно описанию Клосса [Клосс 2000], сборник, содержащий Рогожский летописец, писан пятью писцами, из которых три работали непосредственно над летописью. Текст летописи в сборнике помещается вслед за статьями «Отъ шестоденьника прѣвѣчѣтныи лѣтописецъ» и «Лѣтописецъ въкратцѣ изложенъ отъ йдама и до сего дни», с которыми составляет одно целое. В русской части летопись охватывает временной интервал от расселения славян до 6920 (1412) г.

Восходит к нескольким источникам:

до 6796 (1288) г. — краткая компиляция из Суздальского летописца, доведенного до последней четверти XIII в., и кратких выдержек из Новгородской IV летописи [Лурье 1989] (Шахматов вместо Новгородской IV летописи предполагает Летопись Авраамки);

6796—6835 (1288—1327) гг. — текст тверского летописания, сходный с соответствующим текстом Летописи Тверской XVI в.;

6836—6882 (1328—1374) гг. — систематическое соединение тверского источника с Летописью Симеоновской;

С 6883 (1375) г. тверской источник прерывается, текст становится почти идентичным Симеоновской летописи.

Одной из морфологических особенностей Рогожского летописца является употребление не зафиксированной в других памятниках формы **въшесть** (23 случая). В связи с этой формой возникает комплекс проблем: ее образование, значение, употребление.

Конструкции с **въшесть** встречаются на отрезке с 6862 (1354) по 6884 (1376) г., т. е. в той части, где записям Рогожского летописца соответствуют записи Симеоновской летописи (согласно гипотезе Я. С. Лурье [Лурье 1989: 23], Рогожский летописец и Симеоновская летопись восходят к единому протографу). Обратим внимание на то, что употребляют ее два писца. В Симеоновской летописи есть приблизительные соответствия двум статьям Рогожского летописца под 6878 (1370) г.

Рогожский летописец	Симеоновская летопись
л. 305, 6878 Того же лѣта веснѣ вѣшѣ подлѣ Болгѣ всюдѣ поведѣ силна	л. 201 об. (159), 6878 Того же лѣта вѣша поведѣ велика
л. 306, 6878 То же врѣмя вѣшѣ дождево добрѣ хлеба много не жинали	л. 201 об. (159), 6878 Того же лѣта и тоѣ осени дождеве мнози вѣша

В обоих случаях форме *вѣшеть* Рогожского летописца в Симеоновской летописи соответствует *вѣша*, причем в первом примере происходит рассогласование по числу. Приселков [Приселков 1940: 170] отмечает, что Рогожский летописец лучше сохраняет протограф, чем Симеоновская летопись. Исходя из сказанного, можно предположить, что форма *вѣшеть* не является инновацией Рогожского летописца, но списана с протографа: поскольку *вѣша* в первом примере употребляется даже с нарушением грамматического согласования, эта форма здесь, скорее всего, вторична, ею заменили другую форму, не устроившую переписчика. Замененной формой, очевидно, и была неправильная *вѣшеть*, сохранившаяся в Рогожском летописце.

С точки зрения образования форму *вѣшеть*, вероятно, можно объяснить как результат контаминации форм *вѣсть* и *вѣшеть*. Форма *вѣшеть* не употребляется без *-ть*; это позволяет предположить, что *-ть* здесь скорее по аналогии с *вѣсть*, чем с *вѣшеть*. Впрочем, для имперфекта Рогожский летописец дает не вполне последовательное распределение форм с аугментом и без него¹: надежных² примеров употребления имперфекта, согласующегося с закономерностями исследованных ранее памятников, 18 (6 случаев перед местоимениями, 6 — перед *-са*, 6 — перед *-во*) на 36 случаев аугмента в памятнике, при этом возможны контексты типа *вѣше во вѣшь въ то время въ Новѣгородѣ въ Нижнемѣ* (л. 277 об., 6848) и типа *тоѣ осени такѣ пошашеть вѣти во Тѣри морѣ силенѣ на люди* (л. 295 об., 6873).

Рассмотрим контексты, в которых употребляется форма *вѣшеть*.

Потомъ мѣца декабря въ 7 день на памѣ сѣго мѣца Январска вѣшеть во лѣзнь тѣжка главна болювиному вѣцѣ Федороу тѣрьскомуу (л. 289 об.,

¹ Согласно концепции Тимберлейка [Тимберлейк 1997: 66—86], исследовавшего Лаврентьевскую летопись, аугмент в имперфекте появляется по фонотактическим причинам сначала перед полуэнклитическим местоимением ‘и’, затем обобщается на контексты перед любыми местоимениями, а также начинает употребляться перед энклитиками ‘же’ и ‘во’; в более позднюю эпоху аугментные формы употребляются в предложениях, содержащих эти частицы, при том что глагол не стоит непосредственно перед ними. В «Слове о полку Игореве» [Timberlake 1999] аугмент употребляется в позициях перед местоимениями, энклитиками ‘же’ и ‘во’, а также во фразах, содержащих наречие тогда, и в форме *вѣшеть*, выступающей в функции связки плюсквамперфекта. Об аугменте в Евангельских текстах см. [Живов 2006: 200—224].

² Надежными я здесь называю позиции непосредственно перед энклитиками и местоимениями.

6868/1360). ‘Потом, в седьмой день декабря..., у боголюбивого владыки Федора случилась тяжкая болезнь головы’;

И вѣшѣ ѿ князя Василья князю Всеволодоу томление велико (л. 287 об., 6866/1358). ‘И князь Всеволод сильно пострадал (получил сильное страдание) от князя Василия’;

Приходящими ж к нему с любовію слушающіи оученіа его тѣ вѣшѣ скорвь (л. 289 об., 6868/1360). ‘Те же, кто приходил слушать его проповеди, стали несчастными’;

Оспожа княгини вѣкаа Софья вѣспрїимъ бл҃гѣи нравѣ свекрове своеа вилікои княгини Оксиньи и добродетель ю имѣла ко вѣцѣ къ Яндрею такою^к любовію и печалованіемъ вѣшеть къ владѣцѣ Федороу и села ему подавала въ монастырь (л. 291, 6869/1361). ‘Госпожа княгиня великая Софья, восприняв благой нрав своей свекрови, великой княгини Оксиньи, и ее благосклонность, которую та имела к владыке Андрею, также с любовью и заботой стала (относиться к нему) и давала ему села в монастырь’;

Тако же вѣшеть посаженіе ихъ на князя на великаго на Михаила Ялександрича, а князь того ради поехалъ въ Литвоу (л. 299–299 об., 6875/1367). ‘Они посягнули (случилось посягательство) на великого князя Михаила Александровича, а князь Михаил из-за этого поехал в Литву’;

Того же лѣта князь великы Михаило Ялександровичъ народилъ городокъ новыи на Волзѣ, а во Тѣри вѣшѣ нелюбие князю Василию (л. 297, 6874/366). ‘В том же году князь Михаил Александрович устроил новый городок на Волге, а в Твери у него были (случились, произошли) неприятности’;

И тако на Москвѣ про тот соудъ вѣцѣ Василию вѣшеть истома и проторъ великъ, а во Тѣри сотворишетсѣ³ изгнѣель велика людемъ про чаеть князю Семеновоу (л. 299 об., 6875/1367). ‘И на Москве из-за этого суда владыке Василию (нанесли) большой ущерб и (стали его) притеснять, а во Твери люди погибли (произошла гибель людей) из-за наследства князя Семена’;

Въ лѣто 6873 вѣшѣ моръ на люди въ Кашинѣ (л. 295 об., 6873/1365). ‘В 6873 году случился мор...’;

Тое же весны не за много днѣи вѣшѣ во князю волзѣнъ Михаилоу и княгинѣ его (л. 301 об., 6876/1368). ‘Той же весной... у князя Михаила и его княгини случилась болезнь’;

Того же лѣ вѣшѣ подлѣ Волгѣ всюдѣ поводъ сила (л. 305, 6878/1370). ‘В том же году на Волге произошло сильное наводнение’;

То же врѣмя вѣшѣ джево доврѣ хлеба ѡного не жинали (л. 306, 6878/1370). ‘Тогда же случились сильные дожди, яровых не пожали’;

Та^к зима вѣшѣ тепла, снѣгъ стеклѣ заговѣвъ великому говѣнію (л. 307, 6878/1370). ‘Та зима оказалась теплой, снег стаял к началу великого поста’;

Того^к лѣ вѣсеннѣ князь Дмитрей Московскыи прїиде из Ордѣ съ многыи длѣжники и вѣшеть ѿ него по городѣ тѣгость данна вѣка людемъ

³ Эта форма тоже является контаминированной и так же, как вѣшеть (см. ниже), имеет значение перфективного аориста.

(л. 307, 6879/1371). ‘В тот же год, осенью, князь Дмитрий Московский пришел из Орды..., и налоги стали для людей высокие’;

Я князь вѣ Михаилу Александрови со княженіа с великаго наместникы свои свелъ и вгышѣ тишина и ѿ оузыъ разрешеніе хрѣтіанѡ (л. 314, 6881/1389). ‘А князь великий Михаил Александрович прогнал с великого княжения своих наместников, и наступила тишина и освобождение от уз’;

Того же лѣта вгышѣ ведро (л. 314 об., 6882/1390). ‘В тот же год случилась засуха’;

Того лѣ вѣсеннѣ ходили Литва на Татарове на темеря и вгышѣ межи ѿ вон (л. 314 об., 6882/1390). ‘В тот же год, осенью, ходили литовцы на татар, на Темеря, и между ними произошла битва’;

И тако стоявшѣ неколико днѣи и вгышѣ илѣ враго тѣ въ спасеніе (л. 313, 6880/1372). ‘И так (они) стояли несколько дней, и оказался для них тот враг спасительным’;

Я въ Тѣбри градѣ вгышѣ скорвь немала, ака же не бывала въ мнимошедша лѣта, и моръ на люднѣ на скѡ (л. 318 об., 6883/1391). ‘А в Твери в тот год случилось большое горе, какого не бывало в предыдущие годы, и мор...’.

Как видно из контекстов, значение этой формы больше всего похоже на значение формы *вгысть* (перфективного аориста). Однако *вгышетъ* имеет ограничения в употреблении сравнительно с *вгысть*. В тексте Рогожского летописца не зафиксировано этой формы в функции связки в конструкциях со страдательными причастиями: в таких конструкциях всегда используется *вгысть*.

Возможно, такое ограничение связано с тем, что конструкции *вгысть* + part. passivi в Рогожском летописце, как правило, представляют собой клишированные формулы, в которых ничего, кроме *вгысть*, не мыслилось⁴.

Кроме того, зафиксировано три случая, когда *вгышетъ* употребляется в конструкциях, в которых ожидалось бы *вѣ*:

Конструкции с <i>вгышетъ</i>	Конструкции с <i>вѣ</i>
Въ единѡ чѣ вгышѣ вѣ видѣти гра великѣ, вѣчисленое мнѡство люднѣ въ немѣ, въ томѣ же часѣ пожьже его огонь и преложнѣтъся в влгнѣ и потолѣ попѣ и развѣта вѣтрѣ и всоуѣ вгышѣ ѡбвѣкоѣ мѣтеніе (л. 312, 6880)	Вѣ бо дни того видѣти вѣ всемѣ градѣ жалость и рыданіе (л. 356, 6907)
И сташа обѣ рати противоу себе воруужасѣ о вѣ, и не вгышѣ лѣтѣ толь корзо снати, влшетъ бо дѣвѣ глауѣвока зѣло (л. 313, 6880)	Толь же силенѣ вгысть моръ въ ннѣ тако не вѣ мощно живыиѣ мертвѣхѣ погребати (л. 278 об., 6854)

⁴ *Вгысть* употребляется с причастиями положенъ (32 случая), оубненъ (21), поставленъ (и синонимы) — о церковных иерархах (17), нареченъ (или прозванъ) (16), с «причастиями строительства церквей» (свѣщена, съвершена, создана, подписана, кончана, заложена, почата, основана, оубелена — всего 29 раз); в контекстах, не сводимых ни к каким формулам, конструкция *вгысть* + part. passivi встречается 28 раз.

Стоит заметить, что в Рогожском летописце довольно редки случаи асемантического употребления претеритов (6 примеров *вѣсть* вместо *вѣ* / *вѣшь*, 2 случая обратного смешения). Таким образом, Рогожский летописец демонстрирует, что утрата «пассивной памяти» о той или иной грамматической системе может начинаться не с потери семантики, а с забвения внешнего облика словоформ. Согласно данным Мазуринской летописи XVII в., исследованной Живовым [Живов 1995: 45—75], в более позднюю эпоху простые претериты были для летописца лишь индикатором «книжности», что приводило к рассогласованию по лицу или числу. В Рогожском летописце картина несколько иная: писцы знали, где уместно употреблять претериты, но отличить правильные формы от неправильных уже не могли.

Л и т е р а т у р а

Живов 1995 — В. М. Ж и в о в. Usus scribendi: Простые претериты у летописца-самоучки // *Russian Linguistics*. Vol. 19/1. С. 45—75.

Живов 2006 — В. М. Ж и в о в. **ХОЖ-ТЬ-И**. Об идеосинкратических факторах при выборе морфологических вариантов // *Восточнославянское правописание XI—XIII века*. М., 2006. С. 200—225.

Клосс 2000 — Б. М. К л о с с. Предисловие // *Полное собрание русских летописей*. Т. 15. Рогожский летописец. Тверской сборник. М., 2000.

Лурье 1989 — Я. С. Л у р ь е. Летописец Рогожский // *Словарь книжников и книжности Древней Руси*. Втор. пол. XIV — XVI в. Ч. 2. Л—Я. М., 1989.

Приселков 1940 — М. Д. П р и с е л к о в. История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940.

Тимберлейк 1997 — А. Т и м б е р л е й к. Аугмент имперфекта в Лаврентьевской летописи // *ВЯ*. 1997. № 5. С. 66—86.

Шахматов 1938 — А. А. Ш а х м а т о в. Обзорение русских летописных сводов XIV—XVI вв. М.; Л., 1938.

Timberlake 1999 — A. T i m b e r l a k e. On the imperfect augment in the «Slovo o polku Igoreve» // *Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования*. М.: РГГУ, 1999. Р. 771—786.

И с т о ч н и к и

Рогожский летописец — РГБ, ф. 247, Рогожск. собр., № 253.

ПСРЛ 18 — *Полное собрание русских летописей*. Т. 18. Симеоновская Летопись. СПб., 1913.

С. М. ШАМИН

**СЛОВО «КУРАНТЫ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
XVII — НАЧАЛА XVIII в.¹**

История изучения «курантов» насчитывает уже около двухсот лет. Практически все это время продолжается острая дискуссия о характере данного источника. Ее ход подробно освещен в работе [Кобзарева 1988: 92—99]. В настоящее время в научных исследованиях сохраняется значительное число противоречащих друг другу определений термина «куранты». Их называют «рукописной газетой» [БСЭ 1973; Ольшевская, Травников 2000; Кудakov 2002: 3 и др.], «своеобразными рукописными газетами, которые являются первым звеном в зарождении русской периодической печати» [Хаустова 1956: 51], «служебными записками Посольского приказа государю и правительству» [Сапунов 1976: 204], «правительственным дипломатическим изданием» [ИРЖ 2003: 10], «конспективные (точнее — выборочные) переводы иностранных известий» [Кудрявцев 1963: 209] и др.

Таким образом, до настоящего момента в науке не существует устоявшегося представления о том, что же такое «куранты». По нашему мнению, решить эту проблему нельзя, не установив, как данное слово использовалось в XVII—XVIII вв., когда оно активно функционировало в русском языке.

Впервые этот вопрос попыталась решить И. С. Хаустова [Хаустова 1956: 51—55]. Она обратилась к нему в связи с тем, что «в работах историка С. Я. Марлинского рукописные газеты XVII в. не назывались, как в предшествующей литературе по истории русской журналистики, „курантами“, а вместо этого употреблялись названия „Рукописные ведомости“ или просто „Ведомости“». С. Я. Марлинский считал, что «распространенный в дворянской историографии термин „куранты“ мы вправе заменить русским названием рукописных известий „Ведомости“» на основании того, что этот термин часто встречается в источниках².

¹ Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Грант 05-01-01164 а.

² В качестве заглавия слово *ведомости* сколько-нибудь регулярно встречается только на переводах с курантов, которые использовались как рукописный оригинал для печатных «Ведомостей» XVIII в. и в описи конца XVIII — начала XIX в. Распространять этот термин на все рассматриваемые документы некорректно.

Предложение Марлинского было конъюнктурной спекуляцией. Его исследования проводились в самом конце 1940-х гг. в обстановке борьбы с низкопоклонством перед Западом. Защита национальных приоритетов «усиливала» актуальность исследования. Заявления одесского историка заставили И. С. Хаустову попытаться выяснить, как на самом деле слово *куранты* использовалось в русском языке. Исследовательница убедительно показала, что оно употреблялось во 2-й половине XVII и в начале XVIII в., когда в России уже существовала не рукописная, а печатная газета. Отметим она и многозначность слова *куранты*.

По мнению Хаустовой, курантами называли, во-первых, заграничные газеты, письменные и печатные, или сами зарубежные известия и сообщения. Например: «В курантах почтовых печатных польских и немецких напечатано и наш резидент из Варшавы в Москву пишет...»; «Да он же (В. Шиллинг) переводит по присылке в Розряд и в Военном приказе швейские письма, да он же переводит куранты, потому что, кроме него, в Посольском приказе швейского языка переводчика нет»; «Перевод с письменных и печатных курантов, каковы присланы чрез виленскую почту нынешняго (1702) декабря в 24».

Во-вторых, в начале XVIII в. курантами назывались и русские переводы из иностранных газет, входившие в отдел заграничной информации в печатных «Ведомостях» Петровского времени. Например, к переводу заграничных известий для № 7 «Ведомостей» за 1703 г. приписано: «Сей курант прислан из Посольского приказу, а на печатном дворе те статьи выписаны к тиснению, которые откренены».

Хаустова предположила, что слово *куранты* выходит из употребления в начале XVIII века в связи с тем, что в то время вполне осознано было существенное отличие «Ведомостей» от старых «курантов». Первая отечественная печатная газета была названа самым употребительным русским синонимом к иноязычному слову *куранты*, и по отношению к ней слово *куранты* никогда не употреблялось. С другой стороны, этому должно было способствовать и появление в это же время в русском языке совсем нового обозначения — «газета», которое делало излишним употребление слова *куранты*.

Подводя итоги своим рассуждениям, исследовательница предложила сохранить первоначальное различие употребления слов *куранты* и *ведомости*, якобы соблюдавшееся в начале XVIII в. «Мы ничего не выигрываем, отказываясь от исторического именованя „курантами“ рукописных переводов заграничных известий или „вестей“, представлявших собою явление, по существенным признакам не совпадающее, не тождественное с позднейшей газетой „Ведомости“».

Эта статья имела большое значение для дальнейшего исследования употребления слова *куранты*. Однако не все сделанные в ней наблюдения точны, и не со всеми выводами автора можно согласиться. Отметим наиболее существенные неточности: 1) утверждение, будто бы слово *куранты* не употреблялось в отношении к печатным «Ведомостям», ошибочно; 2) сло-

во *куранты* в значении ‘русские переводы (переводные компиляции) из иностранных газет’ встречается не только в XVIII, но и в XVII в.; 3) слово *ведомости* в XVII столетии не являлось синонимом к иноязычному слову *куранты*. Синонимами они стали только после того, как в начале XVIII в. у слова *ведомости* появилось новое значение ‘газета’.

В предложенном Хаустовой определении «заграничные газеты, письменные и печатные, или сами зарубежные известия и сообщения» фактически содержится два разных определения: 1) «заграничные газеты»; 2) «зарубежные известия и сообщения». Между тем во всех приведенных в ее статье примерах слово *куранты* обозначает именно газеты. Так, в первой цитате (см. выше) прямо говорится, что речь идет о печатных материалах, в третьей приводится стандартный формуляр заглавия «переводов с курантов», а эти материалы на настоящий момент достаточно хорошо изучены. Видеть в них не переводы материалов иностранных изданий, а просто «зарубежные известия и сообщения» нет оснований. Что же касается второго примера, то в нем вместе с курантами упоминаются письма, содержащие «зарубежные известия и сообщения». Это свидетельствует, что в цитируемом источнике говорится о конкретных типах документов, с которыми работал переводчик, а не просто об абстрактных «зарубежных известиях и сообщениях». Таким образом, одно из указанных автором значений слова *куранты* не имеет подтверждения.

Оппонентом Хаустовой выступил А. Л. Сахаров [Сахаров 1964]. К сожалению, цель своей работы он видел не в изучении словоупотребления XVII в., а в том, чтобы установить, как в XVII — начале XVIII столетия называлась первая русская рукописная газета. Поставленная Сахаровым задача не имела решения. В XVII в. такой газеты не существовало. Фонд 155 Российского государственного архива древних актов (далее — РГАДА), который Сахаров считал газетой, сформировали в конце XVIII — начале XIX столетия из разных по своему происхождению и функциональному назначению материалов архивисты Коллегии иностранных дел. В XVII столетии эти документы просто не могли иметь единого названия.

Тем не менее Сахарову удалось сделать целый ряд ценных наблюдений. На значительном по своему объему материале он показал, что в первые десятилетия XVII в. слово *куранты* в русском языке не использовалось, а на протяжении второй половины XVII в. так чаще всего называли иностранные газеты (самый ранний из приведенных в статье примеров использования слова *куранты* относится к 1657 г.). После появления печатных «Ведомостей» курантами стали называть не только иностранные, но и русские газеты. Кроме того, Сахаров указал, что «в это время, особенно к концу века, изредка переводы с иностранных газет также именовались „курантами“»³.

³ К сожалению, А. Л. Сахаров к этому значению приводит примеры только XVIII в., хотя, судя по отметкам на бланках выдачи архивных дел, он был знаком с документами, в которых переводы с *курантов* назывались просто *курантами* уже в XVII в.

Этой форме придавалось специальное уточняющее значение «экземпляр курантов». От предложенного Хаустовой определения *курантов* «зарубежные известия и сообщения» Сахаров справедливо отказался.

Заслугой Сахарова является и то, что он обобщил термины, которые разные исследователи употребляли параллельно слову *куранты*⁴, а также отметил недопустимость попеременного их использования в рамках одной работы. Плодотворна и его идея о том, что при исследовании рассматриваемого материала (в том числе документов ф. 155 РГАДА) нельзя смешивать терминологию разных хронологических периодов. К сожалению, установив различие в формулярах заглавий документов, содержащихся в ф. 155 РГАДА, Сахаров не смог преодолеть «гипноз архивного фонда» и сделать вывод, что перед ним не рукописная газета, существовавшая на протяжении почти ста лет, а различные материалы с известиями о событиях за рубежом. Пытаясь как-то разрешить поставленную перед собой задачу, Сахаров обратил внимание на то, что в документах часто используется слово *вести*. Именно его исследователь посчитал названием «первой русской рукописной газеты». Данный вывод можно рассматривать только как недоразумение, оказавшееся возможным из-за того, что Сахаров не был знаком с другими типами приказных документов XVII в. Слово *вести* употребляется в них чрезвычайно широко — везде, где речь идет о каких-либо известиях. Если его рассматривать как заглавие «первой русской рукописной газеты», то газетами придется считать самые разные документы, например, сообщения сторожевых станиц о положении дел на границе. По нашему мнению, слово *вести* характеризует содержащуюся в документах информацию, а не определяет тип документа — носителя информации. Точно так же в современном русском языке слово *новости* лишь характеризует информацию, которую несут газеты, радио, телевидение, Интернет, но не является их вторым наименованием (подробнее см. ниже).

Вопрос об использовании слова *куранты* в XVII в. был затронут в предисловии к первому тому издания «Вести-куранты». Его авторы установили наиболее ранний случай использования слова *куранты* в русском языке (1649 г.) [Вести-Куранты 1972: 6]. Что же касается значения данного слова, то на двух различных страницах введения оно определяется по-разному. На четвертой странице говорится, что «Курантами в XVII в. называли газеты (ср. нем. Couranten ‘ходячие вести, известия’, фр. courant ‘бегущий’))».

⁴ «Вестовые письма, или Куранты» (М. С. Черепанов, Т. А. Быкова, А. В. Запов); «Вести, Вестовые листы и Куранты» (В. Д. Кузьмина); «Ведомости или Вести из разных мест, Вестовые письма, Куранты» (С. Я. Марлинский); «Вести, Вестовые письма, Вести из разных мест, Куранты» (С. П. Обнорский и С. Г. Бархударова); «Вести, Вестовые письма, Ведомости, Куранты» (П. Н. Беркова); «Ведомости или Вести, Вестовые письма, Вестовые листки, Куранты» (И. С. Хаустова). Следует добавить, что Сахаров учел не все варианты («Столбцы» В. П. Соболев [Соболев 1957: 4—6]), и в настоящее время перечень параллельных наименований продолжает разрастаться. К нему добавилось наименование «Вести-куранты».

На пятнадцатой странице, где идет речь о заглавии издания, приводится более широкое значение слова *куранты*. Там говорится, что, «как известно, некоторые голландские газеты XVII в. назывались „курантами“. Русские стали называть курантами иностранные газеты и переводы с них (выделено мной. — С. III). А куранты складывались из „вестей“... Слово „куранты“ было в ходу в среде приближенных Петра I. В другой общественной среде употреблялось название „вести“, о чем свидетельствует... отрывок судного дела» [Там же: 4, 15] (см. ниже).

Таким образом, во втором случае авторы введения фактически приводят два значения слова *куранты* — «иностранные газеты» и «переводы с иностранных газет». К сожалению, это более полное определение в тексте введения фигурирует не самостоятельно, а приводится лишь попутно при рассмотрении проблемы названия издания. В результате большинство авторов обобщающих работ останавливаются на первом, кратком определении.

Во введении впервые делается попытка разграничить нормы употребления слова *куранты* у людей из разных слоев русского общества. К сожалению, эта правильная в принципе идея реализована не слишком удачно. В качестве примера «народного» словоупотребления, отличного от «придворного», приводится судное дело 1642—1643 гг., т. е. документ того периода, когда, согласно собственным данным авторов введения, слово *куранты* в русском языке вообще не употреблялось.

Одновременно с выходом первого тома «Вестей-курантов» была защищена диссертация американского исследователя Д. К. Уо [Waugh 1972]. В ней интересующей нас проблеме было посвящено специальное приложение. Уо пришел к выводу, что в первой половине XVII в. исследуемые документы начинаются словами «переводы с». Далее следует указание на источник — «грамота» или «грамотка», «лист», «письмо» или «куранты». Слово «грамотка» обозначает личные письма — рукописные, непечатные источники. Наиболее часто оно встречается во фразах, отмечающих, что это копия или выдержки из них (список с грамотки, выпись из грамотки). «Письмо» — также рукописный и наиболее распространенный в период, предшествующий созданию почтовой службы в 1660-х гг., источник. В некоторых случаях оно преобразовывалось в «вестовое письмо» («news letter» в тексте Д. К. Уо — в современном русском языке специальный термин для такого типа документов отсутствует). В нескольких случаях автор письма указан, но часто это просто анонимно циркулирующие «вестовые письма», которые копировали почтмейстеры в разных частях Европы. «Вестовое письмо» включает статьи из разных мест и составлено из того же материала, что и печатные газеты того времени. Через такие письма агенты печатников в разных городах посылали новости, которые позднее публиковались в газетах. Собственно печатные газеты в русских документах первоначально обозначали термином «печатный вестовой лист». Так же могли назвать печатную брошюру или листовку (прокламацию). Этимология термина «куранты» известна (в этом случае американский исследователь, ве-

роятнее всего, имеет в виду, что данное слово является заимствованием из голландского языка), меньше внимания уделено вопросу, когда этот термин начал использоваться. Он редко появлялся до 1660 г. Возможно, что до 1660-х гг. «куранты» обозначали специально голландские газеты с этим названием. С середины 1660-х гг. этот термин становится родовым для иностранных газет или «news letters». Не позднее 1676 г. курантами стали называть не только иностранные газеты, но и составленные на их основе компиляции [Waugh 1972: 447—451]. Большим вкладом в исследование значения слова *куранты* представляется и то, что Уо впервые на широком материале доказал, что названные в XVII в. переводами документы в реальности зачастую являются компиляциями. Эти же выводы он кратко изложил в своей рецензии на первый том «Вестей-курантов» [Waugh 1973: 105].

Накопленные сведения об использовании слова *куранты* в XVII столетии были обобщены в 1981 г. в Словаре русского языка XI—XVII вв. В статье «Куранты» говорится, что это: 1) Сообщения о текущих событиях («В курантах непрестанно пишутся победы войск вашего царского величества»), «Зделали почту... для полезнаго слышания вестописменных курантов, что в коей земле делаетца»); 2) Вестник, газета [СлРЯ XI—XVII вв., VIII: 135].

Мы видим, что авторы словаря отказались от приведенного Хаустовой для XVIII в., а позднее распространенного Сахаровым и авторами издания «Вести-куранты» на XVII столетие значения «переводы с курантов». Вероятно, причины этого в том, что Сахаров указал среди примеров только тексты XVIII в., в первом томе «Вестей-курантов» конкретных примеров тоже нет, а составители словаря не занимались данным вопросом специально. Возможно, сыграло роль и то, что к началу 1980-х гг. только в работах Уо отмечались компилятивный характер русских «переводов с курантов» и условность применения к этим документам слова *перевод*.

Предложенное Хаустовой двойное определение «заграничные газеты, письменные и печатные, или сами зарубежные известия и сообщения» при работе над словарем было разделено на два. Первым указано значение «Сообщения о текущих событиях». Характеризуя приведенные к этому значению примеры, Е. И. Кобзарева отметила, что «Скорее всего, и в том и в другом случае под словом „куранты“ подразумеваются иностранные газеты, и когда находящийся в Италии Постников сообщал царю о прочитанных им сообщениях о победах под Азовом, и когда речь шла об устройстве почты, по которой должны были пересылаться иностранные газеты» [Кобзарева 1988: 84]. Поставив под сомнение приведенные примеры, Кобзарева не смогла доказательно их отвергнуть. В этих текстах нет указания на то, о чем именно речь, и при чтении можно в соответствии с собственными желаниями видеть в упомянутых здесь «курантах» и иностранные газеты, и «сообщения о текущих событиях». Однозначно решить этот вопрос можно было бы, имея на руках те документы, о которых идет речь в цитируемых текстах. Однако на сегодняшний момент они не установлены.

Словарь русского языка XVIII века в общих чертах повторяет данные Словаря русского языка XI—XVII вв. [СлРЯ XVIII в., XI: 81, 82]. Он характеризует куранты как: 1) печатные издания; газета, сообщающая о текущих событиях; 2) известия, новости («Из Дании куранты любезно объявляют: рождение дочери короля того Меленды», «Получила... такие куранты, будто швецкая королева умерла»). Здесь, так же как в Словаре русского языка XI—XVII вв., отсутствует отмеченное Хаустовой, Сахаровым, издателями «Вестей-курантов», Уо значение ‘переводы с курантов’. Если для Словаря русского языка XI—XVII вв. отсутствие данного значения можно объяснить тем, что в статьях исследователей имеются только примеры, относящиеся к XVIII в., то игнорирование данной информации Словарем русского языка XVIII в. кажется странным. Вызывают сомнения и примеры, подобранные для иллюстрации значения ‘известия, новости’. Приведенные цитаты с таким же успехом могут относиться к значению ‘печатные издания; газета’.

При работе над данной статьей автором было проанализировано около тысячи случаев использования слова *куранты* в текстах XVII—XVIII вв. При этом не встречено ни одного варианта, где бы слово *куранты* однозначно подразумевало ‘сообщение о текущих событиях’ или ‘известия, новости’. Скорее всего, в XVII—XVIII столетиях слово *куранты* в таком значении не использовалось.

Последняя из представляющих интерес для нашей темы работ является опубликованная в 2001 г. статья И. Майер и В. Пилгер о курантах 1648 и 1649 гг. [Maier, Pilger 2001: 209—242]. В ней подробно анализируется текст, содержащий информацию о полномочиях испанских представителей на переговорах о мире с Голландскими штатами в Мюнстере 1648 г. В разделе, посвященном общему анализу источника, отмечено, что в переводах слово *куранты* первый раз появляется в 1649 г. В пятом томе — 1651—1652, 1654—1656, 1658—1660 гг. — отмечено девять случаев употребления этого слова, а в еще не опубликованных переводах 1660-х гг. — более 150 случаев. Наблюдения Майер впервые позволили представить динамику распространения слова *куранты* в русском языке.

Таким образом, исследования последних пятидесяти лет позволили установить, что в XVII—XVIII вв. слово *куранты* использовалось в нескольких значениях. Основное из них — синоним современного слова *газеты* (изначально иностранные, а после появления печатных «Ведомостей» — и русские), второе — «переводы и переводные компиляции с иностранных газет». Это значение слова *куранты* не учтено словарями русского языка. Между тем компилятивные переводы — подборки материалов из нескольких газет (часто сокращенные, а изредка пересказанные или прокомментированные) представляют собой новое, оригинальное явление. Уже в начале XVIII в. переводчики отличали их от переводов в современном значении этого слова и называли «экстракт ис печатных курантов»⁵. В работе Хау-

⁵ Архив внешней политики Российской империи (далее — АВПР). Ф. 11. Оп. 11/1. 1724 г. Ед. хр. 54. Л. 5, 8. Встречаются и другие, близкие по смыслу определения.

стовой и в ориентирующихся на нее словарях приводится еще одно значение — «зарубежные известия и сообщения» («сообщение о текущих событиях», «известия, новости»), однако реальное существование данного значения вызывает сомнение.

Были намечены и пути дальнейшего изучения истории функционирования слова *куранты* в русском языке. Во-первых, исследователи установили, что рассматривать бытование этого слова надо с учетом хронологических изменений. Во-вторых, оказалось, что отдельного исследования требует вопрос о том, внутри каких социальных групп данное слово использовалось. Эти намеченные предшественниками подходы мы попытаемся реализовать в нашем исследовании. Кроме того, точно установить значение данного слова можно только на основе большого количества примеров из источников разного типа. Это даст возможность отличить норму от ненормативного, случайного употребления слова. Необходимо также проанализировать соотношение слова *куранты* с его синонимами: *авизы*, а с начала XVIII в. — *ведомости, газеты*.

По нашим наблюдениям, бытование слова *куранты* в русском языке второй половины XVII — начала XVIII столетия распадается на два условных, но все же четко просматривающихся периода. Рубежом для них служат несколько лет, прошедшие между свержением правительства царевны Софьи и началом самостоятельного правления Петра I. Для первого периода характерно постепенное распространение слова среди людей, так или иначе связанных с внешнеполитической деятельностью русского правительства. Во втором периоде этот процесс ускоряется и осложняется нарастающей беспорядочностью в словоупотреблении. В XVIII в. появляются новые синонимы, которые постепенно вытесняют слово *куранты* из языка.

В начале исследования необходимо кратко коснуться вопроса о том, как в Московском государстве называли иностранные газеты и непериодические информационные издания⁶ до появления специальных наименований. Анализ материалов из первых пяти томов «Вестей-курантов» показывает, что, как отмечал Д. К. Уо, до середины XVII столетия переводчики в подавляющем большинстве случаев указывали, что ими сделан перевод с листов (листочков) или тетрадей, реже — писем [Вести-Куранты 1972; 1976; 1980; 1983; 1996]⁷. К этим основным определениям добавлялись указания на то, что переводимые листы (листки, тетради, письма) являются вестовыми, печатными (письменными для рукописных газет), немецкими (цесарскими, голландскими и т. д.), перечневыми⁸. В каждом конкретном случае

⁶ Т. е. прессу в широком значении этого слова.

⁷ Из анализа исключены документы, в отношении которых заглавие, содержание, структура текста позволяют предположить, что это не переводы с иностранных газет или непериодических информационных изданий. К примеру, исключены материалы перлюстрации писем.

⁸ От слова *перечень*, т. е. текст с постатейным перечислением известий.

отдельные дополнительные определения опускались (к примеру, «Перевод с вестовых печатных листов, что при[вез?] из Риги агличанин Иван Гебдон...» [Вести-Куранты 1996: 19]). Исключения из этого правила единичны. Часть из них связана с тем, что переводился международный договор («Перечень перемирным статья на которых статьях мыслят евангилицкие князи и думные люди с цесарем договор учинить»; «Перевод с мирных договорных статей на которых меж королем шпанским да Галанскими Статы мир учинен») [Вести-Куранты 1980: 50, 161]. В одном случае документу было дано название «Перевод с печатной росписи что несколько сот человек божию милостию изцелительными колодези в Горнузене...» [Вести-Куранты 1980: 136].

Слово *вести*, которое часто попадает в текстах и подзаголовках отдельных статей, в заглавиях встречено лишь трижды: «Перевод с вестей што деялося во 1620 м году, а по руски в 128 году в Ческой земле и в Аустрейской...», «Вести из розных мест 1637 м году», «Еуропские суботные вести 1646-м году» [Вести-Куранты 1972: 41, 179; 1980: 155]. Этих изолированных примеров (один на десятилетие при десятках сохранившихся документов) абсолютно недостаточно для того, чтобы видеть в слове *вести* общее название документов определенного типа. Бросается в глаза, что во всех трех заголовках дата приведена по европейскому, а не по принятому в России того времени летоисчислению «от сотворения Мира». Это нехарактерно для большинства переводов с иностранных газет. Скорее всего, все три зафиксированных отклонения связаны с тем, что переводчик в большей мере ориентировался на иностранный первоисточник, а не на нормы русского словоупотребления.

Один раз в заглавии встречено слово *ведомы*: «Выписано из розных подлинных ведомов в нынешнем во 167 м году в августе месяце» [Вести-Куранты 1996: 133]. Однако в данном случае перед нами не перевод с газеты, а подборка сообщений из Польши. В ней нет обычных подзаголовков статей, зато на полях против каждого «ведома» стоит порядковый номер от 1 до 12.

Данные заглавий документов, опубликованных в составе «Вестей-курантов», очень близки материалам «Описи архива Посольского приказа 1626 г.» [Опись 1977: 185, 195, 198, 199—200, 204, 208, 251, 254, 255, 310, 358, 362, 363, 364, 373, 380, 383, 392]. К сожалению, описи менее удобны для изучения нашей проблемы, поскольку в них приведены только заглавия, и уточнить характер документа по его содержанию не всегда возможно.

Информацию о том, как русские тексты с зарубежными новостями именовались вне формуляров заглавий их переводов, можно встретить в следственном деле 1642—1643 гг. о порче царицы Евдокии Лукьяновны. При расследовании данного дела у стрельца Гришки Казанца была «вынута» часть перевода с вестового листа или газеты. Его происхождение оказалось вполне невинным: «А што де у нево вынято письмо, — говорил следователям Казанец, — а написано в нем проявился мессия и то де письмо дал ему

розрядной подьячей Федор Семенов с ыным писмом на заряды и он де Гришка прочетчи то писмо подивился». Следователи также называли изъятые материалы письмом. Подьячий же Разрядного приказа Федор Семенов на допросе сказал: «Прашивал де у него тот стрелец Гришка бумаги на заряды, и он де Федор ему де ис под стола драную бумагу на заряды давал и нешто де будет то писмо дал в драной бумаге, а писаны де те вести в отписке изо Пскова и та де отписка в Розряде и ныне есть» (№ 18 Дело по извету иноземца Д. Рябицкого на О. Науменка в том, что он умышлял портить и уморить царицу Евдокию Лукьяновну. 18 марта 1642 г. — 20 мая 1643 г. [МДБП: 271—273]). На примере этого дела очень хорошо видно, что все участники расследования называли документ письмом, когда же речь зашла о его содержании, то подьячий Разрядного приказа использовал слово *вести*. В рукописных сборниках имеются и другие примеры подобного словоупотребления, относящиеся к 1645 и 1647 гг.⁹ Таким образом, можно констатировать, что до появления слова *куранты* материалы рассматриваемого типа одинаково именовались и в среде служащих Посольского приказа, и среди простых жителей Московского государства.

Процесс вхождения слова *куранты* в русский язык зафиксирован в материалах четвертого и пятого томов «Вестей-Курантов». Сведем эти данные в хронологическую таблицу № 1.

Таблица № 1

Год	1649	1651	1652	1656	1658
Количество примеров со словом <i>куранты</i>	1	1	1	2	4

Создается впечатление постепенного, растянувшегося на десяток лет процесса «оживания» слова *куранты* в русский язык. Однако информация издания может быть уточнена. К опубликованным материалам следует добавить шесть случаев употребления слова в неопубликованном деле конца 1657 — 1658 г.¹⁰ С другой стороны, необходимо отказаться от некоторых

⁹ «Лета 7153 [1645], апреля в 20 день, перевод с немецкого письма, каково письмо подал воеводе князю Алексею Федоровичу Лыкову да дьяку Григорию Углеву Посольского приказу переводчик Матфеи Верес. А сказал, дал де ему то письмо на Гостине Немецком дворе галанского немчина Албрехта фан до Блока приказщик Еганко фан Стадон. А к нему то писми прислал июня в 5 день ис Печерского монастыря хозяин его Албрехт фан до Блок. А то де письмо прислано из Риги у датских немец свейскими то же лето меж собою» (цит. по [Бобров 1999: 463]). В 1647 г. монах, неизвестный автор «Повести о кончине царя Михаила Федоровича» ссылается на то, что «в странах немецких пишут и печатают в книгах и на листах о военных действиях». См. [Каган 1993: Повесть о кончине царя Михаила Федоровича, 138—140].

¹⁰ Ф. 155. Оп. 2. Ед. хр. 5. 1657—1658 гг.

примеров более раннего времени. Единица № 5 пятого тома издания датирована 1651 г. на основании пометы на обороте л. 1 архивного дела [Вести-Куранты 1996: 29]. Однако появление пометы связано с вторичным использованием бумаги в конце XVIII — начале XIX в. при разборке дел Донского поветья. В тексте же единицы упоминается П. Д. Дорошенко, который вышел на политическую арену только в 1660-х гг. и фигурировать на страницах иностранных газет в начале 1650-х не мог. В единице № 14, 1652 г. слово *куранты* представляет собой помету на обороте титульного листа [Там же: 57]. Судя по почерку, данная помета хотя и относится к XVII в., но была вписана позднее, чем создавался основной текст. Единица № 26, 1656 г. содержит известия разных лет, в т. ч. августа 1660, 1665—1666 гг. [Там же: 101] (подробнее об этом см. [Maier 2003: 54—55]). Таким образом, оказывается, что между первой фиксацией слова в 1649 г. и началом его систематического употребления в заглавиях переводов иностранных газет прошло шесть лет. В других источниках слово *куранты* начинает использоваться не ранее 1657 г., когда составлялась «Роспись всяким вещам деньгам и запасам, что осталось по смерти большого боярина Никиты Ивановича Романова». В ней говорится, что «165 году... февраля в 23 день пожаловал государь... Воротынского велел ему дати из животов боярина Никиты Ивановича... Шкатулу неметцкую, а в ней... перевод с польскаго письма, как женился Владислав король на цесаревне. Да с курантов перевод, у него начала нет» [ЧОИДР 1887: III, 60; Сахаров 1964: 397]. То, что документ без заглавия при разборке архива умершего боярина был опознан как «перевод с курантов», позволяет сделать два вывода. Во-первых, составитель описи к 1657 г. прочно усвоил данное слово. Во-вторых, курантами он мог назвать не только голландские газеты, но и газеты вообще, ведь если столбец с переводом не имел заглавия, то определить, что это именно перевод с голландского, не представляется возможным. Таким образом, время вхождения слова *куранты* в русский язык следует отнести ко второй половине 1650-х гг. Это закономерно, поскольку в 1654 г. Россия вступает в войну с Польшей, а в 1656 г. — со Швецией. Русское правительство остро нуждается в информации о событиях в Европе, что резко усиливает интерес к иностранной прессе.

Проникнув в русский язык, новое слово далеко не сразу вытеснило традиционные наименования даже из заглавий переводов иностранных газет. Среди материалов, отобранных для публикации в шестом томе «Вестей-курантов» 1660-х гг.¹¹, отдельные названия старого типа встречаются до

¹¹ РГАДА, ф. 141, 1652 г., № 122; РГАДА, ф. 155, оп. 1, 1666 г., № 11; РГАДА, ф. 96, 1660 г., № 1; РГАДА, ф. 96, 1660 г., № 2; РГАДА, ф. 155, оп. 1, 1664 г., № 2; РГАДА, ф. 155, оп. 1, 1664 г., № 3; РГАДА, ф. 155, оп. 1, 1665 г., № 11; РГАДА, ф. 155, оп. 1, 1667 г., № 10; РГАДА, ф. 155, оп. 1, 1667 г., № 10; РГАДА, ф. 155, оп. 1, 1668 г., № 9; РГАДА, ф. 155, оп. 1, 1669 г., № 8; РГАДА, ф. 155, оп. 1, 1669 г., № 9; РГАДА, ф. 155, оп. 1, 1669 г., № 10; РГАДА, ф. 155, оп. 1, 1670 г., № 8; РГАДА, ф. 155, оп. 1, 1670 г., № 8.

1669 г. («Перевод з галанского печатного вестового листа»)¹². Начиная с 1670-х гг., подобные заголовки в тетрадах и столбцах с «переводами курантов» отсутствуют.

Уже в конце 1660-х — начале 1670-х гг. впервые встречается и слово *куранты* со значением ‘переводы с курантов’ (то есть переводы и компиляции из газет и других информационных изданий). Чаще всего такое значение можно встретить в делопроизводственных пометах. Обычно подобные пометы на документах с «переводами с курантов» включают одно слово *куранты* (иногда с добавлением даты). Несмотря на обилие подобных помет, их нужно использовать очень осторожно. Дело в том, что они могли быть проставлены на документе десятки, а то и сотни лет спустя после его составления. Многие пометы связаны с работой по разборке архивов в XVII, XVIII и XIX столетиях. Краткость помет, а также упрощенность и небрежность письма при их нанесении позволяют датировать многие записи лишь с точностью плюс-минус 25—50 лет. Встречаются на переводах курантов и довольно обширные пометы, синхронные или близкие времени написания документов. На «Переводе з галанских печатных курантов» 1669 г. имеются пометы: «В том месте выклеены куранты о коровании (так в ркп., вм. короновании)»; «На сих курантах наклеены были цесарские куранты напечатаны о коровании. Взял Андреи Иванов к думному дяку к Лукьяну Голосову»¹³. В этих пометах речь явно идет именно о переводах, поскольку иностранные подлинники в столбцы не подклеивались. Пометы, в которых курантами называются документы с заглавием «переводы с курантов», встречаются и позднее. На «переводах с курантов» конца сентября 1680 г. имеются пометы: «И таковы куранты посланы к великому государю в поход октября в 3 день с Рижскою почтою, что сентября присланы и отписка прислана такова», «Да и к думному (дяку Л. Т. Голосову (?). — С. Ш.) посланы куранты ж октября 2 числа писанные»¹⁴. Еще одна помета такого типа отмечена на обороте последнего листа почты за 8 декабря 1680 г. Выполнена она рукой Д. Симоновского, руководившего повытьем, где в то время ведались куранты [Белокуров 1906: 52, 53, 167]: «куранты 189 сбору Дмитрия Симоновского»¹⁵. Слово *куранты* в значении ‘перевод с курантов’ видим и в описях приказных документов, в частности, в переписных книгах приказа Тайных дел за 1676—1683 гг. В этих книгах встре-

¹² РГАДА, ф. 155. Оп. 1. 1667 г., № 10, л. 289.

¹³ РГАДА, ф. 155. Оп. 1. 1669 г., № 8, л. 99—107. Хотя данная запись, скорее всего, близка времени составления документа, она могла появиться до 1681 г., когда Л. Т. Голосов и А. Иванов покидают Посольский приказ. В таком случае подкрепленное источниками наименование «переводов с курантов» «курантами» следует отнести к 1670-м гг. [Беляков 2001: Приложение. Список служащих Посольского приказа 1645—1682 гг.].

¹⁴ РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1680 г. Д. 4. Л. 23—30.

¹⁵ РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1680 г. Д. 4. Л. 134.

чаются и слово *куранты*, и словосочетание *переводы с курантов*. Часть зафиксированных в описях материалов сохранилась до наших дней. Как пример можно привести «Столп, а в нем куранты 164-го, 167-го, 168-го, 169-го, 170-го, 171-го году» за скрепой дьяка Артемона Афонасьева [РИБ 1907: 635]. Этот столп в расклеенном виде хранится в РГАДА¹⁶. Часть данного дела опубликована в пятом томе «Вестей-курантов» [Вести-Куранты 1996: 4]. Хотя в описи документ назван «курантами», мы видим в нем переводы, а не иностранные оригиналы.

В рассматриваемый период слово *куранты* обычно употреблялось во множественном числе. Сахаров отмечает, что «Рядом со словом „куранты“... встречается и „курант“ (единств. ч.)» и что «этой форме придавалось специальное уточняющее значение „экземпляр курантов“» [Сахаров 1964: 398]. Однако все приведенные в его статье тексты относятся к последним годам XVII — началу XVIII в. Для более раннего времени также можно найти отдельные примеры подобного словоупотребления («Перевод с немецкого печатного куранта, каков подал в Посолском приказе Еремеи Фондергатин, а сказал, что прислан чрез рижскую почту в нынешнем во 179-м (1671. — С. III.) году апреля в 8 день») ¹⁷, но такие исключения столь же редки, как и использование слова *вести* в заглавиях переводов с иностранных газет. Встречаются ситуации, когда там, где по смыслу должно быть употреблено существительное единственного числа, все равно сохранялось множественное число. Так, 9 ноября 1676 г., когда из всех пришедших газет было переведено только одно сообщение (из Кенигсбергской газеты), в заглавии все равно указали, что перевод осуществлен «с цесарских и галанских печатных курантов» ¹⁸. В 1686 г. при расследовании пропажи почты почтмейстер А. А. Виниус в своей сказке, сообщая о находке четырех газет, вместо того чтобы использовать словосочетание «четыре вестовых куранта», написал «[четыре] листка вестовых курантов» [Козловский 1913: 132]. Это показывает, что, хотя в отдельных случаях единственное число слова *куранты* и могло употребляться, нормой такое словоупотребление не стало даже для тех, кто постоянно работал с иностранной прессой. Не встречаются и зафиксированные для начала XVIII в. слова *курантельщик*, *курантер* и *курантописец* (издатель газеты) [Вести-Куранты 1972: 6; СлРЯ XI—XVII вв., VIII: 135]. Русский почтмейстер Петр Марселлис в письме кенигсбергскому почтмейстеру от 14 июня 1670 г. использовал слово *друкарник*: «и тебе у тамошняго друкарника о том деле проведывать» [Козловский 1913: 30], а в 1681 г. Виниус в челобитной о закрытии виленской почты отдал предпочтение варианту *печатник*: «по договору моему с печатником рижских курант ныне присылаются и третьи куранты...» [Там же: 57]. То же наименование использовано в переводе сказки

¹⁶ РГАДА Ф. 141. 1652 г. № 122.

¹⁷ РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1671 г. Д. 7. Л. 32.

¹⁸ РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1676 г. Д. 8. Л. 91.

голландских купцов (1666): «Бурмистры укажут печатником в вестовых печатных листах печатать...»¹⁹.

Как уже говорилось выше, в заглавиях выполнявшихся в Посольском приказе переводов с иностранных газет слово *куранты* вытеснило все иные варианты к концу 1660-х гг. Это означает, что оно вошло в словарный запас почтмейстеров, переводчиков Посольского приказа, служивших в приказе дьяков и подьячих, а также царя и бояр, которые слушали «переводы с курантов» на заседаниях Думы. В сумме число этих людей не превышало нескольких десятков. Кроме того, нельзя забывать, что даже если слово было известно человеку, то он мог и не употреблять его сам. Чтобы понять, сколь широко в реальности распространилось слово *куранты*, необходимо проанализировать его употребление вне формуляров заглавий переводов иностранной прессы и делопроизводственных помет.

22 февраля 1659 г. царь Алексей Михайлович дал думному дворянину А. Л. Ордину-Нащокину роспись того, что нужно привезти из-за границы. Десятым пунктом он затребовал «Лист печатной о государеве походе», ниже под №11 добавил «И всем государевым трем походам». Дальнейший ход размышлений монарха зафиксирован в последнем, двенадцатом пункте: «Вести изо всех государств ежемесяц» [Гурлянд 1902: 109]. Мы видим, что отдельный документ государь именовал просто листом. Когда же царское око охватило более широкую задачу, то речь пошла уже о «вестях» вообще.

Сам Ордин-Нащокин также пользовался терминологией, сложившейся в предшествующие десятилетия. В челобитных царю 1660 г. он именовал иностранную прессу «немецкими печатными тетрадами» и «вестовыми печатными письмами»²⁰. Весной 1664 г. перед отправкой на съезд с поляками для переговоров о прекращении войны Ордин-Нащокин подал государю челобитную, в которой писал, что «шведы составляют злые вести, в Стокгольме печатают и во весь свет рассылают, унижая Московское государство» [Соловьев 1991: 156—157]. Последний пример очень хорошо иллюстрирует отношение русского дипломата к газетам. Ордин-Нащокин видит в них не какое-то самостоятельное явление, а просто один из способов распространения информации (вестей) — вести собираются, размножаются типографским способом и рассылаются дальше.

В договоре приказа Тайных дел с Яном Ван Сведеном (1665 г.), по которому тот начал привозить в Россию иностранные газеты, предмет договора именовался «вестовыми письмами всякими» [РИБ 1907: 1065]. Позднее, после передачи почты Леонтию Марселису, новый почтмейстер обязался «чинить подлинные ведомости изо всех государств по прежнему» (1668) и «держат... почту, что во всех государствах во всякое время делается, вестьми так печатными, как и письменными» (1669) [Козловский

¹⁹ Ф. 50. Оп. 1. 1666 г. Д. 2. Л. 15.

²⁰ РГАДА. Ф. 96. 1660 г. № 2. Л. 420; РГАДА. Ф. 96. 1660 г. № 2. Л. 177.

1913: 5, 21]. Хотя в последнем случае доставка «печатных вестей» специально оговорена, в документе по-прежнему отражен старый подход, при котором в центре внимания остаются вести, хотя фактически основную массу доставляемых материалов составляют газеты.

В дипломатических документах мы также встречаем старые наименования. В «Отправлении переводчика Тимофея Англера к Галанским статом» (1666 г.) голландские газеты названы «печатными вестовыми листами», «которые печатают вашего владения в городе Амстрадаме и в иных галанские земли городех»²¹.

В письме иноземца Ягана фон Горна к А. Л. Ордину-Нащокину (1667), где Горн предлагает печатать сообщения из России в иностранной прессе, встречаем наименование «недельные вести» в качестве обозначения газет: «Так ж об чем ко мне отписано будет и я печатать и в неделных вестях ведомо чинить буду, и его царского величества сила во всеи Еуропе славна будет»²². Другой иноземец, Иван Гебдон, в письмах к Ордину-Нащокину и Алексею Михайловичу также не использовал слово *куранты*. В челобитной царю читаем: «И те вести в печатных и письменных листах розосланы по многим землям. А те листы я, иноземец, послал к тебе, великому государю, в моей иноземцовой вестовой отписки» [Гурлянд 1903: 61, 65]. В ответ на эти сообщения Гебдон получил из Тайного приказа следующий указ: «Как к тебе ся наша грамота придет, а авизы печатные в немецких государствах и в иных городех о побое боярина нашего и воеводы Василья Борисовича Шереметева с товарищи и наших, великого государя, ратных людей их полков учнут выходить, и ты б те ависы покупал и после тех ависов велел напечатать авизы другие по образцовому писму, каково к тебе послано под сею нашею, великого государя, грамотою» [Там же: 22]. Здесь мы впервые встречаемся со случаем, когда газеты именуются «авизами» (в XVII—XVIII вв. встречаются варианты «ависы», «авизии» и «адвизы»). *Авизы* выступают в документах как синоним только входящего в русский язык слова *куранты*. Если *куранты* — прямое заимствование из голландского языка, то слово *авизы*, вероятнее всего, воспринято не из Италии, а через посредство какого-то из других европейских языков. К примеру, серб Юрий Крижанич, находясь в ссылке в Tobольске, использовал по отношению к газетам именно это наименование: «In advisiis, quae mihi ultimo ad manus venerunt, legi...» (1663 г.) [Белокуров 1903: 197¹]. Слово *avis* в значении «газета» употребляли в Польше [Покровский 1906: 6]. Термином «авизы» пользовался в своих донесениях из Варшавы прибывший туда в качестве резидента в 1674 г. стольник В. М. Тяпкин [Соловьев 1991: 490, 500]. В переводе договора о возобновлении работы виленской почты (конец 1685 г.) между московским почтмейстером Винусом и виленским почтмейстером в четвертом пункте оговаривается, что последний должен

²¹ РГАДА. Ф. 50. Оп. 1. 1666 г. Д. 2. Л. 6.

²² РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1667 г. № 10. Л. 38.

«Адвизы по двой присылати со всеми почтами понеделньо, и за то послат господину Бисингу по паре соболей добрых в 25 ефимков, а буде адвизов не пришет и соболей господин Виниус посылати к нему не должен». Любопытно, что в сказке Винууса, где руководству Посольского приказа сообщается о факте заключения этого договора, он пишет «куранты вестовые» [Козловский 1913: 107, 108]. О том, что «адвизы», которые должен посылать Р. Бисинг, — это именно газеты, говорит тот факт, что со следующего 1686 г. в Москву начинают доставляться «Краковские ведомости»²³. Кроме того, как любезно указала автору статьи шведская исследовательница Ингрид Майер, слово *aviso* использовалось и в названиях немецких газет. К примеру, «Aviso oder Zeitung» [Bogel, Blühm 1985: 172].

Уже в самом конце 1660-х гг. зафиксировано два случая, когда в документах параллельно употребляются старые наименования и новое слово *куранты*. В 1669 г. в челобитных переводчиков Посольского приказа на Леонтия Марселиса в одном случае используется определение «вестовые письма», а в другом — «куранты» [Козловский 1913: 24, 40]. В «Книге записной нынешняго 178 году курантом, которые приходят чрез рижскую и виленскую почты», говорится: «И чрез те почты первые вестовые письма посланы чрез рижскую сентября з 17 числа прошлого 177 году, а чрез виленскую марта с 1 числа того же прошлого 177 году. И с тех чисел приходят те вестовые куранты и по се число в неделю, а иные и в 10 дней» [Там же: 36, 37].

За все 1660-е гг. вне заголовков переводов иностранных газет удалось найти лишь четыре случая, где слово *куранты* встречается без сопровождения сложившихся в предшествующие десятилетия наименований. Это письма гданьского (1668 г.) и виленского (1669 г.) почтмейстеров²⁴, челобитная воевод И. Репнина и С. Углецкого с изложением сказки переводчика Л. Цымермана о присылке «курантов о вестях»²⁵, а также статейный список посольства в Англию и Италию П. Прозоровского и И. Желябужского (1662 г.): «А таких людей, кому б писат про вести и присылат куранты, в Аглинской и во Флоренской и в Винецкой землях не сыскано. Нихто за такое дело не ималис за далним путем. А ис Курляньские земли про всякие вести хотел писат канцлер курляньского князя» [Кобзарева 1988: 61]. Только с начала 1670-х гг. русские почтмейстеры начинают регулярно употреблять в своих письмах, челобитных, сказках и других документах слово *куранты*. Оно встречается в письме Петра Марселиса кенигсбергскому почтмейстеру (1670 г.), в 1680-х гг. его активно использует Винуус [Козловский 1913: 30, 57, 83, 86, 87, 104]. Но даже и у Винууса можно отметить «рецидивы» устаревшей терминологии. В челобитной 1683 г. он хотя и использует в основном слово *куранты*, но в то же время пишет: «А со 189-го году учала ходит рижская почта одна, а вести всякие, что деется в Еуропе и в частех

²³ РГАДА. Ф. 155. Оп. 1.

²⁴ РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1668 г. № 9. Л. 20; [Козловский 1913: 38].

²⁵ РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1664 г. № 2. Л. 1.

неких Азии, учали присылать чрез Рижскую почту по вся недели неотрывно...» [Там же: 69], хотя речь в данном случае идет именно о газетах.

В дипломатических документах слово *куранты* также хотя и появляется, но употребляется параллельно с наименованием *вестовые письма*. В записи переговоров в Посольском приказе со шведским посланником А. Эбершильтом (1672 г.) мы читаем: «И выписка ис курантов, каковы статьи в тех курантах объявились, посланнику казаны и выговариванно посланнику о том пространно»; «Такие де курантовые вестовые письма печатают блиско Риги в Королевце, а в Риге де на цесарском языке ни каких вестовых писем королевского величества подданным печатать не указано...» [Крестьянская война 1962: 285, 286]. Имеются и отдельные случаи, когда слово *куранты* встречается в документах самостоятельно. Мы видим его в царских указах воеводам М. С. Пушкину (1683 г.), Б. П. Шереметеву (1684 г.), в письме из Пскова от псковского воеводы М. Г. Ромодановского в Посольский приказ (1696 г.), его же губернатору Риги (1696 г.) [Козловский 1913: 67, 88, 119, 120]. В описи архива Посольского приказа 1673 г., как и в других источниках, встречается одновременное использование разных наименований. Большинство составляют «листы», «листки», «тетради» (нами отмечено восемь таких случаев, хотя в реальности их, скорее всего, значительно больше, поскольку по заглавиям лишь для очень небольшой части листов, тетрадей и вестовых писем можно с уверенностью утверждать, что это иностранные информационные издания). Слово *куранты* четыре раза фиксируется самостоятельно и один раз в составе фразы «перевод с немецкого писма вестового с курантов», в одном случае мы видим название газеты: «Меркориус полский печатной экстраардинальный» [Опись 1990: 116, 197, 240, 241, 242, 271, 272, 307, 311, 316, 336, 337, 482, 482].

Особенно интересно для нас проследить, какие изменения в наименовании курантов («переводов с курантов») происходили при их передаче (или при передаче содержащихся в них сведений) из одного органа государственного управления в другой.

На «переводах с курантов» 25 сентября 1680 г. имеется помета: «И таковы куранты посланы к великому государю в поход октября в 3 день с Рижскою почтою, что сентября присланы и отписка прислана такова». В этой помете «переводы с курантов» превратились в «куранты». Ниже идет черновик челобитной, отправляемой царю Федору Алексеевичу: «Государю /титул/ холопи твои Янко Одоевский со товарищи челом бьет. Сентября государь в 25 день присланы в Посольской приказ через Рижскую почту вестовые немецкие письма». Далее говорится об их переводе и посылке государю²⁶. Так «куранты», покинув Посольский приказ, превратились в «вестовые письма». То, что такая смена терминологии при отправке «переводов с курантов» к царю даже в царствование Федора Алексеевича была нормой, а не исключением, свидетельствует подобная же челобитная от

²⁶ РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1680 г. Д. 4. Л. 23—30.

другого боярина из рода Одоевских: «Государю (титул) холопи твои Ники[тка] Одоевской с товарищи челом бьет. Июня, государь, в 25 день присланы в Посольской приказ через рижскую и виленскую почты вестовые немецкие письма». Далее, так же как и в первом случае, говорится об их переводе и посылке государю [Козловский 1913: 55].

Аналогичная ситуация наблюдается в случаях введения карантина на границе по известиям из «переводов с курантов». В указе смоленскому воеводе, боярину князю И. Б. Троекурову от 13 января 1681 г. читаем: «В нынешнем во 189 году, генваря в ...день, присланы в Посольский приказ чрез Рижскую почту вестовыя немецкия письма, а в переводе с тех писем написано: из Польши, из города Желкви, декабря в 10 день, что в Кракове паки начинается моровое поветрие» [ПСЗ-I: № 858, 294]. Данное сообщение находится в «переводах с курантов» 7 января 1681 г.²⁷ Еще более подробную информацию дает дело о введении карантина на западной границе зимой 1683/1684 гг. В нем говорится: «Да ноября в 10 день с Рижскою почтою в курантах ж, что в цесарском городе Вене да в Ферфурте объявилось моровое поветрие. И по указу великих государей велено было по тем вестям послать великих государей грамоты о заставех... А декабря з 27-го числа генваря по 10-е число о моровом поветрии в курантах не напечатано. 192-го генваря в 10 день по указу великих государей боярин кн. В. В. Голицын с товарищи слушав сего переводу с вестовых писем приказал послать государевы грамоты...» [Козловский 1913: 112]. Посланные на основании этих данных во Псков, Киев, Новгород, Смоленск указы начинались словами: «Ведомо нам великим государям учинилось чрез вестовые писма...» [Там же: 113, 114]. Таким образом, при выходе информации за пределы Посольского приказа наименование «куранты» сменяется на «вестовые письма».

Не менее интересен и случай «обратного движения» курантов. В письме 1657 г. архангельского воеводы Петра Прозоровского говорится о том, что 25 сентября 1657 г. приказчик голландец Юрий Клинк передал пришедшие с последним кораблем «шесть печатных немецких писем про всякие заморские вести» и что в тот же день письма отправлены в Москву. Перевод с этих документов был сделан 17 октября 1657 г., и назывались они уже не письмами, а «галанскими печатными курантами»²⁸. Подобную же информацию мы находим в деле 1686/1687 гг. о потере почты. Почтарь по дороге в Москву потерял сумки с почтой. После долгих поисков на дороге удалось найти часть утерянной корреспонденции. В челобитных и расспросных речах, присланных тверским воеводой Л. С. Горчаковым в Москву, найденные в ходе розысков четыре иностранные газеты были названы «листами», «листами немецкими», «листами почтовыми». Только Винус, получив потерянные документы, назвал их в своей сказке «листочками вестовых курантов» [Козловский 1913: 124—133]. Таким образом, за

²⁷ РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1680 г. Д. 4. Л. 167, 177—181.

²⁸ РГАДА. Ф. 155. Оп. 2. Ед. хр. 5. 1657—1658 гг. Л. 90—96.

прошедшие три десятилетия ситуация практически не изменилась. Газеты назывались «курантами» в Посольском приказе, а покидая его, превращались в «письма» или «листы».

Все приведенные выше примеры употребления слова *куранты* так или иначе связаны с работой органов государственного управления. Встает вопрос, использовалось ли изучаемое слово вне рамок профессионального делового общения. Чтобы решить эту проблему, обратимся к рукописным книгам рассматриваемого периода. К настоящему времени в литературе зафиксировано значительное число случаев, когда материалы европейской и (с начала XVIII в.) русской прессы попадали в рукописные сборники [Бобров 1999: 463; Каган 1993: Крючков Исидор, 201, 202; Легендарная переписка турецкого султана с цесарем Леопольдом, 221—223; Легендарная переписка турецкого султана с чигиринскими казаками, 224—225; Легендарное послание турецкого султана немецким владетелям и всем христианам, 227—228; Легендарное послание турецкого султана польскому королю, 228—231; Каган 1958: 225—250; 1958а: 309—315; Лавров 2000: 250—252; Малък 2004: 427—429; Морозов 1980: 57—61; МДБП: № 18 Дело по извету иноземца Д. Рябицкого на О. Науменка в том, что он умышлял портить и уморить царицу Евдокию Лукьяновну. 8 марта 1642 г. — 20 мая 1643 г.: 270; Покровский 1987: 290—296; Попов 1869: 227, 228; 1903: 240; Турилов 1993: Легендарное донесение из Белграда, 226—227; Уо 2003; Харлампович 1918: 1—18; Шамин 2002: 134—138; 2003: 274—277; Waugh 1972; 1978]. Следует констатировать, что слово *куранты* встречается в них исключительно редко. Наиболее ранним из таких сборников является № 43 из собр. Археологического общества РНБ, датирующийся по содержанию временем после 1680 г. В него вошла подборка «переводов с курантов» 1663—1680 гг. Один из заголовков помещенных в сборник текстов выглядит так: «Список с печатных цесарских и з галанских писем каковы переведены в нынешнем во 178 м году октября в 13 день». Ниже идет подзаголовок: «Перевод с печатных с цесарских и з галанских курантов» (публикация [Waugh 1978: 128]). Еще один сборник конца XVII — начала XVIII в. (БАН, 17.8.9) содержит текст, который читается также в записках дипломата И. А. Желябужского: «В курантах почтовых печатных польских и немецких напечатано...»²⁹. Исследователь рукописей Д. К. Уо считает, что происхождение обеих указанных книг связано с Посольским приказом [Waugh 1978: 224—226, 228, 229]. В отношении сборника Археологического общества № 43 предположение о его связи с Посольским приказом можно аргументировать дополнительно. Дело в том, что в эту рукопись вошел целый комплекс переводов из приказного архива за конец 1660-х — начало 1680-х гг. Наиболее поздним из этой подборки является рассказ о двух старцах, предрекающих конец света, переведенный в Посольском приказе

²⁹ БАН, 17.8.9. Л. 16.; Россия при царевне Софье и Петре I: Записки русских людей / Сост., автор вступ. ст., коммент. и указ. А. П. Богданов. М., 1990. С. 246.

в 1680 г. [Шамин 2002: 134—138]. Такой сборник текстов из внутренних документов Посольского приказа мог составить только человек, имевший неограниченный доступ к его архиву. Скорее всего, это был Ларион Иванович Иванов, который в 1680 г. руководил Посольским приказом, выказал личный интерес к сообщению о старцах 1680 г. и даже потребовал составить специальную справку по данному вопросу [Там же].

Кроме перечисленных случаев можно отметить еще подметное письмо Посошкова (1700 г.): «Зделали почту... для полезнаго слышания вестописменных курантов, что в коей земле делаетца» [СлРЯ XI—XVII вв., VIII: 135; ЧОИДР 1888: 40]. Из приведенных примеров очевидно, что употребление слова *куранты* вне сферы деятельности органов государственного управления крайне ограничено.

Анализируя рукописную традицию, мы перешли ко второму периоду бытования слова *куранты* в русском языке. В первую очередь обратимся к формуляру заглавий «переводов с курантов». Если в 1660-х гг. во время становления системы подготовки регулярных обзоров иностранной прессы формуляры заглавий разных переводов значительно отличались, то в течение 1670-х гг. формуляр устоялся³⁰. Отклонения от данного варианта могли быть лишь очень незначительными. В целом этот формуляр сохранил стабильность и в начале XVIII в., однако с 1690-х гг. вариативность заглавий постепенно возрастает. Появляются отдельные нетипичные заглавия «переводов с курантов», в которых используется слово *ведомости*: «В царских и галанских печатных курантах каковы присланы в государственной Посолской приказ чрез рижскую почту нынешняго 199 года мая в 4 день ведомости»³¹; «В царских и галанских печатных курантах с рижскою почтою мая в 18 день нынешнего 199-го году ведомости»³². «Ведомости» в этих заголовках определяются как содержание «курантов».

С начала царствования Петра I кроме обзоров прессы в Посольском приказе стали делать краткие выписки из «переводов с курантов». Они значительно уступали по объему самим переводам. Данный тип документов выявила Е. И. Кобзарева [Кобзарева 1988]. При анализе формуляров хранящихся в одном деле выписок из «переводов с курантов» за конец марта — начало мая 1692 г. выяснилось, что ни в одном из девяти комплектов выписок формуляр не повторяется полностью: «Выписано из вестовых курантов, каковы присланы в рижской почте...»; «Выписано из курантов, каковы присланы чрез рижскую почту...»; «Выписано из царских и галан-

³⁰ К примеру, «Перевод с царских и галанских печатных курантов, каковы присланы в Посолской приказ чрез рижскую почту в нынешнем во 189 м году мая в 2 день»; следует уточнить, что речь идет о подносных экземплярах, поскольку в заглавиях черновиков строгих норм не соблюдалось.

³¹ Ф. 155. Оп. 2. Ед. хр. 51. 1691 г. Очень ветхое, листы не нумерованы, условно 51 л.

³² Ф. 155. Оп. 2. Ед. хр. 56. 1691 г. Очень ветхое, листы не нумерованы, 63 л.

ских вестовых курантов, каковы присланы рижскою почтою...»; «Выписано из цесарских и галанских печатных курантов, каковы присланы с рижскою почтою...»; «Выписано ис посты рижской, какова пришла в нынешнем 200 м году...»; «Выписаны различные вести из цесарских и галанских курантов, каковы присланы с рижскою почтою...»; «Выписка вестям из курантов каковы присланы с рижскою почтою...»; «Выписка из вестовых цесарских и галанских курантов, что присланы с рижскою почтою...»; «Выписка из цесарских и галанских курантов, каковы присланы с рижскою почтою...». В двух из девяти приведенных вариантов видим указание на то, что из курантов выписаны «вести». Кроме того, во всех девяти заглавиях под «курантами» имеются в виду именно «переводы с курантов», поскольку для данных выписок в «переводах с курантов» просто отмечались статьи, которые нужно выписать³³. «Выписки с курантов» также могли называться просто «курантами». 3 ноября 1698 г. Петр I писал к А. А. Виниусу из Воронежа: «Письмо твое, купно с курантами, принел и за ведомость благодарствую» [Петр 1887: 269]. Между тем к царю в Воронеж посылали выписки из курантов. На одном из комплектов «переводов с курантов» 1698 г. имеется помета «207 г декабря в 7 день чтено, и о чом доведетца выписав послать к великому государю на Воронеж»³⁴.

Весьма разнообразны формуляры переводов, выполненных во время Великого посольства 1697—1698 гг.³⁵ Во многом это связано с тем, что значительная часть «переводов с курантов» из Великого посольства дошла до нас в черновиках. Но большое значение имело и постоянное изменение условий, в которых работали переводчики. В формулярах преобладает слово *куранты*, однако встречаются и определения «печатный диариуш», «печатный лист», «печатное письмо», «перевод с немецкого письма с галанских курантов», «перевод с галанского печатного меркуриуша» (слово *меркуриуш*, скорее всего, заимствовано из заглавия газеты), «вестовые печатные письма». Составлявшиеся в то же время в Москве в Посольском приказе «переводы с курантов», за небольшим исключением, имели стандартные формуляры³⁶. Интересную информацию для изучаемой темы дают пометы на оборотах московских «переводов с курантов» времени Великого посольства. Эти пометы очень разнообразны. Изредка в них встречается слово *ведомости*: «... о сих ведомостях к великим и полномочным послом чрез почту писано», «... из сих ведомостей выписав что доведетца послать к великим и полномочным послом чрез почту», «... выписать что доведетца послать к великим и полномочным послом для ведома»³⁷. Конечно, подобные пометы составляют абсолютное меньшинство, но они показывают,

³³ Ф. 155. Оп. 2. Ед. хр. 60. 1692 г. Л. 1—20.

³⁴ РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1698 г. Д. 17. Ч. II. Л. 167 об.

³⁵ РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1697 г. Ед. хр. 12; Ф. 155. Оп. 2. Ед. хр. 67. 1697 г.

³⁶ РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1697 г. Ед. хр. 13.

³⁷ РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1697 г. Ед. хр. 13. Л. 483 об., 657 об., 693 об.

что слово *ведомость* хотя и не приобрело еще значения 'газета', но все чаще используется в связи с «переводами с курантов». В 1699 г. встречаем помету «...выписав, что надлежит к ведомости, послал чрез почту в Азов»³⁸. В «переводах с курантов» 1700 г. после стандартного заголовка, где содержание документов характеризуется как перевод с печатных курантов, следует дополнительный подзаголовок, в котором сообщается, что дальше идет перевод с «письменных курантов», «письменных вестовых писем, присланных с курантами», «письменного немецкого (польского) листа (листов)». Среди таких подзаголовков мы дважды встречаем: «да в письменных ведомостях, присланных с теми ж курантами написано»³⁹.

С начала XVIII в. регулярные обзоры иностранной прессы для русского двора стали составляться не только в Москве, но и в Голландии. Там эту работу выполнял Андрей Артамонович Матвеев. К сожалению, его «переводы с курантов» сохранились лишь частично⁴⁰. Эти переводы переписаны почерком самого Матвеева (или его писца). Для своих переводов Матвеев выработал особый формуляр, близкий к формулярам переводов Посольского приказа: «Перевод с печатных галанских повседневных курантов, каковы объявились в Гаге по отпуске прошлой почты на сеи неделе сего мая от 22 го по 29 нынешняго 1702 году». В разных письмах этот формуляр варьировался лишь незначительно. Однако в двух случаях отличия оказались довольно значительными: «Перевод с повседневных галанских печатных газетов, каковы объявились в Гаге по отпуске к Москве прошлой почты мimosедшаго июля с 31 го сего августа по 7 день нынешняго 1702 го году»; «Перевод с ведомости дневной из cesарского обозу на боевом месте писана при Луцаре августа от 14 го до 19 го чисел по новому стилю 1702 го году какова объявилася в Гаге напечатана на подтверждение cesарской победы над французы. Прислана из Италии к cesарскому посланнику графу Гусу по старому колendarю августа в 31 день нынешняго 1702 году»⁴¹. Таким образом, в одном комплекте документов 1702 г. вместе с традиционно употреблявшимся словом *куранты* оказались *газеты* и *ведомости*. Если слово *ведомости* использовано с целью разграничить «повседневные» «куранты» и «дневную», т. е. разовую, «печатную ведомость», то «повседневные галанские печатные газеты» полностью по своему значению дублировали «куранты». Данное упоминание слова *газета* в русском тексте является наиболее ранним из зафиксированных на сегодняшний момент⁴². Состав-

³⁸ РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1699 г. Ед. хр. 11. Л. 238 об.

³⁹ РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1700 г. Ед. хр. 8. Л. 47, 154.

⁴⁰ РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1702 г. Ед. хр. 9. Л. 1—72.

⁴¹ РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1702 г. Ед. хр. 9. Л. 1, 40, 68.

⁴² Параллельное употребление слов *куранты* и *газеты*, возможно, было нормой для проживающих в России иностранцев в тех случаях, когда они писали на своем родном языке. Так, Ф. Я. Лефорт в письме брату Амии от 6 декабря 1695 г. использует слово *Courante* (речь идет, вероятнее всего, о голландских газетах), а в

ляемые Матвеевым обзоры голландской прессы также могли называться курантами. В письме Ф. А. Головина к Петру I от 31 марта 1701 г. сообщается о том, что с заморской почтой из Амстердама от А. Матвеева пришли письма, которые Головин посылает к государю: «При том же, государь, посланы и куранты, присланные ко мне от Артемоновича» [Петр 1900: 1242].

Если обратиться к другим типам источников, то окажется, что к концу XVII в. слово *куранты* широко использовалось Петром I и его сподвижниками. За 1694—1700 гг. оно тринадцать раз упоминалось в переписке Петра с А. А. Виниусом, А. Бутенантом фон Розенбушем, Ф. Лефортом, Г. И. Головиным, Ф. Ю. Ромодановским, А. М. Головиным, Ф. А. Головиным, Г. Ф. Долгоруким [Петр 1887: 269, 498, 551, 562, 640, 653, 654, 655, 659, 750, 751, 826, 827, 839, 840]. Причем в письмах 1696 г. к Петру от Андрея Бутенанта фон Розенбуша дважды используется единственное число «курант»: «... а курант, в которое тои напечатено, у мене в бережение для свидетелство» [Там же: 551, 562]. Уже в начале XVIII в. такое словоупотребление становится нормой.

Слово *ведомость* постоянно встречается в этой переписке, но только в значении ‘известие’, а не как понятие, обозначающее конкретный тип документов: Письмо А. А. Виниуса к Петру I 10 сентября 1697 г. «а после того толко о шествии господ послов ведомость из курантов приемлем»; Письмо Петра I к А. А. Виниусу 3 ноября 1698 г. из Воронежа «Письмо твое, купно с курантами, принел и за ведомость благодарствую» и другие [Там же: 269, 640, 659].

Таким образом, мы видим, что вплоть до самого конца XVII в. слово *ведомость* рядом с *курантами* обычно упоминается в значении ‘известие’, ‘новость’. Однако в 1690-х гг. слово *ведомость* все чаще употребляется в пометах на «переводах с курантов» или как элемент заглавия «переводов с курантов». Начиная с 1700 г., встречаем отдельные случаи использования определения «письменные ведомости» для материалов, обозначавшихся также как «письменные куранты», а с начала 1702 г. — и для непериодических информационных изданий.

О. Р. Кудakov в 2002 г. в своем исследовании о «Ведомостях» 1702—1727 гг. обратил внимание на то, что «в числе польских газет за 1700—1701 гг. фигурируют *Wiadomości Różne Cudzoziemskie w Krakowie* со знакомым словом „Ведомости“» [Кудakov 2002: 10]. Однако каких-либо конкретных выводов из этого наблюдения автор делать не стал. То же наблюдение сделала И. Майер, анализируя отложившиеся в РГАДА экземпляры газеты из Кракова [Майер (в печати)]⁴³. Однако установить, повлияло ли как-то название польской газеты на русское словоупотребление, на данном этапе исследования невозможно. В любом случае до царского указа 15 де-

послании от 25 сентября 1696 г. встречаем слово *gazettes*. Оно употреблено Лефортом в отношении французских газет [Лефорт 2006: 162, 196].

⁴³ Выражаем благодарность Ингрид Майер за любезно предоставленную возможность ознакомиться с текстом рукописи.

кабря 1702 г. примеров использования слова *ведомости* в значении ‘печатная газета’ не зафиксировано.

15 декабря 1702 г. Петр I издает указ, в соответствии с которым начинает выходить первая русская газета «Ведомости»: «1702 года декабря в 15 день Великий Государь Царь и Великий Князь Петр Алексеевич всея великия и малыя и белыя России Самодержец указал по именному своему великаго Государя указу: куранты, по нашему ведомости, которые присылаются из разных государств и городов в Государственный Посольский и в иные приказы, из тех приказов присылать те ведомости в приказ книг печатнаго дела, а как те ведомости присланы будут и еще на печатном дворе печатать и те печатныя ведомости, что останется за подносом — продавать в мир по надлежащей цене. Дьяки Матвей Власов Великаго Государя указ сказали и в книгу приказал записать боярин И. А. Мусин-Пушкин» (воспроизводится по [Харлампович 1918: 1—18, 7]). В этом указе слово *куранты* объясняется как «ведомости». Следует ли считать данный факт доказательством того, что к моменту составления указа слова *куранты* и *ведомости* использовались в русском языке как синонимы? По нашему мнению, нет. Выше уже говорилось о том, что слово *куранты* бытовало в среде сотрудников Посольского приказа и дипломатов. Покидая Посольский приказ, оно заменялось русскими эквивалентами «вестовые письма» и др. В источнике прямо говорится, что указ 15 декабря «приказал записать» руководивший Монастырским приказом и подчиненной этому приказу типографией Иван Алексеевич Мусин-Пушкин. В таком контексте фразу «куранты, по нашему ведомости» следует рассматривать как попытку традиционной замены слова *куранты*. Можно, конечно, предположить, что в указе использован модный в то время «лексический дублет», когда «культурное», европейское слово пояснялось русским синонимом. Однако этому предположению противоречат сделанные ранее наблюдения о различном использовании слов *куранты* и *ведомости* в XVII веке.

О том, что традиционное разграничение использования слов *куранты* и *ведомости* сохранялось и после 15 декабря 1702 г., свидетельствует новый указ, вышедший 16 декабря. В нем уточнялся порядок передачи материалов для публикации из одного органа государственного управления в другой (по новому указу, известия для газеты должны были собираться в Монастырском приказе и лишь оттуда направляться на Печатный двор). Здесь слово *ведомости* использовано в традиционном значении ‘новости’, ‘известия’, а *куранты* — как синоним слова *газета* применительно к создаваемой русской газете. Указ гласил: «Великий Государь указал: по ведомостям о воинских и о всяких делах, которые надлежат для объявления Московскаго и окрестных Государств людям, печатать куранты, а для печати тех курантов, в которых приказах, о чем ныне какая есть и впредь будут, присылать из тех приказов в Монастырский приказ, без мотчания, а из Монастырскаго приказа те ведомости отсылать на печатной двор. И о том во все приказы из Монастырскаго приказа послать памяти» [ПСЗ-I: 4, 201].

Решающее значение для изменения языковой ситуации имел тот факт, что в соответствии с царским указом слово *ведомости* появилось в заглавии первой русской газеты. Именно это способствовало началу его использования в качестве синонима слова *куранты*, а позднее — и *газеты*. Как начался процесс вытеснения слова *куранты*, хорошо видно на примере рукописных оригиналов печатных «Ведомостей» из архива Синодальной типографии. Прежде всего, обратимся к формулярам заглавий. В заголовке присланных из Посольского приказа в типографию материалов читаем: «Перевод с немецких печатных курантов, каковы присланы в Государственной посолской приказ чрез Киевскую почту в нынешнем 1702 м году декабря в 14 день». Типографские редакторы правят текст, в результате чего название приобретает следующий вид: «Ведомости с немецких писем, каковы присланы в Государственной посолской приказ чрез Киевскую почту в нынешнем 1702 м году декабря в 14 день»⁴⁴. Любопытно, что редактор вместо отвергнутого слова *куранты* вставил слово *письма*, что вполне соответствует практике XVII столетия, когда слово *куранты*, покидая Посольский приказ, заменялось на *листы* или *письма*. Однако на самом деле ситуация меняется очень значительно. Получившийся в результате сокращения заголовок выдвинул русское слово *ведомости* на передний план.

Появление газеты, называвшейся «Ведомости», еще не означало автоматического начала использования ее заголовка в значении ‘газета’. За тем, как шла борьба между старыми и новыми нормами словоупотребления, можно проследить по пометам на документах из архива Синодальной типографии. В документах 1702—1703 гг. имеется 14 помет, в которых упоминаются рассматриваемые материалы⁴⁵. Авторами этих помет были начальник типографии Федор Поликарпов, подьячие Посольского приказа Филимон Фомин, Авраам Иванов, Василий Михайлов, Семен Смирнов, Василей Парфеньев, Алексей Березин, приставы Андрей Башмаков и Гаврило Свежинский. Ни один из подьячих Посольского приказа не использовал слова *ведомости*. По одному разу это слово использовано начальником типографии Федором Поликарповым (7 февраля 1703. — Помета красными чернилами: «с сего переводу делана 1000 ведомость»⁴⁶), а также приставами Андреем Башмаковым (16 июля 1703. — «... Посольского приказу пристав Андреи Башмаков подал ведомости в приказ книгопечатного двора»⁴⁷) и Гаврилой Свежинским (8 августа 1703. — «... Посольского приказа пристав Гаврило Свежинской принес ведомость. Новых три ведомости взял и росписался»⁴⁸). При этом Поликарпов и Свежинский использовали параллельно и слово *куранты*, а имя Башмакова упоминается только один раз. Из приведенных

⁴⁴ РГАДА. Ф. 381. Д. 953. Л. 7.

⁴⁵ РГАДА. Ф. 381. Д. 953, 954.

⁴⁶ РГАДА. Ф. 381. Д. 954. Л. 41.

⁴⁷ РГАДА. Ф. 381. Д. 954. Л. 259.

⁴⁸ РГАДА. Ф. 381. Д. 954. Л. 292.

контекстов очевидно, что слово *ведомости* использовалось как для «переводов с курантов», присланных из Посольского приказа, так и для печатных русских газет. Можно предположить, что использовалось оно, по крайней мере в первый год после начала выхода первой русской газеты, теми людьми, в словарном запасе которых отсутствовало слово *куранты*. Само же слово *куранты* применялось как для обозначения присылаемых из Посольского приказа «переводов с курантов», так и в тех случаях, когда речь шла о «Ведомостях»: «Государственного посольского приказу подъячеи Василии Парфеньев на печатной двор принес куранты Федору Поликарпову отдал»; «Сентября в 30 день подал Посольского приказу пристав Гаврило Свежинской и три куранта взял»⁴⁹. В документах Синодальной типографии слово *куранты* встречается как во множественном, так и в единственном числе. Со временем слово *ведомости* начинает использоваться все шире, но все же до самого 1727 г., когда обрываются материалы, отложившиеся в архиве Синодальной типографии, наименование «куранты» встречается в документах [Погорелов 1903]. С 1720 г. переводчик Б. Волков начинает использовать также и слово *газета*, причем в его записках оно употребляется не только в современном значении, но и в отношении рукописных оригиналов. Так, он пишет заведующему типографией: «Не извольте досадовать, что не присылаем к вам газеты регулярно после пришедших почт» [Там же: 48]. В данном случае речь идет именно о рукописных текстах, поскольку они, а не сами иностранные газеты передавались в типографию Волковым.

Теперь рассмотрим вопрос о том, какой терминологией пользовались при переписке Петр I и его сподвижники. К настоящему времени издание «Письма и бумаги Петра Великого» доведено до 1713 г. Оно четко показывает, какие изменения произошли в словоупотреблении правящей элиты России за десять лет, прошедшие после начала выхода «Ведомостей». В первую очередь надо отметить, что слово *куранты* на протяжении всего этого времени продолжало активно использоваться в данной среде для обозначения русских и иностранных газет. Русская газета «Ведомости» упоминалась в переписке царя с приближенными двенадцать раз в 1706, 1708, 1709 и 1711 гг. Во всех случаях вышедшие в Москве и Петербурге газеты названы «курантами» [Петр 1900: 1140, 1211; 1950: 95; 1951: 937, 938, 755; 1952: 721; 1962: 540, 459; 1964: 53, 101]. Слово *ведомости* в значении 'газета' мы встречаем в письме русского посланника в Вене Урбиха к Г. И. Головкину 12 октября 1709 г.: «Печатник ведомостей в Бриселе написал недавно во оных о мне...» [Петр 1952: 1311] и, возможно, в послании Петра к П. П. Шафирову 25 августа 1711 г. о военных действиях королей Польского и Датского против Швеции: «О чем обо фсем из ведомостей здешних прилагаем экъстракт, також и питербургския куранты о чюдном уходе господина Долгорукова» [Петр 1964: 101] (данный контекст может подразумевать как газеты, так и другие документы с вестями). Оба этих

⁴⁹ РГАДА. Ф. 381. Д. 954. Л. 335, 343.

случая связаны не с русскими, а с иностранными газетами. Слово *газета* встречается с 1710 г. по 1713 г. девять раз [Петр 1956: 510, 765; 1962: 354, 509; 1992: 258, 356; 2003: 285, 363, 494], причем во всех случаях речь идет об иностранных газетах. Им пользовались Г. И. Головкин, В. В. Долгорукий, Б. И. Куракин, А. А. Матвеев, Ю. Ю. Трубецкой, в то время как слово *куранты* встречаем у Петра I, Я. В. Брюса, А. Бутенанта фон Розенбуша, А. А. Виниуса, А. М. Головина, Ф. А. Головина, Г. И. Головкина, В. Л. Долгорукого, Г. Ф. Долгорукого, Ф. Лефорта, А. В. Маркова, А. Д. Меншикова, И. А. Мусина-Пушкина, Ф. Ю. Ромодановского, И. Урбиха, П. П. Шафирова [Петр 1887: 269, 498, 551, 562, 640, 653, 654, 655, 659, 750, 751, 826, 827, 839, 840; 1900: 1137, 1140; 1951: 751, 9374; 1952: 1311; 1962: 374, 459].

Очень показательны те письма, в которых слово *ведомости* используется вместе с наименованиями *куранты* и *газеты*. Всего отмечено тринадцать подобных примеров. Во всех этих случаях слово *ведомости* выступает в значении 'вести', 'известия': «Чаю, что и вашему величеству известно, что как в курантах так и особливых грамотках ведомости сие получены, что король Свеиской сам с великим войском чрез Вислу перешел на сю сторону» (1705 письмо фельдмаршала барона Огильви к Петру I) [Петр 1893: 932]. Точно такое же соотношение слов мы встречаем в 1725 г. в именном указе императрицы Екатерины I: «8 апреля 1725. Именной, объявлен из Сената. В прошедших летах, когда здравствовал высокославной и вечнодостоинной памяти его императорское Величество, а именно: перед походом Персидским, в Правительствующий Сенат из Кабинета предложено было, дабы о всех знатных делах, принадлежащих к ведению народному, публичных, кроме секретных ведомостей, сообщали в типографию для печатания в курантах из всех коллегий и Канцелярий: и по тому тогда и сообщали из многих мест, а ныне то сообщение, неведомо для чего, опущено; того для Ея Величество Государыня императрица указала, дабы помянутыя ведомости по-прежнему сообщались в типографию для печати в народное ведение» [ПСЗ-I: 7, 445].

Ситуация любопытным образом меняется в 1728 г., когда был дан сенатский указ: «Понеже в прошедшем в 1725 году апреля 8 дня, в предложении в правительствующий Сенат что ныне Тайной Советник, Алексея Макарова объявлено, блаженныя и вечнодостоинныя памяти, Ея Императорское величество указала, о всех знатных публичных делах, принадлежащих к ведению народному, кроме секретных, для печатания в народное ведение в куранты, из всех Коллегий и Канцелярий сообщить в типографию ведомости; и по тому предложению в Сенате определения не учинено. А ныне в доношении в Сенат из Академии наук объявлено: что при Академической типографии печатаются газеты на Латынском, на Немецком и на Россииском диалектах, с иностранных газетов, и чтоб повелено было из Коллегий и Канцелярий и Контор всякия ведомости к печатанию тех газетов присылать в оную Академию. Того ради Высокий Сенат приказали: по силе вышеобъявленнаго, блаженныя и вечнодостоинныя памяти, Ея Императорского величества указу, как из Сената, так и из Штатских Коллегий и

канцелярий и Контор о принадлежащих к ведению народному публичных делах, кроме секретных и не подлежащих к народному известию, ведомости для печатания в газеты посылать в Академию Наук; и о том в коллегии и канцелярии послать указы» [ПСЗ-I: 8, 36]. В этом указе слово *ведомости* вновь используется в значении 'вести', 'известия'. Принципиально новым является тот факт, что слово *куранты* используется только при цитировании указа 1725 г. Во второй части указа его сменяет слово *газета*. Ни в одном из более поздних указов слово *куранты* не встречается. Дольше всего оно сохранялось в документах Коллегии иностранных дел. В заглавиях известных на сегодняшний день обзоров иностранной прессы оно последний раз фиксируется в 1731 г.⁵⁰ Таким образом, слово *куранты* в русском языке не переживает начала 1730-х гг. К концу XVIII в. оно было прочно забыто. В 1791 г. историк И. И. Голиков включил в Дополнения к деяниям Петра Великого сообщение о том, что «Великий государь желал, да поданные его между другими доставленными им сведениями узнают все производимое в известном свете, и также всяким товарам, из разных государств привозимым, цены, не только по чему оные в России продаются, но и на местах, где оныя делаются, и для того повелел издавать печатныя газеты и курантныя о товарах ведомости». На полях «курантныя о товарах ведомости» комментировались как «ведомости о ценах товаров печатныя» [Голиков 1791: 344, 345]. Очевидно, что Голиков, употреблявший только слова *газеты* и *ведомости*, столкнулся в документах с известием о том, что Петр велел издавать «куранты» и попытался как-то объяснить это слово.

Прежде чем подвести итоги данного исследования, необходимо кратко коснуться вопроса о том, как употреблялось в русском языке конца XVII — начала XVIII в. слово *авизы*. Несколько примеров использования данного слова указано в Словаре русского языка XVIII в. [СлРЯ XVIII в., I: 16—17]. К сожалению, приведенные в словарной статье примеры не очень удачны. Они не позволяют сделать однозначных выводов о том, какого рода материалы имели в виду авторы текстов. Самих же документов, о которых идет речь, не сохранилось.

Рассмотрим несколько документов, на основании которых с высокой степенью уверенности можно делать выводы о значении слова *авизы* в данную эпоху. 16 октября 1697 г. участники путешествовавшего по Европе Великого посольства получили из Вены письмо от австрийца, переводчика Адама Стиля, в котором тот сообщал, что французский претендент на польский трон Де Конти высадился с войсками под Гданьском, а французский король подкупает шведов, чтобы они напали на польского короля с севера, а с востока «привести тщится» татар и турок. В подтверждение своего сообщения Стиль прислал своим российским коллегам «вестовые куранты». 26 октября по старому стилю, т. е. на следующий день после получения письма из Вены, участник посольства Франц Лефорт писал «свей-

⁵⁰ АВПР. Ф. 11. Оп. 11/4. Ед. хр. 6.

скому ближнему человеку» Бенкту Оксенстерну о «польском деле». Русский дипломат предупреждал своего шведского коллегу, что «французские вредительства» «не к добру всему христианству». Причину своего беспокойства Лефорт объяснял так: «... так и ныне зло сумневают меня от многих стран заходящие ведомости, а имянно уже и на весь свет авизы печатные гласят, что посол французской граф Деафо всякими мерами трудится, дабы двор королевского величества свейского на Деконтиеву сторону привести» [ПДС 1867: 1058, 1059, 1068, 1069]. В этом документе определение «печатные авизы» использовано в отношении тех самых документов, которые ранее именовались «курантами». В 1703 г. купец Адам Брант писал из Любека в письме к Петру I (30 декабря 1703): «Аще бы ведал яко ваше царское величество изволяешь о том победы свои против шведов в курантах напечатать, то бы я всегда велел постановить во авизах. А без вашего царского величества милостивого изволения яко учинить не посмел...»⁵¹. Здесь слова *куранты* и *авизы* использованы как синонимы. В противном случае предложение опубликовать известия в «авизах» в ответ на указание царя печатать их в «курантах», было бы прямым нарушением царской воли.

Дважды слово *авизы* использовано для обозначения печатных «Ведомостей». Один раз его употребил переводчик Борис Волков, и один раз оно встречается в отчете о расходах Монастырского приказа: «И оные данные в помощь той типографии деньги употреблены в расход на печатание вновь тщанием Его Величества изобретенного дела авиз...» [Балицкий 1908: 31; Горчаков 1868: 185]. Использовали его и в 1730-х гг., когда слово *куранты* уже не употреблялось. Это хорошо видно по материалам следственного «дела» 1735 г. по поводу распространения слухов о скором конце света среди армейских чинов на Украине и юге России. В «деле» листок с переводом статьи о пророчествах назывался то «газетом», то «авизией» [Покровский 1987: 290—297].

Таким образом, во всех случаях, когда мы однозначно можем установить значение слова *авизы* (*аввизы*, *авизиш*), оно оказывается синонимично слову *куранты*, а позднее — *газеты*. Слово *авизы* получило в русском языке очень незначительное распространение. В «Письмах и бумагах Петра Великого» оно упоминается всего три раза — в письмах П. А. Толстого (1708) и В. Н. Зотова (1713) [Петр 1912: 506; 2003: 403, 419]. По самым приблизительным подсчетам оно по частоте употребления уступает слову *куранты* примерно в сто раз. Использование его во многих случаях так или иначе связано с Украиной, славянскими землями южной и центральной Европы и государствами Средиземноморского региона.

Подведем итоги нашего исследования. Оно показало, что до появления в русском языке специального слова со значением ‘газета’ материалы данного типа обозначались описательно. Их называли «листами», «тетрадами», «письмами», уточняя при этом, что речь идет о «печатных», «весто-

⁵¹ РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1703 г. Ед. хр. 8. Л. 13.

вых» документах. Такое описательное наименование газет встречается на протяжении всего исследуемого периода. К середине XVII столетия в дипломатической среде возникла потребность в специальном термине, который заменил бы громоздкое описание. Этим термином стало заимствованное из голландского языка слово *куранты*. Впервые оно встречается в 1649 г. Регулярное использование нового наименования газет относится уже ко второй половине 1650-х гг. Долгое время курантами называли только иностранные газеты и использовали это слово в основном в заглавиях газетных переводов. Только в 1670-х гг. новое слово начинает активно использоваться в приказном делопроизводстве и дипломатических документах. Оно оставалось узкопрофессиональным и не распространилось вне круга общения дипломатов и служащих Посольского приказа. Уже в 1660-х гг. у слова *куранты* появился синоним — *авизы* (так же, как и *куранты*, заимствованный). Слово *авизы* использовалось в той же среде, что и *куранты*, причем крайне редко. Третий заимствованный синоним — *газеты* — первый раз фиксируется в 1702 г. В том же 1702 г. впервые отмечено использование слова *ведомости* в значении ‘печатная газета’. Закреплению в языке этого, четвертого по счету, синонима со значением ‘газета’ способствовало издание первой русской газеты «Ведомости». Если слово *газета* быстрее распространялось среди дипломатов и высших сановников, то *ведомости* — в более демократичной среде. В начале 1730-х гг. слово *куранты* выходит из употребления, а слово *ведомость* в значении ‘газета’ наряду с самим словом *газета* появляется и в обиходе профессиональных дипломатов, правда, в основном в виде словосочетания «публичная ведомость» или с конкретизирующим уточнением — «Утрехтская ведомость» [Кантемир 1892: 5, 6, 20, 42, 51, 52, 55, 56, 155, 156]. Дополнительные определения позволяли сохранить точность дипломатических документов.

Уже к концу 1660-х гг. слово *куранты* приобрело в русском языке второе значение — ‘переводы с курантов’, т. е. ‘переводы с иностранных газет’. Одни и те же документы могли называться и «курантами», и «переводами с курантов». Особая сложность состоит в том, что названные переводами документы очень часто были, строго говоря, не переводами, а компиляциями. Кроме того, в столпы с «переводами с курантов», т. е. переводами иностранных газет, входило и небольшое число других «вестовых» материалов, в основном непериодических информационных изданий, памфлетов, писем почтмейстеров и т. д. Такие столпы представляли собой единые комплексы документов, докладываемых царю и боярам на заседании Думы, и назывались эти столбцы также *курантами*. При этом основная масса получаемых в Посольском приказе «негазетных» вестовых материалов переводилась и хранилась отдельно от собственно «курантов».

Даже те *куранты*, которые имеют заглавие «переводы с курантов», не представляют собой чего-то однородного. Если в 1670—1680-х гг. «переводами с курантов» назывались столпы с обзорами иностранной прессы, которые зачитывались на заседании Думы, то в начале 1690-х гг. из-за уве-

личения объема переводимой информации они разделились на два новых типа документов — объемные первоначальные «переводы» для специальных дипломатических нужд и «выписки» для оперативного информирования правительства. С 1700 г., когда начало Северной войны прервало регулярную доставку иностранных газет в Москву, «переводы с курантов» стали скорее напоминать прежние «выписки». Теперь они приобрели форму тетрадок, которые вскоре начинают публиковаться в виде газеты «Ведомости» (с небольшими дополнениями и сокращениями). К этому времени они теряют значение источника оперативной внешнеполитической информации, которое имели прежде. От 1724—1731 гг. имеются уже совершенно новые «выписки с курантов» — весьма значительные по объему документы, ориентированные уже не столько на сбор внешнеполитической информации, сколько на наблюдение за европейской прессой. В этих «выписках» точно фиксируется каждый конкретный источник информации. На ложные (негативные) публикации составляются опровержения⁵². Не следует забывать, что кроме «переводов с курантов» обзорного характера (компиляций из прессы вообще) находящиеся за границей русские дипломаты могли составлять и переводы отдельных статей, как это имело место во время посольства К. Н. Нефимова в 1696 г. в Вену [ПДС 1864: 1195—1201], или обзоры местных газет, как во время Великого посольства и в годы пребывания в Голландии А. А. Матвеева. Отдельные переводы иностранной прессы и после начала регулярного составления «переводов с курантов» могли попадать в Россию по разным каналам в качестве «писем», т. е. без слова *куранты* в заглавии⁵³.

Таким образом, мы видим, что в рассматриваемый исторический период значение слова *куранты* было довольно размытым, не охватывало все переводы иностранной прессы и на протяжении XVII—XVIII столетий постепенно менялось. Кроме того, параллельно с ним использовались и другие идентичные по значению слова: *авизы*, *газеты*, *ведомости* и описательные наименования типа *вестовые печатные листы*. Все это позволяет сделать вывод, что прямое заимствование термина «куранты» для нужд современной науки невозможно.

Л и т е р а т у р а

Балицкий 1868 — Г. Б. Б а л и ц к и й. Зарождение периодической печати в России. СПб., 1908.

Белокуров 1903 — С. А. Б е л о к у р о в. Из духовной жизни московского общества XVII в. М., 1903

⁵² РГАДА. Ф. 155. Оп. 2. Ед. хр. 97. 1728 г.; АВПР Ф. 11. Оп. 11/1. 1724 г. Ед. хр. 54; Оп. 11/4. Ед. хр. 6. Переводы и выписки из курантов первой трети XVIII в. на сегодняшний день изучены крайне слабо. Выводы о характере данного источника носят предварительный характер.

⁵³ Ф. 155. Оп. 1. 1674 г. Ед. хр. 8.

- Белокуров 1906 — С. А. Б е л о к у р о в. О Посольском приказе. М., 1906.
- Беляков 2001 — А. В. Б е л я к о в. Служащие Посольского приказа второй трети XVII века: Дис. ... канд. ист. наук. М., 2001. Приложение. Список служащих Посольского приказа 1645—1682 гг.
- Бобров 1999 — А. Г. Б о б р о в. Копенгагенский сборник середины XVII в. и его вероятный составитель псковский стрелец Димидка Воинов // ТОДРЛ. Т. 51. СПб., 1999. С. 463—476.
- БСЭ 1973 — Большая советская энциклопедия. М., 1973.
- Вести-Куранты 1972 — Вести-Куранты. 1600—1639 гг. / Изд. подгот. Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов, А. И. Сумкина; Под ред. С. И. Коткова. М., 1972.
- Вести-Куранты 1976 — Вести-Куранты. 1642—1644 гг. / Изд. подгот. Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов, А. И. Сумкина; Под ред. С. И. Коткова. М., 1976.
- Вести-Куранты 1980 — Вести-Куранты. 1645—1646, 1648 гг. / Изд. подгот. Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов; Под ред. С. И. Коткова. М., 1980.
- Вести-Куранты 1983 — Вести-Куранты. 1648—1650 гг. / Изд. подгот. В. Г. Демьянов, Р. В. Бахтурина; Под ред. С. И. Коткова. М., 1983.
- Вести-Куранты 1996 — Вести-Куранты. 1651—1652, 1654—1656, 1658—1660 гг. / Изд. подгот. В. Г. Демьянов; Под ред. В. П. Вомперского. М., 1996.
- Голиков 1791 — И. И. Г о л и к о в. Дополнения к деяниям Петра Великого. Т. 5 (17). М., 1791.
- Горчаков 1868 — М. Г о р ч а к о в. Монастырский приказ. СПб., 1868.
- Гурлянд 1902 — И. Я. Г у р л я н д. Приказ великого государя Тайных дел. Ярославль, 1902.
- Гурлянд 1903 — И. Я. Г у р л я н д. Иван Гебдон. Коммиссариус и резидент. Ярославль, 1903.
- ИРЖ 2003 — История русской журналистики XVIII—XIX веков. СПб., 2003.
- Каган 1958 — М. Д. К а г а н. Легендарный цикл грамот турецкого султана к европейским государям — публицистическое произведение второй половины XVII в. // ТОДРЛ. Т. 15. М.; Л., 1958. С. 225—250.
- Каган 1958а — М. Д. К а г а н. Русская версия 70-х гг. XVII в. переписки запорожских казаков с турецким султаном // ТОДРЛ. Т. 14. М.; Л., 1958. С. 309—315.
- Каган 1993 — М. Д. К а г а н. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 2. СПб., 1993. (Статьи указаны в тексте.)
- Кантемир 1892 — Реляции кн. А. Д. Кантемира из Лондона (1732—1733). Т. 1. М., 1892.
- Кобзарева 1988 — Е. И. К о б з а р е в а. Известия о событиях в Западной Европе в документах Посольского приказа XVII века: Дис. ... канд. ист. наук. М., 1988.
- Козловский 1913 — И. П. К о з л о в с к и й. Первые почты и первые почтмейстеры в Московском государстве. В 2 т. Т. 2. Варшава, 1913.
- Крестьянская война 1962 — Крестьянская война под предводительством Степана Разина. В 3 т. Т. 3. М., 1962.
- Кудаков 2002 — О. Р. К у д а к о в. Первопечатные «Ведомости» (1702—1727): К истории отечественной прессы. Казань, 2002.
- Кудрявцев 1963 — И. М. К у д р я ц е в. «Издательская деятельность» Посольского приказа: (К истории русской рукописной книги во втор. пол. XVII века) // Книга: Исследования и материалы. Сб. 8. М., 1963. С. 179—244.
- Лавров 2000 — А. С. Л а в р о в. Колдовство и Религия в России 1700—1740 гг. М., 2000.
- Лефорт 2006 — Ф. Л е ф о р т. Сборник материалов и документов. М., 2006.

- Майер (в печати) — И. М а й е р. Вести-Куранты 1660—1662, 1664—1670 гг. Ч. 2. Иностранные оригиналы к русским текстам. (в печати).
- Малэк 2004 — Э. М а л э к. Вновь обнаруженный список юмористических курантов (к истории смеховой литературы Древней Руси) // ТОДРЛ. Т. 55. СПб., 2004. С. 427—429.
- МДБП — Московская деловая и бытовая письменность XVII века. М., 1968.
- Морозов 1980 — Б. Н. М о р о з о в. Архив торговых крестьян Шангиных // СА. 1980. № 2. С. 57—61.
- Ольшевская, Травников 2000 — Л. А. О л ь ш е в с к а я, С. Н. Т р а в н и к о в. Куранты // Отечественная история: История России с древнейших времен до 1917 года: Энциклопедия. Т. 3. М., 2000. С. 220, 221.
- Опись 1977 — Опись архива Посольского приказа 1626 г. / В. И. Гальцов. Ч. 1. М., 1977.
- Опись 1990 — Опись архива Посольского приказа 1673 г. Ч. 1. М., 1990.
- ПДС 1864 — Памятники дипломатических сношений России с державами иностранными. Т. 7. СПб., 1864.
- ПДС 1867 — Памятники дипломатических сношений России с державами иностранными. Т. 8. СПб., 1867.
- Петр 1887 — Письма и бумаги Петра Великого. Т. 1. СПб., 1887.
- Петр 1893 — Письма и бумаги Петра Великого. Т. 3. СПб., 1893.
- Петр 1900 — Письма и бумаги Петра Великого. Т. 4. СПб., 1900.
- Петр 1912 — Письма и бумаги Петра Великого. Т. 6. СПб., 1912.
- Петр 1951 — Письма и бумаги Петра Великого. Т. 8. Вып. 2. М., 1951.
- Петр 1950 — Письма и бумаги Петра Великого. Т. 9. Вып. 1. М., 1950.
- Петр 1952 — Письма и бумаги Петра Великого. Т. 9. Вып. 2. М., 1952.
- Петр 1956 — Письма и бумаги Петра Великого. Т. 10. М., 1956.
- Петр 1962 — Письма и бумаги Петра Великого. Т. 11. Вып. 1. М., 1962.
- Петр 1964 — Письма и бумаги Петра Великого. Т. 11. Вып. 2. М., 1964.
- Петр 1992 — Письма и бумаги Петра Великого. Т. 13. Вып. 1. М., 1992.
- Петр 2003 — Письма и бумаги Петра Великого. Т. 13. Вып. 2. М., 2003.
- Погорелов 1903 — В. А. П о г о р е л о в. Материалы и оригиналы Ведомостей 1702—1727. М., 1903.
- Покровский 1906 — А. П о к р о в с к и й. К истории газеты в России // Ведомости времен Петра Великого. Вып. 2. М., 1906. С. 1—37.
- Покровский 1987 — Н. Н. П о к р о в с к и й. Народная эсхатологическая газета 1731 г. // Исследования по древней и новой литературе. Л., 1987. С. 290—296.
- Попов 1869 — А. Н. П о п о в. Обзор хронографов русской редакции. Вып. 2. М., 1869.
- ПСЗ-1. — Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание. Т. 2, 4, 7, 8. СПб., 1830.
- РИБ 1907 — Русская историческая библиотека, издаваемая имп. Археографическою комиссиею. Т. 21. Дела приказа Тайных дел. Кн. 1. СПб., 1907.
- Сапунов 1976 — Б. В. С а п у н о в. Из истории международных культурных связей Руси в XVII в. (Вести-Куранты) // Культурное наследие Древней Руси. М., 1976. С. 200—205.
- Сахаров 1964 — А. Л. С а х а р о в. О названии русской рукописной газеты 1621 г. в связи с развитием специфических элементов ее фразеологии // Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та. 1964. № 148. С. 396—418.

- СлРЯ XI—XVII вв. — Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 8. М., 1981.
- СлРЯ XVIII в. I—XI — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1—11—Л./СПб., 1984—2000—.
- Соболев 1957 — В. П. С о б о л е в. Возникновение периодической печати в России и развитие русской журналистики XVIII века. М., 1957.
- Соболевский 1903 — А. И. С о б о л е в с к и й. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII веков. СПб., 1903.
- Соловьев 1991 — С. М. С о л о в ь е в. История России с древнейших времен. Кн. 6. Т. 11. М., 1991.
- Турилов 1993 — А. А. Т у р и л о в. Легендарное донесение из Белграда // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 2. СПб., 1993. С. 226—227.
- Уо 2003 — Д. У о. История одной книги. СПб., 2003.
- Харлампович 1918 — К. В. Х а р л а м п о в и ч. «Ведомости Московского государства» 1702 года // ИОРЯС. Т. 23. Кн. 1. Пг., 1918.
- Хаустова 1956 — И. С. Х а у с т о в а. Из истории лексики рукописных «Ведомостей» конца XVII века // Учен. зап. ЛГУ. Т. 198. Вып. 24. Л., 1956. С. 51—95.
- ЧОИДР 1887 — Чтения в императорском обществе истории и древностей российских. 1887 г. Кн. 3.
- ЧОИДР 1888 — Чтения в императорском обществе истории и древностей российских. 1888. Кн. 2. Отд. 2.
- Шамин 2002 — С. М. Ш а м и н. В ожидании конца света в России (конец XVII — начало XVIII в.) // ВИ. 2002. № 6. С. 134—138.
- Шамин 2003 — С. М. Ш а м и н. Переводы из европейских летучих листков и газет XVII столетия в собрании НИОР РГБ // Румянцевские чтения — 2003. Культура: от информации к знанию: Тез. и сообщ. М., 2003. С. 274—277.
- Bogel, Blühm 1985 — E. B o g e l, E. B l ü h m. Die deutschen Zeitungen des 17. Jahrhunderts. Ein Bestandsverzeichnis mit historischen und bibliographischen Angaben. 3. Bd., Nachtrag / Bearb. von Elger Blühm, Brigitte Kolster, Helga Levin. Bremen, 1985.
- Maier 2003 — I. M a i e r. Die Übersetzungen westeuropäischer Zeitungen am Moskauer Gesandtschaftsamt von 1660 bis 1670: Zur ersten Ausgabe der Vesti-Kuranty mit Paralleltexten // Swedish Contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana, 15—21 August 2003. Lund, 2003. P. 51—74. (Slavica Lundensia, Supplementa 2).
- Maier, Pilger 2001 — I. M a i e r, W. P i l g e r. Second-hand translation for tsar Aleksej Mixajlovic — a glimpse into the «newspaper workshop» at *Posol'skij prikaz* (1648) // Russian Linguistics. Vol. 25. 2001. P. 209—242.
- Waugh 1972 — D. C. W a u g h. Seventeen-Century Muscovite Pamphlets with Turkish Themes: Toward a Study of Muscovite Literary Culture in its European Setting: Ph. D. dis. Cambridge (Mass.): Harvard Univ., 1972.
- Waugh 1973 — D. C. W a u g h. The Publication of Muscovite Kuranty // Kritika: A Review of Current Soviet Books on Russian History. IX, 3. 1973. P. 104—120.
- Waugh 1978 — D. C. W a u g h. The Great Turkes Defiance: On the History of the Apocryphal Correspondence of Ottoman Sultan in its Muscovite and Russian Variants. Columbus, Ohio, 1978.

М. БОБРИК

**ПОЛУ-Ё.
ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЗАБЫТЫМ ПАМЯТНИКОМ
РУССКОГО ЯЗЫКА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА**

*Борису Андреевичу Успенскому
к 70-летию*

Случай натолкнул меня недавно на любопытный источник по истории русского произношения и орфографии. В моих руках оказались две книги из трехтомной хрестоматии по русской литературе, изданной в Варшаве в 1837—1838 годах. На вид книги невзрачны, переплет из блеклой оберточной бумаги. На титульном листе название:

Русская хрестоматія, или избранныя мѣста изъ лучшихъ Русскихъ Писателей, систематически расположенныя и заключающія примѣры на всѣ роды сочиненій въ прозѣ и стихахъ, составленныя Магистромъ Василиемъ Рклицкимъ.

Скользнув глазами по библиотечным штампам, отметке цензора и посвящению генерал-губернатору Варшавы, я открыла первый попавшийся текст «Хрестоматии» и увидела, что в ней расставлены знаки ударения. Листаю и вижу, что проставлена здесь и буква ё. И только позднее, при сплошном чтении этого замечательного издания обнаружилось самое неожиданное — новая, не известная до сих пор в русской азбуке буква. Подарить ее хотелось бы Борису Андреевичу — вдохновенному первооткрывателю и любителю филологических курьезов.

«Русская хрестоматия» и ее составитель

Прежде всего нужно сказать несколько слов о самой книге. Первое издание «Русской хрестоматии» Василия Рклицкого вышло в Варшаве в 1837 году и предназначалось для учащихся польских гимназий. Пособие Рклицкого было составлено, как сказано в предисловии, «по поручению начальства» и посвящено генералу Евгению Александровичу Головину — «Главному Директору Предсѣдательствующему въ Правительственной Комиссіи Внутреннихъ и Духовныхъ дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія въ

— 34 —

и чести водруженѣ на мѣстѣ величайшаго преступленія противъ Бога и человечества.

Должно ли приводить на память послѣднія чудеса, новыя покусенія злобы и невѣрія, и сіюющее торжество невинности, человеколюбія и религіи? Сколько уроковъ уму! Сердце въ нихъ не имѣетъ нужды.

Съ зарёю наступающаго міра, котораго мы видимъ сладостное мерцаніе на горизонтѣ политическомъ, просвѣщеніе сдѣлаетъ новыя шаги въ отечествѣ нашемъ: снова процвѣтутъ промышленность, искуства и науки, и всѣ сладостныя надежды сбудутся; у насъ можетъ быть, родятся Философы, политики и моралисты, и долгомъ поставятъ основать ученіе на истинахъ Евангелія, крѣпкихъ, постоянныхъ и неизблемыхъ, достойныхъ великаго народа, населяющаго страну необозримую, достойныхъ великаго человека, имъ управляющаго!

Итъ въ мірѣ царства такъ пространна,

Гдѣбъ можно столь добра творить!

Батюшковъ.

О Воспизаній.

Никто не родится въ свѣтѣ ни счастливымъ, ни добродѣтельнымъ, ни просвѣщеннымъ. Природа, производя человека, кажется, даётъ ему только жизнь и силу дѣйствія, а образоватъ его предоставляетъ времени и опытамъ. Не лзы

Царствѣ Польскомъ, Исправляющему должность Варшавскаго Военнаго Губернатора...». Хрестоматия была, таким образом, не частным делом составителя, но официальным заказом и тем самым — частью русской культурной политики в польских владениях. Насколько важную роль играли в этой политике языковые вопросы, показало, в частности, недавнее исследование Б. А. Успенского о проекте русификации польской графики, относящемся к 1840—1860-м годам [Успенский 2004; Комиссарова 2006: 76—77].

Из посвящения следует, что целью Рклицкого было «составить такую книгу, которая могла бы ознакомить учащихся какъ со всеми родами Русской Словесности, такъ и съ лучшими Русскими Писателями» [Хрестоматия 1837]. На каких же образцах изучалось искусство владения русским языком?

«Русская хрестоматия» разделена составителем на три части. Первая включает в себя тексты так называемой общей прозы (описания, исторические очерки, диалоги, письма). Вторая часть посвящена прозе отвлеченного характера и красноречию. Наконец, третья часть призвана была дать представление о различных жанрах поэзии на русском языке. Каждая из частей хрестоматии рассчитана на определенную ступень обучения в гимназии: первая часть — на учащихся 3-го и 4-го классов, вторая — на учащихся двух следующих классов и третья — на гимназистов двух последних лет обучения.

Классика 1837—1838 годов — это русская словесность 1790—1820-х годов. Рклицкий старался отобрать тексты признанных беллетристов этого времени. Кроме сочинений М. Н. Муравьева, В. А. Жуковского, Н. М. Карамзина, Ф. Н. Глинки, Ф. В. Булгарина, И. Сенковского, в книгу вошли забытые ныне, но восхищавшие современников тексты, в частности очерки знаменитого путешественника В. М. Головнина¹ и крупного синолога, автора первой китайской грамматики на русском языке Н. Я. Бичурина². Гимназистов ожидали описания путешествий и нравов (в частности, «Народы России» Муравьева, «Описание Черногории» В. Б. Броневского, «Святые места» Д. В. Дашкова) и портреты великих людей («Рафаэль», «Корреджио», «Микель-Анджело», «Сократ» Карамзина), отрывки из повестей («Путешествие Анахарсиса», «Оскольд» Муравьева) и исторические анекдоты («Встреча с Карамзиным» Булгарина), сведения из истории христиан-

¹ Особенно большой популярностью пользовались «Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах» (1816) — по мнению В. К. Кюхельбекера, «и по слогу, и по содержанию одна из самых лучших книг на русском языке». «Записки» знал и ценил автор «Фрегата „Паллада“», они относились к числу любимых книг Л. Н. Толстого (М. П. Лепехин [в изд. ошибочно *Лепѣхин*. — М. Б.], Головнин [Рус. писатели 1989: 615—616]).

² Сведения о необычной биографии ученого-монаха и обзор сочинений о. Иакинфа (Бичурина) можно найти в статье: Д. И. Белкин и др. Бичурин [Рус. писатели 1989: 270—272].

ства («Церковные обряды V века», «Обращение в христианство св. апостола Павла» архимандрита Иннокентия Борисова) и очерки из русской истории («Состояние России от 1462 до 1533 года. Правление; торговля; деньги; дороги и почта. Москва» из «Истории» Карамзина, «Очерк характера Петра Великого», «О имени славян» Булгарина, «Скандинавы, нордманы или варяги» Полевого), диалоги («Вечер у Кантемира» Батюшкова, «Разговор о счастье» Карамзина) и письма («К Д. о Тавриде» А. С. Пушкина, письма из Лондона П. И. Макарова, письма К.-Ф. Морица из Италии в переводе Карамзина, письмо Д. И. Фонвизина к приятелю о плане Российского словаря, отрывки из «Писем русского путешественника» Карамзина). Некоторые материалы взяты из тогдашних журналов, в частности из «Библиотеки для чтения», беллетристика которого пользовалась большим успехом тогдашней читательской публики.

Во второй части помещена «проза учебная» — это эссе на темы нравственного воспитания («Нечто о морали, основанной на философии и религии» Батюшкова, «О воспитании» А. А. Прокоповича-Антонского), публицистика («О языках» и «О арабской литературе» С. С. Уварова, «О жизни растений» М. А. Максимовича, «Полезды и затруднения государственного знания» Муравьева) и, наконец, образцы литературной критики А. С. Шишкова («Рассмотрение речи, говоренной Георгием архиепископом Могилевским, на прибытие Екатерины II в Мстиславль»), П. А. Вяземского («Озеров»), П. А. Плетнева («Жуковский», «О драматическом искусстве»).

Примечательно, насколько большое место отведено в «Хрестоматии» искусству произнесения публичной речи. Половину второй части «Хрестоматии» занимают образцы красноречия — духовного, представленного именами Анастасия (Братановского), И. В. Леванды, Платона (Левшина), Филарета (Дроздова), Иоанна (Борисова), Георгия (Конисского), Михаила (Десницкого), и светского (здесь помещены речи Ломоносова, С. А. Ширинского-Шихматова, Карамзина, Батюшкова, Уварова, А. С. Шишкова, С. В. Соловьева), в частности такие любопытные исторические документы, как речь С. С. Уварова «въ торжественномъ собраніи Главнаго Педагогическаго Института 22 марта, 1818 года, по случаю учреждения каѳедръ Восточныхъ языковъ и возобновленія каѳедры исторической» и речь профессора русского языка и литературы С. В. Соловьева «о Литературныхъ совершенствахъ Русскаго языка», произнесенная при освящении нового здания Александровского университета в Гельсингфорсе.

Составителю «Хрестоматии» Василию Васильевичу Рклицкому (1799 — после 1859) принадлежала немаловажная роль в российской культурной политике на территориях Царства Польского. В качестве автора учебников и преподавателя русского языка он был активным проводником этой политики. Не случайно для такой важной культурно-идеологической задачи избирается сын протоиерея из дворян: роль культуртрегеров в польских делах российские власти отводят в первую очередь выходцам из духовного сословия — выпускникам семинарий и православным священникам [Горизонтов 1999: 191—193].

Рклицкий получил образование и начал свою педагогическую карьеру на западе Российской империи. Окончив курс Киевской духовной академии, он поступил учителем словесности в Харьковский коллегиум (1825), где затем преподавал Священное Писание (1826—1827). Прежде чем начать свою деятельность в Варшаве, Рклицкий был профессором философии и инспектором Черниговской семинарии и одновременно ректором Черниговских уездных и приходских училищ (1828—1831). С января 1834 года он становится профессором русской словесности в Варшавской губернской гимназии. Параллельно он преподает русский язык еще в нескольких учебных заведениях: в варшавском Обвозовом училище, Александринском институте воспитания девиц, на курсах для государственных служащих польского происхождения, а с 1836 г. — также в Институте сельского хозяйства в Маримонте и на Варшавских дополнительных курсах.

В 1837 году Рклицкий издает «Русскую хрестоматию» и учебник «Начальные основания русского языка для начинающих учиться по-русски, или легчайший способ научиться читать и писать по-русски и переводить с русского языка на польский», а также таблицы для обучения русскому языку в элементарных училищах. «Хрестоматия» и «Начальные основания» были приняты Советом народного просвещения «для всеобщего употребления в училищах Царства Польского» [РБС 1962: 266]³. Таким образом, в 1830-е годы Рклицкий был человеком, в руках которого фактически находилось все преподавание русского языка в Варшаве. Однако его труды продолжали находить применение и позднее: «Начальные основания» переиздавались вплоть до 1860-х гг., на которые приходится «систематическая русификация административного аппарата и культурной жизни» [Горизонтов 1999: 192] в польских владениях Империи.

«Русская хрестоматия» является ценным документом произносительной нормы первой половины XIX века. Традиционными источниками по фонетике и орфоэпии этой эпохи служат рифмы, сведения из грамматик, лингвистическая полемика современников по вопросам произношения. Пособие Рклицкого расширяет наши знания в этой области.

Перед нами около трехсот страниц прозаического текста с фонетической разметкой, подобной той, какую можно найти и в современной учебной книге для иностранцев. «Для научения правильному произношению словъ» здесь проставлены знаки ударения (около сотни страниц первой книги оставлены, однако, без знаков ударения, «дабы можно было испытывать учащихся, до какой степени они приучились къ правильному чтению по-Русски» [Хрестоматия 1837]). Кроме того, с помощью специальных букв в «Хрестоматии» обозначен ударенный [о] после мягких и шипящих.

Такая разметка отражает прежде всего языковые представления составителя. В то же время редактор-составитель пособия, которое предназначе-

³ В других справочниках сведений о Рклицком найти не удалось. О нем молчат все издания Большой советской энциклопедии, словарь братьев Гранат, «Педагогическая энциклопедия» (Т. 1—4. М., 1964—1968). Не упоминает о нем и автор монографии, специально посвященной политике Российской империи в Польше, Л. Е. Горизонтов.

но для иноязычной аудитории и призвано служить сводом образцовых текстов в образцовом произношении, с необходимостью выступает представителем определенной авторитетной нормы. Важно понять поэтому, какую именно норму отражают наблюдаемые в «Русской хрестоматии» фонетические явления.

Предмет данной работы составят наблюдения над тем, как в «Хрестоматии» представлено такое важное для произносительной нормы явление, как мена ударенных [o] / [e] после мягких согласных и шипящих. В первой части статьи мена [o] / [e] будет интересовать нас с графико-орфографической и фонетической стороны, во второй части речь пойдет о том, в каких лексемах возможна эта мена.

I

1.1. Графические способы выражения ⟨o⟩ в позиции мены [o] / [e]

В отношении графических способов передачи ⟨o⟩ под ударением первое (1837) и второе (1838) издания «Русской хрестоматии» различаются между собой. К сожалению, у меня нет возможности сопоставить употребление всех трех томов «Хрестоматии» первого и второго изданий: книги эти очень редки⁴, и добыть оба комплекта полностью мне не удалось. Я располагаю первым томом прозы в издании 1837 года и вторым томом прозы в издании 1838 года. При цитировании к ним отсылает, соответственно, арабская цифра «1» или «2», от которой двоеточием отделен номер страницы.

В первом издании как после парных мягких, так и после шипящих в этой позиции используется буква ё. В этом отношении Рклицкий следует практике Н. М. Карамзина, который, как известно, первым ввел эту букву в употребление. В 1830-е годы такая практика уже не означала причастности к карамзинизму: покойный придворный историограф стал к этому времени признанным авторитетом в вопросах русского языка и словесности. Конфликт «архаистов» и «новаторов» был преодолен, и литературная благонамеренность, безусловно обязательная для Рклицкого, не предполагала выбора между двумя лагерями. И Карамзин (введший букву ё в употребление), и Шишков (старательно выскабливавший точки над нею в книгах своей домашней библиотеки) стали классиками⁵, и их соседство на страницах официально рекомендованного учебного пособия по русской словесности, каковым была «Русская хрестоматия», — яркое тому свидетельство.

В немногих отдельных случаях в первом издании после шипящих пишется буква o: Печóрской (1: 159), моржóвые (1: 159). Колебания отмече-

⁴ В Москве один том «Русской хрестоматии», а именно первый том прозы в издании 1837 года, хранится в РГБ.

⁵ О полемике Карамзина и Шишкова относительно употребления ё см. [Панов 1990: 289—294].

ны в формах прилагательного *большой*: наряду с написаниями *не в большём* (1: 10, 98), *на небольшём* (1: 18) встретилось *на большóй* (1: 33). Такая практика в XVIII — начале XIX в. известна, ее сторонником был, в частности, А. А. Барсов (см. ниже).

Во втором издании, вышедшем годом позже, *ё* используется только после парных мягких, в то время как после шипящих и *ц* используется особая графема *é* — нигде, насколько можно судить по своду Т. М. Григорьевой, до сих пор не отмеченная [Григорьева 2004]. Точка над *e* слегка сдвинута вправо, это как бы правая точка от *ё*, поэтому буква выглядит как «полу-ё» (см. илл.). Пусть это будет пока рабочим названием новой буквы.

Такую же систему обозначения ⟨o⟩ под ударением, как во втором издании «Хрестоматии», Рклицкий использует в своем пособии «Начальные основания...», которое состоит из небольшой двуязычной хрестоматии и введения к ней — написанного по-польски очерка русской графики и фонетики.

1.2. Значение буквы *é*

Употребление «полу-ё» (*é*) во втором издании можно проиллюстрировать следующими примерами: *влечёт* (2: 42), *предостережём* (2: 195), *лицё* (2: 41), *образцёв* (2: 199), *душёю* (2: 77), *о чём* (2: 139 bis), *изречённаго* (2: 174), *лишённый* (2: 19), *окружённый* (2: 142), *просвещённом* (2: 184), *нашёл* (2: 169), *почёл* (2: 6), *пчёл* (2: 134), *шёлка* (2: 26), *тяжёлых* (2: 159), *учёный* (2: 85), *чёрным* (2: 147), *ещё* (*passim*) и т. п.⁶

Как интерпретировать такие написания? Имеют ли они чисто орфографический смысл или несут некоторую фонетическую информацию, и если да, то какую?

Ответ на этот вопрос естественно искать прежде всего в упомянутом пособии Рклицкого по русскому языку, которое было издано одновременно с «Хрестоматией». В самом деле, в «Начальных основаниях» употребление «полу-ё» комментируется дважды. Фонетический смысл различения *é* и *ё* Рклицкий описывает с помощью польских параллелей; смысл этот состоит в том, что буква *é* соответствует произношению польской буквы *o*, в то время как *ё* соотносится с *io*:

Jedna kropka nad *e* (np. *é*) oznacza, że to *e* trzeba wymawiać jak *o*; dwie zaś kropki nad *e* (n(ą) p(rzykład) *ë*) oznaczają, że to *e* wymawia się jak polskie *io* [Рклицкий 1864: 4].

Сочетанием *io* в польском обозначается [’o] и мягкость предшествующего согласного, парного по твердости / мягкости (*wiosna*). В русском языке XVIII — начала XIX в. диграф *io* (обычно с объединяющей обе буквы ломаной дужкой сверху) был одним из способов обозначения ударенного [o] после мягких — наряду с *uo*, *yo* и (с 1797 г.) *ё*. В качестве транскрип-

⁶ Полностью материал приводится ниже, см. таблицу 1.

ционного знака, соответствующего на письме букве *e*, им пользуются в своих грамматиках, в частности, М. В. Ломоносов и А. А. Барсов.

О качестве гласного, обозначаемого буквой *é*, в учебнике Рклицкого говорится в особом примечании к разделу о произношении буквы *e*. Согласно этому описанию, гласный [o] после шипящих произносится с напряжением и/или повышением голоса, что делает этот звук похожим на польский открытый [o]:

По gloskach *ж, ч, ш, щ*, gdy *e* ma nad sobą jedną kropkę, i wymawia się z niejakiém natężeniem czyli podwyższeniem głosu, natenczas brzmi jak polskie *o*, n(a) p(rzykład) ш ё с т ь żerdź, ч ё р н ы й czarny, czytaj: *szost, czornyj* i t. p. [Рклицкий 1864: 9]⁷.

Итак, написания с «полу-ё», очевидно, имеют фонетический смысл. Употребление этой буквы тесно связано с буквой *ě*. Различие в значении между ними состоит, по Рклицкому, в качестве ударенного [o]: после шипящих оно иное, чем после остальных согласных.

В духе тогдашней лингвистики Рклицкий описывает позиционные чередования с точки зрения гласных — они главные. Характерно, что, поясняя специфику произношения [o] после русских шипящих, он предпочитает прибегать к описанию свойств гласного, гораздо более трудноуловимых на слух для носителя славянского языка, чем мягкость согласного. Рклицкий поступает так, как будто перед ним язык, в котором мягкость согласных не фонологична. Так можно было бы описывать, например, гласные латинского, или немецкого, или французского языка.

Записав правило распределения *ě* и «полу-ё» с точки зрения согласных, получим следующее: после парных мягких — *ě*, после шипящих — *é*.

Таким образом, *ě* и *é* являются в учебниках Рклицкого вариантами графемы для обозначения фонемы ⟨o⟩ под ударением после согласного. По своему значению *ě* и «полу-ё» также взаимосвязаны: если *ě* указывает на ударенный [o] и на мягкость предшествующего согласного, то *é* призвана обозначать [o] без смягчения согласного:

	ě	é
под ударением	+	+
после t'	+	–
после š	–	+

Из этого следует, что буквам *ж, ш, ч, щ* соответствуют, по Рклицкому, немягкие согласные.

Произношение букв *ж* и *ш* считается в «Начальных основаниях» тождественным польским [ż] (ż) и [š] (sz) [Там же: 9—11]. Шипящие *ч* и *щ* оха-

⁷ Как свидетельствуют примеры, приведенные в начале этого раздела, «полу-ё» употребляется также после *ц*.

рактированы здесь как сложные и транскрибируются с помощью русских буквенных сочетаний, соответственно *ти* и *шти* [Там же: 2] или польских *cz* и *szcz*:

ч wymawia się jak polskie *cz* np. чинь urząd, чей czyj, честь cześć, czytaj: *czyn, czej, czest*; w środku niektórych wyrazów w mowie pospolitej brzmi jak *sz* np. что со, конечно zapewne, нарочно umyślnie, czytaj: *szo, kanieszna, naroszna*, i t. p.

⟨...⟩ *щ* wymawia się jak *szcz*, np. щ и barszcz, щетина szczecina, щука szczupak, czytaj: *szczy, szczetina, szczuka* i t. p. [Там же: 11].

Иными словами, произношение русских букв *ш*, *ж*, *ч* и *щ* описывается у Рклицкого как близкое польским альвеолярным шипящим, соответственно [š], [ž], [č] и [šč]. На фоне современных русских шипящих литературного языка польские [š] и [ž] воспринимаются как более мягкие, а [č] ([šč] = комбинация [š] и [č]) — как более твердый по сравнению с их русскими соответствиями. Сходным образом, если верить Рклицкому, произносились и русские шипящие, а именно как [ш·], [ж·], [ч] и [ш·ч]⁸. С таким «средним» произношением шипящего согласуется и та характеристика, которую Рклицкий дает гласному [о] в позиции после шипящего (см. выше). В самом деле, при «среднем» произношении шипящего последующий [о] неизбежно продвигается в зону переднего ряда верхнего подъема, что автор учебника и пробует описать как «напряжение» и «повышение голоса».

На этом фоне становится понятнее, зачем Рклицкому понадобилось вводить букву «полу-ё». Смысл различения орфограмм *t'ě* и *šé* состоял, можно думать, не только в том, чтобы по возможности более точно передать русский выговор, но и в том, чтобы предостеречь польских учащихся от интерференции, опасность которой в области шипящих особенно велика. По аналогии с мягкими согласными носители польского языка могли подставлять в позиции мены [о] / [е] вместо немягких шипящих свои мягкие шепелявые шипящие. С помощью специальной буквы Рклицкий считает нужным указать на то, что произносить следует именно [ž] (а не [ž''], как в *ziomek*), [č] (а не [č''], как в *ciotka*), [š] (а не [š''], как в *siostra*) и [šč] (а не [š'č''], как в *ściosać*). Кроме того, введение «полу-ё» позволяло достичь единообразия графики «Русской хрестоматии» и «Начальных оснований».

Рекомендуемое Рклицким произношение шипящих как [ш·], [ж·], [ч] и [ш·ч] не только отличается от современной русской литературной нормы, в которой имеем соответственно [ш], [ж], [ч'] и [ш':], но и от сложившихся в исторической фонетике представлений о произносительных традициях 1-й половины XIX века.

Возникает вопрос, с какой же традицией и/или нормой мы имеем дело в «Русской хрестоматии» и «Начальных основаниях»? Украинское происхо-

⁸ Если использовать способ записи Рклицкого (*ч* = тш, а *шч* = штш, см. выше), последние два звука можно записать так: [т·ш·] и [шт·т·ш·].

ждение Рклицкого и его духовное образование дают основания предположить, что Рклицкий рекомендует своим польским ученикам западнорусский вариант книжного произношения шипящих. В этом случае материал «Хрестоматии» мало что дает для исторической фонетики русского языка. Чтение фундаментальной и столь любимой «Истории русского литературного произношения» М. В. Панова способно скорее укрепить в этом предположении: в книге последовательно проводится мысль о непрерывности традиции твердого произношения *ш, ж* и мягкого произношения *ч, щ* от XVIII в. до наших дней. Тем временем очевидная (и признававшаяся М. В. Пановым) недостаточность сведений о качестве шипящих не позволяет считать этот вопрос решенным.

Проблему составляет, в частности, интерпретация прямых свидетельств начала XX в. о твердом и полумягком произношении шипящих в Петербурге. Ряд косвенных свидетельств более ранней эпохи может расширить круг фактов, свидетельствующих в пользу такого произношения. На этом фоне видеть в трактовке шипящих у Рклицкого воздействие его малорусского фона по меньшей мере необязательно⁹. Напротив, данные «Русской хрестоматии» и «Начальных оснований» дают повод еще раз внимательнее присмотреться к свидетельствам немягкого произношения шипящих в великорусской норме.

*1.3. Для чего понадобилась буква ё,
или Вопрос о немягкости шипящих*

В грамматиках русского языка XVIII—XIX вв., начиная с Лудольфа (1696), особое внимание (из шипящих) уделяется произношению *щ*: для русских это маркер разных произносительных традиций, для иностранцев — труднейший звук русской речи. Буква *щ* считается в эту эпоху эквивалентной сочетанию *шч*. Сведения о произношении *щ* как долгого мягкого звука без аффрикации появляются лишь в конце XIX в. (это, разумеется, не значит, что его до тех пор не было, но значит лишь то, что, будучи лишним культурного престижа, он оставался вне поля зрения нормы). О твердости / мягкости *ч* и *шч* прямо в источниках не говорится нигде. О ней можно судить лишь на основании таких косвенных свидетельств, как примеры, транскрипции и иноязычные аналоги в соответствующих разделах грамматик русского языка. Не ставя перед собой задачу дать исчерпывающий обзор свидетельств о произношении *щ* и *ч*, приведу некоторые ключевые высказывания названного периода.

1. «Compendium Grammaticae Russicae» (1731). В составленной на немецком языке первой академической грамматике русского языка *ч* и *щ*

⁹ В отдельных случаях такое воздействие можно видеть, однако, в написаниях *и* вместо *ы*: *сирости* (1: 35), *сирим* (Д. мн. 1: 150) наряду с *сырость* (1: 37), ср. также *покрывающий* (1: 36).

описываются через звуки других европейских языков: *ч* по аналогии с *tsch* в немецком (как *deutsch*) и с *cz* (как *czas*) в польском, *щ* — с помощью немецкого (букво)сочетания *schtsch* и польского *szcz*¹⁰:

Ч. ist so viel als das Teutsche tsch. Polnische: *cz*. Frantzösische *tch*, als: Чась Tschaß, *czas*, *tchaç*, die Stunde. члень Tschlen, *czlen*, *tchlen* das Glied. вѣчный, wjetschniÿ, *wiecznyi*. — ewig. (...)

Щ. wie das Teutsche schtsch, Pol. *szcz*, Frantz: *chtch* als: щастіе Schtschastie, *Szczastie chtchastie* das Glück. всемогушій, wsemoguschtschiÿ, *wsemoguschtschiy*, *wçemouguchtchi*, der allmächtige [Compendium 1731: 148].

И в польском, и в немецком данные звуки произносятся, в терминах русской фонетики, как немягкие, перед задними гласными скорее твердо, перед передними — скорее полумягко. Кроме аналогии с немецкими и польскими звуками (которая может оказаться и весьма приблизительной), важно учесть систему обозначения мягкости в «Компендиуме», которая также указывает на то, что шипящие отличаются в этом отношении от парных мягких. Мягкость согласных как на конце слова, так и в позиции перед передними гласными обозначается в «Компендиуме» знаком *j*. *Ш*, например, снабжается таким знаком только в позиции перед **ѣ**. Так, например, транскрипция «шесть, *szestj*, *schestj*, *chestj*, *sechs*» отчетливо противопоставлена транскрипции «шѣсть, *szest schjest*. die Stange» [Ibid.: 149—150]¹¹ (отмечу, что примеров с меной [o] / [e] под ударением после шипящих в грамматике нет, так как в ней вообще отсутствуют сведения о возможности такой мены и, соответственно, [o]-вариантов; очевидно, они воспринимаются составителями грамматики как ненормативные). Итак, в «Компендиуме» *ч* и *щ* предстают как, соответственно, немецкие / польские [č] ([ч] или [ч·]) и [šč] ([шч] или [ш·ч·]).

2. В. К. Третьяковский, «Разговор об орфографии» (1748). В своем учебном диалоге «Разговоръ между чужестраннымъ челоѡкомъ і россійскимъ объ орфографіи старинной і новой і о всемъ что прінадлежитъ к сей матеріи» В. К. Третьяковский, называя звуковые соответствия буквам русской азбуки, для шипящих указывает следующие значения: *жс* — «jou по французскому выговору», *ч* — «cza по польскому, а нѣмецкому tscha», *ш* — «shou по французскому» [Третьяковский 1849: 269]. Буквы *щ* в списке нет, потому что Третьяковский считал *щ* равнозначным сочетанию *шч* и потому избыточным в русской азбуке:

¹⁰ Французские параллели, добавленные позднее, менее показательны в фонетическом отношении. Транскрипцией *щ* с помощью немецкого *schtsch*, как указано в комментарии к «Компендиуму», прежде уже пользовались Лудольф (1696) и Й. В. Паус (1710—1720-е годы). Обе грамматики служили источниками при составлении «Компендиума» [Compendium 1731: 57—58].

¹¹ Ср. данную пару также в списке слов, которые из-за сходства в произношении легко спутать [Compendium 1731: 159].

Не надлежить Ей быть у насъ въ Алфавитѣ, ддятого что (шч) пороэнь, всю Ея должность отправляють ісправно [Там же: 136]¹².

Первоначально, полагает Трѣдиаковский, *шч* произносилось в церковно-славянскомъ языкѣ как [шт], как его и произносят по-прежнему «иллирические славяне». У русскихъ же утвердилось произношение этой буквы как [шч]. Источникъ такого развития Трѣдиаковский склоненъ видеть в югозападнорусской (малорусской) традиции:

Чтожь она у Кірілла са (шт); то не токмо самоЕ связаніЕ Ея фігуры показываЕтъ, но і всѣхъ ілліріческихъ славянъ проісношеніЕ, коімъ она дана Кірілломи: ібо всѣ оні тѣ слова проісносятъ чрезъ (шт), коі мы выговариваЕмъ чрезъ (шч). Напрімѣръ, мы говорімъ *прічаишчєніЕ*, а оні *прічаишєніЕ*, мы *благовѣишчєніЕ*, а оні *благовѣишєніЕ*, равнымъ образомъ і всѣ прочія, такъ что я не знаю, отъ кого мы сперва научілись проісносіть Ея са (шч), развѣ токмо отъ малороссіанъ [Там же]¹³.

Произношение *шч*, рекомендуемое Трѣдиаковскимъ в качестве «общего употребленія» «знающихъ» людей (см. [Там же: 214]), совпадаетъ, такимъ образомъ, с малорусскимъ, в которомъ *шч* произносится твердо.

Существенно, наконецъ, замечаніе автора «Разговора об орфографіи» о томъ, что «Буквы (ж) (ч) (ш) великоЕ імѣють сопротивленіЕ соЕдінятся съ двугласными, также і съ знакомъ отонченія (ь)». Примеры приводятся такіе:

жалость, а не *жялость*.
часть, а не *чясть*.
шатерьъ, а не *шятеръ*.
жестокъ, а не *жѣстокъ*.
челюсті, а не *чѣлюсті*.
шесть, а не *шѣсть*.
вешчъ, говорітся а не *вешчь*.
чудо, а не *чюдо*.

Передъ нами ясное свидѣтельство немягкого произношенія шипящихъ, в частности *ч* и *шч*. Такое произношеніе авторъ называетъ далее причиною того, что при менѣ [е] / [о] послѣ шипящихъ слышится не *іо*, а *о*, то есть шипящіе произносятся безъ смягченія:

Сія Есть прічина, что по букввахъ сіехъ слѣдующеЕ (е) ударяЕмоЕ, которому было по большоу часті надлежало премѣнятися в (іо), обрашчаЕтся по большоу же часті въ (о); какъ: *пріжогъ* вмѣсто *пріжѣгъ*, *начоль* вмѣсто *начѣль*, *ушоль* вмѣсто *ушѣль*.

¹² Сам Трѣдиаковский пользуется вмѣсто *шч* сочетаніемъ *шч*.

¹³ Комментарій М. В. Панова: «Это существенно: в украинскомъ языкѣ русскому *шч* соответствует [шч] (например, *священній* = [с'в'ашчѣн:ий]). Видно, Трѣдиаковский имѣлъ в виду именно произношеніе [ш'ч']» [Панов 1990: 365]. М. В. Панов исходилъ, очевидно, изъ того, что такое произношеніе *шч* было гибриднымъ: аффрикація — перенятая, а мягкость — своя.

Итак, у Третьяковского *ч* соответствует польскому или немецкому [č] ([ч] или [ч·]), а *щ* предстает как [шч] или [ш·ч·].

3. М. В. Ломоносов, «Российская грамматика» (1757). Как и Третьяковский, М. В. Ломоносов относит *щ* к числу лишних букв русской азбуки, потому что эта буква, по его мнению, синонимична сочетанию *шч* (или *сч*). Сходно у обоих авторов и сопоставление русского и инославянского произношения *щ*:

Щ составлена изъ Ш и Ч, не болше права имѣть быть въ азбукѣ, какъ Ѣ и Ѥ, и въ употребленіи развѣ для того оставить, что въ нѣкоторыхъ Россійскихъ провинціяхъ какъ ШШ, въ Сербіи и у другихъ Славенскихъ народовъ, которые Славенороссійскіе буквы употребляютъ, какъ ШТ произносятся [Ломоносов 1982: 42—43].

Комментарий М. В. Панова: «Видно, что для него щ = [ш'ч'], иначе он не стал бы противопоставлять это сочетание „монофтонгу“ [ш]. Вероятно, в Петербурге уже складывалось произношение щ как [ш'ч'], а московское произношение ⟨...⟩ Ломоносову не было хорошо известно» [Панов 1990: 364]. Мягкость [шч] из противопоставления его звуку [ш:] едва ли следует. Под произношением *щ* как ШШ «в некоторых российских провинциях» Ломоносов мог иметь в виду не искаженное московское [ш':], а твердое произношение *щ* как [ш:] (щука [ш:ука]), известное в средневеликорусских говорах наряду с [ш':] «московского» типа [Дурново 2000: 86]. Ясного ответа на вопрос о качестве произношения *щ* «Российская грамматика» не дает: щ = [шч] (?).

Для разговора о «полу-ё» любопытен, однако, тот факт, что в поэтическом языке Ломоносова и его последователей (по Панову, в лиловой системе, ориентированной на церковнославянские нормы) сочетания *t'ó* и *šó* имеют различный стилистический статус. По наблюдениям Б. В. Томашевского над рифмами Ломоносова и других поэтов XVIII в., в высоких жанрах в позиции мены [o] / [e] под ударением [o]-варианты чаще встречаются после шипящих и *щ*, чем после парных мягких [Томашевский 1959: 86; Панов 1990: 292, 328, 402]. Объяснения этому факту пока нет. Очевидно, однако, что шипящие в этой позиции воспринимались иначе, чем парные мягкие. Возможно, причиной было именно немягкое произношение шипящих.

«Как будто ясно, — резюмирует М. В. Панов, — в той речи, которую наблюдали Третьяковский и Ломоносов и которой они сами владели, буква *щ* передавала [ш'ч'] (мягкость этого сочетания не отмечена наблюдателями, но в связи с последующей его историей в литературном языке не вызывает сомнений)» [Панов 1990: 365; разрядка моя. — М. В.]. Итак, щ = шч? Несомненно. Буква щ = [ш'ч']? Вряд ли. Данных о мягкости этого сочетания нет; немецкие и польские параллели (в «Компендиуме» и у Третьяковского) говорят за твердое или полумягкое произношение *ч* и *щ*. Что касается после-

дующей истории *щ*, то в ней можно найти аргументы и в пользу немягкого произношения (см. ниже). Итак, в первой половине XVIII в. *щ* = [шч] или [ш·ч·]. С учетом этой поправки с выводами М. В. Панова следует согласиться. Суть их сводится к следующему.

Престиж произношения *щ* и *ч*, описанного у Ломоносова и Третьяковского, был основан на традиции церковного произношения. Вкусы и привычки эпохи в этой сфере (прежде всего через богослужение и гомилетуку) во многом определяли духовные деятели украинского происхождения. Однако такое произношение не было ни специфически церковнославянской, ни специфически украинской приметой. Одновременно оно существовало в тогдашнем разговорном языке Петербурга. Важным достоинством произношения *щ* как [шч] был, таким образом, его нейтральный характер (по Панову, это было «сочетание, пригодное для всех» [Там же: 323]).

4. А. А. Барсов, «Российская грамматика» (1783—1788). Как показал Б. А. Успенский, А. А. Барсов был связующим звеном между двумя периодами кодификации русского языка: эпохой 1730—1750-х годов, с одной стороны, и эпохой рубежа XVIII—XIX веков — с другой [Барсов 1981: 3—30, в особенности 8—20; Успенский 1997: 628—656, в особенности 631—637]. В то же время описанный у Барсова узус — это узус авторов «Русской хрестоматии» Рклицкого. М. Н. Муравьев и Н. М. Карамзин, произведения которых занимают в «Хрестоматии» видное место, были почитателями Барсова. К Барсову восходит и высказывание Карамзина о правилах языка, которое Рклицкий взял эпиграфом к своей «Хрестоматии»: «Самыя правила языка не изобреѣтаются, а въ немъ уже существуютъ: надобно только открыть или показать оныя» (илл. 1)¹⁴. Для темы настоящей работы «Российская грамматика» Барсова тем более ценна, что она сообщает исключительно подробные сведения об употреблении [о] / [е] под ударением и о произношении согласного перед ними.

В отличие от академического «Компендиума», где все буквы русского языка транскрибируются средствами трех выбранных для этой цели европейских языков (немецкого, польского и французского), у Барсова, как и у Третьяковского, каждой букве подыскивается ближайшее фонетическое соответствие из разных языков. Значение шипящих (и только их) Барсов описывает с помощью немецких соответствий: *ц* — *z*, *ч* — *tsch*, *ш* — *sch*, *щ* — *schtsch*. Такая избирательность автора заставляет видеть здесь парал-

¹⁴ Цитата из речи Карамзина в собрании Российской Академии 5 декабря 1818 года. По рассказу Карамзина, «великой муж русской грамматики» А. А. Барсов говорил: «Мой друг! Нам дают правила; но всякое из них рождает исключения. Я могу вытвердить их наизусть и беспрестанно ошибаться: следственно, правила неосновательны... Не будем клеветать на язык: он имеет верные законы; но мы только еще не открыли их» (Н. М. Карамзин. Великий муж русской грамматики; цит. по [Панов 1990: 317]).

лель, более надежную, чем у Лудольфа или у авторов «Компендиума» (см. выше). В немецком языке, где твердость / мягкость не фонологична, фонемы ⟨č⟩ и ⟨š⟩ реализуются средними по твердости / мягкости звуками, которые в зависимости от положения в слове могут перемещаться в ту или иную сторону по шкале мягкости / твердости — от полутвердого перед [a:] (*schar*) до полумягкого перед [i:] (*schieren*). Из *ш* и *ч*, соответствующих немецким [š] и [č], складывается у Барсова транскрипция буквы *щ* (сочетание *schsch* [šč] для немецкой фонетики искусственно). Именно поэтому он называет ее «связною буквою» и, вслед за Третьяковым и Ломоносовым, считает излишней в азбуке¹⁵.

Напротив, недостает в русской азбуке, по мнению Барсова, «начертания для того гóлоса, которымъ мы въ общихъ разговорахъ букву *е* иногда выговариваемъ, а именно на пр. въ словахъ *медь*, // *ледь*, *верёвкинь*, и въ бесчисленныхъ другихъ; т. е. какъ т о н к о е *о* [разрядка моя. — М. Б.]¹⁶; который выговоръ хотя нѣсколько низкимъ почитается, однако жъ во многихъ случаяхъ безъ него обойтись не можно: почему оный и изображается иногда, не только на письмѣ, но и въ печати соединенными буквами *і* и *о* или бук(в)ами жъ *ь* и *о* какъ слѣдуетъ: *міодь*, *ліодь*, *верьóвкинь*. и проч.» [Барсов 1981: 45, 55—57]¹⁷.

Рассказывая об употреблении [o] / [e] под ударением, автор «Российской грамматики» называет разряды слов, в которых «Е подъ удареніемъ, въ просторѣчїи, ⟨...⟩ перемѣняется на *іо*» [Там же: 45, 55—57]¹⁸. Характерно, что среди примеров здесь фигурируют только слова с парными мягкими перед ударенным [o] и нет ни одного примера с шипящими. Объяснение этому находим в специальной комментарии Барсова:

Какъ послѣ сугубствующихъ согласныхъ, т. е. послѣ *ж*, *ч*, *ш*, *щ*, и з о - ш р е н н а я *іо* не разствуееть голосомъ отъ простой гласной *о*

¹⁵ «Излишнимъ почитать должно и *щ* поелику оное не одинъ простой голось челоуѣческой изображаетъ, но два вдругъ а именно *ш* и *ч*, по чему и называется *связною* буквою» [Барсов 1981: 43].

¹⁶ Термин «тонкое *о*» использовал ранее Ломоносов, ср.: «Выговариваютъ Е, какъ тонкое О. Сіе бываетъ, когда какая самогласная буква перемѣнится чрезъ склоненіе или спряженіе на Е съ удареніемъ» [Ломоносов 1982: 46].

¹⁷ По данным Б. А. Успенского, наиболее ранние примеры употребления буквы *іо* обнаруживаются у В. Е. Адоурова в его грамматике 1738—1740 гг. [Успенский 1997: 589].

¹⁸ Барсов смотрит на мену [o] / [э] как на необходимость и, хотя и отмечает «просторечный» характер этой мены, обходится с ней, по выражению М. В. Панова, «мирно, таровато, без скандала» [Панов 1990: 318]. Одним из предшественников Барсова в этом отношении был московский поэт А. А. Ржевский, который в 1760-е годы отстаивал (как черту, в частности, московского произношения) эстетическое достоинство «превращения» *е* в *іо*, полагая, что оно, «нимало не повреждая силы и важности слов российских, делает их нежными и приятными» [Бобрин 1993: 46].

[разрядка моя. — М. Б.]; то сія послѣдняя вмѣсто ея и пріемлется во всеѣхъ показанныхъ предъ симъ переменнахъ ёстя на *іо*, на пр. *жёлтой, жёлтъ, чёрствой, чёрствъ, (шелкъ) шелковой, шѣрохъ, щѣлокъ, ужѣ, хорошѣ, ножемъ, колачемъ, барышѣмъ, плаще^м, жжѣтъ, сожжѣтъ, чѣль, счель, прочѣль, чѣсанъ, шѣль, пришѣль, произошѣль, щелчѣкъ*, выговаривается и въ потребномъ случаѣ пишется, *жёлтой, жёлтъ, ужѣ, придѣ, жохъ, шолкъ*, и проч. *шоль, пришоль, произошоль* [Там же: 56].

Итак, «тонкое *о*», или «изошренная *іо*», произносится после парных мягких согласных, в то время как после шипящих произносится «простой гласной *о*». «Простой» значит здесь ‘не сопряженный с мягкостью предшествующего согласного’. Для этой позиции вводить специальную букву Барсов не видит необходимости: [о] = *о*. Иначе, как мы видели, он смотрел на «тонкое *о*» после мягких, для которого, по его словам, в русской азбуке эквивалента нет. Радикальный выход из этого неравновесия предложит Карамзин, а именно *ѣ* для обеих позиций¹⁹. Другая возможность — в учебных целях — будет реализована в «Хрестоматии» Рклицкого: после мягких — *ѣ*, после шипящих — *ѣ*.

В 1-й половине XIX века (по Панову, в эпоху голубой системы), к которой относится «Хрестоматия» Рклицкого, нормы произношения еще чрезвычайно подвижны, хотя процесс осознания и укрепления «нормативности литературной речи уже начался» [Панов 1990: 246]. Указания на авторитетную для тогдашнего языкового сознания традицию можно искать, в частности, в учебниках для иностранцев. Авторы этого рода пособий были вынуждены выбрать из произносительной разноголосицы одну определенную систему в качестве основы преподавания. Такая задача стояла и перед В. Рклицким. Любопытно сравнить его решения с произносительными рекомендациями современных ему пособий для иностранцев.

5. А. В. Таппе. «Neue theoretisch-praktische Russische Sprachlehre für Deutsche» (1810). Одним из таких пособий был учебник русского языка для немцев, составленный преподавателем немецкой школы святого Петра в Петербурге Дитрихом Августом Вильгельмом Таппе (1778—1830). Учебник впервые вышел в свет в 1810 году и до 1823 года выдержал шесть изданий. Его полное название: «Neue theoretisch-praktische Russische Sprachlehre für Deutsche mit Beispielen, als Aufgaben zum Übersetzen aus dem

¹⁹ Говоря о влиянии «щегольского наречия» в качестве особой разговорной традиции на современный русский литературный язык, Б. А. Успенский, в частности, отмечает, что «к фонетическим признакам „щегольского наречия“, которые получают в дальнейшем более или менее широкое распространение, относятся грассирование и манерное шепелявенье» [Успенский 1985: 47, 54]. Шепелявое произношение могла в какой-то мере отражать и идущая от Карамзина практика написаний с *ѣ* не только после парных мягких, но и после шипящих.

Deutschen in das Russische, und aus dem Russischen in das Deutsche, nach den Hauptlehren der Grammatik, nebst einem Abrisse der Geschichte Rußlands bis auf die neuesten Zeiten». В моем распоряжении находилось второе, дополненное издание 1812 г. Автор учебника был протестантским священником, получившим в Геттингене блестящее образование теолога и философа [РБС 1962: 20, 291—292]. Во время девятилетнего пребывания в России Таппе служил преподавателем нравственности, истории и антропологии в школе св. Петра, занимался переводами, издал несколько учебных книг, в частности русскую хрестоматию и книгу для чтения из «Истории» Карамзина с языковыми комментариями²⁰.

Произношение шипящих, которое берет за основу Таппе, не противоречит тому, что мы знаем об этих звуках из источников предшествующего периода. О мягкости произношения *ч* и *щ* речи нет и здесь. В то же время, благодаря более аккуратной транскрипции, можно уверенно заключить о произношении их без мягкости.

Мягкость согласных последовательно отмечается в учебнике Таппе с помощью букв *j*, *ä*, *ö*, *ü* или знака «апостроф» ('). Шипящие в транскрипциях не снабжаются ни одним из названных знаков мягкости.

Отметив различия в напряженности («резкости»²¹) [ч] в зависимости от положения в слове, Таппе приводит несколько примеров, из которых явствует, что речь идет о немягком согласном (автор уподобляет его английскому и испанскому *ch*, а также итальянскому *c* в сочетаниях с передними гласными):

Sehr scharf tönt ч im Anfange, weniger scharf am Ende, z. B. чай (tschai) der Thee; часъ (tschaß), die Stunde; дочь (dotsch), die Tochter; ночь (notsch), die Nacht [Tappe 1812: 12].

Что же касается произношения *щ* как [шч] — «наисложнейшего и самого сильного из всех шипящих»²², то наиболее трудным автор считает позиции начала и конца слова:

²⁰ Хрестоматия служила второй частью названного учебника русского языка и называлась «Neues russisches Elementarlesebuch für Deutsche, enthaltend Sentenzen und Maximen, Fabeln, Anekdoten, eine geographisch-statistische Uebersicht Russlands, eine Komödie im Auszuge und Bruchstücke aus Karamzins Schriften». Третью часть составляла книга для чтения по истории России, в которую вошли тексты из «Истории» Карамзина: «Сокращение Россійской Исторіи, Н. М. Карамзина, въ пользу юношества, съ знаками ударенія, истолкованіемъ труднѣйшихъ словъ и рѣченій, на Нѣмец(комъ) и Француз(скомъ) языкахъ, и ссылками на грамматическія правила», в двух частях (Санктпетербург 1819; 1824).

²¹ В немецкой фонетической традиции термин *резкий* (*scharf*) обычно относят к глухим согласным.

²² Чрезвычайно трудным для иностранцев звук [шч] считали и предшественники Таппе Й. Паус и В. Е. Адодуров.

Der zusammengesetzteste und stärkste unter allen Zischlauten, nämlich ein шч, oder schtsch. Am schwersten ist er zu Anfange und am Ende auszusprechen, z. B. шáctie (schtschasstije), das Glueck; лещь (leschtsch), der Brachsen.

Чтобы облегчить задачу учащихся, Таппе советует им в трудных случаях срединного положения *шч* в слове произносить его отдельно, что еще более подчеркивает составной характер звука, и приводит примеры такого скандирующего произношения:

Da wo sich dieser Laut in der Mitte eines Wortes befindet, muß man ihn zu theilen suchen, z. B. ищи́ (isch-tschi), suche; защища́ю (sasch-tschisch-tscha-ju), ich vertheidige [Ibid.: 13].

Таппе отмечает различие в произношении ударенного [o] после парных мягких, с одной стороны, и после шипящих и *ц*, с другой стороны. В комментарии к употреблению буквы *e* автор указывает, что после шипящих она произносится как [o], в то время как после мягких согласных — как [ö]:

Als ö²³ lautet es: a) wenn es den Ton hat, und vor einem Consonanten steht, nach welchem ein hartes a, o, y, ы, oder ь folgt, z. B. берёза 4²⁴, бочёнок 5, дёрну 6, варёный 7, лёвь 8. b) Vor г, к, х, ж, ч, ш, z. B. застёгиваю 9, далёки 10, отпёхиваю 11, ёжь 3, кулёчикъ 12, дешёво 13. (...) Als o tönt es in den obigen Fällen (...) nach den Buchstaben ж, ц, ч[,] ш, щ, z. B. жёлтый 14, лицёмъ 15, чёртъ 16, шёлъ 17, щётка 18 [Ibid.: 8].

Отдельно Таппе приводит для названных примеров транскрипцию и перевод на немецкий:

4) berö'sa, die Birke; 5) botschö'nok, das Faeschen; 6) dö'rmu, ich werde zupfen; 7) warö'nui, gekocht; 8) ljöw, der Loewe; 9) sasstö'giwaju, ich knoepfe zu; 10) dalö'ki, weit. 11) отпö'chiwaju, ich stoße weg. 12) kulö'tschik, das Saekchen. 13) djö'schewo, wohlfeil. 14) schóltui, gelb. 15) lizóm, mit dem Gesichte. 16) tschort, der Schwarze, der Teufel. 17) schól, ging. 18) schtschótka, die Buerste [Ibid.: 9].

Традицию использования в обоих случаях буквы *ë* Таппе связывает с Карамзиным и его последователями. Следует ей и сам автор как в учебнике, так и в сопровождающей его хрестоматии, замечает, однако, что произношение в данной позиции варьирует в различных регионах России:

Herr von Karamzin, und andere, pflegen jetzt in beiden Fällen, wenn e als oe oder o gelesen werden soll, über das e immer ein Trema (oder zwei Punkte) zu setzen (ë), welches auch in dieser Sprachlehre und dem damit verbundenen Lesebuche überall geschehen ist. Die Aussprache als ö und o ist indeß in den verschiedenen Gegenden Rußlands selbst verschieden [Ibid.: 8].

²³ В издании умлаут передается соответствующей буквой с почти замкнутой дужкой над ней. Исторически такие написания служили промежуточным вариантом между диграфом (*ae, oe, ue*) и принятыми ныне написаниями (*ä, ö, ü*), которые используются при цитировании книги Таппе и в данной работе.

²⁴ Цифры обозначают нумерацию примеров.

Итак, в той традиции произношения, которую Таппе берет за основу, шипящие произносятся твердо или (если доверять немецким аналогиям) полумягко, следовательно, реализации ⟨o⟩ под ударением после парных мягких и после шипящих оказываются различными. На это различие указывал, как мы помним, Барсов. Принципиальную роль играет оно и в пособиях Рклицкого, который находит для различения двух позиций графическую форму: *ě* после парных мягких, *é* — после шипящих и *ц*. Единство Таппе и Рклицкого в интерпретации шипящих убеждает в том, что в «Хрестоматии» и в «Начальных основаниях» дело не в украинско-церковнославянском фоне составителя. Такая фонетика шипящих отражает, по всей видимости, авторитетную произносительную норму. Совпадение ее с нормой в пособии Таппе, с одной стороны, и с данными грамматик XVIII в. петербургского происхождения — с другой, позволяют утверждать, что в Петербурге эта норма имела определенную традицию²⁵.

Подтверждение этим выводам находим в более поздних свидетельствах о петербургском произношении, относящихся к середине XIX — началу XX века (по Панову, область зеленой и желтой систем). К этому времени «локальные разновидности литературной речи» (прежде всего петербургская и московская) вполне сформировались [Панов 1990: 154]²⁶. Одной из различительных черт этих разновидностей было произношение шипящих. Ясность картины, выстроенной М. В. Пановым (в Москве — [ш':], в Петербурге — [ш'ч']), нарушается, однако, свидетельствами о твердом и полумягком произношении шипящих в речи определенной части петербургской интеллигенции конца XIX века.

6. Р. Ф. Брандт, «Лекции по истории русского языка» (1913). Важным информантом здесь является профессиональный лингвист Р. Ф. Брандт, пе-

²⁵ Петербургской произносительной традицией объясняется, возможно, также отражение в «Хрестоматии» твердого (или полумягкого) произношения конечных губных (ср., например, *семь* 1: 160). Говорить о петербургской норме в эту эпоху не приходится. По крайней мере, нет данных о том, что она осознавалась современниками как противопоставленная какой-либо иной норме в России. Не знаем мы и того, насколько отчетлива была «изоглосса» *ц* [шч]. Непоследовательна в этом смысле позиция М. В. Панова в его речевых портретах эпохи. Так, он убежден, что А. С. Пушкин был носителем произношения *ц* [ш':], потому что он был родом из Москвы; рифма *ищу* — *хочу* у Пушкина «не повод для сомнений». У И. И. Дмитриева рифмы *сыщу* — *полечу*, *ищу* — *получу* оказываются, напротив, «красноречивы» как примета петербургского произношения, которое как будто уже вполне оформилось, в то время как для более поздней голубой системы автор в этом не уверен [Панов 1990: 269, 277, 311].

²⁶ Отсутствие единой общеобязательной нормы наглядно проявляется, например, в том, что рядом с цитируемым ниже рассуждением петербуржца Брандта существует взгляд москвича А. И. Соболевского, для которого (в его «Очерках из истории русского языка») «великорусское литературное» — это произношение *ишишо*, *ешишэ*, то есть с [ш':] [Соболевский 2004: 110].

тербуржец по своим произносительным навыкам. Он отмечает такое существенное свойство современного ему произношения, как наличие у шипящих ряда аллофонов, различающихся по степени твердости / мягкости. В «Лекциях по истории русского языка» (1913) Брандт пишет:

Наши шипящїе звуки въ древности, какъ предполагають, были мягки, но успѣли, болѣе-менѣе, отвердѣть, и теперь ч иногда звучитъ мягко, а иногда довольно твердо. *Щ* тоже звучитъ то мягко, то довольно твердо, напр(имер), въ словѣ пощада. (...) Сказанное про ч и щ еще больше относится къ другимъ шипящимъ звукамъ — ж и ш, которые въ русскомъ языкѣ рѣшительно отвердѣли [Брандт 2005: 19].

Нарушение этой исторической тенденции к отвердению шипящих Брандт видит в двух позициях — перед *e* и перед *и*. В этих позициях, пишет Брандт, шипящие реализуются звуками, средними по твердости / мягкости:

Какъ исключеніе изъ общаго закона мы имѣемъ звукъ *e* безъ предшествующей мягкости послѣ шипящихъ ж, ш и послѣ согласнаго дифтонга *тс* (= *ц*). Эти звуки перед *e* бывають средними — ни мягкими, ни твердыми, напр(имер), ж'ес'т', ш'ес'т', т'с'ел', т'ш'ес'т' [Там же: 23].

Слово *щедрый* Брандт записывает, например, так: шт'шăдръй [Там же: 36]. В артикуляционном отношении описанная у Брандта ситуация схожа с немецкой (ср. произношение шипящих перед [e] в словах *Schêre*, *Zêcke*, *Tschêche*), так что без большой натяжки можно сказать, что транскрипция *ш'ес'т'* у Брандта равноценна транскрипции *schestj* в академическом «Компендиуме» 1731 г. (ср. выше).

В отношении позиции перед *и* Брандт не соглашался с радикальным суждением Г. П. Павского, который сообщал (в работе «Филологические наблюдения над составом русского языка. Первое рассуждение: О буквах и слогах». СПб., 1850), что [ы] произносился не только в сочетаниях *жи*, *ши*, но и в сочетаниях *чи*, *ци*. Брандт считал, что «Павский преувеличивал», и различал по степени мягкости *ж* и *ш*, с одной стороны (они «тверды»), и *ч* и *ц*, с другой стороны (они «довольно тверды») [Там же: 32]. Так, в *пожить* произносилось, по Брандту, «не чистые (т. е. широкие) ы, но с оттенком и» — «ы узкие», или [ы^и]; в то время как в *почить* слышалось «не узкое и, но с оттенком ы» — «и широкое», или [и^ш]. В пользу Брандта следует, очевидно, интерпретировать и транскрипции сочетаний шипящих с *и* у Таппе, который не обозначает мягкости шипящего, но и не использует после него знак для [ы] (η). Говоря о полумягком произношении *ш*, *ж* в сочетаниях *ши*, *жи*, Брандт «описывает явление, уже явно распространенное и имеющее традицию» [Панов 1990: 183—184]. Черта эта есть в произношении Л. Н. Толстого, ее отчетливо слышно в записях А. Ахматовой и К. И. Чуковского.

В речевом портрете Р. Ф. Брандта М. В. Панов приходит в недоумение перед прихотливой картиной твердости / мягкости шипящих в речи своего героя: «Ясно, что с мягкостью-твердостью шипящих у них [петербуржцев. — М. Б.] были сложные отношения» [Там же: 184].

7. А. Пальме, «Спутник по России. Sprachführer für Deutsche in Russland» (1895). Для современника Брандта Антона Пальме, составившего в середине 1890-х годов русский разговорник для немцев, положение вещей в петербургском произношении и есть норма. Пособие А. Пальме хорошо вписывается в традицию обсуждавшихся выше документов петербургской нормы. Здесь находим и сведения о твердом (или полумягком) произношении шипящих, в частности перед ё, и о полумягком их произношении перед и²⁷.

Само название разговорника — книжки карманного формата, изданной в 1895 г. в Берлине, — говорит о том, что перед нами «практическое руководство по русскому разговорному языку с подробными сведениями о произношении»: «Спутникъ по Россіи. Sprachführer für Deutsche in Russland. Praktisches Handbuch der russischen Umgangssprache mit eingehender Berücksichtigung der Aussprache von Anton Palme, früh(rem) Lehrer des Russischen am Seminar für orientalische Sprachen an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin». В работе над своим пособием Пальме — бывший преподаватель русского языка на отделении восточных языков Берлинского университета — пользовался консультациями носителя языка, своего русского друга К. И. Ильина, которого автор благодарит в предисловии.

В своих транскрипциях Пальме стремится по возможности точно передать специфику русского произношения, в частности такую его трудную для немца черту, как мягкость согласных. Автор разговорника последовательно обозначает (как *i*-окраску) мягкость парных согласных и ассимилятивное смягчение согласных, например: *спички* — β^i pitʃki, *чистить* — tsch η β^i titⁱ, *перчатка* — pⁱerⁱtschatka, *часть* — tscha β^i tⁱ, *свѣча* — β^i wietscha [Palme 1895: 5, 6, 8, 11, 15]. Тщательность автора в обозначении мягких оттеняет характеристику шипящих как немягких звуков. В отличие от парных мягких, шипящие в разговорнике не снабжаются знаком мягкости. В позиции перед ударным [o] (ё) это различие проявляется очень наглядно: *кошелёкъ* — kaschelⁱok, *ковёръ* — kawⁱor, *трѣх-* — trⁱoch-, *днёмъ* — dnⁱom, но *щётка* — schtschotka, *мощёная* — maschtschonaja, *учётъ* — utshot, *по счёту* — pa schtschotu [Ibid.: 4, 15, 19, 21, 6, 10, 26, 14]²⁸. В фонетическом очерке, составляющем приложение к учебным диалогам, Пальме специально предостерегает против мягкого произношения шипящих перед «мягкими» *e* и *ё*:

²⁷ В позиции перед *и* шипящие *ш* и *ж*, как, в полном согласии с Брандтом, свидетельствует А. Пальме, произносились полумягко, а буква *и* произносилась как [и^н]: «Das **и** verliert nicht nur seine Weichheit, sondern wird auch dumpfer, dem *ы* (<...> sich nähernd, (ähnlich wie in Wind, Gewitter) ausgesprochen; wir bezeichnen diese Aussprache mit η , also жи = sh η (nicht shⁱ), ши = sch. (nicht schⁱ)» [Palme 1895: 173]. Иллюстрации: училище — utsch η lischtsche, стаканчикъ — β takantsch η k, для женщинъ — shentsch η n [Ibid.: 12, 17, 3 и т. п.].

²⁸ Ср. на конце слова: четверть — tschetwⁱertⁱ, но куличъ — kulⁱitsch, ночь — notsch, плащъ — plaschtsch [Ibid.: 20, 25, 21, 8].

Nach den Zischlauten und nach **ц** werden die weichen Vokale hart gesprochen, also же = she (nicht shie), ше = sche (nicht schie), чѣ = tscho (nicht zschio) [Ibid.: 172]²⁹.

Такое же предостережение стоит, по сути, и за практикой различения *ѣ* и «полу-ѣ» в учебных пособиях В. Рклицкого.

Пальме не характеризует произношение, которое он рекомендует, как «петербургское» или как присущее какому-либо иному региону России. Для Пальме это вообще русское произношение. Таким образом, петербургская норма воспринимается на рубеже XIX—XX вв. как престижная и способная представлять русское произношение в иностранной аудитории. Точно так же дело обстоит, очевидно, и в 1-й половине XIX в.: на примере произношения шипящих мы наблюдали, что именно петербургская традиция произношения, восходящая к нормам XVIII в., ложится в основу орфоэпических рекомендаций Таппе в 1810-е и Рклицкого — в 1830-е годы³⁰.

Столь устойчивая преемственность обеспечивалась, думается, несколькими факторами. Твердое (или полумягкое) произношение *ч* и *щ* обладало важнейшим достоинством: оно было присуще нескольким идиомам, участвующим в процессе нормообразования, и, следовательно, было нейтральным. В консолидации таких нейтральных элементов и состоял магистральный путь языковой кодификации в эпоху XVIII — 1-й половины XIX в. В Петербурге сложились благоприятные условия для превращения немягкого произношения шипящих в нейтральный, устраивающий всех признак: здесь такое произношение было свойственно не только книжно-литературному языку (в который оно вошло под влиянием церковнославянского произношения в его украинизированной версии, см. выше), но и разговорной речи (складывавшейся с участием севернорусских говоров, для которых характерно, в частности, твердое произношение [ч] и *щ* [шч] [ДАРЯ 1986; Дурново 2000: 80]). Престиж столичного города способствовал закреплению удачного согласия произносительных традиций Петербурга. Все это и обеспечивало, думается, исключительную устойчивость произношения *ч* и *щ* как, соответственно, [ч] и [шч] (или [ч·] и [ш·ч·]) в русской норме.

²⁹ Среди примеров на сочетание шипящего с *e* в разговорнике есть и слова *причащеніе* и *Благовѣщеніе* (вспомним у Третьяковского: «мы говорімъ *причащеніе* <...> *благовѣщеніе*»). Транскрипции Пальме таковы: *pritschaschtschen'je*, *blagow'eschtschen'ie*. Буква *щ* соответствует твердому [шч], ср.: «Щ ist nichts anderes als ein einfaches Zeichen für zwei Laute, nämlich шч» [Ibid.: 176].

³⁰ Очерченная традиция произношения не была ни единственной, ни единой. О вариативных возможностях твердого произношения шипящих можно судить, в частности, по возражениям Брандта Павскому, о которых шла речь выше: в определенных позициях (например, перед *e* или *и*) были возможны различные по степени мягкости реализации согласной фонемы.

II

Природу мены [о] / [е] под ударением в языке эпохи «Русской хрестоматии» М. В. Панов характеризует следующим образом:

Начало XIX в. широко использовало (...) «мутабильные» фонематические единицы. Мутабильная фонема имеет (в одной и той же позиции) два фонетических облика. Так, есть фонематическая мутабильная единица ⟨о / э⟩. В определенных условиях она может быть представлена либо звуком [о], либо звуком [э]. Эти условия: под ударением, после мягкого согласного. Сильный член этой единицы — [о]: если слово допускает форму [гн'от], то допускает и [гн'эт]. Возможна мена [о] на [э] — в описанных условиях. Чем можно руководствоваться в этом выборе? Выбор идет между торжественным, условным, отвлеченным, поэтическим, старинным, библейским, связанным с бытом XVIII в., трагическим, философским, героическим, иносказательным (с одной стороны) — и бытовым, обыденным, конкретным, прозаическим, домашним, будничным, непосредственно-чувственным, шутивным, добродушным, дружеским, бесчувственно-равнодушным, нейтральным (с другой стороны) [Панов 1990: 192—193].

Условия выбора отличали голубую систему от предшествующей синей: во 2-й половине XVIII в. условия диктовал жанр, в то время как в 1-й половине XIX в. оставался «простор для индивидуальной воли, для своей интерпретации стиля, для различий внутри жанра» [Там же: 198, 309—310].

Материал «Хрестоматии» Рклицкого в целом подтверждает выводы М. В. Панова. В прозе отвлеченного характера [е]-вариантами пользуются чаще, чем в описаниях; в восторженном описании водопада — чаще, чем в географическом очерке о Байкале; в высочайшем обращении к вдове Карамзина — чаще, чем в письме к приятелю; в проповедях Леванды [е]-вариантов больше, чем в Словах Филарета и т. п. Иными словами, тексты «Хрестоматии» убеждают в том, что выбор между вариантами определяется стилистическим регистром текста и авторским заданием, причем [е]-варианты являются яркой приметой высокого слога, в то время как их [о]-соответствия нейтральны в стилистическом отношении. Так, например, в Слове митрополита Платона (Левшина) на коронавание Александра I (2: 120—128) неизменно с *ѣ* употребляются такие высокочастотные слова, как *всѣ*, *твоѣ*, *своѣ*, причем написание *твоѣ* сохраняется несмотря на то, что относится в этом тексте к императору, по отношению к которому в том же тексте используется такая книжная (церковнославянская) форма, как *тя* (2: 124)³¹! Нейтральный характер носят в данном тексте и следующие гла-

³¹ В гомилетике «Русская хрестоматия» следует образцам 2-й половины XVIII — начала XIX века. В целом для текстов этого отдела «Хрестоматии», как и для данной проповеди Платона, верна характеристика, относящаяся к языку «Собрания разных поучений на все воскресные и праздничные дни» (1775), изданного

гольные [о]-формы: *принесём ли что либо в дар господу* (2: 121), *твоя кровь течёт по жилам его* (2: 126), в то время как ударное *é* отмечено в церковнославянизмах *возслёмь* (2: 121), *воспоёмь* (2: 126), *вопиёмь* (2: 121), *вопиеть* (2: 122). Причастные формы Платон предпочитает использовать в [е]-варианте: *облечённая*, *обагрённую* (ср. *обагрённый* 2: 105), *ограждённая* (2: 123), *превознесённа* (В. ед. м. 2: 126; ср. *превознесёнъ* 2: 120), *побеждёни* (2: 126).

Оставляя описание механизмов выбора за рамками данной работы, хотелось бы подробнее присмотреться к самому материалу, из которого делается выбор. Мена [о] / [е] затрагивает определенные группы слов, в которых возможны оба типа произношения. До сих пор материал о составе этой сферы «мутабельности» историки языка извлекали главным образом из наблюдений над рифмами, из отдельных примеров в грамматиках и метаязыковых высказываниях современников³². «Хрестоматия» позволяет проводить наблюдение на достаточно большом массиве прозаических текстов с различением *ě / é / é* и дает возможность увидеть, какие группы лексик в какой мере участвуют в выборе между [о]- и [е]-вариантами, какие лексемы обнаруживают «склонность» к одному из вариантов. С учетом всего материала, который можно извлечь из двух томов хрестоматии, картина соотношения [о]- и [е]-вариантов такова (комментарий к таблице помещен после нее):

Платоном (Левшиным) и Гавриилом (Петровым): «Это русский литературный язык середины XVIII в., в который вкраплены церковнославянские цитаты из Св. Писания» [Живов 1996: 399].

³² Основанный на названных источниках очерк употребления ⟨о/э⟩ в эпоху «Хрестоматии» см. [Панов 1990: 196—200]. Некоторые данные «Хрестоматии» заставляют сомневаться в надежности рифм как источника сведений о поведении «мутабельной» фонемы ⟨о/э⟩. До сих пор рифмы типа *живеть — нѣтъ* (у Батюшкова) расценивались как аргумент в пользу произношения [э]. В стихотворных фрагментах внутри прозаических текстов «Хрестоматии» можно видеть, что возможны такие рифмы, как *обѣтъ — зовѣтъ* (2: 112 — также у Батюшкова). Несколько примеров такого рода дает также небольшая хрестоматия в учебнике В. Рклицкого «Начальные основания русского языка». Здесь встретились рифмы *живѣтъ — нѣтъ* (И. Крылов, «Подражание псалму XVII») и *зелѣный — кровѣнный* (И. Дмитриев, «Ручеек»). Неясным остается, в какой мере такое произношение можно приписывать авторам стихов. Любопытен, однако, факт такого произношения в 1830-е годы. Не исключена возможность, что в русском поэтическом языке в эту эпоху *t'ě* (графически *e/ѣ*) может рифмоваться с *t'ó* (графически *e/ѓ* и др.). Иными словами, возможна рифма, подобная обычным для того времени рифмам немецкой поэзии типа *stehn — morgenshön — sehn* (И. В. Гёте, «Heidenröslein»), *gehn — schön* (Й. Эйхендорф, «Sängerfahrt»), *fröhlich — selig* («Neue Liebe») или *trübe — Liebe* (Гёте, «Willkommen und Abschied»), *lieber — über* («Der König von Thule»), когда рифмуются слоги с чистым и с умлянутым гласным.

Таблица 1

Распределение лексики в отношении мены [о] / [е]

[о] (орфографически ё/ё)	[е] (орфографически е)
в окончаниях личных форм глагола в наст. / буд. времени	
<p>берёмся (1: 196, 204), берёт (1: 46, 161, 174), бьётся (2: 100), ведёт (1: 90, 208; 2: 25, 194), взойдёт (2: 46), влечёт (2: 42, 102), влечётся (2: 25), возмёт (1: 161; 2: 45), возрастет (2: 221), возьмём (2: 99), войдёте (1: 63), восстаёт (1: 32), выдаёт (2: 85), грядёт (2: 151 bis, 239), даём (2: 193), даёт (1: 73, 112, 161; 2: 20, 34, 37, 44, 186, 215, 230), дерзнём (2: 17, 188), дерзнёт (2: 136), ждёт (1: 174; 2: 120 bis, 196), живём (2: 21, 33, 198), живёт (1: 11, 43, 46, 69, 165, 187; 2: 75), жнёт (1: 68), займёмся (2: 138), зовёт (2: 112), идём (1: 12), идёт (1: 3, 52, 179; 2: 8, 14, 210), извлечём (1: 78), коснётся (2: 74), льёт (1: 176; 2: 90), (да) назовётся (2: 197), найдём (2: 3, 116, 238), найдёт (1: 180; 2: 20, 24, 89), найдёте (1: 108; 2: 39, 46, 130, 201, 250), найдётся (2: 52), начнём (2: 7, 89), недостаёт (1: 108; 2: 6, 98), обретёт (2: 46), остаётся (1: 12; 2: 13, 17, 23, 67, 83, 166, 227), отдаёт (2: 78), отнесём (2: 199), падёт (2: 36, 202), передаёт (2: 78), перейдёт (2: 107, 113), перенесёмся (2: 221), перестаем (2: 117), перестает (1: 100; 2: 65, 88), плывёт (1: 176), подаёт (2: 28), подойдёт (1: 80), поёт (1: 121, 133), познаёт (2: 162), ползёт (1: 60), превзойдём (2: 148), перевознесём (2: 240), предаёт (1: 91), предаётся (1: 93; 2: 75, 160, 176), предостережём (2: 195), предстаёт (1: 93), не преминёт (2: 53), престаёт (1: 183), придаёт (2: 84), придёт (1: 96 bis), признаёмся (2: 22), признаёт (1: 155, 183, 184), принесём (2: 121), принесёт (2: 207, 219), продаёт (1: 13; 2: 85; 143), произведёт (2: 10), прозойдёт (1: 179; 2: 72, 222), прядёт (2: 132), пьёт (2: 20), разведём (1: 101), сверкнёт (1: 175), смеётся (1: 133), соберёт (2: 228), создаёт (1: 177), сознаёт (2: 75), соплетёт (2: 160), спасёт (2: 20), течёт (1: 18, 54), течёт (2: 16, 126, 224), уведёт (1: 96), узнаём (2: 70), узнаёт (1: 72, 81; 2: 59), умрёшь (2: 147 bis), упадёт (2: 4, 15), упрекнёт (2: 174)</p>	<p>блюдём (2: 148), возслём (2: 121), вопиём (2: 125), воспоем (2: 126), грядёшь (2: 127), наречёт (2: 149), (да) начнёт (2: 128), печётся (1: 134)</p>

в окончаниях существительных	
<p><u>И.-В. ед.</u> лицѣ (И. ед. 1: 54, 72, 74), лицѣ (2: 41, 75 bis, 78, 80 и т. д. passim; В. ед. 2: 17, 134, 161, 179, 180), копьѣ (2: 22, 33), ружьѣ (1: 46)</p> <p><u>Тв. ед. м. ср.</u> алтарѣм (1: 4), вождѣм (1: 188; 2: 44, 49), днѣм (нареч. 1: 48), камышѣм (1: 39), ключѣм (2: 68), лицѣм (2: 11, 93, 96), мечѣм (2: 104, 174), образцѣм (2: 47, 115, 117, 237; ср. образцѣм 2: 115), огнѣм (1: 2, 192; 2: 145), отцѣм (2: 4, 185), путѣм (1: 91, 130, 179, 194, 207; 2: 28, 32, 198)</p> <p><u>Тв. ед. ж. м.</u> душѣю (1: 53), душѣю (2: 77, 81, 156 bis, 161, 236), зарѣю (2: 34), землѣю (1: 28, 158, 160; 2: 145), судьѣю (2: 212)</p> <p><u>Р. мн.</u> образцѣв (2: 199), отцѣв (1: 5, 43), отцѣв (2: 44, 161; из Отцѣв Церкви 2: 145), творцѣв (2: 199)</p>	<p><u>И.-В. ед.</u> бытиѣ (2: 4, 70 bis, 72), лицѣ (И. ед. 1: 114; В. ед. 1: 113, 122)</p> <p><u>Тв. ед. м. ср.</u> Донцѣм (1: 176), лицѣм (1: 155; 2: 121, 171, 243), лучѣм (1: 134), мечѣм (1: 134, 141, 191, 192 bis), отцѣм (1: 138; 2: 156)</p> <p><u>Тв. ед. ж. м.</u> душѣю (1: 23, 119 bis), епанчѣю (1: 80), пашѣю (1: 4)</p> <p><u>Р. мн.</u> концѣв (1: 201), купцѣв (1: 160), ловцѣв (1: 59), мудрецѣв (1: 139), отцѣв (2: 119), писцѣв (1: 147)</p>
в окончаниях местоимений	
<p>всѣ (тж. всѣ таки 1: 117), (во) всѣм, еѣ (В. п.), моѣ, моѣм, неѣ, (в, на) нѣм (в Нѣм 1: 152 о Христе), (в) самоѣ себя (2: 90), своѣ (Своѣ 1: 141), своѣм (Своѣм 1: 153 о Христе), твоѣ (passim), чѣм (1: 82), чѣм (2: 139 bis; 141, 156, 158 и т. д. passim)</p> <p>? все (1: 178)</p> <p>? сем (1: 38)</p> <p>? своѣй (1: 80) — опечатка?</p>	<p>сиѣ, (о) сѣм (passim), своѣм (1: 106), твоѣм (1: 125; 2: 245), о Нѣм (1: 139, 140), чьѣ (2: 200)</p>
в окончаниях числительных	
<p>трѣх (1: 60; 2: 19), четырёх (1: 190; 2: 175 bis)</p> <p>? трех (1: 2, 9, 11, 13, 14, 22, 117, 146; 2: 245)</p> <p>? трем (1: 190)</p>	<p>(по) трѣх (днѣх) (2: 157)</p>
в суффиксе -енн- полных страдательных причастий, прилагательных и производных	
<p>введѣнный (2: 38), вознесѣнных (2: 174), восхищѣнная (духом) (2: 185), доведѣнные (2: 47), закалѣнные (2: 31), заселѣнная (1: 61), изображѣннаго (1: 24), изречѣннаго (2: 174), изумлѣнная (2: 173, 177), казнѣнные (1: 11), лишѣннаго (2: 19), лишѣнному (2: 88), лишѣнные (1: 32; 2: 145, 176), лишѣнный (2: 19, 212), малонаселѣнною (1: 162), надѣлѣнный (2: 174), надѣлѣнных (1: 88), надѣлѣнная (2: 229), населѣнная (1: 200), населѣнную (1: 66), обагрѣнной (ж. 2: 105), (не)обагрѣнный (2: 182), обведѣнная (1: 26), обнесѣнный (1:</p>	<p>благорастворѣнным (1: 36), возвышѣнное (1: 29), возвышѣнным (1: 58), возвышѣнных (1: 39), вонзѣнная (1: 95), воплощѣннаго (1: 139), восхищѣнный (1: 106), восхищѣнным (2: 177), восхищѣнных (2: 243), воцарѣнный (1: 135), врождѣнному (1: 202), врождѣнную (1: 189), говорѣнной (2: 92, 224 заголовок, 233 заголовок), забвѣнна (2: 121), зажжѣнные (1: 104), заключѣннаго (1: 170), запрещѣннаго (2: 130),</p>

<p>163), обновлённое (2: 179), обновлёнными (2: 249), обновлённых (2: 236), ободрённая (2: 148), ободрённый (2: 181), обречённая (2: 73), ограждённого (1: 32), ограждённых (2: 177), одарённые (2: 56), одарённый (2: 28, 48), одушевлённые (2: 220), одушевлёнными (2: 193), оживлённая (2: 182), окрапленные (2: 33), окружённые (1: 32, 67), окружённый (2: 142), окружённых (2: 22, 32), определённого (2: 223), (в) определённой (2: 70), определёнными (2: 193), осаждённого (2: 185), освещённая (2: 183), освещёнными (2: 102), освобождённым (1: 5), оскорблённая (2: 89), оскорблённое (2: 33), оскорблённые (1: 132), оскорблённый (2: 29), ослеплённый (2: 212), осуждённых (2: 148), отвлечённых (2: 44, 85), отдалённого (2: 202), отдалённому (1: 60), отдалённые (2: 35, 228, 238), (в) отдалённых (2: 82), отдалёнными (1: 175; 2: 104, 179), отделённый (1: 186), отделёнными (1: 185), отличённый (1: 87), пленённого (1: 176), побеждённого (2: 176), побеждённых (1: 192; 2: 243), повреждённое (2: 49), повторёнными (1: 81), подарённые (1: 161), подарённый (1: 43), полученными (1: 76), помрачёнными (2: 26), понесёнными (1: 171), поражённый (2: 96, 176), посвящённых (2: 105), потрясённая (2: 183), превращённая (2: 77), пресыщённое (2: 21), приведёнными (2: 66), принесённое (2: 170), принесённый (1: 135), принуждённого (2: 116), принуждённые (2: 132), приобретённые (2: 26), присоединённые (1: 67), приспособлённое (2: 129), присуждённая (2: 205), (не) причётный (1: 83), проведённой (2: 24), проведённые (1: 153), проведёнными (2: 18), произнесёнными (2: 137), просвещённого (2: 26, 70, 210, 235), просвещённая (2: 182, 216), просвещённое (2: 26, 223), просвещённом (2: 184), просвещённый (2: 27, 108, 212), просвещённым (Тв. ед. 2: 34, 37), просвещёнными (2: 37), просвещённых (2: 33, 77, 109, 114, 217, 220), просвещёнными (И. мн. 2: 48), прощёнными (2: 181), развлечённый (2: 45), разделённые (2: 152), раздроблённым (2: 183), раздроблёнными (1: 183), разлучённые (1: 64), разрушённого (2: 24), расселённые (1: 163), расположенных (2: 176), рождённого (1: 55), рождённые (2: 201), рождённый (2: 30),</p>	<p>извлечённый (1: 32), изнурённого (2: 235), изображённые (1: 32, 77), изумлённого (1: 28), испещрённая (1: 114), лишённые (1: 82), лишённый (1: 83, 153, 184), лишённых (1: 190), напряжённейшее (1: 137), насаждённый (2: 182), насаждённым (1: 156), незабвенного (2: 245), неизречённом (2: 155), ненарушёнными (1: 126), неоценёнными (2: 185), неоценённую (2: 84), не оценёнными (2: 42), непринуждённость (1: 169), непросвещённых (1: 198), новорождённых (2: 40), обагрённую (2: 123), облечённая (1: 189; 2: 123), облечённую (2: 157), обнажённым (2: 131), обновлённого (1: 138), обновлённую (1: 180), ободрённый (1: 153), обольщённый (2: 55), обращённых (1: 156), обыкновенная (1: 125), огорчённый (1: 129), огорчённым (1: 107), ограждённая (2: 125), ограждённая (2: 123), одушевлённой (1: 115), одушевлённый (1: 28), озарённой (1: 131), окрилённая (1: 52), окружённый (1: 189), окружённые (1: 89), окружёнными (1: 163), окружённых (1: 1, 161), олицетворённой (1: 117), определённое (1: 27), определённостию (1: 146), освещённый (1: 173), освобождённые (1: 80), освящёнными (1: 153, 167), осуждённого (2: 131), отвлечённом (1: 202), отвлечённым (1: 82), отвлечёнными (2: 205), отдалённой (1: 166; 2: 85), отдалённое (1: 124), отдалённости (1: 20), отдалённые (1: 6), отдалённых (1: 31, 117, 122; 2: 219), очищёнными (1: 208), повреждённого (2: 1, 12), подчинённости (1: 188), подчинённых (2: 100), позлащённого (1: 170), позлащённые (1: 175), позлащёнными (1: 173), полученных (1: 10), помещёнными (1: 59), поражённые (1: 148), поражённый (1: 144), посвящённый (1: 151), превознесённая</p>
---	--

<p>рождённым (Д. мн. 2: 91, 219), рождённых (2: 24), соединённое (1: 87; 2: 97), соединёнными (2: 153), соединённых (2: 146, 184), соединённая (1: 6), сооружённых (2: 34), сооружённая (2: 45), сопряжённое (2: 208), сотворённая (2: 10), сочинённых (2: 196), спасённая (2: 173), стеснённую (1: 61), стеснённые (2: 176), тиснённая (1: 78), убеждённая (2: 25), увлечённый (2: 212), удалённый (2: 99, 200), удивлённые (1: 95), удивлённый (2: 103), уединённом (1: 133), уединённая (1: 162), укреплённая (2: 182), укреплённый (2: 181), унижённое (2: 33), употреблённое (2: 132), употреблённым (1: 57), ускорённое (2: 59), устремлённый (1: 27, 28), усыплённого (2: 209), усыплённый (2: 209), утверждённая (2: 203), утверждённого (2: 190), утверждённое (1: 3; 2: 221, 244), утверждённом (2: 204), утверждённую (2: 218), утверждёнными (1: 47), утомлённое (1: 94), утомлённые (1: 1), утомлённых (1: 14), учреждённых (1: 162) ? вооруженная (1: 53) ? обнаженными (1: 62) ? (не)совершенно (2: 211) ? уединенный (1: 68)</p>	<p>(2: 120), превознесённая (2: 242), превращённый (1: 62), предопределённого (1: 137), прельщённые (2: 130), приближённых (2: 160), принесённое (1: 139), принуждённое (1: 192), пристыжённый (1: 125), причинённая (1: 152), произнесённая (2: 190, 203, 220, 228 — во всех четырех случаях заголовков), прокажённым (1: 64), просвещёнейшими (1: 179), просвещённое (1: 29, 128), просвещённому (1: 6), просвещённый (1: 89), разгромлённая (2: 238), раздроблённая (1: 185), разорённых (2: 182), расположенные (1: 146), расположенных (1: 169, 172), рождённого (1: 139; 2: 154 bis), рождённый (1: 139), освобождённых (2: 182), свящённого (2: 130), смущённый (1: 125), совершённого (2: 122), совершённо (2: 8, 23), совершённое (1: 137), совершённой (2: 130), совершённом (2: 72), совершённым (2: 146, 243), совершённых (1: 183; 2: 7), соединённая (2: 79), сокращённую (2: 56), сокровённую (2: 156), сокровённых (1: 125), сообщённая (1: 151), сооружённого (1: 2), сплетённое (1: 59), уединённая (1: 140), уединённой (1: 69), уединённому (1: 14), уединённых (1: 7), укреплённа (2: 125), унижённо (нареч. 1: 203; 2: 176), упоённый (2: 166), употреблённую (2: 122), устрашённая (1: 181), устрашённая (1: 185), усыплённая (1: 116), утверждённое (1: 149), утеснённых (1: 126), утончённое (2: 38), утончённую (1: 78), утруждённых (1: 152), уязвлённые (1: 175)</p>
<p>в суффиксе <i>-ен-</i> кратких страдательных причастий и прилагательных</p>	
<p>воодушевлён (2: 165), доведён (1: 166), заключён (2: 197), заточён (1: 64), калёными (1: 175), копчёной (1: 48), лишён (1: 85, 98), награждён (2: 79), научён (2: 35), облежён (2: 184), облечён (2: 111), обращён (1: 14), обре-</p>	<p>заточён (1: 135), обращён (2: 121), поражён (1: 147), сохранён (1: 140), увлечён (1: 154), учёном (1: 114), учёные (1: 128), учёным (1: 128), учёными (1: 128), учёных (1:</p>

<p>менён (1: 3), одарён (1: 179, 182), одолжён (2: 101), окружён (1: 9, 43), повреждён (2: 1, 2, 12, 13, 17, 19), подкреплён (1: 144), положён (2: 156), похищён (2: 218), преграждён (2: 176), предвозвещён (2: 57), предпочтён (2: 80, 86), расположен (1: 18), рождён (1: 165; 2: 199), смышлѣны (1: 47), сооружён (2: 246), сопряжён (1: 9), сотворён (2: 12), укреплѣн (1: 43), установлѣн (1: 180), утомлѣн (1: 83, 165), учёнаго (2: 105, 180, 193, 219, 233), учёнейших (2: 105, 210), учёное (1: 51; 2: 83), учёном (2: 45, 230), учёному (2: 85), учёности (2: 33, 204 bis, 205, 233, 237), учёностию (2: 97), учёность (2: 218, 233), учёные (2: 50, 105, 217), учёный (2: 85), учёным (2: 107), учёными (1: 50), учёных (1: 53; 2: 85)</p>	<p>122, 207)</p>
<p>в суффиксе <i>-е-</i> прилагательных и фамилий</p>	
<p>Воробьѣвых (1: 68), Муравьѣв (1: 74, 85, 96, 185; 2: 65, 87, 217), Муравьѣва (2: 96, 97, 105, 109, 110 bis, 214), Муравьѣвой (1: 118), Соловьѣв (2: 241)</p>	<p>Кремлѣвскими (1: 163) Муравьѣв (2: 96 заголовок), Муравьѣва (2: 96 заголовок), Плетнѣв (2: 81, 117)</p>
<p>в суффиксе <i>-е-ж-</i> существительных</p>	
<p>грабѣж (1: 42, 192)</p>	
<p>в глагольных корнях</p>	
<p>ввѣл (1: 47, 84, 116), вѣл (1: 169), водоём (1: 19), водоёма (1: 17), взошѣл (1: 171), взошѣл (2: 56), возвѣл (2: 210), вошѣл (1: 102), завѣл (1: 123), истѣрт (1: 31), наёмным (2: 28), налѣтное (1: 33), нашѣл (1: 70, 100), нашѣл (2: 169, 227), нерасчѣтливости (2: 78), нѣс (1: 176), объём (1: 79), объёме (1: 205), отчѣт (1: 110), отчѣт (2: 24, 80 bis, 204 bis, 207), перелѣтным (1: 178), перенѣс (1: 164, 185), перешѣл (1: 32), повѣл (1: 103), подъёмный (1: 17), полѣте (1: 181), полѣту (2: 164), почѣл (1: 84, 100), почѣл (2: 6, 144), почѣтной (2: 234), пошѣл (1: 76), превзошѣл (1: 76), превзошѣл (2: 225), привѣз (1: 199), привѣл (1: 14; 2: 55), привлѣк (1: 143), приёмami (1: 47), приѣмах (1: 118, 122), приѣмов (1: 195), принѣсшаго (2: 110), провѣл (1: 25, 29, 76, 109, 171; 2: 31), произвѣл (2: 56), произнѣс (1: 131, 171 bis; 2: 11, 165), произошѣл (2: 151, 174), пронѣс (2: 243), простѣрли (1: 134), развѣртывалась (1: 19), развѣртывались (1: 20), развѣртыванию (2: 44), раздѣрнулся (1: 26), расчѣт (2: 78),</p>	<p>взошѣл (1: 152), вошѣл (1: 114), дрѣма (2: 76), истѣкшей (2: 134), лёжа (1: 104), начѣртаннаго (2: 179), начѣртанным (2: 184), нашѣл (1: 194), неисчѣтны (2: 84), нелицеприѣмнаго (2: 159), отчѣт (1: 92), плѣском (2: 200), подошѣл (1: 122), превзошѣл (1: 179), (не) превознѣсся (2: 189), предмет (2: 128), преѣмниками (2: 235), прилѣгший (2: 160—161), почѣсывал (1: 133), пришѣл (1: 152, 192), принѣсши (1: 145), произвѣдший (2: 235), произнѣс (1: 118), протѣкшаго (2: 109), протѣкшее (2: 19), растрѣпанною (1: 132), скоротѣчнаго (2: 164), стѣкшиися (1: 148), счѣтом (1: 161), умѣрши (2: 156), чѣрпал (2: 201), шѣл (1: 190, 199)</p>

разчётам (2: 14), расчётах (2: 22), свёрнутою (1: 43), свёртывал (1: 21), сошёл (2: 147), стёрла (2: 11), тёк (1: 158), увлёк (1: 22), шёл (1: 5)	
в корнях существительных и производных	
берёза (1: 34), берёз (1: 187), верёвке (1: 105, 109), вёрст (1: 14 tris, 17, 18, 20, 21, 38, 42, 61tris, 167), вёслами (1: 175), времён (1: 37, 118, 195, rassim), жёнами (1: 168), знамёна (1: 174, 175), знамёнами (1: 170), имён (1: 197), котёл (1: 41), лёд (1: 104; 2: 139), лён (1: 47; 2: 132), мёд (1: 47; 2: 134), мёдом (1: 160, 188, 189), озёр (1: 34, 39, 95, 186 bis, 187, 205), озёра (1: 60, 188, 200; 2: 214), озёрами (1: 187, 205), орёл (2: 199), племён (1: 7; 2: 33, 68, 104, 184), пчёл (2: 134), пчёлы (1: 97), решёткою (1: 67), семён (Р. мн. 1: 10; 2: 13, 53), сёл (1: 62, 201), сёла (1: 192), сёлах (2: 82, 177, 184), слёз (1: 176), слёзы (1: 73, 109, 129, 132, 176, 188, rassim), современныя (2: 183), стёклах (1: 96), упрёками (1: 123), упрёки (2: 113), упрёков (2: 7 bis, 102), утёсам (1: 106), утёсов (1: 16, 30, 31), утёсу (1: 106), чернозём (1: 34, 39), чернозёма (2: 72), шатёр (1: 95), шёлк (1: 48), шёлка (2: 26), шёлковой (2: 132), шёлковые (1: 48) щёпотом (1: 66), щёлочью (1: 62) ? дерн (1: 71) ? жен (1: 193)	верёвку (1: 104), дерев (2: 87, 91), жёны (1: 132, 189), знамёна (1: 36), имён (1: 138), лжеимённый (2: 2), нашёптывать (1: 24), в одеже (поругания) (2: 134), письмён (2: 107), племён (1: 197 bis, 201, 203, 205), решётка (1: 169), утёсистых (1: 187), утёсистее (1: 104), чёлнах (1: 32), шёлковые (1: 159 bis) ? Петр (Первый) (1: 165, 166, 171, 172, 179 bis, 180 bis, 181 tris, 182 bis)
в корнях прилагательных и производных	
весёлая (2: 99), весёлости (Д. ед. 1: 120), весёлостям (1: 84), весёлою (1: 134), весёлым (1: 62, 99), весёлыя (1: 175), далёк (2: 16), далёкую (1: 185), дешёвы (1: 159 bis), жёлтою (1: 15), жёсткой (1: 64), зелёнаго (1: 177), зелёном (1: 170), зелёному (1: 131), зелёные (1: 60), зелёным (1: 97; 2: 75), зелёных (1: 31, 163, 170), зелёныя (1: 59), крутоберёгой (1: 163), лёгкаго (2: 28), лёгкая (1: 57; 2: 210), лёгки (2: 111 стихи), лёгкие (1: 21), лёгкий (1: 55, 57; 2: 194), лёгким (1: 54, 60), лёгкими (1: 111, 176; 2: 159), лёгких (1: 86, 189; 2: 117, 233), лёгкия (1: 122; 2: 99), лёгкое (1: 51, 58, 73), лёгкой (1: 56), лёгкой (И. ед. м. 2: 213), лёгкой (Р. ед. ж. 2: 213 bis), лёгком (2: 211, 212, 214), лёгкости (1: 167), лёгкостию (1: 25,	весёлость (1: 120), дешёво (1: 100), жёлтый (1: 168), жёлтое (1: 134), крестный (1: 49), жёсткость (1: 57), лёгким (1: 97), мёртвым (1: 154), мёртвенное (2: 168), мёртвенному (2: 72), надёжный (1: 154), надёжных (2: 220, 234), ненадёжнее (1: 89), подземному (1: 19), твёрдостью (1: 85), тщётны (2: 147), тяжёлыя (1: 161), чёрнаго (1: 33, 178), чёрная (1: 134), чёрной (1: 172), чёрную (1: 159), чёрное (1: 129, 130, 168), чёрном (1: 132, 133 bis, 206)

<p>55), лёгкость (1: 158, 189; 2: 233), лёгкую (1: 116), мёртв (2: 14), мёртваго (2: 5), мёртвенное (2: 73), мёртво (2: 49, 71), мёртвом (2: 193), мёртвый (2: 72), мёртвым (2: 156), мёртвых (2: 98, 133), мёртвья (1: 62; 2: 155, 156, 158), пёстрые (1: 48), пёстрым (2: 181), полумёртвья (2: 155), светло-зелёный (1: 32), солёная (1: 39), солёной (1: 48), твёрд (1: 180; 2: 52), твёрдая (2: 62), твёрдо (1: 207; 2: 33, 221), твёрдого (2: 46), твёрдое (1: 70, 183; 2: 236), твёрдой (1: 109, 122), твёрдости (1: 46, 181; 2: 29, 227), твёрдостью (2: 228), твёрдость (1: 181; 2: 24, 237, 243), твёрдостью (1: 182), твёрдою (2: 236, 239), твёрдую (2: 59—60), твёрды (2: 159), твёрдыми (2: 240), по тёмно-зелёной (1: 21), тёмная (1: 64), тёмном (1: 114, 178), тёмному (1: 104), тёмность (2: 44), на тёмно-хвойной (1: 20), тёмной (1: 5, 26), тёмною (1: 20, 163), тёмную (1: 47), тёмны (2: 151), тёмный (1: 66), тёмныя (1: 63; 2: 196), тёплаго (1: 123), тёплое (1: 35; 2: 71), тёплую (2: 241), тёплыми (1: 177; 2: 188, 246), тёплыми (1: 21), тяжёлым (1: 43), тяжёлых (2: 159), учёбнаго (заведения) (2: 240), учёбной (2: 212), учёбными (1: 78), Чёрнаго (моря) (2: 183), чёрной (1: 42, 60), чёрной (2: 113), чёрный (1: 42), чёрным (2: 147), чёрными (1: 62), чёрными (2: 236), чёрныя (2: 48) ? темнодѣкий (1: 63) ? темнозелѣная (1: 19)</p>	
<p>в корнях наречий</p>	
<p>вперѣд (1: 30, 106, 109, 172; 2: 221, 232), ещё (1: 73), ещё (2: passim), наперед (1: 49), неподалѣку (1: 168)</p>	<p>ещѣ (1: 19, 20 bis, 30, 32, 66, 81, 87, 90 bis, 102 bis, 104, 105, 108, 128 bis, 152 bis, 153, 156, 159, 162, 164, 177, 186, 189, 196, 198, 202; 2: 132), поперег (1: 16, 68), ужѣ (passim)</p>

Комментарий к таблице

В окончаниях личных форм глаголов наст. / буд. вр. явно преобладают формы с [о]. Мена отмечена всего у двух из 76 глаголов I спряжения, встретившихся в «Хрестоматии», причем основным вариантом является форма с [о]: против трех случаев *грядѣт* один *грядѣшь* и против двух случаев *начнѣм* — один *начнѣт*. Только с [е] даны формы *блюдѣм* (2: 148), *возслѣм* (2: 121), *вопиѣм* (2: 125), *воспоѣм* (2: 126), *наречѣт* (2: 149) и *печѣтся* (1: 134).

В падежных окончаниях существительных «мутабельность» проявляется у слов *душа, лицо, меч, отец*. Наиболее ясное количественное соотношение форм с [o] и с [e] можно наблюдать в случае слова *лицо*, прежде всего в наиболее употребительной форме И.-В. В качестве основной здесь с очевидностью выступает вариант с [o]: многочисленным примерам его использования противостоят только три случая *лицé*. В косвенных падежах всех слов ряда количественным показателям вряд ли стоит придавать большое значение, так как колебания между вариантными формами здесь регулируются стилистическими задачами. Картина колебаний такова: на три случая *лицём* (3×) — *лицé* (4×), *мечём* (2×) — *мечём* (5×), *отцём* (2×) — *отцём* (2×), *отцёв* (5×) — *отцёв* (1×), *душёю* (7×) — *душёю* (3×).

В окончаниях местоимений колебания между [o] и [e] возможны в формах местоимений *свой, твой* и в П. ед. (в) *нем*, причем *ё* не помеха и там, где названные формы относятся к высочайшей особе или богу и пишутся с прописной буквы. Исключительно с *ё* пишутся в «Хрестоматии» формы местоимений *всё*³³, *мой*, Тв. ед. *чём*, а также В. ед. *её/неё*.

В группе числительных колебания отмечены в окончаниях слова *три*: *трѣх* — *трѣх*. Если отсутствие над *e* какого-либо знака подразумевает знак ударения (что наиболее вероятно), то преобладающими в «Хрестоматии» следует признать формы с [e]: *трѣх*, *трѣм*.

Область активной мены [o]/[e] составляли в эпоху создания «Русской хрестоматии» причастные формы. В полных страдательных причастиях с суффиксом *-енн-* (а также омонимичных с ними прилагательных и их производных) формы с [o] и [e] распределены примерно поровну. «Мутабельность» обнаруживают следующие причастия:

причастие в нач. ф.	[o]	[e]	причастие в нач. ф.	[o]	[e]
изображенный	1×	2×	пораженный	2×	2×
изумленный	2×	1×	посвященный	1×	1×
лишенный	7×	5×	превращенный	1×	1×
обагренный	2×	1×	принесенный	2×	1×
обновленный	3×	2×	принужденный	2×	1×
ободренный	2×	1×	произнесенный	1×	4×
огражденный	2×	2×	просвещенный	22×	5×
одушевленный	2×	2×	раздробленный	2×	1×
окруженный	5×	5×	расположенный	1×	3×
определенный	3×	2×	рожденный	6×	4×
освещенный	2×	1×	соединенный	6×	1×
освобожденный	1×	1×	сооруженный	2×	1×

³³ В начале XIX в., в период полемики «шишковистов» и «карамзинистов», *всё* (с *ё*) было одним из знаковых слов. В «Происшествии в царстве теней» С. Боброва *всё* является приметой речи Галлорусса, который в одной из реплик говорит: «Какъ это всё пахнетъ стариной? (...) Знаешь ли, что нынѣ у насъ всё перемѣнившись?» [Лотман, Успенский 1994: 469 (текст), 497 (комментарий)].

причастие в нач. ф.	[o]	[e]	причастие в нач. ф.	[o]	[e]
осужденный	1×	1×	уединенный	2×	4(5)×
отвлеченный	2×	3×	укрепленный	2×	1×
отдаленный	9×	9×	употребленный	2×	1×
поврежденный	1×	2×	усыпленный	2×	1×
полученный	1×	1×	утвержденный	8×	1×

Приведенные количественные соотношения ценны не столько сами по себе, сколько тем, что позволяют наблюдать общую тенденцию «мутабельности», которая состоит в том, что формы с [o] преобладают или находятся в равновесии с [e]. Лишь у 7 из 34 причастий списка отмечен количественный перевес форм с [e]. Для причастий *изображенный*, *отвлеченный*, *поврежденный*, *уединенный* он незначителен, и если вообще не случаен, то должен быть отнесен на счет стилистических вкусов авторов. Для оставшихся причастий можно предложить более очевидные объяснения. Все четыре формы *произнесенный* приходится на заголовки и, следовательно, объясняются особыми условиями рамки текста. Что касается причастия *расположенный*, то форма с [e] (с передвижкой ударения: *располо́женный*) стала со временем основной. «Хрестоматия» отражает движение в этом направлении.

Вне области «мутабельности» лежит приблизительно равное число причастий, используемых в «Хрестоматии» только с [o] или только с [e]. В группе с [o] отмечу формы, произношение которых отличается от современного: *повторенный*, *подаренный*, *полученный*, *пресыщенный*, *приспособленный*, *приученный*, *раздробленный*, *разрушенный*, *расположенный*, *униженный* (хотя *унижено*), *ускоренный*. В современном литературном языке во всех этих формах, образованных от глаголов на *-ить* (4-й тип спряжения, по «Грамматическому словарю» А. А. Зализняка), ударение смещено на один слог влево, то есть причастия образуются не по модели 4b, как прежде, а по модели 4a (*приспосо́бленный* как *огра́бленный*) или 4c (*полученный* как *отто́ченный*). От *подарить* можно и сейчас образовать страдательное причастие по двум различным моделям в зависимости от значения: ‘преподнести в дар’ *подáренный* 4c или ‘наградить (улыбкой и т. п.)’ *подаренный* 4b [Зализняк 2003: 615]³⁴. Аналогичное изменение претерпели несколько причастий из группы [e] нашего списка, а именно: *возвы́шенный* (совр. *возвѣшенный*), *очи́щенный* (совр. *очищеннѣнный*), *получѣнный* (совр. *полученнѣнный*). В [e]-огласовке используются прилагательные *благословѣнный*, *вдохновѣнный*, *(не)забѣнный*, *обыкновенѣнный*, *священнѣнный*, *совершеннѣнный*, *сокровѣнный*.

В суффиксе *-ен-* кратких страдательных причастий и прилагательных, как правило, произносится [o]. Мена отмечена только для двух причас-

³⁴ О различении в XIX в. омонимичных причастий и прилагательных с помощью ударения см. [Виноградов 1986: 236].

тий — *обращен* и *заточен* (по одному употреблению на каждую возможность) и для прилагательного *ученый*, которое предпочтительно используется с [о].

В суффиксе *-ев-* в антропонимах «мутабельной» оказалась фамилия *Муравьев*: на фоне преобладающего написания с буквой *ѣ* в заголовках по одному разу встретились написания с *ѣ*. Только с *ѣ* употребляются в «Хрестоматии» фамилия *Плетнев* и прилагательное *Кремлевский*, встретившееся один раз.

В глагольных корнях в целом преобладает произношение с [о]. Возможность мены [о]/[е] открыта для корней *-вед-*, *-нес-*, *-чет-*, *-шел-*. Исключительно с [е] встретились корни *-дрем-* (*дрѣма*), *-ем-* (*нелицеприѣмнаго, прѣѣмниками*), *-леж-* (*лѣжа, прилѣгшиѣ*), *-мет-* (*предѣт*), *-плеск-* (*плѣском*), *-тек-* (*стѣкшиися, истѣкшией, протѣкшиее* и др.), *-мер-* (*умѣрши*), *-треп-* (*растрѣпанною*), *-черп-* (*чѣрпал*), *-черт-* (*начѣртаннаго*), *-чес-* (*почѣсывал*).

В корнях существительных мена проявилась у слов *веревка, жена* (предпочтение оказывается формам этого слова с [е]), *решетка, утес, шелк-, шепот-*, а также у некоторых существительных на *-мя*, в частности *знамя, имя* и *племя*. Вариантные формы с [о] и с [е] в целом находятся в равновесии. *Время* отмечено только с [о] (*врѣмѣн*, ср. также *совремѣнный*), а форма мн. ч. *писмена* — напротив, только с [е] (*письмѣн*). Р. мн. от *семя* имеет вид *семѣн*. В имени *Петр*, которое относится к Петру I, отсутствие знака над *е* следует, по всей вероятности, понимать как *Пѣтр*³⁵.

Зону вариативности образуют прилагательные *веселый, дешевый, желтый, жесткий, легкий, мертвый, твердый, тяжелый* и *черный*. Варианты с [о] преобладают. Только с [е] отмечены формы прилагательных *крѣстный, надежный, подземный, тицѣтный*. В то же время только произношение с [о] знают в «Хрестоматии» такие употребительные прилагательные, как *далѣкий, зелѣный, пѣстрый, солѣный, тѣмный, тѣпый*, а также редкое *крутоберѣгой*. Отмечу *учѣбный*, отличающееся в своем произношении от современного (и исторически оправданного) *учѣбный*.

Последнюю небольшую группу варьирующих в произношении слов образуют наречия с меной [о]/[е] в корне. Основной представитель этой группы — наречие *еще*. Хотя написаний с *ѣ* относительно много (возможно, по ассоциации с *уже*), преобладают написания с *ѣ/ѣ*. Исключительно с *ѣ* встретились наречия *вперѣд, наперѣд, неподалѣку* (ср. выше о *далѣкий*). Напротив, *поперѣг* здесь пишется с *е* (ср. совр. *поперѣк*).

Состояние «мутабельности» как своего рода двуязычия неустойчиво. Эпоха жесткого распределения [о]- и [е]-вариантов по жанрам была поза-

³⁵ Ср. замечание А. А. Барсова в отношении этого имени: «Собственное имя *Петръ*, хотя впрочемъ и перемѣняетъ *ѣ* на *іо*; но когда принадлежить высокимъ особамъ, то ѣ удерживаетъ въ произношеніи, на пр. *Пѣтръ великій Пѣтръ вторый, Пѣтръ Апостоль*, а не *Піотръ*» [Барсов 1981: 57].

ди, эпоха лексической закреплённости их ещё не наступила. В «Русской хрестоматии» мы застаём затронутую меной [о]/[е] лексику на пути к этой новой системе.

Л и т е р а т у р а

Барсов 1981 — Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова / Подготовка текста и текстолог. коммент. М. П. Тоболовой; Под ред. и с предисл. Б. А. Успенского. М., 1981.

Бобрик 1993 — М. А. Б о б р и к. От рационализма к эпохе чувствительности: Статья А. А. Ржевского «О Московском наречии» и языковые взгляды XVIII века // *Russian Linguistics*. Vol. 17. 1993. С. 37—55.

Брандт 2005 — Р. Ф. Б р а н д т. Лекции по истории русского языка. М., 2005.

Виноградов 1986 — В. В. В и н о г р а д о в. Русский язык: Грамматическое учение о слове. 3-е изд., испр. М., 1986.

Горизонтов 1999 — Л. Е. Г о р и з о н т о в. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше. М., 1999.

Григорьева 2004 — Т. М. Г р и г о р ь е в а. Три века русской орфографии (XVIII—XX вв.). М., 2004.

ДАРЯ 1986 — Диалектологический атлас русского языка (центр Европейской части СССР): Карты. Вып. 1. Фонетика. М., 1986. Карты 48, 49, 51.

Дурново 2000 — Н. Н. Д у р н о в о. Избранные работы по истории русского языка. М., 2000.

Живов 1996 — В. М. Ж и в о в. Язык и культура России XVIII века. М., 1996.

Зализняк 2003 — А. А. З а л и з н я к. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. 4-е изд., испр. и доп. М., 2003.

Комиссарова 2006 — Е. В. К о м и с с а р о в а. Проблемы алфавитной нормы в славянском книгоиздании XIX—XX веков (по материалам Библиотеки РАН) // *Славяноведение*. 2006. № 1. С. 72—85.

Ломоносов 1982 — Российская грамматика М. Л о м о н о с о в а. Факс. изд. [М.,] 1982.

Лотман, Успенский 1994 — [Ю. М. Л о т м а н,] Б. А. У с п е н с к и й. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва // Б. А. У с п е н с к и й. Избранные труды. Т. 2. Язык и культура. М., 1994.

Панов 1990 — М. В. П а н о в. История русского литературного произношения XVIII—XX вв. М., 1990.

РБС 1962 — Русский биографический словарь. Т. 16. Repr. ed. N. Y., 1962.

Рклицкий 1864 — Начальныя основанія русскаго языка для начинающихъ учиться по-русски, или Легчайшій способъ научиться читать и писать по русски, и переводить съ русскаго языка на польскій, составленный Магистромъ В а с и л ь е м ь Р к л и ц к и м ь. 5-е изд. Варшава, 1864.

Рус. писатели 1989 — Русские писатели. 1800—1917: Биогр. словарь. Т. 1. М., 1989.

Соболевский 2004 — А. И. С о б о л е в с к и й. Труды по истории русского языка. Т. 1 / Предисл. и коммент. В. Б. Крысько. М., 2004.

Томашевский 1959 — Б. В. Томашевский. К истории русской рифмы // Стих и язык: Филол. очерки. М.; Л., 1959. С. 69—131.

Третьяковский 1849 — Сочинения Третьяковского. В 3 т. Т. 3. СПб., 1849.

Успенский 1985 — Б. А. Успенский. Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX в.: Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985.

Успенский 1997 — Б. А. Успенский. Первая грамматика русского языка на родном языке // Избранные труды. Т. 3. М., 1997. С. 573—600.

Успенский 2004 — Б. А. Успенский. Николай I и польский язык (Языковая политика Российской империи в отношении Царства Польского: вопросы графики и орфографии) // Историко-филологические очерки. М., 2004. С. 123—173.

Хрестоматия 1837 — Русская хрестоматия, или Избранныя мѣста изъ лучшихъ Русскихъ Писателей. Т. I. Варшава, 1837. Б. п.

Compendium 1731 — Compendium Grammaticae Russicae (1731): Die erste Akademie-Grammatik der russischen Sprache / Hrsg. von H. Keipert in Verbindung mit A. Huterer. München, 2002. (Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Abhandlungen. NF. Heft 121).

Palme 1895 — Спутникъ по Россіи = Sprachführer für Deutsche in Russland. Praktisches Handbuch der russischen Umgangssprache mit eingehender Berücksichtigung der Aussprache von Anton Palme, früh(erem) Lehrer des Russischen am Seminar für orientalische Sprachen an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Berlin, 1895.

Tappe 1812 — Neue theoretisch-praktische Russische Sprachlehre für Deutsche mit Beispielen, als Aufgaben zum Übersetzen aus dem Deutschen in das Russische, und aus dem Russischen in das Deutsche, nach den Hauptlehren der Grammatik, nebst einem Abrisse der Geschichte Rußlands bis auf die neuesten Zeiten, von Dr. August Wilhelm Tappe. 2. verbesserte und vermehrte Aufl. St. Petersburg; Riga, 1812.

Т. В. ПОПОВА

**«ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ИЗОГЛОССЫ»:
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ НАД ТЕМОЙ**

В настоящее время опубликовано четыре выпуска коллективного труда «Восточнославянские изоглоссы» (1995; 1998; 2000; 2006). В этом труде впервые в славистике осуществляется лингвогеографическое изучение диалектных явлений разных уровней на материале трех восточнославянских языков (русского, украинского и белорусского), которые рассматриваются как единый и неделимый объект лингвогеографического исследования.

Идея необходимости целостного лингвогеографического изучения диалектов восточнославянских языков была высказана Р. И. Аванесовым еще в 1958 г. на IV Международном съезде славистов в Москве [Аванесов, Бернштейн 1958: 3]. Несколькими годами позднее он вновь не раз обращался к мысли о важности и принципиальном преимуществе изучения диалектных явлений на материале всех родственных языков одной группы (а не каждого языка в отдельности). На заседании Научного совета по диалектологии и истории языка в 1964 г. Р. И. Аванесов, обосновывая эту идею, отмечал, что «многие проблемы не могут быть разрешены на материале одного языка, в изоляции от данных других близкородственных языков. Понятие отдельных языков (например, русского, украинского и белорусского) относится прежде всего к сфере социально-исторической, культурной, а не структурно-языковой. Ареалы самых различных языковых явлений нередко охватывают соседние территории близкородственных языков»; по его мнению, «в качестве обобщающей работы диалектологов-специалистов по восточнославянским языкам» целесообразно «организовать на базе материалов русского, украинского и белорусского атласов составление сводного атласа восточнославянских языков» [Аванесов 1964: 558, 560]. Однако при жизни Р. И. Аванесова этот его план не был осуществлен.

Впоследствии для реализации идеи создания лингвистического атласа (именно *атласа*) восточнославянских языков очень много сделала С. В. Бромлей, которая сумела превратить идею о важности комплексного лингвогеографического исследования восточнославянского диалектного пространства в реальную тему и привлечь для работы над ней большой коллектив русских, украинских и белорусских диалектологов.

К непосредственному осуществлению данного замысла русские, украинские и белорусские лингвисты приступили только во второй половине 80-х гг. XX в.: к этому времени уже был введен в научный оборот обширный восточнославянский диалектный материал, который стал доступен после выхода в свет трех национальных диалектологических атласов — Диалектологический атлас русского языка (ДАРЯ), Атлас української мови (АУМ) и Дыялекталагічны атлас беларускай мовы (ДАБМ); кроме того, появился целый ряд работ, содержащих интерпретацию и систематизацию как уже известных, так и новых для науки диалектных данных.

Под руководством С. В. Бромлей с 1987 по 1990 г. включительно (до выхода ее на пенсию) была разработана теоретическая концепция восточнославянского диалектологического атласа, задуманного как труд, занимающий промежуточное положение между ОЛА и национальными лингвистическими атласами. Были также сформулированы задачи и определен метод исследования диалектных явлений трех восточнославянских языков. Обоснование проблематики атласа и изложение основных теоретических положений содержится в тезисах С. В. Бромлей «Лингвогеографическое изучение восточнославянской языковой области» [Бромлей 1979], в ее статье «Восточнославянские языки как объект лингвогеографии» [Бромлей 1985б] и в докладе «Восточнославянские изоглоссы», прочитанном на заседании Бюро ОЛЯ 7 февраля 1990 г. [Бромлей 2006]. Будущий труд был назван «Восточнославянские изоглоссы» (далее — ВСИ). Он должен был состоять (по аналогии с ДАРЯ и другими национальными атласами) из трех томов — фонетического, морфологического и лексического.

За эти годы были тщательно проанализированы и сопоставлены все карты, посвященные в ДАРЯ, АУМ и ДАБМ одним и тем же явлениям. Прделанная работа по выявлению сопоставимого материала, а также оценка его с точки зрения значимости для членения восточнославянского диалектного пространства дали возможность определить тот корпус явлений, которые могли бы составить основу ВСИ. Кроме того, в качестве начального этапа работы над ВСИ были составлены пробные легенды к картам (посвященным судьбе **ě*, **ь* и **e*), учитывающие не только особенности диалектной реализации того или иного явления в русском, украинском и белорусском языках в отдельности, но и функционирование его в контексте всего восточнославянского диалектного континуума.

По замыслу С. В. Бромлей, труд ВСИ, как и любой другой лингвогеографический атлас, должен был представлять собой прежде всего «источниковедческую базу» для решения кардинальных для восточнославянских диалектов вопросов исторического, типологического и культурологического плана. К этим вопросам можно отнести и воссоздание картины членения древнерусского языка, и восстановление диалектных процессов древнерусской эпохи, приведших к сложению трех языковых объединений, и определение основных путей становления древнерусской культуры и ее национальных вариантов. Важнейшей задачей являлось и нахождение доказательств

целостности восточнославянского лингвистического ландшафта путем выявления таких диалектных данных, которые могли бы свидетельствовать об особой родственной близости всех восточнославянских диалектов и подтвердить известное положение о том, что «восточнославянская языковая область по многим причинам — историческим, структурно-лингвистическим, лингвогеографическим и др. — должна быть выделена в качестве особого, единого и целостного объекта картографирования» [Бромлей 1985б: 172; Бромлей 2006] (см. о роли С. В. Бромлей в реализации данного научного проекта в [ВСИ 1995: 3—9], а также в [Булатова 2002: 160—161]).

Однако в силу известных всем изменившихся условий и выхода из авторского коллектива украинских и белорусских диалектологов (в настоящее время в работе над ВСИ принимают участие только русские диалектологи — сотрудники ИРЯ, ИнСлав и МГУ), концепция труда ВСИ была существенно изменена (см. [Попова 1995: 3—9; 1997]). Следует отметить, что ВСИ по-прежнему можно считать источниковедческим трудом, в котором основную ценность составляют *карты*. В них содержится совокупность важнейших современных (середина XX в.) диалектных данных, являющихся источником для последующего изучения общевосточнославянской историко-лингвистической проблематики во всем ее объеме. В то же время необходимо подчеркнуть, что труд ВСИ, представленный в настоящее время уже четырьмя выпусками, выходит за рамки чисто лингвогеографического и источниковедческого труда, поскольку одновременно с лингвогеографическими задачами он включает в себя и следующий, исследовательский (интерпретационный) этап работы над содержащимися в его картах диалектными материалами (что обусловлено в первую очередь *характером комментирования карт*). Дело в том, что комментарии в ВСИ не только объясняют особенности построения карты и характеризуют использованный материал (как это делается в атласах всех типов), но и интерпретируют сами явления, представленные на картах. Для этого анализируется диалектный ландшафт, изображенный на карте, и привлекается вся доступная научная литература по картографируемому явлению (т. е. диалектологические исследования разных жанров и исследования по истории русского, украинского и белорусского языков), что позволяет авторам карт в ряде случаев устанавливать не известные ранее факты и вносить серьезные коррективы в анализируемый вопрос. Кстати, необходимость интерпретационного подхода к диалектному материалу — как отдельная задача — до сих пор при создании атласов не ставилась. Поэтому труд ВСИ, который совмещает источниковедческий и интерпретационный аспекты, представляет собой *новый* тип работы в области лингвогеографии.

В ВСИ основным материалом для лингвогеографического исследования являются данные диалектологических атласов трех восточнославянских языков — ДАРЯ, АУМ и ДАБМ. Важно, что в них представлен одинаковый синхронный срез диалектного состояния русского, украинского и белорусского языков (середина XX в.); этот факт позволяет рассматривать

указанные атласы в качестве уникальной базы для комплексного исследования восточнославянских диалектов в лингвогеографическом, описательном и историческом аспектах.

Теоретической основой ВСИ как лингвогеографического труда является признание того, что все современное (середина XX в.) восточнославянское диалектное пространство рассматривается в качестве единого и целостного объекта лингвогеографического исследования. Это означает, что совокупность диалектов трех восточнославянских языков интерпретируется как отдельная сложная система (т. е. система диалектного языка, или диасистема, являющаяся научным построением, конструктом); ее структура состоит из общих для всех восточнославянских диалектов и варьирующихся (различающихся в отдельных частных диалектных системах) звеньев. Как известно, предметом исследования в лингвогеографических трудах являются вариативные звенья системы диалектного языка, которые формируют диалектные различия (или компоненты, члены соответствующих явлений).

Такая модель системных и структурных отношений была разработана Р. И. Аванесовым для собрания диалектов лишь одного — русского — языка, но она оказалась продуктивной и для диалектов ряда родственных языков (а именно — всех славянских языков, как в ОЛА, или трех восточнославянских языков, как в ВСИ). В ВСИ важным является понимание того, что общие и вариативные звенья в рамках восточнославянского диалектного пространства имеют лишь один статус — статус *диалектных* признаков, характеризующих единый, не расчлененный на языки восточнославянский континуум, для которого значение языковой отнесенности является нерелевантным. Использование в ВСИ такого понятия, как соответствующее явление, применительно к диалектным различиям восточнославянского лингвистического пространства служит гарантией того, что карты в ВСИ не являются простой суммой однозначных карт из трех национальных атласов (ДАРЯ, АУМ и ДАБМ), а представляют собой *карты особого типа*, на которых территориальное распространение членов соответствующего явления переосмыслено в аспекте его функционирования в рамках всего восточнославянского диалектного континуума как целого (см. [Попова 2006б: 155—157]). При этом, как справедливо отмечает Л. Э. Калнынь, объединение территорий разных языков в единый объект лингвогеографического анализа «не означает простого суммирования диалектных различий, представленных на национальных картах. Принципиально может меняться состав актуальных диалектных различий. Явления, не имеющие дифференцирующего значения в рамках одного языка, при расширении картографируемой территории становятся компонентом диалектного различия, реализующегося на этой территории» [Калнынь 2002: 11]. Следует также подчеркнуть, что четко обозначенная лингвогеографическая направленность данной работы обусловлена чрезвычайно широкими, но до конца еще не раскрытыми возможностями этого метода в лингвистике.

Предметом изучения в ВСИ служат те диалектные явления из области фонетики, морфологии, морфонологии, словообразования, синтаксиса и лексики, которые можно считать наиболее значимыми и информативными с точки зрения сравнительной характеристики восточнославянских диалектов, определения их контактов в прошлом и настоящем, нахождения архаических и инновационных зон восточнославянского диалектного континуума и членения восточнославянской языковой области. Каждый выпуск ВСИ, содержащий карты и комментарии к ним, посвящен исследованию явлений не отдельного языкового уровня (ср., например, в ДАРЯ — фонетический, морфологический и лексический тома), а разных. В настоящем лингвогеографическом труде это обстоятельство имеет свои преимущества, так как позволяет сопоставить в рамках восточнославянского диалектного пространства функционирование и распространение разноуровневых явлений и оценить в этом плане их сходства и различия.

Подчеркивая одну из характеристик исследования диалектных явлений в пространственном аспекте, Р. И. Аванесов обращает внимание на то, что «лингвистическая география имеет дело с сосуществующими современными фактами языка на разных территориях. Однако она имеет право на существование едва ли не ввиду ее исключительно большого значения для генетического, диахронического языкознания» [Аванесов, Бернштейн 1958: 4]. Именно поэтому коллективный труд ВСИ содержит ценные и проверенные диалектные данные, важность которых для разработки целого ряда вопросов восточнославянского глоттогенеза и этногенеза трудно переоценить. Напомню также и мнение Ф. П. Филина о том, что в решении проблемы этно- и глоттогенеза славян «на первое место выдвигаются лингвогеографические методы исследования» диалектного материала [Филин 1973: 381].

В настоящее время в четырех вышедших из печати выпусках ВСИ содержится уже более 100 карт, показывающих ареалы разноуровневых соотносительных диалектных явлений, расположенных на всей — единой — восточнославянской языковой территории. При этом необходимо специально отметить, что на этих картах восточнославянский ареал показан в целостном виде (он не расчленен на части между тремя национальными атласами), а в его пределах — как органически принадлежащие ему — выделяются частные ареалы разных типов и разной локализации (их описание см. ниже). Особый интерес среди них представляют ареалы так называемых «пограничий» — русско-белорусского, русско-украинского, украинско-белорусского: в данных ареалах, образованных говорами разных языков, наблюдается переплетение языковых и диалектных черт, в связи с чем сложившаяся в них лингвистическая (и экстралингвистическая) ситуация требует специального исследования. Из сказанного следует, что ВСИ наглядно подтверждают не только важнейший закон лингвогеографии о способности проникновения диалектных явлений (особенно инноваций) через границы сложившихся языков, но и свидетельствуют о реальности существ-

воваания единого восточнославянского диалектного континуума (см. подробнее в [Попова 2006в]. Такие сведения невозможно было извлечь отдельно из ДАРЯ, АУМ и ДАБМ.

Результаты проведенной работы показали, что именно признание всей восточнославянской территории единым и целостным объектом картографирования дает возможность по-новому интерпретировать известные уже науке факты, которые ранее были изучены лишь на материале какого-либо одного из восточнославянских языков, в связи с чем целый ряд характеристик этих явлений оказывался вне поля зрения исследователей (диалектологов и историков языка). В то же время изучение диалектных явлений в рамках всего восточнославянского диалектного пространства позволяет выявить и наиболее яркие специфические особенности отдельно каждого из языков (русского, украинского и белорусского). В связи с этим хотелось бы подчеркнуть, что картографирование диалектного материала на *большом* пространстве, объединяющем диалекты нескольких языков, дает основания для внесения коррективов в некоторые традиционные представления не только об инвентаре диалектных различий в восточнославянском континууме и об его ареальной характеристике, но и в диахронические интерпретации отдельных фрагментов диалектных систем этого континуума (см. об этом подробнее в [Калнынь 1998: 13, 35 и сл.]; ср. также: «От лингвогеографического исследования территории одного языка следующим шагом в глубину истории является изучение лингвистического ареала группы близкородственных языков» [Десницкая 1977: 26]).

Таким образом, на основании лингвогеографического анализа синхронного диалектного материала, а также привлечения доступных диахронических данных из памятников письменности и исследований исторического характера в работе делаются заключения, относящиеся, во-первых, к собственно современному географическому (пространственному) распределению различных соотносительных явлений (диалектных вариантов) в синхронном плане, во-вторых, к определению наиболее часто встречающихся ареалов на восточнославянской территории и их лингвистической характеристике и, наконец, к истории возникновения современного лингвогеографического ландшафта. Важно подчеркнуть, что материалы ВСИ дают возможность конструирования не только отдельных изоглосс, но и пучков изоглосс, которые можно рассматривать и как реальный инструмент для членения современного восточнославянского диалектного континуума, и как средство, помогающее получить определенную диахроническую информацию. Дело в том, что пучки изоглосс прежде всего указывают на наличие в синхронном плане единства некоторых структурных характеристик ряда говоров, объединенных территориально и образующих ареал. Однако наряду с этим каждый такой ареал содержит, как правило, разные по времени результаты развития свойственных ему на данном синхронном срезе явлений; следовательно, и изоглоссы, очерчивающие ареал, обозначают границы распространения разновременных явлений (т. е. хронология

явлений, образующих ареал, различна). В связи с этим, с одной стороны, в ареале моделируется определенная синхронная лингвистическая ситуация (позволяющая дать данному ареалу квалификацию той или иной единицы современного диалектного членения), а с другой — может быть реализована возможность реконструкции предшествующего состояния (см. об этом, например, в [Попова 2006а]). Итак, очевидно, что именно лингвогеография позволяет разграничить такие понятия, как, с одной стороны, генезис явления и, с другой — его распространение в пространстве (часто в результате развития разного рода новообразований), что приводит в конечном итоге к формированию новых языковых / диалектных общностей — ареалов.

Следовательно, накопленный к настоящему времени материал по картографированию разноплановых явлений в рамках всего восточнославянского диалектного континуума может служить основой не только для систематизации известных науке, но подчас разрозненных и по-разному интерпретируемых данных по истории и диалектологии восточнославянских языков, но также и для определенных выводов синхронно-типологического и диахронического характера.

Известно, что в славистике существуют различные гипотезы о существовании восточнославянской общности и о происхождении восточнославянских языков. Например, если упомянуть две из них, прямо противоположные по содержанию, то одна из таких гипотез признает восточнославянское (исторически — древнерусское) языковое единство как единство генетическое, т. е. обусловленное происхождением всех восточнославянских говоров из одного праславянского диалекта, или восточнославянского языка-основы; другая же — утверждает изначальную диалектную неоднородность (в какой то степени — даже гетерогенность) восточнославянского праязыка (см. подробнее об этом в [Попова 1995: 4—6]).

Современные историки и диалектологи, учитывая вклад в изучение исторической диалектологии русского, украинского и белорусского языков таких ученых, как А. А. Шахматов, А. И. Соболевский, Б. М. Ляпунов, Н. С. Трубецкой, Н. Н. Дурново, Р. И. Аванесов, Е. Ф. Карский, Г. Ю. Шевелев и мн. др., продолжают развивать их достижения на основе новых исторических и диалектных данных и переосмысления известных уже науке фактов.

Так, например, А. А. Зализняк и С. Л. Николаев в работах, затрагивающих вопросы, связанные в той или другой степени с проблемами глоттогенеза и этногенеза восточных славян, подчеркивают существование неоднородной правосточнославянской основы, включающей в свой состав различные (племенные) диалектные группы (новгородскую, псковскую, кривичскую, галицкую и др.). Ср.: «Мы вправе говорить еще и в XI в. о позднем праславянском языке и его диалектах. Поэтому древненовгородский диалект этого раннего периода предстает просто как диалект позднего праславянского языка, входящего в группу восточнославянских диалектов» [Зализняк 2004: 7]. Анализируя фонетические и морфологические черты древненов-

городского и древнепсковского диалектов, А. А. Зализняк делает вывод, что «существовавший уже в дописьменную эпоху комплекс фонетических особенностей, отличающих древний новгородско-псковский диалект, в частности, от наддиалектного древнерусского, весьма значителен. Его практически невозможно объяснить, оставаясь в рамках традиционной концепции монолитного правосточнославянского языка» [Там же: 56], и приходит к заключению, что «имеющиеся ныне данные по древненовгородскому и древнепсковскому диалектам показали, что и восточнославянская ветвь... вобрала в себя не вполне тождественные говоры» [Там же: 57]. Этот вывод он подкрепляет ссылкой на исследования С. Л. Николаева и В. В. Седова, широко цитируя последнего (ср., например: «в основе восточнославянской языковой общности лежит несколько различных диалектно-племенных образований праславян» [Седов 1994: 12]). Еще более решительно об изначальной диалектной восточнославянской неоднородности говорит С. Л. Николаев. Ср.: «Лишь в последние годы гипотеза сохранения древнейших восточнославянских диалектных различий получила серьезную поддержку. С одной стороны, решающие аргументы в пользу этой гипотезы представили материал древненовгородских берестяных грамот и рассмотренные с новой точки зрения данные северо-западных и западных великорусских и северо-восточных белорусских говоров. С другой стороны, быстрое развитие славянской исторической акцентологии привело к обнаружению релевантного корпуса фактов, на которых строится теория глубокого позднего и даже раннепраславянского диалектного членения и мозаичности позднепраславянского лингвистического ландшафта» [Николаев 1994: 24]; «Чересполосица древних акцентуационных систем на славянских территориях указывает на явно гетерогенный характер таких поздних общностей, как восточнославянская, южнославянская или западнославянская» [Там же: 25].

Укажем и на некоторые из последних исследований О. Н. Трубачева (например, [Трубачев 1997; 2000; 2002]), в которых он также не отрицает древней диалектной неоднородности (полидиалектности), но, в отличие от вышеназванных ученых, специально подчеркивает наличие в прошлом «единого большого ареала, охватывавшего все позднейшие восточнославянские языки», «общевосточнославянского ареала» [Трубачев 2000: 19, 20]; при этом автор категорически отрицает «гетерогенные версии русского глоттогенеза» [Там же: 22] и, разрабатывая «современную концепцию сложного единства восточнославянских диалектов», утверждает, что «не может быть и речи о синонимичности этого единства и „монолитности“, поскольку наше единство, обогащенное идеей полидиалектности, ...запрещает имплицировать эту монолитность или... приписывать ее нам... Поэтому сейчас сражаться с „концепцией правосточнославянского языка как генетически монолитного...“ (ссылка в статье на [Зализняк 1988: 176]) не стоит, ведь так сейчас, пожалуй, никто уже активно не думает...» [Там же: 23]. Отметим также и мнение Т. И. Вендиной, солидаризирующейся с О. Н. Трубачевым, которая на основе тщательного изучения материалов

вышедших из печати двух томов лексико-словообразовательной серии ОЛА «Животный мир» (М., 1989) и «Животноводство» (Warszawa, 2000) уверенно говорит о наличии «восточнославянского древнерусского единства» [Вендина 2004: 85].

И хотя в наши задачи не входит анализ существующих гипотез об интерпретации правосточнославянского языка как генетически единого или диалектно неоднородного, тем не менее отметим, что и сейчас вряд ли существуют не вызывающие возражений аргументы для убедительного подтверждения той или другой гипотезы. Развернувшиеся в последние десятилетия исследования исторических и синхронных диалектных данных русского, украинского и белорусского языков / диалектов как в лингвогеографическом, так и в описательном аспектах позволяют в ряде случаев по-новому взглянуть не только на развитие праславянского языка и на образование восточнославянской группы языков, но и на их диалектное членение в прошлом и настоящем. Эти исследования, безусловно, расширяют наши представления о восточнославянском лингвистическом пространстве и показывают, что истоки отдельных диалектных различий вполне обоснованно можно возводить к тем различиям, которые были свойственны еще правосточнославянским (племенным) диалектам, и это позволяет говорить о наличии (в определенной степени) изначальной неоднородности единого восточнославянского диалектного континуума. Однако при этом нельзя недооценивать факт существования и той глубокой общности, которая в действительности характеризует современные диалекты восточных славян и служит веским основанием для их объединения в отдельную восточнославянскую языковую группу.

Необходимо отметить, что в ряду появившихся в последнее время фундаментальных работ в области лингвогеографии, а также описательной исторической и синхронной диалектологии *карты и комментарии ВСИ*, несомненно, занимают вполне определенное место: их уже нельзя не учитывать при реконструкции древнего состояния целого ряда явлений, свойственных правосточнославянским диалектам. Материалы ВСИ содержат новые и в достаточной мере убедительные аргументы (прежде всего ареалогические) в пользу признания того, что на всем протяжении существования восточнославянской языковой общности активно действовали как дивергентные, так и конвергентные процессы, определившие современную картину *единства* (= целостности) Восточной Славии; в то же время это единство характеризуется и значительной *дифференцированностью* восточнославянского диалектного континуума (ср., например, констатацию специфического развития некоторых диалектов того или иного языка, развитие одинаковых инновационных черт, представленных в диалектах разных языков, сохранение архаизмов в отстоящих друг от друга диалектных зонах Восточной Славии, влияние различных неславянских языков на отдельные восточнославянские языки / диалекты и под.). Однако имея в виду диахронический аспект лингвогеографических исследований вообще и в

ВСИ в частности, нельзя забывать об их все же достаточно ограниченных в этом плане возможностях; поэтому следовало бы с должным вниманием отнестись к справедливому замечанию В. В. Иванова, который в рецензии на второй выпуск ВСИ, опираясь на мнение диалектологов Московской школы и прежде всего Р. И. Аванесова, писал: «... лингвистическая география... одна, самостоятельно не может сыграть решающей роли в решении историко-диалектологических задач, в реконструкции истории отдельных диалектных явлений и тем более в реконструкции истории диалектов как территориально-языковых единиц, в построении исторической диалектологии какого-либо языка. Данные лингвистической географии должны быть объединены с данными других источников, и прежде всего с данными памятников письменности прошлых эпох как вторым лингвистическим источником истории языка. Только при таком объединении (с учетом данных смежных наук — археологии, истории, исторической географии, этнографии) можно надеяться на успех в реконструкции истории диалектных явлений и в истории диалектов» [Иванов 2003: 149—150]. Что касается ВСИ, то следует отметить, что авторы карт и комментариев достаточно широко используют работы по истории русского, украинского и белорусского языков, и это позволяет им в ряде случаев формулировать вполне убедительные выводы, связанные с исторической интерпретацией как самого диалектного материала, так и некоторых сконструированных на основе этого материала изоглосс. Важно также подчеркнуть, что в картах и комментариях ВСИ идея о существовании изначальной неоднородности (полидиалектности) современного *единого* восточнославянского диалектного континуума получает новые и достаточно убедительные подтверждения (см. об этом в [Попова 2004б: 58], а также в [Попова 2006в]).

В результате сопоставления выполненных в ВСИ карт было отмечено, что некоторые описанные в комментариях и показанные на картах типы пространственной дифференциации восточнославянской территории выявлены *впервые* именно в данном коллективном труде.

При характеристике диалектного восточнославянского ландшафта в комментариях ВСИ встречаются термины «периферийные» и «центральные» зоны (ареалы). Так, при употреблении понятий лингвогеографического противопоставления центральных и периферийных ареалов важно учитывать прежде всего их *условный* характер как в чисто географическом (пространственном) аспекте, так и в содержательном плане (когда этим ареалам дается структурная характеристика). Н. И. Толстой для обозначения периферийных ареалов предпочитал термины «окраинные», «маргинальные», «латеральные» и полагал (на основании изучения отдельных изолексов), что выделение окраинных зон и противопоставленных им зон центра возможно, «как правило, лишь в пределах отдельных славянских массивов — южного, восточного и западного, а не всей Славии в целом» [Толстой 1977: 48]. С. В. Бромлей, исследуя степень вокализованности и консонантности восточнославянских диалектов, отмечала, что признаки

высокой вокальности, свойственные русским периферийным говорам, «связываются ... всегда с восточнославянским западом — с украинским языком, частично с белорусским, где они распространены, как правило, в качестве господствующих, большими целостными ареалами» [Бромлей 1985а: 30]. В одной из последних работ, посвященных специально проблеме лингвогеографической противопоставленности центра и периферии, говорится, что «с точки зрения всего восточнославянского континуума... противопоставлению центральных и периферийных говоров соответствует противопоставление востока и запада... Так, западная территория включает в себя говоры украинского, белорусского и частично русского языков» [Букринская, Кармакова 2003: 6]. В труде ВСИ авторы соотносят понятия «центр — периферия» в целом также с современными восточными и западными ареалами, признавая при этом известную условность такого обобщенного соотношения, которое, естественно, конкретизируется в отдельных картах и комментариях к ним (см. подробнее [ВСИ-1 1995; ВСИ-2 1998; ВСИ-3 2000; ВСИ-4]). Следует также отметить, что в ВСИ необходимость в географическом определении тех или иных современных ареалов как центральных либо периферийных обуславливается только наличием типологического противопоставления между ними (это могут быть, например, признаки вокальности ~ консонантности, соотношение архаизмов и новообразований и т. п.).

Пучки изоглосс целого ряда исследованных в ВСИ разноуровневых явлений очерчивают на территории распространения восточнославянских диалектов многие достаточно компактные ареалы. Выше отмечалось, что данные ареалы представляют собой неотъемлемую часть органически единого восточнославянского диалектного континуума. Укажем лишь некоторые из них, отметив при этом, что перечисленные ниже ареалы и единый и целостный восточнославянский ареал, в рамках которого они выделены лишь по *отдельным* диалектным чертам, несопоставимы по своему статусу и содержанию. Об иерархии и взаимоотношениях между разными типами ареалов (например, общеславянский и восточнославянский ареалы; восточнославянский и северо-восточный ареалы; ареал, образованный русскими говорами, и ареал, образованный северо-западными русскими говорами и т. п.) см. подробнее в [Попова 2006в].

1. *Юго-западный и северо-восточный* ареалы характеризуются во многих случаях одинаковыми признаками и очерчиваются целыми пучками изоглосс. Здесь отмечены, например, такие явления, как: а) наличие невелиризованного латерального сонанта [l] (явно архаическая черта) [ВСИ-1 1995: 14—15]; ср. также: «Современный общеславянский контекст, во многих своих частях имеющий невелиризованный латеральный сонант на месте *l, а велиризацию демонстрирующий как вторичное явление, заставляет предполагать исконность невелиризованного латерального сонанта» [Калынынь 2005: 53]; б) сужение предударного [o] (т. е. [o > y]) независимо от качества последующего ударного гласного [ВСИ-4 2006: 38]; в) наличие

нелабиализованного гласного ненижнего подъема типа [e] на месте *e и *'a. Исследование судьбы *e Л. Э. Калнынь показало, что первичным (т. е. исконным) рефлексом этого гласного являлся именно нелабиализованный гласный ненижнего подъема типа [e] (см. [Калнынь 2001: 36]). Данный факт говорит о том, что одинаковая рефлексация гласных *'a и *e в виде гласного [не-а] в результате действия ассимиляционных процессов (слоговой сингармонизм) в русских северо-восточных и украинских юго-западных говорах свидетельствует об архаическом характере указанного явления. Однако при этом важно учитывать разную синтагматику (значение предшествующего сегмента в юго-восточных и последующего сегмента — в северо-восточных говорах), обусловившую появление гласного [не-а] в говорах двух указанных ареалов; г) употребление архаических инфинитивов на /ти/ [ВСИ-3 2000: 122—128] и др. Характерным для говоров, входящих в указанные ареалы как типично периферийные, является повышенная роль вокальных средств в фонетических системах, а также наличие многих архаических черт (о лингвистической ситуации в юго-западных украинских говорах см. [Попова 2005а: 280—287]). Факт языковой соотнесенности двух прямо противоположных по локализации периферийных зон следует считать чрезвычайно важным в вопросе интерпретации лингвистического прошлого восточнославянского диалектного континуума (о явлениях, характеризующих данные периферийные говоры, см. подробнее в [Попова 2006а]). Ср. также: «В плане лингвистической географии русский Север обнаруживает свойственные периферии архаизмы, причем немаловажно, что явления этой северной периферии перекликаются с другой периферией, южной, с аналогичными украинскими явлениями. Очевидно, что это проявление единого большого ареала, охватывавшего все позднейшие восточнославянские языки» [Трубачев 2000: 19].

2. *Северо-восточный* ареал, в котором отмечены (наряду с вышеуказанными) и такие явления, как: а) наличие фонетического Ø на месте редуцированного *ў в формах настоящего времени глагола *мыть* (*м/йу/...*) [ВСИ-1 1995: 21—24]; б) обобщение твердого заднеязычного в исходе основы в формах настоящего времени глаголов I спряжения (*неку́, не[k]óшь...*, *берегу́, бере[ɣ]óшь...*) [ВСИ-1 1995: 44, 50—51]; в) отсутствие координации между субъективными и адъективными флексиями в Тв. мн. типа *сух'има дрова́м'и, нóв'има íзба́м'и* [ВСИ-3 2000: 86, 92]; г) наличие лексем *шибко* «очень» [ВСИ 1995: 101, 104], *палка* «валек для выколачивания белья» [ВСИ-2 1998: 302, 309], *квашонка* «деревянная посуда для теста» [ВСИ-2 1998: 260, 264] и др. Среди указанных черт есть как архаические явления, так и новообразования (см. подробнее об этом в [Попова 2006а]).

3. *Юго-западный* ареал, образованный украинско-карпатскими и в ряде случаев южными поднестровскими говорами. Наряду с указанными в п. 1 признаками здесь можно отметить такие черты, как: а) наличие на месте редуцированного *ї в Р. мн. сущ. м. р. гласного [и] (*гост[í], люд[í]*) [ВСИ-1 1995: 21, 29]; б) отражение исконного состояния в системе окончаний Р.,

Д. и М. ед. сущ. ж. р. *a*-основ с различием твердой и мягкой разновидностей (Р. ед. *st'iná, zeml'í*; Д.-М. ед. *st'in'í, zemlǎ*) [ВСИ-2 1998: 172, 193—194]; в) употребление формы Тв. ед. сущ. ж. р. **i*-основ *сóleу, сол'оу, с'леу, с'л'оу* [ВСИ-1 1995: 64—68]; г) наличие флексии *-ме* в глагольной форме 1 л. мн. наст. (*несéме, кóлеме*) [ВСИ-4 2006: 110]; д) употребление синтаксических конструкций *болит н'а голова* (в крайних юго-западных говорах) [ВСИ-2 1998: 245—250] и *по лісoх* [Там же: 229—233]; е) употребление лексемы *кóгут* (< **kogutъ, *kokotъ*) в значении 'петух', восходящей к позднепраславянскому периоду [Там же: 277—285, 288]; ж) наличие лексемы *бьлень* в значении 'бьющей части цепа' (только говоры Прикарпатья и Закарпатья) [ВСИ-4 2006: 153] и др.

4. *Севернорусский и украинско-белорусский ареалы* (их границы могут варьироваться в сторону расширения или сужения), характеризующиеся такими одинаковыми признаками, как: а) сохранение различения глаголов I и II спряжений в формах 3 л. мн. наст. с наосновным ударением (*нішут — дьішат, пóрют — спóрят*) [Попова 2004а: 138]; б) наличие в исключительном употреблении различных флексий в В. ед. и Д.-М. ед. существительных **a*-основ твердой разновидности (рус. *жeны — жене*; укр. *жeни — жені*; полесск. *жeни — женіe*; бел. *жaны — жанe*) [ВСИ-2 1998: 193—194]; в) сохранение старых инфинитивных форм типа *плесті, гресті* [ВСИ-3 2000: 138]; г) различие предударных *o* и *a* [ВСИ-4 2006: 38] и др.

5. Ареал, образованный *украинскими* и, как правило, всеми *белорусскими* говорами, имеет такие архаические черты, как: а) наличие специфического устройства слога, заключающегося в том, что еще до падения редуцированных правило вокального завершения слога было реализовано строго последовательно, в результате чего в сочетаниях **tbt* и **tbt* и в формах *l-ptc sg m* латеральный велярный сонант **l* изменился в билабиальный спонд **w* [ц], что привело к появлению нисходящих дифтонгов *ѣц, ъц*, в то время, как в сочетаниях типа *lC*, образовавшихся после падения редуцированных, и на конце *subst N sg m* латеральный согласный сохранялся (ср. укр. *жоу́тий, тоу́стий, воу́к, поу́ний, бу́*, но *палка, веселка, сті́л*; бел. *воўна, біў*, но *белка, кол* — т. е. данные явления разделены хронологически) [ВСИ-1 1995: 18—20; Калнынь 2005, 59]. Кстати, этот признак выделяет данные говоры в рамках всего славянского континуума (см. [Калнынь 2002: 12]). Ср. также: «Изменение *l > ц*, ограниченное интерконсонантными сочетаниями **ьl (ьl)* и *l-ptc m*, изначально было формой повышения вокализованности конца слога в условиях недопустимости закрытых слогов. Нисходящие *ц*-дифтонги до падения редуцированных могли быть компонентами вокализма праукраинских и прабелорусских диалектов. Эти дифтонги были альтернативой развитию слогового латерального или последовательности *lV* в других славянских диалектах» [Калнынь 2005: 61]; б) наличие конечного ударения в причастиях на *-л* от односложных глаголов (*далá, тилá*) и наосновного ударения в причастиях на *-л* от других типов глаголов (*брáла*) [ВСИ-1 1995: 13]; в) употребление сочетаний *ры, лы*,

ли в безударных слогах в сочетаниях **trbt*, **tlbt*, **trbt*, **tlbt* (укр. *блýchá*, *блýchá*, *дрывá*, *дрывá*; бел. *брывó*, *дрывáмi*, *глытáц'*) [ВСИ-3 2000: 36]; г) наличие сочетаний [ждж, ж'д'ж', шч, шч', ш'ч'] на месте др.-рус. [ж'д'ж'] и [ш'т'ш'] (например, *éжджу*, *г'ушча...*) [ВСИ-2 1998: 60, 61]; д) распространение указательного местоимения *той* в значении рус. лит. «тот» [ВСИ-3 2000: 104]; е) употребление группы дериватов с корнем *пра-* (< **prati*) со значением 'валек для выколачивания белья' в украинских, белорусских и отчасти западнорусских (*праник*, *пранник*, *прачник*, *пральник*) [ВСИ-2 1998: 297—300, 309]; ж) наличие рефлексов слав. **polica* (бел. *палiца*, укр. *палiц'а*) [ВСИ-3 2000: 154]; з) употребление глагола *орать* в значении 'возделывать землю с помощью орудий' (в некоторых белорусских говорах этот глагол отмечен в качестве варианта с другими однозначными глаголами) [ВСИ-1 1995: 91]; и) наличие синтаксической конструкции *по лесах* (бел.), *по лісах* (укр.); данная черта зафиксирована и в некоторых русских говорах, примыкающих к украинским и белорусским [ВСИ-2 1998: 233], и др.

6. По многим признакам выделяется ареал, охватывающий *украинские*, *белорусские* (иногда только *южнобелорусские*) и *южнорусские* говоры. Об этом свидетельствует, например: а) наличие в указанных говорах глагольной флексии /т'/ в формах 3 л. ед. и мн. наст. [ВСИ-2 1998: 160]; б) употребление сочетаний в Тв. мн. определяемого и определения с окончаниями — субъективным *-ами* и адъективным *-ими*: *сух'ím'и дровáм'и* (эта черта отсутствует в крайних юго-западных украинских говорах, но отмечена в части восточных среднерусских говоров) [ВСИ-3 2000: 92—93]; в) распространение лексем *дежá*, *дiжá* (и дериватов *дéжка*, *дзéжка* и др.) в значении 'деревянная посуда, в которой растворяют тесто' (данное явление зафиксировано и в тех юго-западных русских говорах, которые примыкают к белорусским) [ВСИ-2 1998: 257, 264]; г) употребление лексем *цеп*, *цэп* (бел.), *цiп* (укр.), *цеп* (рус.) в значении 'орудие для ручного обмолота' (на русской территории данный ареал продолжается на север, достигая Волги — условная граница: Ржев — Углич — Иваново — Нижний Новгород — Чебоксары) [ВСИ-4 2006: 148]; д) наличие архаической формы И.-В. мн. одушевленных существительных в функции прямого объекта (*пасти коровы*, *конi*, *свинi*, *волы*) [ВСИ-2 1998: 148] и др. Общая реализация некоторых явлений в указанных говорах дала повод Н. Н. Дурново сделать следующее заключение: «Можно подумать, что в доисторическую эпоху говоры, образовавшие позднее м.-р. и б.-р. языки и ю.-в.-р. наречие в.-р. языка, составляли одну группу» [Дурново 1969: 211].

7. Многие явления свидетельствуют об известной обособленности *украинского языка*; так, только в украинских говорах находим: а) отсутствие последовательного смягчения согласных перед рефлексами **e* (перешедшего в [e]), **e*, сильного **ь* и **i*, а также отверждение исконно мягких **l'* и **n'* в ряде позиций [Попова 2005б: 52—54]; б) наличие артикуляционного сближения по уровню подъема предупредных [e] и [и] [ВСИ-4 2006: 39];

в) употребление стяженной глагольной формы 3 л. ед. наст. типа *зна* (только в юго-восточных украинских говорах) [ВСИ-2 1998: 74, 77]; в) наличие глагольной парадигмы настоящего времени, образованной по модели *л'убл'у́, л'убл'ат' — л'убиш...* [Там же: 95—96, 104]; г) обобщение исхода основы в парадигме наст. вр. глаголов на заднеязычный по шипящему варианту (*печу́, печо́ш...*) [ВСИ-1 1995: 44, 51—52]; д) употребление указательного местоимения *цей* в значении «этот» (в большинстве украинских говоров) [ВСИ-3 2000: 105]; е) наличие лексем *зозуля* в значении «кукушка» [ВСИ-2 1998: 275] и *копа* в значении «укладка снопов» [ВСИ-4 2006: 171] и мн. др. Большинство из указанных здесь признаков относятся к архаическим явлениям. (Представляет интерес мнение Г. Ю. Шевелева, который полагал, что формирование и развитие украинского языка началось в рамках праславянского языка; он рассматривал украинский язык как непосредственное продолжение той ветви праславянского языка, на которой говорили на территории, расположенной приблизительно между Карпатами и Днестром в его средней части. Исходную звуковую систему украинского языка можно возвести, по его мнению, к VI—VII вв. [Шевельов 2002: 72].)

8. Ареал, образованный *русскими* говорами (иногда этот ареал расширяется за счет *севернобелорусских* говоров), характеризуется, например, такими чертами, как: а) наличие рефлексов плавных с редуцированными *ро, ло, ре, ле* в интерконсонантной позиции (*кровь, кровавый, блоха, глотка, слеза*) [ВСИ-3 2000: 35—36]; б) употребление гласного [о] на месте **ў* во флексии И. ед. прилагательных мужского рода (*молодой, глухой*) — за исключением юго-западных русских говоров [ВСИ-1 1995: 21] и нестяженной формы во флексии прилагательных в форме И. ед. ж. р. типа *но́вайя, молодáйя* [ВСИ-3 2000: 48]; в) отсутствие протезы перед инициальными лабиализованными гласными (*орех, ухо*) [ВСИ-2 1998: 27, 28]; г) употребление исконной модели парадигмы наст. вр. в глаголах типа *любить* (*л'убл'у́ ~ л'уб'иш, л'уб'ат / л'уб'ат'*) — за исключением говоров верхнедеснинской группы и западной части курско-орловских говоров [Там же: 104]; д) наличие флексии *-м* в глагольной форме 1 л. мн. наст. в исключительном употреблении [ВСИ-4 2006: 110]; е) употребление инфинитивов типа *п'исáт', ход'ít', в'íd'ет'*, являющихся новообразованиями [ВСИ-3 2000: 128]; ж) наличие указательного местоимения *тот* в значении русск. лит. 'тот' [Там же: 104]; з) распространение синтаксической конструкции числительного с существительными в форме Р. пад. типа *два мужика, два стола, две жены*, исторически восходящей к форме утраченного двойственного числа [ВСИ-2 1998: 256]; и) наличие разнообразных рефлексов слав. **otvalъ* для названий 'отвала плуга'; к) употребление дериватов с корнем **kuk-* в значении 'кукушка' (*куку́шка, коку́шка, куку́ша, коку́ша, куку́ля...*) [Там же: 265, 275] и мн. др.

9. Ареал, образованный *южнорусскими* и восточной частью *среднерусских* говоров (границы этого ареала либо расширяются, либо сужаются), занимает на территории распространения восточнославянских диалектов

как бы центральное место. В говорах указанного ареала отмечены следующие признаки: а) допустимость мягких губных согласных на конце слова перед паузой (это же явление зафиксировано на Крайнем Севере — в районе Каргополя, Вельска и Великого Устюга) [ВСИ-3 2000: 30]; б) употребление лексемы *валёк* в значении ‘валек для выколачивания белья’ (отмечено в костромских, южновологодских, восточных среднерусских, рязанских, тульских, верхнедеснинских говорах) [ВСИ-2 1998: 300—301]; в) наличие синтаксической конструкции с употреблением В. пад. в функции прямого объекта, являющейся новообразованием: *дай нож, одолжи нож, нашел гриб* (в исключительном употреблении эта черта распространена в южной части восточных среднерусских говоров, а также в рязанских, курско-орловских, елецких, оскольских) и др.

10. Ареал, образованный в основном *русскими* и в ряде случаев *белорусскими* говорами, который представляет собой на восточнославянской территории *диагональ*, идущую с северо-запада на юго-восток (границы этого ареала могут варьироваться). В данных говорах отмечены такие явления, как: а) неразличение предударных *a* и *o* по модели аканья [ВСИ-3 2000: 29]; б) употребление таких новообразований, как формы инфинитива типа *гр'ес'т', с'ес'т', пл'ес'т'* [Там же: 138] и типа *п'еч', б'ер'еч'* (в безвариантном употреблении) [Там же: 118]; в) наличие морфонологических чередований в исходе основы глаголов на заднеязычный типа <К ~ К'> в парадигме настоящего времени *пекú ~ пек'óш...* (это же явление распространено и в небольшом северном ареале — от Онежского озера до Сухоны) [ВСИ-1 1995: 44, 48—50] и др.

11. Ареал, образованный *русскими северо-западными* говорами, можно охарактеризовать следующими чертами: а) неразличение флексий в Р., Д. и М. ед. в существительных жен. рода **a*-основ твердой разновидности — *жены, коровы* [ВСИ-2 1998: 193—194]; б) наличие лексемы *гораздо* в значении ‘очень’ [ВСИ-1 1995: 101, 102—103]; в) употребление лексемы *петún* в значении ‘петух’ [ВСИ-2 1998: 281—282, 288]; г) наличие рефлексов слав. **kridlo* в значении ‘отвал плуга’ [ВСИ-3 2000: 156, 157]; д) употребление лексем *цепéц, тенéц, кепéц* в значении ‘бьющая часть цепа’ [ВСИ-4 2006: 153] и др.

12. Стало возможным выделение зон, в которых наиболее часто фиксируются архаические явления (это, как правило, периферийные говоры), и зон, в которых обычны инновации (это, как правило, говоры центральных территорий), ср., например, реализацию «тематического гласного» в формах настоящего времени от глаголов I спряжения лабиализованным гласным типа [o] (в центре восточнославянского пространства) и нелабиализованным гласным типа [не-о] (на периферии), т. е. *н'ес'óm ~ несém* [Попова 2005б].

13. Достаточно четко обрисовываются зоны, противопоставленные по признакам вокальности ~ консонантности. Так, при переходе от русских говоров к украинским и белорусским выделяется ареал, в котором «гласные в слове образуют взаимосвязанный блок, и это сочетается с понижен-

ем уровня консонантности в звуковой цепи в виде изменений, присущих в целом более западной части восточнославянских диалектов [ВСИ-3 2000: 25]. Эпицентром с максимально высоким уровнем вокальности можно назвать северноукраинские говоры в пределах Волынской области. Самый высокий уровень консонантности (с наличием мягких губных на конце слова, ассимилятивным смягчением губных перед [к'], нулевой редукцией безударных гласных и с отсутствием каких-либо явлений, свидетельствующих о снижении уровня консонантности) характеризует русские говоры на юго-востоке восточнославянского диалектного континуума (см. подробнее о сложной дифференциации восточнославянских диалектов по признакам вокальность ~ консонантность в [ВСИ-3 2000: 10—30]).

14. Исследование соотношения отдельных изоглосс и пучков изоглосс, расположенных в рамках всей восточнославянской территории, помогло в ряде случаев решить вопрос о явной архаичности некоторых явлений, которые ранее считались инновациями (об этом упоминалось выше). Так, например, изоглоссы отдельных явлений (ср., например, очень близкие изоглоссы чередования ⟨P1'~P'⟩ и отсутствия чередования ⟨P'⟩ в парадигме наст. ед. глаголов типа *любить*) могут быть интерпретированы как принадлежащие в качестве вариантов позднепраславянскому периоду только на том основании, что они совпадают с изоглоссами тех явлений, архаичность которых несомненна (см. об этом в [Попова 1998; 2006a]).

15. Важно также отметить, что лингвогеографическое изучение диалектных явлений на всем восточнославянском пространстве в сочетании с данными памятников письменности дали возможность определить направление (движение) в географическом плане развития многих явлений (например, инфинитивных форм типа *печ'*, *берэч'* — с юга на север), а также их продуктивность и непродуктивность. Выше упоминалось, что именно картографирование явлений на *большой территории* — в данном случае речь идет о восточнославянском пространстве — дает веские основания для новых интерпретаций, казалось бы, известных уже фактов; и только большая территория позволяет увидеть, анализируя расположение, соотношение и конфигурацию ареалов, движение и направление, в котором развивается явление, а также связи его с другими явлениями. Это наглядно подтверждено картами и комментариями, вошедшими в четыре выпуска ВСИ.

Таким образом, описанные выше ареалы в своей совокупности представляют синхронное состояние восточнославянского диалектного ландшафта, который, выступая как неделимый и целостный лингвистический объект, характеризуется в то же время ярко выраженной диалектной дифференцированностью. Важно также отметить, что на основании лингвогеографического анализа диалектного материала всех трех восточнославянских языков (с привлечением в ряде случаев данных памятников письменности и исследований по истории указанных языков) в работе сделаны определенные заключения, относящиеся не только к собственно географическому распределению разных соотносительных диалектных явлений (диалектных

вариантов) и конструированию *новых* изоглосс (реально показывающих диалектное членение всей восточнославянской территории), но и к истории их возникновения (см. об этом в рецензиях на ВСИ-1, ВСИ-2, ВСИ-3: [Горшкова 1997; Преображенская 2000; Иванов 2003; Иорданиди 2003; Вялкина 2003; Венедиктов 2004]; см. также [Калнынь, Клепикова, Попова 2004: 359, 366—367]).

Можно высказать предположение, что, когда весь корпус карт и комментариев к ним будет представлен в завершённом виде, появится возможность сформулировать выводы общего характера как результат лингвогеографического изучения территории восточнославянских языков / диалектов; эти выводы должны осветить следующие аспекты: а) исторический — в связи с реальной историей народа и в связи с историей самих языковых явлений и процессов; б) типологический и в) культурологический (см. также [Бромлей 2006]). Этот этап работы над ВСИ можно было бы рассматривать в качестве подготовительного к созданию исторической диалектологии русского языка.

В ближайшие годы авторы коллективного труда ВСИ ставят перед собой решение следующих задач. Это продолжение исследования отдельных явлений в лингвогеографическом аспекте (т. е. накопление новых карт); уже начата важнейшая работа по интерпретации изоглосс (см. [Клепикова 2006; Попова 2006а]); предполагается более углублённая разработка вопросов, связанных с каталогизацией и типологией ареалов; проводится сопоставление с показаниями истории и археологии единиц диалектного членения, а также ареалов преимущественного распространения говоров разных типов структурно-типологической классификации русских говоров (см. [Пшеничнова 2006]); предполагается освещение важной для теории диалектологии дискуссионной проблемы, связанной с разграничением так называемых смешанных и переходных говоров — особенно в зонах межъязыковых пограничій (см. [Пеньковский 1969]).

О желательном и возможном будущем развитии темы «Восточнославянские изоглоссы» см. в: [Калнынь, Клепикова, Попова 2004: 366—367].

Л и т е р а т у р а

Аванесов 1964 — Р. И. А в а н е с о в. О состоянии и задачах научных исследований в области диалектологии // ИАН ОЛЯ. 1964. № 6. С. 558—562 (Заседание Бюро ОЛЯ, посвящ. задачам науч. исслед. в области диалектологии).

Аванесов, Бернштейн 1958 — Р. И. А в а н е с о в, С. Б. Б е р н ш т е й н. Лингвистическая география и структура языка // Славянское языкознание. IV Международ. съезд славистов: Докл. сов. делегации. М., 1958. С. 30.

Бромлей 1979 — С. В. Б р о м л е й. Лингвогеографическое изучение восточнославянской языковой области // Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка: Тез. докл. и сообщ. (Душанбе, 12—15 ноября 1979 г.). М., 1979.

Бромлей 1985а — С. В. Бромлей. Различия в степени вокализованности сонорных и их роль в противопоставлении центральных и периферийных говоров // Диалектография русского языка / Отв. ред. Р. И. Аванесов, А. И. Горшков. М., 1985. С. 8—31.

Бромлей 1985б — С. В. Бромлей. Восточнославянские языки как объект лингвогеографии // Восточные славяне: Языки. История. Культура. М., 1985. С. 172—179.

Бромлей 2006 — С. В. Бромлей. Восточнославянские изоглоссы // Восточнославянские изоглоссы. Вып. 4. М., 2006. С. 172—175.

Букринская, Кармакова 2003 — И. А. Букринская, О. Е. Кармакова. Противопоставление центральных и периферийных ареалов в восточнославянской лингвогеографической традиции // К XIII Междунар. съезду славистов. Славянское языкознание: Материалы конф. (Москва, июнь 2002) / Отв. ред. А. М. Молдован; ИРЯ РАН. М., 2003. С. 3—16.

Булатова 2002 — Л. Н. Булатова. Софья Владимировна Бромлей — ученица Рубена Ивановича Аванесова и продолжательница его дела // Аванесовский сборник. М., 2002. С. 157—166.

Вендина 2004 — Т. И. Вендина. Восточнославянские языки в общеславянском контексте // Общеславянский лингв. атлас: Материалы и исслед. 2001—2002. М., 2004. С. 70—86.

Венедиктов 2004 — Г. К. Венедиктов. [Рец. на кн.:] Восточнославянские изоглоссы. Вып. 3. М., 2000 // Общеславянский лингв. атлас: Материалы и исслед. 2001—2002. М., 2004. С. 377—385.

ВСИ-1 1995 — Восточнославянские изоглоссы / Отв. ред. Т. В. Попова. М., 1995.

ВСИ-2 1998 — Восточнославянские изоглоссы. Вып. 2 / Отв. ред. Т. В. Попова. М., 1998.

ВСИ-3 2000 — Восточнославянские изоглоссы. Вып. 3 / Отв. ред. Т. В. Попова. М., 2000.

ВСИ-4 2006 — Восточнославянские изоглоссы. Вып. 4 / Отв. ред. Т. В. Попова. М., 2006.

Вялкина 2003 — Л. В. Вялкина. [Рец. на кн.:] Восточнославянские изоглоссы. Вып. 3. М., 2000 // Рус. яз. в науч. освещении. 2003. № 2 (6). С. 283—287.

Горшкова 1997 — К. В. Горшкова. Восточнославянские языки как объект лингвогеографии // Вестник МГУ. Сер. 9, Филология. 1997. № 4.

Десницкая 1977 — А. В. Десницкая. К вопросу о предмете и методах ареальной лингвистики // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977. С. 22—29.

Дурново 1969 — Н. Н. Дурново. Введение в историю русского языка. М., 1969.

Зализняк 1988 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка // Славянское языкознание: X Междунар. съезд славистов: Докл. сов. делегации. М., 1988. С. 164—177.

Зализняк 2004 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М., 2004.

Иванов 2003 — В. В. Иванов. [Рец. на кн.:] Восточнославянские изоглоссы. Вып. 2. М., 1998 // Общеславянский лингв. атлас: Материалы и исслед. 1997—2000. М., 2003. С. 148—152.

Иорданиди 2003 — С. И. Иорданиди. [Рец. на кн.:] Восточнославянские изоглоссы. Вып. 3. М., 2000 // ВЯ. 2003. № 5. С. 123—129.

Калнынь 1998 — Л. Э. Калнынь. Диалектная карта как инструмент изучения особенностей славянского диалектного континуума // Синтагматика сонантов в славянских диалектах 5. Актуальные проблемы славянской лингвогеографии / Отв. ред. Г. П. Клепикова. М., 1998. С. 8—81.

Калнынь 2001 — Л. Э. Калнынь. Фонетическая программа слова как пространство фонетических изменений в славянских диалектах / Отв. ред. А. Ф. Журавлев. М., 2001.

Калнынь 2002 — Л. Э. Калнынь. Восточнославянская лингвогеография и ее отношение к славянскому континууму // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 8. Восточнославянская диалектология, лингвогеография и славянский контекст. М., 2002. С. 11—18.

Калнынь 2005 — Л. Э. Калнынь. Синтагматика сонантов в славянских диалектах / Отв. ред. А. Ф. Журавлев. М., 2005 (Исследования по славянской диалектологии. Вып. 11).

Калнынь, Клепикова, Попова 2004 — Л. Э. Калнынь, Г. П. Клепикова, Т. В. Попова. Славянская диалектология: некоторые итоги и перспективы развития: (К 40-летию Координационного совещания по актуальным проблемам славяноведения) // Общеславянский лингв. атлас: Материалы и исслед. 2001—2002. М., 2004. С. 356—377.

Клепикова 2006 — Г. П. Клепикова. Дифференциация восточнославянского диалектного континуума и ОЛА // Восточнославянские изоглоссы. Вып. 4. М., 2006. С. 10—29.

Николаев 1994 — С. Л. Николаев. Раннее диалектное членение и внешние связи восточнославянских диалектов // ВЯ. 1994. № 3. С. 23—49.

Пеньковский 1969 — А. Б. Пеньковский. К проблеме смешанных и переходных говоров // Учен. зап. Владимир. гос. пед. ин-та. Сер. Рус. яз. Вып. 2. Владимир, 1969. С. 152—185.

Попова 1995 — Т. В. Попова. Введение // Восточнославянские изоглоссы. М., 1995. С. 3—9.

Попова 1997 — Т. В. Попова. Восточнославянские изоглоссы // Вестник РГНФ. 1997. № 3. С. 205—212.

Попова 1998 — Т. В. Попова. Морфонологические структуры глагольных парадигм в восточнославянских диалектах // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 5. Актуальные проблемы славянской лингвогеографии / Отв. ред. Г. П. Клепикова. М., 1998. С. 82—100.

Попова 2004а — Т. В. Попова. Безударные флексии в глагольной форме 3 лица множественного числа настоящего времени в современных восточнославянских диалектах // Общеславянский лингв. атлас: Материалы и исслед. 2001—2002. М., 2004. С. 113—139.

Попова 2004б — Т. В. Попова. Сопоставление данных национальных атласов как метод установления новых изоглосс // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 9. Методы изучения территориальных и социальных диалектов: К итогам опыта славянской диалектологии XX века. М., 2004. С. 54—59.

Попова 2005а — Т. В. Попова. К вопросу о схождениях между украинскими и болгарскими диалектами в области фонетики // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 6. Славянская диалектология и история языка / Отв. ред. Л. Э. Калнынь. М., 2005. С. 279—295.

Попова 2005б — Т. В. П о п о в а. К вопросу об изменении [е] в [о] в восточнославянских диалектах // Там же. С. 44—60.

Попова 2006а — Т. В. П о п о в а. Синхронная и диахроническая интерпретация северо-восточных и юго-западных изоглосс восточнославянского диалектного континуума // Славистика: диахрония и синхрония. М., 2006. С. 600—617.

Попова 2006б — Т. В. П о п о в а. О некоторых вопросах, связанных с интерпретацией восточнославянского диалектного континуума // Актуальные проблемы русской диалектологии: Тез. докл. Междунар. конф. 23—25 октября 2006 г. М., 2006. С. 155—157.

Попова 2006в — Т. В. П о п о в а. К вопросу об интерпретации восточнославянских изоглосс // Общеславянский лингв. атлас: Материалы и исслед. 2003—2005. М., 2006. С. 118—145.

Преображенская 2000 — М. Н. П р е о б р а ж е н с к а я. [Рец. на кн.:] Восточнославянские изоглоссы. М., 1995 // Общеславянский лингв. атлас: Материалы и исслед. 1994—1996. М., 2000. С. 303—309.

Пшеничнова 2006 — Н. Н. П ш е н и ч н о в а. Некоторые итоги структурно-типологической классификации русских говоров в соотношении с археологическими и историческими данными: севернорусские говоры // Славистика: диахрония и синхрония. М., 2006. С. 578—599.

Седов 1994 — В. В. С е д о в. Восточнославянская этноязыковая общность // ВЯ. 1994. № 4. С. 3—16.

Толстой 1977 — Н. И. Т о л с т о й. О соотношении центрального и маргинального ареалов в современной Славии // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977. С. 37—56.

Трубачев 1997 — О. Н. Т р у б а ч е в. В поисках единства: Взгляд филолога на проблему истоков Руси. 2-е изд., доп. М., 1997.

Трубачев 2000 — О. Н. Т р у б а ч е в. Из истории и лингвистической географии восточнославянского освоения // ВЯ. 2000. № 5. С. 4—27.

Трубачев 2002 — О. Н. Т р у б а ч е в. Из истории и лингвистической географии восточнославянского освоения // Материалы и исследования по русской диалектологии. 1 (VII). К 100-летию со дня рожд. чл.-кор. РАН Р. И. Аванесова. М., 2002. С. 5—25.

Филин 1973 — Ф. П. Ф и л и н. К проблеме происхождения славянских языков // Славянское языкознание. VII Междунар. съезд славистов: Докл. сов. делегации. М., 1973. С. 378—390.

Шевельов 2002 — Юрій Ш е в е л ь о в. Історична фонологія української мови / Переклад з англійської С. Вакуленка та А. Данеленка. Харків, 2002.

С. В. КНЯЗЕВ, Е. В. ШАУЛЬСКИЙ

**ГЕНЕЗИС ДИССИМИЛЯТИВНОГО АКАНЬЯ
(В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ ФОНОЛОГИЗАЦИИ
ФОНЕТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ)***

В диалектологии аканьем принято называть нейтрализацию безударных гласных, которая может осуществляться в любом звуке: после парных твердых согласных это обычно [а] и/или [ъ] (реже [ы]), а после мягких — [а] и/или [ь] ([и]) [Аванесов 1949: 62, 66]. В позиции после твердых согласных этот тип вокализма называется аканьем в узком смысле [Аванесов 1949: 62]¹.

Одной из особенностей ряда говоров южнорусского наречия является диссимильативное аканье — такой тип вокализма в первом предударном слоге после парных твердых согласных, при котором фонетическая реализация гласных фонем неверхнего подъема определяется качеством (а в некоторых случаях — этимологией) гласного ударного слога. Надежно выделяются и многократно описаны два типа такого аканья: архаический (обоянский) и жиздринский (белорусский) (см. табл. 1).

Системные соображения позволяют предположить существование и третьего типа диссимильативного аканья (табл. 2).

* Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Нидерландской организации по научным исследованиям (NWO), грант № 047.011.2005.017. Предварительная версия данной работы была представлена в качестве доклада на Международной конференции «Актуальные проблемы русской диалектологии» 23 октября 2006 г., см. [Князев, Шаульский 2006].

¹ Ср. также: «В настоящее время в русском языкознании под аканьем (в широком смысле) принято понимать неразличие гласных неверхнего подъема в первом предударном слоге — *независимо от того, какие именно гласные произносятся в этой позиции в каждом конкретном диалекте*» [Хабургаев 1965: 55; курсив наш. — С. К., Е. Ш.]. В работах Л. Л. Касаткина развивается иное понимание термина *аканье*, актуализирующее его внутреннюю форму: «Аканье ⟨...⟩ в узком смысле — неразличение /о/ и /а/ в безударном положении после твердых согласных *при совпадении их в части позиций в звуке [а]*» [Касаткин (ред.) 2005: 37; курсив наш. — С. К., Е. Ш.].

Таблица 1

Архаический и жиздринский типы диссимильативного аканья

архаический		жиздринский	
предударный гласный	ударный гласный	предударный гласный	ударный гласный
а	и ы у ё ô	а	и ы у ё ô
ъ	е о а		е о
		ъ	а

Таблица 2

Третий потенциально возможный тип диссимильативного аканья

предударный гласный	ударный гласный
а	и ы у
ъ	ё ô
	е о а

Однако вопрос о его действительном наличии в современных говорах или предшествовавших им системах до сих пор нельзя считать окончательно проясненным: «В современных говорах в „чистом“ виде этот вокализм не отмечен. Существование такой системы можно предполагать (по недостаточно достоверным материалам) в нескольких населенных пунктах на территории Прохоровского, Боброво-Дворского, Чернянского и Волоконовского районов Белгородской области» ([Кузнецов (ред.) 1973: 50] — раздел написан Т. Ю. Строгановой).

Сравнительно недавно в научный оборот были введены тексты из с. Бояновичи Хвастовичского р-на Калужской обл., где предполагается наличие подобного типа вокализма, который предложено называть *прохоровским* [Касаткина (ред.) 1999: 46]; в литературе встречается по отношению к этому типу и название *донской*, по аналогии с соответствующим типом яканья [Колесов (ред.) 1998: 63]. Однако полного соответствия третьему типу диссимильативного аканья в опубликованных текстах не наблюдается: в сопровождающей их транскрипции отмечаются многочисленные отступления от него ([рлд'им'ин'к'и], [γəwəp'у], [нэ блжн'йцу], [пллжыль], [таб'э], [наwэрнъ], [нэ картóху], [жирадрóm], [пашлá], [кал'йáск'и] и т. п.; сплошной инструментальный анализ позволяет обнаружить гораздо большее их количество), а для обозначения всех возможных гласных в первом предударном слоге от [э] до [а] включительно используются пять разных символов.

Не решен вопрос и о возможном происхождении прохоровского аканья. Р. И. Аванесов предполагал, что этот тип «может быть объяснен отходом

диссимилятивного аканья белорусского типа, а также, возможно, влиянием соседних украинских говоров» [Аванесов 1974: 146]; согласно В. В. Колесову, он вторичен по отношению к донскому яканью и развился по аналогии с ним [Колесов (ред.) 1998: 63].

В истории русского языка компенсаторная диссимиляция гласных первого предударного и ударного слогов изначально осуществлялась по длительности: перед долгим ударным произносился краткий предударный и наоборот. Эта идея впервые была сформулирована О. Брокком в 1916 г.: «Мена сьхá : сахú, sístrá : šastrú, по-видимому, связана сначала с отношениями долготы в ударяемом и предшествующих слогах. (...) Можно предположить, что появление „ǫ“ : „ǭ“ (а) зависело сначала от долготы следующего, ударяемого гласного (...). С первоначальными количественными отношениями общеславянской и общерусской эпох эти ударяемые долготы : краткости не имеют, по-видимому, никакой прямой связи. Они выросли, напротив, по исчезновении старших, этимологических количественных отношений. За то обзор говоров, интересующих нас в данном вопросе, показывает, что ударяемому *a* правильно предшествует ъ, т. е. краткость, ударяемым же *i*, *u*, т. е. гласным высокого образования, так же правильно предшествует *a*, т. е. долгота. Заключаю из этого, что речь идёт о количестве „натурой“; *á* было натурой „долгим“, *í* и пр. натурой „краткими“ гласными. Можно предположить, что такая разница зависит от того признанного явления, что при обстоятельствах, в остальном тождественных, гласный вообще тем длиннее, чем его образование шире» [Брок 1916: 57—59]. Действительно, из общей фонетики известно свойство гласного быть тем длительнее, чем ниже его подъем — так, в среднем, при прочих равных условиях, в современном русском литературном языке собственная длительность ударных гласных верхнего подъема ([и], [ы], [у]) составляет около 75 %, а длительность ударных гласных среднего подъема ([е], [о]) — около 90 % от длительности ударного гласного нижнего подъема [а] [Кузнецов, Отт 1989: 68]. Таким образом, в говорах с диссимилятивным аканьем перед самым долгим гласным, ударным [á], выступает краткий [ъ] (после мягких согласных — [ь], [и]), перед самыми краткими ударными [í ы ú] — долгий [а]; гласные среднего и средне-верхнего подъема по долготе занимают промежуточное положение и сейчас могут выступать либо как «функционально долгие», либо как «функционально краткие», требуя в зависимости от этого в предшествующем слоге либо [ъ], либо [а]. Сам О. Брок позднее счел убедительными доводы А. А. Шахматова [1915: 331—343], который для всех акающих говоров считал исходным архаический (обоянский) тип диссимилятивного аканья-яканья²: «Уже во время печатания настоящего

² Следует отметить, что в начале XX в., когда работали О. Брок, А. А. Шахматов, Н. Н. Дурново, различные типы диссимилятивного аканья (в узком смысле) в русских говорах еще не были описаны, известен был лишь белорусский тип (открытый А. А. Шахматовым [1896: 65]); названные учёные, следовательно, могли

труда я получил Выпуск 11.1 Энциклопедии славянской филологии, в котором Шахматов развивает свои широкие, в высшей степени интересные соображения о всех тех количественных и других явлениях, в которые здесь описываемые отношения входят как частичное развитие. Под влиянием его доводов мои мнения должны более или менее изменяться; разные вопросы у меня поставлены вообще слишком узко; но переменить все мое изложение, к сожалению, невозможно; поэтому оставляю его нетронутым» [Брок 1916: 61]. Впрочем, в работах О. Брока нет никаких указаний на то, что он считал первичным именно диссимильативное аканье, более того, его гипотеза — в отличие от концепции А. А. Шахматова — не требует этого допущения в обязательном порядке. Мы, таким образом, придерживаемся точки зрения, согласно которой первичным является недиссимильативное аканье — именно из него непротиворечиво и без дополнительных допущений выводятся все известные в настоящее время модели акающего вокализма как после твердых, так и после мягких согласных [Князев 2000; 2001; 2003; Князев, Пожарицкая 2002]. Можно предполагать, что в процессе формирования количественно-динамического ударения все ударные гласные определенным образом (в первую очередь по длительности) оказались противопоставлены гласным безударных слогов. Удлинение гласных под ударением вело к сокращению безударных гласных и редукации их до степени [ъ] ([’ъ]), в особенности тех гласных, которые находились перед ударными, точно так же, как сокращались сверхкраткие ъ и ь в позиции перед гласными полного образования в эпоху падения редуцированных. При этом сокращению обычно подвергались все гласные, кроме самых кратких, каковыми являлись гласные верхнего подъема: «Гласные высокие, *i* и *u*, сохранились (...). Гласные же со средним и низким положением языка распались на две группы, в зависимости от положения после твердого или мягкого согласного. Нужно предположить, что разные гласные внутри каждой из этих групп все сливались в свое время в предударном слоге в одну и ту же „редуцированную“ гласную артикуляцию, после твердого согласного в задний, а после мягкого согласного в передний „иррациональный“ оттенок — т. е. в какие-то „ъ“ и „ь“, представлявшие относительные гласные положения безразличности. Первоначальная разница между гласными внутри этих групп (*a, o* — *’e, ’ъ, ’a, ’o*) таким образом исчезла совсем; зато развилась новая разница внутри каждой группы, но уже в зависимости от

при построении своих гипотез основываться лишь на данных о различных моделях диссимильативного аканья, которые были известны лучше. Ср.: «По имеющимся записям диалектологических матерьялов и описаниям говоров эти изменения (совпадение *ô* и *o*, *ě* и *e*. — *С. К., Е. Ш.*) можно проследить только на произношении предударных гласных после мягких, так как после твердых диссимильативность в большей части ю.-в.-р. говоров или утрачена, или не отмечена наблюдателями (...) относительно сохранения диссимильативности после твердых в таких говорах имеющиеся сведения не достаточны» [Дурново 1969: 157]. Архаический тип диссимильативного аканья был открыт Т. Ю. Строгановой в 50-е гг. XX в. [Строганова 1955].

гласного следующего, ударяемого слога ⟨...⟩ в зависимости от количества его» [Брок 1916: 26]. Эта зависимость изначально представляла собой чисто фонетическую коартикуляционную закономерность и лишь позднее была разными способами фонологизирована³ в некоторых акающих говорах.

Итак, первичная акающая модель вокализма должна была характеризоваться произношением нейтрального звука «положения безразличности» типа [ъ] ([ʔъ]) в первом предударном слоге на месте всех гласных фонем неверхнего подъема. В этой системе длительность гласного в первом предударном слоге, вероятно, равномерно убывала с понижением подъема ударного гласного (т. е. увеличением его собственной длительности). В современных говорах подобной модели вокализма до сих пор описано не было. Собственно, процесс фонологизации такой квантитативной зависимости мы понимаем как процесс установления четкой границы (будем называть ее *линией фонологизации*) между ударными гласными разного подъема, соответствующей их «функциональной долготе / краткости». Гласные функционально разделяются, таким образом, на два класса: те, что выше линии фонологизации — «функционально краткие», те, что ниже — «функционально долгие»⁴. Постепенность и равномерность убывания длительности предударного гласного уступает место резко выраженному противопоставлению долгих и кратких. В говорах с формирующимся жиздринским аканьем линия фонологизации прошла между нижним и средним подъемами, в говорах с архаическим — между средним и средне-верхним⁵. При этом различия между долгим и кратким гласными первого предударного слога [а] и [ъ] в этих говорах разительны, а изменение от одного гласного к другому происходит скачкообразно⁶. Приведем в качестве примера данные о каче-

³ Под фонологизацией в данном случае мы имеем в виду превращение живого фонетического процесса в лингвистическое правило, а не появление каких бы то ни было новых фонологических единиц.

⁴ Речь здесь идет именно о «функциональной» долготе / краткости, т. к. в современных говорах с диссимилятивным аканьем (в широком смысле) ударные гласные разной длительности (resp. подъема) могут обуславливать появление в первом предударном слоге одного и того же гласного: в частности, именно так устроены «косые» типы яканья, см. прим. 5.

⁵ Мы называем системы, подобные архаическому или жиздринскому аканью (яканью), «прямыми», т. к. граница между подъемами в зоне переднего ряда проходит там же, где и в зоне непереднего ряда. Существуют и «косые» системы, характеризующие, например, дмитриевский или мосальский типы диссимилятивного яканья: в говорах с дмитриевским яканьем линия фонологизации в зоне переднего ряда проходит между средне-верхним и верхним подъемом, а в зоне непереднего — между средним и средне-верхним; в говорах с мосальским типом — соответственно между средне-верхним и верхним в зоне переднего ряда, нижним и средним — в зоне непереднего.

⁶ «⟨...⟩ во всех системах, где диссимилятивное аканье — живое явление ⟨...⟩, наблюдается довольно последовательное и четкое противопоставление звучаний

стве⁷ и длительности ударного и первого предударного гласного в зависимости от подъема ударного⁸ в говоре д. Губарево Семилукского р-на Воронежской обл.⁹, где жиздринское аканье сочетается с донским яканьем (табл. 3).

Таблица 3

Жиздринское аканье и донское яканье в воронежском говоре

ударный гласный параметры	верхнего подъема	среднего подъема	нижнего подъема	верхнего подъема	среднего подъема	нижнего подъема
	после твердых согласных			после мягких согласных		
длительность гласного 1-го предуд. слога, мс	112,6	96,2	65,0	147,1	60,1	81,4
длительность ударного гласного, мс	102,0	93,7	113,6	97,8	71,7	118,7
длительность гласного 1-го предуд. слога в % от длительности ударного	110	103	57	150	84	69
F ₁ гласного 1-го предуд. слога, Гц	859	844	564	726	369	373

Скачок в относительной длительности первого предударного гласного и в значении его F₁ связан, таким образом, с необходимостью пересечения линии фонологизации — границы между «функционально долгими» и «функционально краткими» гласными ударного слога.

гласных на месте этимологических *o-a* перед двумя указанными типами ударенных гласных: нижнего подъема (и действующими на предударный вокализм аналогично) и верхнего подъема (и действующими на предударный вокализм аналогично)» [Сталькова 1973: 76]. Показательно, что, по данным С. С. Высотского, длительность всех гласных, воплощающих звукотип не-[a] перед функционально долгим ударным гласным при диссимильативном аканье, примерно одинакова и при этом меньше длительности [a] перед функционально кратким: «Длительность гласного первого предударного слога *ъ, ъ^{bt}* (...) не отличается от длительности гласных нижнего подъема в этой же позиции — *ы, у, э, (э^{bt}), а, а^y, а^o* (встречаемых в ф(онетических) словах при диссимильативном аканье)» [Высотский 1973: 37].

⁷ Подъему гласного соответствует в первую очередь положение F₁, а значение F₂, обычно связываемое с признаком ряда, в значительной степени зависит от консонантного контекста.

⁸ Без учета редуцированных служебных слов и слов с интонационным продлением гласных. Измерения производились при помощи компьютерной программы Speech Analyzer Ver. 1.5; ниже в таблицах 3, 5 и 6 приводятся среднеарифметические значения.

⁹ Текст № 39 в [Касаткина (ред.) 1999].

Иная картина наблюдается после твердых согласных в калужском говоре¹⁰, вокализм которого был описан как прохоровское аканье (см. выше). Ниже в табл. 4¹¹ приведены данные измерений частоты F_1 и F_2 гласного первого предупредного слога и его длительности, а также длительности ударного гласного для всех слов, содержащих в первом предупредном слоге гласные фонемы неверхнего подъема после твердого согласного; в табл. 5 — среднеарифметические значения этих параметров.

Таблица 4

Формантная структура и длительность всех гласных первого предупредного слога после твердых согласных на месте гласных фонем неверхнего подъема в соотношении с длительностью ударных гласных разного подъема в тексте из калужского говора

$F_1 / F_2, Гц$	л п / у, мс	уд., мс	
й ы ў			
507,3 / 1610,3	88	86	звры́ут'
	91	119	засы́п'ут'
761,2 / 1712,7	71	95	гады́
659,5 / 1471,1	80	161	върау́ша
711,6 / 1250,6	62	101	маледу́ју
797,1 / 1520,8	70	90	пајду́
511,4 / 1704,3	60	113	схаді́ла
	91	70	у́ввар'ід'
643,3 / 1571,5	64	62	ад'и́н
764,0 / 1814,9	61	70	пајду́
	83	68	рѣд'и́м'ин'к'и
696,9 / 1911,9	73	97	рад'и́м'ин'к'иј
563,7 / 1304,1	73	83	у́вьвр'у́
	76	103	апслу́хъw
858,2 / 1795,5	79	85	ан'и́ск'и
603,5 / 1415,8	97	122	wдар'и́ла

¹⁰ Текст № 8 в [Касаткина (ред.) 1999].

¹¹ Транскрипция текста, из которой взяты транскрипции интересующих нас слов, помещаемые в последнем столбце табл. 4, сделана нами самостоятельно, без опоры на транскрипцию публикаторов [Касаткина (ред.) 1999: 43—45], и потому иногда с ней не совпадает (знак [в] заимствован из Международного фонетического алфавита и употребляется в том же значении, что и в МФА; в транскрипции мы различаем, таким образом, три гласных звука среднего ряда неверхнего подъема: [ъ в а]). Впрочем, мы в данном случае не полагаемся на свой слух и не придаем большого значения расхождениям в транскрипции, а делаем выводы исключительно на основании результатов инструментальных измерений. Если на месте данных о частоте формант в таблице оставлено пустое место, значит, измерение для данного слова оказалось технически невозможно; такие случаи при общих подсчетах не учитывались.

F ₁ / F ₂ , Гц	l п / y, мс	уд., мс	
810,8 / 2153,3	83	95	пр'ихад'й
659,6 / 1545,4	95	78	н'и заб'уду
665,3 / 1321,1	78	98	мъй
572,5 / 1331,3	99	97	вазл'убл'иньи
620,7 / 1206,1	68	118	нъбежн'йцу
743,0 / 1811,6	68	88	бл'иуад'йр
633,4 / 1915,3	70	110	ан'утк'и
622,4 / 1285,1	77	65	пълежълъ
599,6 / 1283,8	76	94	нъбъжн'йць
659,2 / 1713,4	66	66	къжу
673,4 / 1698,8	61	75	пръст'йт'е
673,2 / 1779,3	95	68	къды
446,6 / 1887,7	83	114	пау'ибл'и
470,9 / 1045,1	75	82	по wс'им
576,0 / 1577,4	61	98	хад'йт'
518,3 / 1607,9	95	76	хвам'ил'јъ
642,7 / 1327,9	89	115	пач'улъс'
618,2 / 1612,7	83	79	бл'иуад'йр
888,4 / 1314,1	90	167	бълајун
656,8 / 1730,0	50	66	уъвър'у
704,7 / 1483,4	76	91	аны
586,8 / 1287,7	68	117	бабул'а
846,8 / 1670,7	98	234	бл'иуад'йр
ѐ ó			
	78	113	рѣб'отът'
	63	94	рѣб'отка
≈ 250 / ≈ 750	52	131	н'ъ рѣб'от'н'ик
628,3 / 1788,6	65	92	тѣб'ѣ
505,4 / 1457,8	60	150	н'иккъоуъ
628,2 / 1846,2	50	70	тѣб'ѣ
725,3 / 1698,2	66	85	нев'ѣрнь
≈ 600 / ≈ 1500	50	62	тоб'ѣ
	63	53	тѣб'ѣ
540,1 / 1350,9	92	108	не рѣб'оту
419,9 / 1764,3	99	97	нев'ѣрнь
859,3 / 1773,5	67	105	нев'ѣрнь
635,4 / 1631,2	69	139	нъ рѣб'оту
659,0 / 1659,8	65	101(79?)	не дър'оби
554,5 / 1528,2	81	61	ч'ил'ов'ѣк
≈ 500 / 1599,2	71	89	тоб'ѣ
894,2 / 1109,0	66	125	па хл'ѣп
818,7 / 1373,4	85	104	нев'ѣрнь
ѐ ó			
659,1 / 1319,1	71	170	колхоз
491,0 / 1559,0	63	91	рѣз'оч'иг

$F_1 / F_2, Гц$	l п / у, мс	уд., мс	
751,1 / 1530,6	56	131	зълетѣнај
	76	104	даѣт'
601,4 / 2013,8	70	143	падъјд'ѣд'
539,8 / 1847,0	44	52	тъкѡј-тъ
	36	117	вкѡшкъ
689,1 / 1501,4	67	118	нъ къртѡху
580,1 / 1615,2	97	159	нъ иредрѡм
545,3 / 1532,0	49	112	на къкѡј
483,7 / 969,1	79	139	ирѣдрѡм
676,4 / 1447,1	98	116	зълетѡј
536,1 / 1526,8	72	108	къкаи-тъ
	93	76?	јирадрѡм
805,3 / 1604,6	96	182	на къртѡху
614,8 / 1648,0	107	97	на иредрѡм
	58	69	нъ кѡј жь
620,2 / 1658,1	48	106	ирадрѡм
711,9 / 1846,3	98	109	ирадрѡм
622,4 / 1614,7	90	115	нъ ирадрѡм
á			
615,3 / 1211,2	50	175	прър'ѣптáла
887,6 / 1632,2	64	125	па-нашѣму
785,2 / 1672,0	197 в сумме		свѣá
	69	78	(к)ѣдна
596,3 / 1464,9	73	103	тѡвáркъ
610,2 / 1844,9	85	125	дѡвáт'
526,1 / 1420,3	75	104	дѡвá(д')
≈750 / 1374,4	56	117	кърмáн
551,9 / 1446,2	73	88	с тѡвáрк'иј
	84	202	тедá
831,6 / 1579,1	64	147	пашлá
620,0 / 1428,0	59	91	сѣмá
498,3 / 1165,5	53	140	н'и выгѡвáр'вѣу
549,3 / 1163,1	62	127	н'и выгѡвáр'вѣу
619,9 / 1686,5	65	153	нъ нър'áт
696,5 / 1501,3	69	106	пѣдáјт'ь
690,3 / 1678,5	55	118	пѣдáј
613,3 / 1724,3	49	172	къл'áск'и
727,7 / 1211,2	68	148	педáв
	62	85	сѣмá
	60	103	с нъч'áт'ja
701,1 / 1464,3	73	97	скезáв
600,8 / 1173,6	50	71	пѣ двѣрáм
550,7 / 1673,2	96	113	рѣскѣáт'
628,3 / 1906,9	50	98	тъкаи-тъ

Таблица 5

Вокализм первого предударного слога после твердых согласных
в калужском говоре

ударный гласный	верхнего подъема	средне-верхнего подъема	среднего подъема	нижнего подъема
длительность гласного 1-го предуд. слога, <i>мс</i>	77,5	69,0	73,4	65,2
длительность ударного гласного, <i>мс</i>	97,8	98,8	115,7	120,3
длительность гласного 1-го предуд. слога в % от длительности ударного	79	70	63	54
F ₁ гласного 1-го предуд. слога, <i>Гц</i>	656	615	621	650

Приведенные в табл. 4 и 5 данные позволяют утверждать, что в калужском говоре наблюдается принципиально иная картина по сравнению с воронежским. Качественные¹² и количественные различия гласных первого предударного слога в среднем незначительны, их изменения с изменением подъема ударного гласного носят континуальный характер: относительная длительность первого предударного гласного постепенно уменьшается с понижением подъема гласного ударного и никакой четкой границы провести не удается, т. е. линия фонологизации отсутствует¹³. Можно думать,

¹² В отношении качества предударного гласного говору свойственна, как видно, довольно широкая вариативность. Обращают на себя внимание примеры с произношением [ъ] перед [и́ ы́ у́] и [а] перед [á], совершенно нехарактерным для систем с диссимильятивным аканьем. Оно может объясняться обнаруженными С. В. Кодзасовым явлениями «скрытой словесной просодии» [Кодзасов 1989; 1995; 1996]. В соответствии с этой концепцией некоторым русским диалектам свойственна бинаризация просодических признаков, которые в литературном языке троичны, вследствие чего некоторые слова приобретают маркированное значение просодического признака, особым образом влияющее на реализацию фонем. В частности, произношение предударного гласного может зависеть от значения просодических признаков *завершение гласного* и *раствор гласного*: в исследованном С. В. Кодзасовым рязанском говоре ⟨е⟩ и ⟨а⟩ после мягких реализуются как [а], если они имеют медленный или нейтральный тип завершения, и как [и], если тип завершения быстрый [Кодзасов 2000]. Вероятнее всего, нестандартная реализация гласных в калужском говоре также подчинена законам «скрытой просодии»; этот вопрос требует, впрочем, дальнейшего исследования.

¹³ По-видимому, в том же смысле должно быть интерпретировано и следующее замечание Р. И. Аванесова: «Наконец, можно отметить и такой тип диссимильятивного аканья, при котором „не-а“ (т. е. [ъ]) звучит перед слогом со всеми ударными гласными, кроме ⟨и⟩ и ⟨у⟩, а перед слогом с ⟨и⟩ и ⟨у⟩ звучит [а]. Этот тип,

что в данном говоре сохраняется наиболее архаическая разновидность диссимилятивного аканья — с еще не фонологизованной континуальной зависимостью первого предударного гласного от длительности ударного. Такой тип диссимилятивного аканья может быть назван *протодиссимилятивным* (ср. [Высотский 1977: 56—57]).

Дополнительным аргументом в пользу подобной трактовки является тот факт, что аналогичная картина наблюдается в говоре с. Бояновичи и в позиции после мягких согласных, где зафиксировано иканье — тип вокализма, не сочетающийся обычно с диссимилятивным аканьем в пределах одного говора (табл. 6).

Таблица 6

Вокализм первого предударного слога после мягких согласных
в калужском говоре

ударный гласный параметры	верхнего подъема	среднего подъема ¹⁴	нижнего подъема
длительность гласного 1-го предуд. слога, <i>мс</i>	80	88	74
длительность ударного гласного, <i>мс</i>	125	154	141
длительность гласного 1-го предуд. слога в % от длительности ударного	64	57	52
F ₁ гласного 1-го предуд. слога, <i>Гц</i>	479	440	462

Итак, протодиссимилятивное аканье можно считать предшествующей стадией развития говоров с разными типами диссимилятивного аканья. Поскольку мы исходим из предположения, что исходным типом вокализма для всех акающих говоров является недиссимилятивное аканье с последующим развитием более или менее тесной¹⁵ связи между первым предуд-

отмеченный на территории Белгородской области, почти не встречается самостоятельно, а в сосуществовании с основным белорусским типом диссимилятивного аканья» [Аванесов 1974: 146].

¹⁴ Слов с первым предударным гласным после мягкого согласного при ударном гласном средне-верхнего подъема в тексте не встретилось, однако общая картина представляется достаточно ясной и без них. Мы хотели бы обратить внимание на то, что пятиминутного звучащего текста, коль скоро он включен в хрестоматию, должно быть вполне достаточно для определения модели вокализма, о чем красноречиво свидетельствуют данные инструментального обследования текста из воронежского говора, приведенные выше.

¹⁵ В подавляющем большинстве акающих говоров присутствует противопоставление ударного и первого предударного слогов, составляющих просодическое ядро слова, всем остальным безударным, но в говорах с диссимилятивным аканьем (яканьем) это противопоставление более выражено, связь между слогами просоди-

дарным и ударным гласными, т. е. формированием просодического ядра слова, то логично рассматривать протодиссимильятивный вокализм как промежуточный между недиссимильятивным и диссимильятивным. Вывод о его существовании в прошлом вытекает из развиваемой нами гипотезы; теперь же такая модель оказывается зафиксированной в современных говорах. Схема протодиссимильятивного аканья может быть представлена следующим образом (табл. 7; знаком α обозначается любой гласный от [а] до [ъ]).

Таблица 7

Протодиссимильятивное аканье

предударный гласный	ударный гласный		
α :	и	ы	у
α'	ё		ô
α	е		о
ǎ	а		

Таким образом, на основании приведенных выше данных можно сделать вывод, что количественная диссимильяция гласных внутри просодического ядра в современных русских говорах может представлять собой как живой фонетический (коартикуляционный) процесс, так и — на более поздней ступени развития системы — фонологическое чередование¹⁶. То же можно предполагать и в связи с явлением, в некотором смысле противоположным, — уподоблением гласных по качеству внутри просодического ядра. Так, Р. Ф. Касаткиной и Е. В. Щигель описаны говоры, в которых подобное уподобление предударного гласного ударному возможно не только после мягких согласных, но и после твердых [Касаткина, Щигель 1995]. Р. Ф. Касаткина и Е. В. Щигель предложили считать этот тип вока-

ческого ядра сильнее. Попытка фонологической интерпретации (в терминах концепции Р. И. Аванесова 1956 г. [Аванесов 1956]) отношений гласных просодического ядра в некоторых говорах с диссимильятивным яканьем была предпринята в свое время М. В. Пановым [1972].

¹⁶ К. Ф. Захарова выделяет среди типов диссимильятивного яканья *фонетические* (фонетически закономерные, фонетически обусловленные), при которых «чередование гласных *a* и не-*a* на месте гласных неверхнего подъема зависит только от качества ударенных гласных», и *нефонетические*, при которых «чередование гласных *a* и не-*a* в пределах одной морфемы перед ударенными гласными верхнего и неверхнего подъемов не зависит от их качества и подъема, а является чередованием фонем, имеющим грамматическое, а не фонетическое значение» [Захарова 1971: 3]. В нашей терминологии фонетические типы по К. Ф. Захаровой должны быть названы фонологизированными (см. прим. 3), тогда как нефонетические обязаны своим возникновением лексикализации / морфологизации фонологических чередований.

лизма ассимилятивно-диссимилятивным аканьем на основе архаического диссимилятивного — по аналогии с ассимилятивно-диссимилятивным яканьем, широко распространенным в говорах Рязанской группы южного наречия. Однако в тех говорах, в которых предполагается наличие ассимилятивно-диссимилятивного аканья, произносится не только [а]-образный редуцированный¹⁷ гласный в положении перед ударным [á], но и лабиализованные редуцированные в положении перед ударным [ó], и упрежденные редуцированные в положении перед ударным [é] — таким образом, диссимиляция (количественная) в этих говорах является системным фактом, фонологическим (лингвистическим) правилом, а ассимиляция (качественная) — поверхностным, фонетическим (коартикуляционным) явлением (в отличие от юго-восточных говоров с «настоящим» ассимилятивно-диссимилятивным яканьем, где ассимиляция ([ъ] → [а] перед [á]) уже фонологизирована и является лингвистическим правилом). Это обстоятельство позволяет характеризовать исследованное Р. Ф. Касаткиной и Е. В. Щигель явление не как особую модель диссимилятивного аканья, а как факт межслоговой вокальной ассимиляции, широко известной не только большинству русских говоров (ср., например, в[’о]дú при в[’е]лá в севернорусских говорах [Касаткина 1996]), но и литературному языку — н[ъ°]утрú, н[ъ°]купáть, д[ъ°]кумéнт¹⁸ [Пауфошима 1980] (необходимо отметить, что ассимилятивным изменениям в наибольшей степени подвержены именно редуцированные гласные).

Литература

- Аванесов 1949 — Р. И. А в а н е с о в. Очерки русской диалектологии. Ч. 1. М., 1949.
- Аванесов 1956 — Р. И. А в а н е с о в. Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956.
- Аванесов 1974 — Р. И. А в а н е с о в. Русская литературная и диалектная фонетика. М., 1974.
- Брок 1916 — О. Б р о к. Говоры к западу от Мосальска. Пг., 1916.
- Высотский 1973 — С. С. В ы с о т с к и й. О звуковой структуре слова в русских говорах // Исследования по русской диалектологии. М., 1973. С. 17—41.
- Высотский 1977 — С. С. В ы с о т с к и й. К вопросу о диссимилятивном принципе вокализма // Экспериментально-фактические исследования в области русской диалектологии. М., 1977. С. 53—59.
- Дурново 1969 — Н. Н. Д у р н о в о. Введение в историю русского языка. [2-е изд.] М., 1969.

¹⁷ О том, что это не «нормальное» [а], свидетельствует его «повышенное» образование и значительно меньшая длительность по сравнению с [а] в положении перед ударными гласными верхнего подъема [Касаткина, Щигель 1995: 298].

¹⁸ Знаком [ъ°] обозначается лабиализованный редуцированный гласный.

- Захарова 1971 — К. Ф. Захарова. Типы диссимильятивного яканья в русских говорах (лексико-морфонологическая характеристика) // ВЯ. 1971. № 2. С. 3—18.
- Касаткин (ред.) 2005 — Русская диалектология / Под ред. Л. Л. Касаткина. [3-е изд.] М., 2005.
- Касаткина 1996 — Р. Ф. Касаткина. Межслоговая ассимиляция гласных в русских говорах // Просодический строй русской речи. М., 1996. С. 207—221.
- Касаткина (ред.) 1999 — Русские народные говоры: Звучащая хрестоматия. Южнорусское наречие / Под ред. Р. Ф. Касаткиной. М., 1999.
- Касаткина, Щигель 1995 — Р. Ф. Касаткина, Е. В. Щигель. Ассимильятивно-диссимильятивное аканье // Проблемы фонетики. Вып. 2. М., 1995. С. 295—309.
- Князев 2000 — С. В. Князев. К вопросу о механизме возникновения аканья в русском языке // ВЯ. 2000. № 1. С. 75—101.
- Князев 2001 — С. В. Князев. К истории формирования некоторых типов аканья и яканья в русском языке // Вопросы русского языкознания. Вып. IX: Диалектная фонетика русского языка в диахронном и синхронном аспектах. М., 2001. С. 8—42.
- Князев 2003 — С. В. Князев. О формировании важнейших типов аканья и яканья в русском языке // Славянское языкознание: Материалы конф. к XIII Международ. съезду славистов / Отв. ред. А. М. Молдован. М., 2003. С. 90—112.
- Князев, Пожарицкая 2002 — С. В. Князев, С. К. Пожарицкая. Еще раз о механизме формирования умеренного яканья в русском языке // Аванесовский сборник: К 100-летию со дня рожд. чл.-кор. АН СССР Р. И. Аванесова. М., 2002. С. 273—280.
- Князев, Шаульский 2006 — С. В. Князев, Е. В. Шаульский. О «протодиссимильятивном» аканье // Актуальные проблемы русской диалектологии: Тез. докл. Междунар. конф. 23—25 октября 2006 г. / Отв. ред. Л. Л. Касаткин. М., 2006. С. 89—92.
- Кодзасов 1989 — С. В. Кодзасов. О просодии русского слова // Славянское и балканское языкознание: Просодия: Сб. ст. М., 1989. С. 26—40.
- Кодзасов 1995 — С. В. Кодзасов. О редуцированных словах в русском языке // Проблемы фонетики. Вып. 2. 1995. С. 157—171.
- Кодзасов 1996 — С. В. Кодзасов. Просодические классы слова и место ударения // Просодический строй русской речи. М., 1996. С. 70—85.
- Кодзасов 2000 — С. В. Кодзасов. Скрытая просодия слова и звуковые изменения (на примере говора с. Деулино Рязанской области) // Проблемы изучения дальнего родства языков на рубеже третьего тысячелетия: Докл. и тезисы науч. конф. М., 2000. С. 88—94.
- Колесов (ред.) 1998 — Русская диалектология / Под ред. В. В. Колесова. 2-е изд. М., 1998.
- Кузнецов (ред.) 1973 — Русская диалектология / Под ред. П. С. Кузнецова. М., 1973.
- Кузнецов, Отт 1989 — В. Б. Кузнецов, В. А. Отт. Автоматический синтез речи: Алгоритмы преобразования «буква—звук» и управление длительностью речевых сегментов. Таллинн, 1989.
- Панов 1972 — М. В. Панов. О синтагматике гласных в говорах с диссимильятивным яканьем // Русское и славянское языкознание: К 70-летию чл.-кор. АН СССР Р. И. Аванесова. М., 1972. С. 218—226.

Пауфошима 1980 — Р. Ф. Пауфошима. Активные процессы в современном русском литературном языке: (Ассимилятивные изменения безударных гласных) // ИАН СЛЯ. 1980. Т. 39. № 1. С. 61—68.

Сталькова 1973 — И. Л. Сталькова. Предударный гласный *ы* (этимологический) в системе диссимилятивного аканья // Исследования по русской диалектологии. М., 1973. С. 74—87.

Строганова 1955 — Т. Г. Строганова. Одна из особенностей южнорусского вокализма // ВЯ. 1955. № 4. С. 94—103.

Хабургаев 1965 — Г. А. Хабургаев. О фонологических условиях развития русского аканья // ВЯ. 1965. № 6. С. 55—63.

Шахматов 1896 — А. А. Шахматов. Звуковые особенности Ельнинских и Мосальских говоров // РФВ. Т. 36. 1896. № 3—4.

Шахматов 1915 — А. А. Шахматов. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915 (Энцикл. славянской филологии. Вып. 11.1).

О. В. АНТОНОВА

**О РЕФЛЕКСАХ СТАРОМОСКОВСКОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ ***

В современной лингвистике существует мнение, согласно которому в конце XIX — начале XX столетия московский говор оформился в особую фонетическую систему, ныне называемую старомосковским наречием или старомосковским говором. Наречие это функционировало в среде коренной московской интеллигенции (однако не исключена вероятность того, что по-старомосковски говорили также и в купеческой, духовной, разночинной среде и пр.). Бесспорным произносительным эталоном его являлась театральная орфоэпия, базировавшаяся на традициях московского Малого драматического театра. Старомосковский говор, ставший фундаментом для формирования орфоэпических норм современного русского литературного языка, имел свои характерные особенности в области произношения гласных и согласных звуков и их сочетаний, а также в звуковом оформлении отдельных грамматических форм.

Принято считать, что старомосковская произносительная система во второй половине — конце XX века утратила свою актуальность и стала фактом исторического прошлого. Однако наблюдения над речью литературно говорящих коренных москвичей разного возраста, а также анализ массивов звучащей речи теле- и радиопрограмм позволяет усомниться в непреложности подобного утверждения. С целью выяснения частотности появления старомосковских произносительных вариантов в современной речи был проведен ряд экспериментов, и в качестве предмета исследования были выбраны следующие произносительные нормы: произношение безударных глагольных флексий II спряжения 3 лица множественного числа; произношение согласных на месте буквосочетания *чн*; произношение звука [р'] перед мягкими согласными (зубными, переднеязычными, губными, заднеязычными); произношение возвратного постфикса.

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ грант № 04-06-80278а.

Произношение безударных глагольных флексий в форме 3 л. мн. ч. II спр.¹

Есть мнение, что у глаголов II спряжения в безударных флексиях 3 л. мн. ч. в современной норме произносится [-эт]: [хóд'эт] (*хóдят*), [л'úb'эт] (*лю́бят*), [мóч'эт] (*мóчат*), [в'йд'эт] (*вídaют*), [в'эр'эт] (*вéрят*) в отличие от старомосковского произношения этого окончания, совпадавшего по звучанию с окончаниями глаголов I спряжения [-ут]: [хóд'ут], [л'úb'ут], [мóч'ут], [в'йд'ут], [в'эр'ут].

Р. И. Аванесов говорил о том, что произношение безударных окончаний II спряжения со звуком [у] «для современного русского языка либо представляет собой сознательную стилизацию под старое московское произношение, либо характеризует просторечный, нелитературный язык» [Аванесов 1984: 200]. Несколько иного мнения придерживался М. В. Панов, считавший, что в настоящее время надо рекомендовать произношение [тóп'эт], [л'úb'эт], [лóв'эт], [кóрм'эт] (*тóпят*, *лю́бят*, *лóвят*, *кóрмят*), однако старая орфоэпическая норма по-прежнему остается допустимой, хотя и менее предпочтительной [Панов 1967: 320]. «Орфоэпический словарь русского языка» под редакцией Р. И. Аванесова дает следующую рекомендацию: «На месте безударного окончания 3 лица множественного числа глаголов 2 спряжения *-ат (-ят)* произносится [-ът]: [д'ыш'ът], [сл'ыш'ът] (...). Так же произносится это окончание, когда за ним следует возвратный постфикс *-ся*: [сл'ыш'ь^мц'ь], [д'эрж'ь^мц'ь] (...). Произношение этих форм с гласным [у] в окончании *-ат (-ят)*, свойственное русскому литературному языку в прошлом, теперь удерживается по преимуществу в речи старшего поколения, а также в сценической речи: [д'ыш'ут], [д'эрж'ут], [кóн'ч'ут], [стрóй'ут]...» [ОС: 678].

Из приведенных орфоэпических рекомендаций очевидно, что старомосковское произношение глаголов II спр. в форме 3 л. мн. ч. со звуком [у] в безударной флексии считалось нераспространенным явлением в современной русской литературной речи. Однако недавно Р. Ф. Касаткина обратила внимание на сохранение некоторых, как принято считать, архаических черт старомосковского произношения в речи москвичей разного возраста, в том числе и молодых. Это наблюдение касается и упоминавшихся выше особенностей произношения глагольных окончаний. Обращает на себя внимание речь многих ведущих информационных программ телевидения. В их речи произношение безударных глагольных флексий 3 л. мн. ч. II спряжения часто соответствует старой московской норме: [слóж'ут] (*слóжат*), [л'úb'ут] (*лю́бят*), [п'ра'хóд'ут] (*п'рохóдят*), [п'р'и'вóд'ут] (*п'ривóдят*), [а'тнóс'уцэ] (*отнóсятся*), [в'эр'ут] (*вéрят*), [с'уд'ут] (*с'удят*), [п'рэй'с'хóд'ут] (*п'роисхóдят*) и пр. Аналогичные произносительные черты приходилось наблюдать и в спонтанной речи многих окружающих людей.

¹ Также о данной проблеме см. [Антонова 2002].

Для выяснения вопроса о распространенности этого явления был поставлен специальный орфоэпический эксперимент, цель которого состояла в определении регулярности появления старомосковских вариантов произношения глагольных форм в речи современных москвичей и описании факторов, поддерживающих их сохранение в речи.

Источником данных о функционировании анализируемой нормы послужила речь информантов, к которым предъявлялись следующие требования: все они должны были быть москвичами не менее чем во втором поколении, владеть русским литературным языком как родным, детство и большую часть сознательной жизни провести в Москве и не иметь явных речевых дефектов. Всего в эксперименте приняли участие 35 дикторов, чья звучащая речь записывалась на магнитофон. Магнитофонные записи были подвергнуты аудиторскому анализу. Информанты были разделены на 3 группы по возрастному критерию, а именно: в старшую группу орфоэпических «бабушек и дедушек» объединялись люди, рожденные в 20—30-е годы XX века; в среднюю группу орфоэпических «пап и мам» объединялись рожденные в 40—60-е годы XX века и, соответственно, в третью, младшую группу орфоэпических «детей и внуков» — рожденные в 70—80-е годы XX века. Ход эксперимента показал, что гендерная принадлежность информантов не играла роли в реализации рассматриваемой нормы.

Испытуемым сообщалась ложная, отвлекающая внимание цель эксперимента, после чего им предлагались для прочтения вслух специально составленные тексты, которые были насыщены глаголами в интересующей нас грамматической форме (в общей сложности 75 глаголов). Анализируемые глаголы отличались друг от друга ритмической структурой, длиной, возвратностью / невозвратностью, степенью лексической освоенности, характеристикой позиции, в которой они стояли во фразе, и другими орфоэпическими факторами. Также был подвергнут аудиторскому анализу материал различных информационных телепрограмм (общее время звучания около 30 часов), записанный на магнитофон, и зафиксированные случаи употребления данных глагольных форм в речи москвичей разного возраста.

Результаты эксперимента подтверждают, что в речи испытуемых всех трех поколений встречается старая московская норма произнесения глаголов II спряжения мн. ч. 3 л. с безударным окончанием [-ут], но проявляется она с разной частотностью. В процентном соотношении в речи старшего поколения «орфоэпических бабушек и дедушек» (10 испытуемых) старомосковская норма реализуется в 70—80% случаев; в группе информантов среднего поколения «орфоэпических пап и мам» (10 испытуемых) частотность появления старомосковского произносительного варианта немного превышает 50%; в речи информантов младшего поколения, входивших в группу «орфоэпических детей и внуков» (15 испытуемых), преобладает произнесение безударных глагольных флексий 3 л. мн. ч. II спряжения со звуком [э], однако частота появления старомосковского варианта составляет все же 15—20%.

В ходе исследования были получены данные, позволяющие утверждать, что условия, благоприятные для сохранения старомосковского произносительного варианта в данных глагольных формах, одинаковы для всех трех возрастных групп, принимавших участие в эксперименте. Это следующие условия: возвратная форма глагола (испытываемые скорее склонны были произносить [тáш̄'уцə] (*тáщатся*), чем [тáш̄'ут] (*тáщат*)); позиция после мягкого согласного ([пəхá'рѐн'ут] (*пəхорѐнят*), [крáс'уцə] (*крáсятся*)); позиция безударной флексии после переднеязычного согласного звука ([прѐс'ут] (*прѐсят*), [в'ѐд'ут] (*вѐдят*), [смѐтр'ут] (*смѐтрят*)); позиция после губно-зубного согласного ([лѐв'ут] (*лѐвят*), [гá'тѐв'ут] (*гѐтѐвят*)); позиция после губно-губного согласного ([л'ѐб'ут] (*лѐбят*), [гá'лѐб'ут] (*гѐлѐбят*), [т'ѐрп'ут] (*тѐрпят*)); позиция безударной флексии после гласного звука [ѐ] ([пá'стрѐѐут] (*пѐстрѐят*), [стѐѐут] (*стѐѐят*)). Отдельно следует выделить те глаголы, в которых наличие одной из вышеперечисленных позиций поддерживается межслоговой ассимиляцией. Например, в словах *лѐбят*, *ѐчат* вероятность произношения [л'ѐб'ут], [ѐч'ут] возрастает.

Можно было предполагать, что на выбор произносительного варианта оказывает влияние такой фактор, как частотность употребления, привычность слова для носителей русского литературного языка: вполне вероятно, что «приболтанность» слова (по выражению С. С. Высотского) могла провоцировать сохранение старомосковской нормы. Однако данные настоящего исследования не подтверждают этот факт. Также, по-видимому, не оказывают влияния на выбор произносительного варианта ни фразовая позиция глагольной формы, ни место флексии по отношению к ударению, ни длина слова.

Почему полученные в ходе проведенного исследования данные расходятся с мнением многих лингвистов, считающих, что произнесения типа [вѐз'ут] и [мѐч'ут] либо архаичны, либо просторечны? Этому могут быть разные объяснения. Либо процесс угасания рассматриваемой старомосковской нормы идет более медленными темпами, чем предполагали ранее. Либо, как считает Е. А. Брызгунова, фонетические процессы носят волнообразный характер. Если согласиться с таким мнением, то наличие в современной речи москвичей столь явных следов старомосковского произношения представляется волной подъема, на которой прежняя норма приобретает новую актуальность. И одновременно становится понятным, что исследователи, работавшие над этой проблемой раньше, не сталкивались с частотными проявлениями старомосковского произношения, так как в тот момент языковой процесс переживал период спада активности в реализации именно этой нормы. Однако данное утверждение не может считаться правомерным до того момента, пока не будет проведено подробное исследование аудиозаписей и транскрипций речи середины XX века, пока нынешние дети дошкольного возраста, с высокой частотностью употребляющие в речи старомосковский вариант произнесения глагольного окончания, не вы-

растут и не испытывают «гипноза» буквы (тогда станет возможным в ходе отдельного исследования выяснить, сохранились ли старомосковские варианты в речи «орфоэпических правнуков»).

Лишь после проведения подобного исследования можно будет сделать вывод о том, как же функционирует старомосковский говор в настоящее время: как отмирающая архаическая норма или как временно угасший, но получивший «второе дыхание» вследствие волнообразного развития фонетический процесс.

Произношение согласных на месте буквосочетания *чн*

Общеизвестна точка зрения, согласно которой в современной «младшей» норме происходит последовательное вытеснение старомосковского варианта произношения буквосочетания *чн* как [шн] ([шн']) соответствующим написанию произношением [ч'н] ([ч'н']), т. е. произносят *бўдни[ч'н]ый* вместо *бўдни[шн]ый*, *кирпїи[ч'н]ый* вместо *кирпїи[шн]ый*, *цветб[ч'н]ый* вместо *цветб[шн]ый* и проч. Однако исследования современной звучащей речи москвичей показали, что этот процесс протекает не так быстро и безусловно, как это казалось еще несколько десятилетий назад.

Для выяснения динамики этого процесса представляется необходимым прежде всего определить, по каким законам происходила мена орфографического сочетания *чн* в звукосочетание [шн] в эпоху бытования старомосковской орфоэпической нормы. Очевидно, что уже на рубеже XIX—XX веков норма носила лексикализованный характер, т. е. большое значение имели факты орфоэпической прикрепленности. Любопытно свидетельство Ф. Е. Корша: «само произношение *ч* перед *н* так сильно колеблется, что мудрено его втиснуть в правило» [Корш 1902: 65]. Однако исследователь выделяет случаи, когда «*ч* в выговоре устойчивее»:

1. при корреляции с [ч'] в производящем слове: *ночь* — *но[ч'н]ой*; *тбчка* — *тб[ч'н]ый*; *рчка* — *ре[ч'н]ой*;
2. если ударение падает непосредственно перед *ч*: *сб[ч'н]ый*, *зан[ч'н]ый*.

Оба эти фактора вызывают некоторое сомнение: прежде всего потому, что в противовес собственному утверждению для первого случая Ф. Е. Корш пятью строчками ниже приводит пример произношения *не[шн']ик*, *не[шн]ой* при производящем слове *печь*; также удивительно, почему для прилагательного *рчнбй* производящим словом исследователь считает слово *рчка*, а не *рчк* (таким образом, мы наблюдаем корреляцию уже не с [ч'], а с [к]); и для второго случая утверждение спорно — ср. примеры произношения [шн], несмотря на наличие ударения непосредственно перед *ч*: *кал[шн]ый*, *молб[шн]ый*, *корї[шн']евый*, *кул[шн]ый*, *таб[шн]ый* и многое другое. Вероятно, место по отношению к ударению вовсе не оказывало влияния на выбор того или иного произносительного варианта.

В. И. Чернышев, вслед за Ф. Е. Коршем, указывал, что «*чн* сохраняется, например, ⟨...⟩ в словах книжных» [Чернышев 1915: 43]. Примеры, приводимые исследователями для этого случая, практически полностью совпадают: к «разговорным», «обиходным» относят слова: *конé[шн]о*, *наконé[шн']ик*, *скý[шн]о*, *молó[шн]ый*; к «книжным» относят слова: *конé[ч'н]ый*, *млé[ч'н]ый*, *то[ч'н]ый*, *звú[ч'н]ый*, *истó[ч'н']ик*. Это утверждение возможно принять, однако, с оговоркой: нельзя не обратить внимания, что подавляющее большинство слов, приведенных в качестве примеров, стилистически нейтральны. Что же следует понимать под «обиходными» и «книжными» словами? Вероятно, говоря об «обиходных» словах, исследователи имеют в виду ту часть словарного запаса, которая усваивается человеком непосредственно в процессе общения с другими людьми, т. е. воспринимается им «со слуха»; «книжными» же считаются те слова, которые человек воспринимает не через звучащую речь окружающих, а через чтение (т. е. произносительный навык таких слов формируется под «гипнозом буквы», отсюда сохранение произношения [ч'н], соответствующего написанию).

Таким образом, напрашивается вывод: согласно старой московской норме, буквосочетание *чн* заменялось на [шн] ([шн']) в определенном кругу «обиходных» слов. Однако для каждого конкретного слова все равно необходимы уточнения, ср. транскрипцию Ф. Е. Корша *занé[ч'н]ый* при общеизвестном фразеологизме: *Друг серdé[шн]ый*, *таракан занé[шн]ый* (произношение *серdé[шн]ый* зафиксировано у того же Корша) — требования рифмы исключают возможность произнесения в данном случае *занé[ч'н]ый*. Или здесь допустимо вариантное произношение, которое тоже не исключала старомосковская норма: *молó[ч'н]ая кислота*, но *молó[шн]ая каша*?

По мнению Р. И. Аванесова, «в современном литературном произношении [шн] обязательно лишь в немногих словах, в ряде других слов оно допустимо рядом с [ч'н]. В остальных же случаях произносится [ч'н]. В настоящее время произношение [шн] вместо *чн* по старым московским нормам во многих случаях приобрело просторечную, сниженную стилистическую окраску, а для ряда слов характеризует диалектную речь» [Аванесов 1984: 183]. В орфоэпическом словаре находим: «сочетание *чн*, как правило, произносится в соответствии с написанием, т. е. [чн]» [ОС: 676], однако тут же приводятся разнообразные рекомендации, в каких случаях возможно либо произношение [шн] ([шн']), либо вариантное произношение [ч'н]/[шн], причем выбор варианта с лингвистической точки зрения ничем не мотивирован. Это подтверждает предположение, высказанное в связи с реализацией этой нормы в старомосковском произношении: норма в значительной степени носит лексикализованный характер.

Однако действительно ли возможно говорить о том, что произношение [шн] на месте буквосочетания *чн* в настоящее время характеризует просторечие? Вызывает сомнение следующее: все исследователи звучащей речи периода конца XIX — начала XX века приводят *перечень* слов, в которых встречается старомосковское [шн] (что также подтверждает предположе-

ние о лексикализованности этой нормы). Согласно наблюдениям ряда лингвистов, во многих словах, в которых уже не было бы оснований предполагать появление старомосковского произносительного варианта, литературно говорящие москвичи разного возраста последовательно произносят [шн]: *бу́ло*[шн']ик, *подсвѣ*[шн']ик, *зага́до*[шн]ый, *шу́то*[шн]ый, *тря́по*[шн]ый и т. д. Для выяснения вопроса о распространенности этого явления и определения регулярности появления старомосковских вариантов среди москвичей, владеющих литературным языком и не имеющих речевых дефектов, было проведено анкетирование. Важным требованием к испытуемым было наличие «московских корней», т. е. не только сами информанты, но и их родители должны были детство и большую часть сознательной жизни провести в Москве. Анкеты были составлены с учетом произносительных рекомендаций как лингвистов прошлого, так и современных академических изданий по орфоэпии, т. е. в них были включены как старомосковские, так и современные произносительные варианты. Анкетированному предлагалось выбрать тот вариант, который свойственен его речи. В эксперименте принимали участие испытуемые, разделенные по возрастному критерию на «старшую», «среднюю» и «младшую» орфоэпические группы. Всего в эксперименте приняли участие 35 информантов. Также в ходе исследования учитывались случайно зафиксированные в бытовой речи москвичей случаи употребления рассматриваемой нормы и речь ведущих телевизионных программ канала «Культура».

Изучение современной звучащей речи позволило выявить некоторые закономерности в динамике данной нормы. Оказалось возможным установить определенные этапы отхода от старомосковского произношения:

1. В некоторых словах сохраняется только старомосковский произносительный вариант [шн]: *конѣ*[шн]о, *на́рб*[шн]о и др.
2. В следующей группе слов сосуществуют произношения [шн] и [ч'н] при преобладании старшего варианта: *горчи́*[шн']ики и *горчи́*[ч'н']ики, *ску́*[шн]о и *ску́*[ч'н]о, *пра́че*[шн]ая и *пра́че*[ч'н]ая, *подсвѣ*[шн']ик и *подсвѣ*[ч'н']ик, *яи́*[шн']ица и *яи́*[ч'н']ица.
3. Равноправное сосуществование вариантов [шн] и [ч'н]: *беспоря́до*[шн]ый и *беспоря́до*[ч'н]ый, *тря́по*[шн]ый и *тря́по*[ч'н]ый, *шу́то*[шн]ый и *шу́то*[ч'н]ый, *поря́до*[шн]ый и *поря́до*[ч'н]ый.
4. Сосуществуют произношения [шн] и [ч'н] при преобладании младшего варианта: *го́рни*[ч'н]ая и *го́рни*[шн]ая, *тряпи́*[ч'н]ый и *тряпи́*[шн]ый.
5. Произношение исключительно [ч'н]: *ябло*[ч'н]ый, *моло́*[ч'н]ый.

При общей тенденции к вытеснению старомосковского произносительного варианта новым можно было бы ожидать, что в речи следующего поколения будет происходить переход каждого конкретного слова на одну ступеньку дальше от него, но в обязательном порядке этого не происходит. В речи современного молодого поколения в некоторых случаях наблюдалась консервация того соотношения вариантов [ч'н]/[шн], которое фикси-

ровалось и на прошлом этапе развития языка (*горчй[шн']ики, скý[шн]о, прáче[шн]ая, подсвé[шн']ик, яй[шн']ица, тряпо[шн]ый, шýто[шн]ый, де-ви[шн']ик, скворе[шн']ик, оче[шн']ик, стиче[шн]ый*).

Тенденция к вытеснению старомосковского произносительного варианта, с одной стороны, прослеживается достаточно очевидно: если в группе информантов старшего возраста набор слов, произносимых с [шн] в 100% случаев, включает такие слова, как: *горчй[шн']ики, конé[шн]о, скý[шн]о, нарó[шн]о, прáче[шн]ая, подсвé[шн']ик, яй[шн']ица*, то в «средней» группе испытуемых набор сокращается — орфоэпические «папы и мамы» допускают уже вариантное произношение таких слов, как *горчй[ч'н']ики* и *скý[ч'н]о* (хотя в первом слове скорее можно было бы предположить стремление использовать исключительно старомосковский вариант произношения во избежание скопления одинаковых согласных в пределах одного слова); «орфоэпические внуки» же в числе безвариантных произношений только с [шн] оставляют лишь слова *конé[шн]о* и *нарó[шн]о* — в остальных случаях либо допустимо вариантное произношение, либо используется только новый вариант [ч'н] ([ч'н']). Однако, несмотря на то что подобное движение нормы свидетельствует о последовательном вытеснении старомосковского варианта, представляется поспешным относить употребление многих слов, где на месте буквосочетания *чн* реализуется [шн], к области архаики или просторечия. В пользу этого утверждения убедительно свидетельствует то, что во множестве случаев литературно говорящие москвичи (в том числе и молодые) используют старомосковскую норму в произнесении таких слов, как: *беспорядо[шн]ый, бýло[шн]ая, гóрни[шн]ая, горчй[шн']ики, загадо[шн]ый, тряпй[шн]ый, тряпо[шн]ый, прáче[шн]ая, пéре[шн']ица (старая), сердé[шн]ый (друг), шáпо[шн]ое (знакомство), шýто[шн]ый* и пр., причем частотность употребления устаревших (как принято считать) вариантов составляет от 10% (у молодежи) до 90% (в «старшей» группе испытуемых).

Факторами, провоцирующими появление старомосковской нормы, традиционно признавались следующие: принадлежность слова к фразеологическому обороту: *сердешный друг, шапошное знакомство* (о чем свидетельствуют Ф. Е. Корш, Р. И. Аванесов, М. Л. Каленчук) — это положение не вызывает противоречий; наличие в соседнем слого звука [ч']: *очé[шн']ик, стйче[шн]ый* — однако во втором слове уже достаточно частотно появляется вариант с [ч'н]: *стйче[ч'н]ый*, см. также расшатывание старомосковской нормы произношения слова *горчй[ч'н']ники* (хотя старомосковский вариант по-прежнему остается более предпочтительным). Однако особенно заслуживающими внимания представляются случаи сохранения старой московской нормы в тех условиях, где, казалось бы, теоретически вероятнее предполагать появление нового варианта. Это прежде всего случаи корреляции с [ч'] в производящем слове: *ночь — но[ч'н]óй* (сомнительность влияния этого фактора на появление [ч'н] уже рассматривалась выше), ср. слово *подсвé[шн']ик (свечá)* — в «старшей» и «средней» группах

информанты произносили в 100% случаев с [шн], в «младшей» группе — в 60% случаев. Р. И. Аванесов высказывал предположение, что произношение может консервироваться в тех словах, которые обозначают исчезнувшие из жизни реалии, — возможно, с этим связано последовательное проявление в произношении слова *подсвечник* старой московской нормы.

Как уже говорилось выше, Ф. Е. Корш считал, что ударение непосредственно перед [ч] провоцирует употребление варианта с [ч'н]. Учитывая все вышесказанное, трудно согласиться с исследователем. Однако его предположение косвенно подтверждается следующим образом: в примерах *тряпочный* и *тряпичный* (в толковом словаре под ред. Д. Н. Ушакова оба имеют помету *разг.*) наблюдалась существенная разница в выборе произносительного варианта: в слове *тряпо*[шн]ый испытуемые в 80—20% делали выбор в пользу старшей нормы, в слове же *тряпí*[шн]ый — только в 10% случаев. Но поскольку это единичный пример в исследовании, трудно сделать вывод, насколько влияет «удаленность» ударения на сохранение конкретно этой старой московской нормы.

ОС рекомендует произношение в «новых словах» только [ч'н]: *сьемо*[ч'н]ый, *лэнто*[ч'н]ый, *потó*[ч'н]ый. Однако были зафиксированы случаи произношения в телевизионной речи таких примеров, как: *подá*-*ро*[шн]ый *отдел*, *гостíни*[шн]ый *комплекс*, *сьемо*[шн]ый *день*, *загá*-*до*[шн]ый *случай*. Очевидно, что здесь мы имеем дело со случаями гиперкоррекции, а не со следами возрождения старой нормы, т. к. лингвистически для этого не наблюдается никаких объективных условий.

В экспериментах, призванных выяснить закономерности проявления обсуждаемой нормы, принимали участие как филологи, так и не имеющие специальных лингвистических знаний информанты. Результаты эксперимента показали, что речь «отягощенной информацией» лингвистов более консервативна.

Произношение звука [р'] перед мягкими согласными (зубными, переднеязычными, губными, заднеязычными)

Для современного литературного языка «мягкость звука [р] в сочетаниях с мягкими губными и зубными, которая была свойственна старому московскому произношению, не может уже считаться нормой» [Аванесов 1984: 160]. Для проверки актуальности этого утверждения была произведена запись телевизионной речи разных жанров (информационные новостные программы, ток-шоу, интервью и др.) общим временем звучания 4 часа 20 минут. Из этого массива звучащей речи была сделана сплошная выборка всех случаев употребления фонемы /р/ перед мягкими согласными. Всего было зафиксировано 279 слов с анализируемым сочетанием. Из них в 17% случаев (47 слов) был употреблен старомосковский произносительный вариант.

В речи литературно говорящих представителей «младшей» нормы встречаются старомосковские (мягкие) произносительные варианты в следующих случаях²:

1. Перед зубными: *ве[р']зѣла, наве[р']някѧ, пе[р']сѣдскѣй, че[р']нѣла, ме[р']сѣ.*
2. Перед переднеязычными: *бо[р']щ, мѡ[р']щѣть, пе[р']чѣть.*
3. Перед губными: *че[р']вь, ве[р']фь, сте[р']вѣц, ки[р']нѣч.*
4. Перед заднеязычными: *а[р']хѣв, А[р']гентѣна.*

Произношение старомосковского варианта вероятнее в позициях:

1. после безударных гласных: *ѧ[р']мѣя — а[р']мѣйскѣй;*
2. после гласных переднего ряда: *наве[р']някѧ;*
3. в тех случаях, когда позиция перед мягким поддерживается парадигмой слова (т. е. это условие имеет место во всех грамматических формах): *сѣ[р']дѣтъ;*
4. в именах собственных: *А[р']гентѣна;*
5. во фразеологизмах: *книжнѣй че[р']вь.*

Необходимо еще раз подчеркнуть, что приведенные примеры были зафиксированы в речи именно молодых москвичей, владеющих литературным языком. Также представляется важным наблюдение, сделанное Р. Ф. Касаткиной: в телевизионной речи в заимствованных, неосвоенных словах нередко появлялись мягкие произносительные варианты: *Га[р']нѣѣ, Ѡ[р']бит.* Все эти свидетельства позволяют говорить о том, что норма не может считаться полностью архаичной.

Произношение возвратного постфикса

Исследователи звучащей речи, обращавшиеся к проблеме звукового оформления возвратного постфикса *-ся/-сь* в русском литературном языке на рубеже XIX—XX столетий, утверждали, что нормативным является его произношение с твердым согласным. Об этом пишут Р. И. Аванесов, Ф. Е. Корш, М. В. Панов, Д. Н. Ушаков, В. И. Чернышев, Н. Я. Черных и многие другие. Также большинство исследователей придерживаются мнения, что в течение XX века «твердый» вариант произношения в речи литературно говорящих москвичей сменился «мягким» почти во всех фонетических позициях. Однако подробный анализ различных источников позволяет усомниться в бесспорности подобного суждения.

Лингвисты рубежа XIX—XX веков сходятся в том, что господствующим как в сценической орфоэпии, так и в речи всех литературно говорящих людей являлось произношение возвратного постфикса с твердым [с] в большинстве позиций, т. е. произносили: *боѡ[с] (боѡсь), гнѡ[с] (гнѡсь),*

² Многие из этих закономерностей были впервые установлены Л. Л. Касаткиным, см. [Касаткин, в печати].

стремлю́[с] (*стремлюсь*) и *боя́л[сэ]* (*бойлся*), *гну́л[сэ]* (*гнулся*), *стремил[сэ]* (*стремился*). Об этом, например, пишет В. И. Чернышев в книге «Законы и правила русского произношения»: «окончания *сь, ся* в глаголах произносятся твердо: *выратилса, женилса, вырачусь, жениось* и т. п.», подкрепляя свои слова примерами из известных поэтов — А. С. Пушкина (*бьюсь — музъ; союзъ — боюсь*), В. А. Жуковского (*началась — насъ*), И. А. Крылова (*родясь — часъ; глазъ — поднялась*). Ср. также примеры его собственных транскрипций: *вздумылыс* (*вздумалось*), *пустылиса* (*пустился*), *тагздружылса* (*так сдружился*), *изве^нстилса* (*известился*), *выратилса* (*воротился*), *асталис* (*остались*) [Чернышев 1915]. Однако в той же книге есть любопытное указание, что в некоторых случаях поэты используют рифмы не только с твердым, но и с мягким [с'] в окончании. «Подобно этому, и в глаголах на *сь* (произносятся *сь*) поэты, при обычных рифмах на *сь* (разлилась — у насъ), допускают изредка и рифмы на *сь*.

Так, у Пушкина находим рифмы: *изумясь — князь, князь — томясь, князь — не шевелясь* (“Руслан и Людмила”, песнь пятая), *обвилась — князь* (“Песнь о Вещем Олеге”). У Некрасова, тоже как исключение, находим: *возясь — грязь* (Сочинения, т. I, 8-е изд. 1902, с. 458). И у Фета есть рифма *связь — стыдась* (“О, этот сельский день”). У Майкова также: *таясь — князь* (“У гроба Грозного”), *крестясь — князь* (“Суд предков”)» [Чернышев 1915: 28]. Здесь важно убедиться, что ученый *допускает* возможность мягкого произношения возвратного постфикса (хотя и считает более предпочтительным твердый вариант) и не осуждает поэтов за такие «орфоэпические вольности». Есть основания полагать, что такие вольности не были редкостью ни на рубеже XIX—XX веков, ни даже ранее. Да и были ли это действительно «вольности», а не нечто другое? Необходимо помнить, что большинство примеров, которыми ученые иллюстрируют свои наблюдения, относятся к первой половине XIX столетия. Значит ли это, что в ряде случаев описана не вполне современная исследователям норма?

В этой связи представляется целесообразным обратить более пристальное внимание на те произносительные нормы, которые существовали в литературном языке в первой половине XIX века, так как именно в это время формируется основа, ставшая базовой для старомосковской орфоэпической системы. Все, что относилось к словесности золотого века русской литературы, воспринималось младшими современниками и их потомками как нечто образцовое, заслуживающее подражания.

С целью проверить это утверждение был проведен анализ стихотворных текстов поэтов первой половины XIX столетия (А. Н. Апухтина, Е. А. Баратынского, А. С. Грибоедова, Д. В. Давыдова, В. А. Жуковского, И. А. Крылова, М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина); этот массив текстов был сопоставлен с поэтическими произведениями начала XX столетия на материале текстов поэтов-москвичей (В. Я. Брюсова, З. И. Гиппиус, Б. Л. Пастернака, М. И. Цветаевой) и петербуржцев (И. Ф. Анненского, А. А. Ахматовой, А. А. Блока, О. Э. Мандельштама).

Исследование велось в двух направлениях: с одной стороны, подвергались анализу все возвратные формы глаголов (кроме форм деепричастий с ударением на последнем слоге), в которых нормативным считалось твердое произношение постфикса; с другой стороны, отдельно рассматривались формы деепричастий с ударением на конечном гласном, в которых нормативным признавалось мягкое произношение. Разбор стихотворных текстов показал, что в первой трети XIX века произношение возвратного постфикса в двух рассматриваемых позициях было *вариативным*, но предпочтение отдавалось твердой реализации у глаголов и мягкой — у деепричастий с ударением на последнем слоге (следует учитывать, что у А. С. Пушкина количество примеров с «твердым» постфиксом у деепричастий с ударением на последнем слоге превышает количество «мягких», хотя общая статистика все же не дает оснований полагать, будто «твердый» вариант был предпочтительнее в этой позиции). Впрочем, в этот период не существовало никаких конкретных правил произношения возвратной частицы. О предпочтениях можно судить, опираясь на статистические данные и учитывая дальнейшую судьбу постфикса *-ся/-сь*.

Судя по орфоэпическим рекомендациям, составленным лингвистами в начале XX столетия, старомосковское произношение категорически отвергало как мягкую реализацию возвратного постфикса у глаголов, так и твердую — у деепричастий с ударением на конце. Д. Н. Ушаков говорил: «Глагольное окончание, которое пишется *-сь* и *-ся*, произносится с твердым [с]: *бою*[с] — *боиш*[сэ], кроме деепричастий с ударением на конце: *боя*[с']». Там произносится мягко. В причастиях на *-ся* одинаково допустимо и [сэ] и [с'э]: *боющийся*[сэ] и *боющийся*[с'э] и т. д.»³; это утверждение описывает именно *московскую* норму. Некоторые лингвисты высказывали точку зрения, согласно которой петербургская (ленинградская) норма в начале XX века отличалась от московской в рассматриваемом аспекте (В. И. Чернышев, М. И. Матусевич и пр.). Целесообразно было проследить реализацию этой нормы в поэтических произведениях авторов (как москвичей, так и петербуржцев) в первой четверти XX века. Эпоха уже не предъявляла таких строгих требований к точности рифмовки, однако в некоторых случаях качество согласного можно восстановить с уверенностью. Ср. также высказывание А. К. Толстого, который одним из первых отступил от абсолютной точности рифм, незыблемой для поэзии XIX века: «Гласные, которые оканчивают рифму, — когда на них нет ударения — по-моему, совершенно безразличны, никакого значения не имеют. Одни согласные считаются и составляют рифму». Это замечание представляется важным, ведь предмет исследования — именно качество согласного в рифмованном окончании. Сравнительный анализ рифм поэтов-«москвичей» и «петербуржцев» показал, что произношение возвратного постфикса в первой четверти XX века в двух рассматриваемых позициях был, как и веком раньше,

³ Пленка А-619, фонотека ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН.

вариативным. Основываясь на анализе текстов поэтов-«москвичей», можно лишь с осторожностью сказать, что в начале XX столетия все еще отдавалось предпочтение «твердой» реализации у глаголов и «мягкой» — у деепричастий с ударением на конце. Только в текстах Б. Л. Пастернака у деепричастий преобладает «твердое» произношение. Возможно, это следствие гиперкоррекции.

В Петербурге произношение *-сь/-ся* также было *вариативным*, возможно, с небольшим преимуществом «мягкого» варианта у глаголов. Не найдено никаких рекомендаций относительно произношения возвратной частицы у деепричастий в этот период в Петербурге. Вероятно, и там нормативным был «мягкий» вариант. Об этом свидетельствуют найденные примеры.

Безусловно, всего вышеизложенного недостаточно, чтобы с уверенностью утверждать, будто вариативное произношение возвратного постфикса было присуще не только поэтической, но и живой литературной речи москвичей в первой четверти XX столетия (как и речи петербуржцев). В какой-то мере этот пробел может быть восполнен дополнительным анализом поэтических произведений XIX—XX веков. Многочисленны примеры того, что авторы (не только в рамках подобных жанров, но и в пределах одного стихотворения) употребляют рифмы как с «твердой», так и с «мягкой» реализацией возвратной частицы. Напр.: *вось* — *брось* и *ужас* — *понаужась* (А. С. Грибоедов «Горе от ума»); *угас* — *разлилась* и *зажглось* — *ось* (В. А. Жуковский «Громобой»); *глаз* — *вилась* и *врозь* — *началось* (Б. Л. Пастернак «Лейтенант Шмидт»); *пляс* — *понеслась* и *боюсь* — *Русь* (А. А. Блок «О, что мне закатный румянец...») и пр. Также была изучена магнитофонная запись лекции Д. Н. Ушакова о старомосковском произношении (из фонотеки отдела фонетики ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН, пленка А-619). Анализ речи Д. Н. Ушакова показал, что «твердый» вариант произношения появляется тогда, когда ученый иллюстрирует нормативную (или ту, которую он призывает считать нормативной) реализацию возвратного постфикса, а также во время чтения рассказа «Дачники», тщательно затранскрибированного ранее им совместно с Н. Н. Дурново [Дурново, Ушаков 1924], то есть там, где внимание исследователя уже было сосредоточено на спорных моментах произношения.

Мягкий вариант встречается в непринужденной речи, когда Д. Н. Ушаков «забывает», как именно следует произносить:

- *обраца́ю*[с'] *к* *ним* (снова «мягкий» вариант в личной форме у глагола);
- *приближа́ющий*[с'э] *к* [а] («мягкий» вариант у причастия);
- *приближа́я*[с'] *к* [и] (деепричастие с ударением не на последнем слоге — и снова мягкое произношение);
- *произнося́щая*[с'э] *группа* («мягкий» вариант у причастия);
- *ня́*[ц'с'э] (глагол в форме повелительного наклонения — мягкое произношение);
- *я и ограничу́*[с'] («мягкий» вариант у глагола).

Итак, исходя из полученных сведений, можно с большой долей уверенности утверждать: «мягкая» реализация возвратного постфикса у глаголов была возможна и достаточно частотна в старомосковском говоре (несмотря на то, что официально предпочтение отдавалось «твердому» варианту). Взаимозаменяемость «твердого» и «мягкого» вариантов у глаголов отразилась и на судьбе деепричастий с ударением на последнем слоге, где также было возможно произношение частицы и с твердым, и с мягким согласным (хотя нормативным считалось «мягкое» произношение). Интересно проследить, каково состояние процесса замены твердой реализации возвратного постфикса «мягким» вариантом на сегодняшний день, то есть в начале XXI века. С целью выявить частотность распределения орфоэпических вариантов был подвергнут аудиторскому анализу массив записей телевизионной речи (в основном на материале новостных программ и ток-шоу). Также были включены в исследование зафиксированные факты спонтанной речи москвичей. Результаты анализа показали, что реализация возвратного постфикса с мягким согласным в современном литературном языке практически вытеснила старомосковский вариант, за исключением только позиции после [л] (*стремíл*[сэ], *женíл*[сэ]), где твердость все еще поддерживается прогрессивной ассимиляцией. Однако и в этой форме возвратный постфикс все чаще произносится мягко.

В заключение хочется сказать, что выводы относительно безнадежной архаичности черт старомосковского говора в речи москвичей были, вероятно, слишком поспешны. В современной живой звучащей речи можно наблюдать множество рефлексов старой московской нормы. И не так далека от нас та, как казалось, «устарелая» орфоэпическая система.

Л и т е р а т у р а

Аванесов 1984 — Р. И. А в а н е с о в. Русское литературное произношение. 6-е изд. М., 1984.

Антонова 2002 — О. В. А н т о н о в а. Рефлексы старомосковского произношения в современной речи // Проблемы фонетики = Issues in Phonetics. Вып. 4 / Под ред. Р. Ф. Касаткиной. М.: Наука, 2002. С. 191—195.

Дурново, Ушаков 1924 — Н. Н. Д у р н о в о, Д. Н. У ш а к о в. Опыт фонетической транскрипции русского литературного произношения. Прага, 1924.

Касаткин, в печати — Современный русский язык: активные процессы на рубеже XX—XXI вв. / Отв. ред. Л. П. Крысин (в печати).

Корш 1902 — Ф. Е. К о р ш. О русском правописании // ИОРЯС. Т. 7 (1902). Кн. 1. С. 39—94.

ОС — Орфоэпический словарь русского языка: Произношение. Ударение. Грамматические формы / Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1988.

Панов 1967 — М. В. П а н о в. Русская фонетика. М., 1967.

Чернышев 1915 — В. И. Ч е р н ы ш е в. Законы и правила русского произношения. Пг., 1915.

Т. Б. РАДБИЛЬ

АНОМАЛИИ В СФЕРЕ ЯЗЫКОВОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ МИРА

1. Введение

В статье завершается рассмотрение типов языковой аномальности в русской речи, начатое в работе [Радбиль 2006b], где были охарактеризованы собственно языковые, точнее системно-языковые аномалии, и продолженное в работе [Радбиль 2006a], где рассматривались прагматические аномалии, связанные с нарушениями в сфере речевого поведения, норм и принципов коммуникации.

Здесь речь пойдет об аномальных высказываниях, которые не содержат очевидных нарушений в речевой актуализации системно-языковых закономерностей, не содержат видимых отклонений и в области коммуникативно-прагматической, но при этом все же производят впечатление «странных», порою даже «бессмысленных» высказываний, явным образом оцениваемых в качестве девиантных любым «средним» носителем языка. Вообще говоря, как это было показано в одной из наших работ, многие отклонения, возникающие при переходе от системы языка к ее текстовой реализации, есть не что иное, как вербализация аномальных процессов в области мысли [Радбиль 1998: 13]. Как, например, можно квалифицировать следующее «странное» высказывание: *...а в стакане слово племя / играет с барыней в ведро* (А. Введенский)? Здесь, по-видимому, все же нельзя говорить о прямых нарушениях в области актуализации лексических или грамматических закономерностей, однако едва ли подобное высказывание ощущается читателем как «нормальное».

Итак, кроме высказываний, в которых неадекватно актуализуется системно-языковой и прагматический потенциал языка, в естественном языке встречаются высказывания, в которых фиксируется некоторое логическое нарушение. Подобные аномалии представляют собой непосредственное выражение неадекватной концептуализации мира в языковом знаке. Иными словами, если посредством языка люди каким-то образом могут концептуализировать внеязыковую реальность, то мы можем предполагать и возможность определенных нарушений при речевой концептуализации

этого способа. Предполагается, что если мы постулируем наличие общепринятого в данном языковом сообществе способа концептуализации мира, значит, мы можем предположить и возможность определенных нарушений при речевой актуализации этого способа.

Традиционно принято связывать все, что относится в языке к сфере мыслительных операций, с термином *логическое*, в отличие от собственно языкового. Ср., например, разграничение аномалий логических и языковых (семантических), намеченное Ю. Д. Апресяном [Апресян 1995]. Речь идет о таких аномалиях, которые, не содержа в себе никаких отклонений от системных закономерностей языка, тем не менее воспринимаются как некие отклонения, т. к. ведут к противоречию, тавтологической неинформативности или бессмысленности высказывания.

Однако человеческий способ осмысления мира, особенно представленный в естественном языке, не сводится исключительно к логическим законам и категориям. Поэтому логические аномалии должны быть включены в более широкий круг аномальных явлений в сфере языковой концептуализации мира, которые мы предлагаем, за неимением лучшего интегрирующего термина, условно именовать *концептуальными*.

Правда, для выделения концептуальных аномалий в отдельную группу существует по меньшей мере два труднопреодолимых препятствия. С одной стороны, практически любая языковая или прагматическая аномалия предполагает какое-то логическое нарушение — иначе она просто не осознавалась бы как таковая. Так, в приведенном выше примере из А. Введенского прежде всего бросается в глаза именно несочетаемость субъектов (*слово племя, барыня*) при многоместном предикате *играть* (в логическом смысле этих терминов). С другой стороны, большинство аномалий мыслительного характера актуализуются на уровне поверхностных структур в аномалии собственно языковые, и экстрагировать первые из вторых «в чистом виде» не представляется возможным. В том же примере можно увидеть и нарушение в области применимости предиката (уже в языковом смысле): в семантическую пресуппозицию глагола *играть* входит представление об одушевленности субъектов игры.

Таким образом, концептуальные аномалии могут выступать как причины языковых, точно так же, как и языковые нарушения могут приводить к мыслительным девиациям. Отсюда возможна двоякая трактовка одних и тех же явлений то как языковых, то как концептуальных аномалий. Так, в высказывании: *Он богоподобен сычу* (А. Введенский) — на языковом уровне можно видеть контаминацию двух синтаксических моделей [*богоподобен + подобен кому-л.*], при которой валентность на объект уподобления избыточно вербализована дважды. Но и на уровне логическом (концептуальном) можно видеть алогизм как приписывание субъекту двух взаимоисключающих предикатов из разных сфер (*он одновременно подобен Богу и подобен сычу*).

Обосновывая разграничение двух указанных видов аномальности, Ю. Д. Апресян утверждает, что «если логическое противоречие возникает на стыке двух однозначных лексических единиц и создается несовместимостью ассертивных частей их значений, то языковой аномалии, как правило, не возникает: *Это мой друг-враг; Я его люблю и ненавижу* (<не люблю>...)» [Апресян 1995: 625]. В соответствии с этим мы предлагаем рассматривать в числе концептуальных аномалий только те, которые не имеют очевидных семантико-структурных отклонений от правил стандартного языка, что неизбежно сузит их объем.

Будем при этом иметь в виду, что их речевая реализация сопровождается, тем не менее, разного рода «странностями» в области контекстного окружения, синтагматической реализации (сочетаемости) и др., т. е. все же каким-то образом ведет и к некоторым языковым девиациям. Поэтому в нашей монографии [Радбиль 2006с] обосновывается расширительное применение термина *языковая аномалия*, которая понимается как любое значимое отклонение от принятых в данной социальной, культурной и языковой среде стандартов, имеющее знаковый, т. е. языковой, характер манифестации, но не обязательно системно-языковую природу. Это позволяет утверждать, что и аномалии языковой концептуализации мира, наряду с собственно языковыми (системно-языковыми) и прагматическими аномалиями, могут также трактоваться как «языковые» в широком смысле этого слова.

В настоящей работе аномалии языковой концептуализации мира исследуются на примерах из художественных текстов, однако, поскольку для нас важна сама концептуальная модель порождения аномальности, мы в данном случае отвлекаемся от художественной специфики слова и, кроме того, рассматриваем только такие модели, которым мог бы быть приписан аналог и в обыденной коммуникации.

В целом в языковой концептуализации мира мы условно разграничиваем: (1) *содержательный*, т. е. *субстанциональный* компонент (что именно концептуализируется); (2) *интерпретационный*, т. е. *категоризационный* компонент (каким образом концептуализируется).

2. Аномалии в актуализации содержательного компонента в языковой концептуализации мира

Концептуальные аномалии этого типа могут иметь две основные разновидности, связанные, условно говоря, со «степенью обобщения» понятия «мир» как объекта языковой концептуализации. Во-первых, можно рассматривать, как язык концептуализирует некие общие свойства самой структуры мироустройства, мироздания («смотреть в телескоп»), а во-вторых, можно рассматривать свойства языковой концептуализации конкретного события, конкретной ситуации как особого «кванта мироздания» («смотреть в мик-

роскоп»). В связи с этим среди концептуальных аномалий можно выделить: (1) аномалии языковой концептуализации «прототипического мира»; (2) аномалии языковой концептуализации «прототипической ситуации».

2.1. Аномалии языковой концептуализации «прототипического мира»

Сама возможность подобных аномалий связана с тем, что языковая концептуализация мира имеет дело не с миром *ad hoc*, в его онтологии, а с так называемым «прототипическим миром» — см., например, [Fillmore 1978: 153]. В когнитивной лингвистике «прототипический мир» вводится следующим образом: «... например, такие понятия, как „холостяк“, „вдова“, „диалект“, должны определяться относительно некоторого “простого мира”, в котором люди обычно женятся или выходят замуж, достигнув определенного возраста, причем либо никогда вторично не женятся и не выходят замуж, либо только овдовев ...» [Демьянков 1996: 143].

«Прототипический мир» задан как коррелят реального мира в концептуальном пространстве. Он представляет собой некую совокупность коллективного опыта, определенных представлений о том, как бывает или могло бы быть при отсутствии нарушений рационально верифицируемых связей и отношений между элементами в заданных (культурной средой или интенциональными установками) условиях существования. «Прототипический мир» (а не мир «реальный») и есть денотативная сфера языка.

Понятие «прототипический мир», в свою очередь, коррелирует с понятием «возможного мира» в духе положений Я. Хинтикки [Хинтикка 1980] и С. Крипке [Крипке 1986]. Причем возможные миры, как утверждает С. Крипке, «задаются, а не открываются с помощью мощных телескопов» (цит. по [Руденко 1992: 24]). И задаются они на концептуальном уровне, а именно, по мнению Я. Хинтикки, семантикой языка; число и характер этих миров резко ограничены и определены возможностями нашего языка: «Сами возможности мира являются возможностями языковыми» (цит. по [Иванов 1982: 5—6]).

Поскольку «прототипический мир» — это пусть и максимально релевантный, но все же «возможный мир», уже на этом уровне в языке предусмотрены возможности разных операций с «прототипическим миром», т. е. разных отклонений от него. Это в немалой степени связано и с интенциями говорящего: так, далеко не всегда говорящему нужно отобразить реальный мир, часто он заинтересован совсем в ином — либо в сокрытии истины, либо в создании (с какими-либо целями) альтернативного «портрета» универсума. Кроме того, говорящий просто может не обладать достаточными знаниями или опытом для «правильного» отображения (пребывать, так сказать, в состоянии «эпистемологического неведения»).

Таким образом, рассматривая большинство высказываний естественно-го языка, по тем или иным причинам представляющихся нам аномальными, можно утверждать, что многие из них на самом деле являются, условно говоря, не «аномалиями языка», но «аномалиями мира»: ведь именно от-

клонения от актуального на данный момент для носителей языка «прототипического мира» и создают впечатление «аномальности».

Аномалии языковой концептуализации «прототипического мира» можно условно разделить на: (1) аномалии субъектно-предикатной структуры (в логическом смысле слова); (2) аномалии в сфере модальности; (3) аномалии пространственных и временных параметров «прототипического мира».

(1) Аномалии субъектно-предикатной структуры «прототипического мира» отмечены еще Р. Карнапом, который квалифицировал их как нарушения в области «логического синтаксиса», ведущие к порождению «псевдопредложений». Он пишет, что очень часто встречающимся нарушением логического синтаксиса является так называемая «путаница сфер» понятий. Примером этой ошибки является предложение «Цезарь есть простое число». Личное имя и число принадлежат к разным логическим сферам, а поэтому предикат личности («полководец») и предикат числа («простое число») также принадлежат к разным сферам [Карнап 1993: 11—26].

Здесь возможен ряд случаев. Это, например, могут быть случаи, близкие к описанным Р. Карнапом, когда рационально осмысляемым субъектам приписаны заведомо неадекватные предикаты: *В кипятке / была зима, / в ручейке / была тюрьма, / был в цветке / болезней сбор, / был в жуке / ненужный спор* (А. Введенский).

Возможно и обратное — невероятным субъектам приписаны реальные предикаты. Так, например, в рассказе Д. Хармса «Приключение Катерпиллера» остается намеренно неясной область референции имени *катерпиллер*: *Мишури́н был катерпиллером. Поэтому, а может быть и не поэтому он любил лежать под диваном или за шкапом и сосать пыль. Так как он был человек не особенно аккуратный, то иногда целый день его рожка была в пыли, как в пуху. / Однажды его пригласили в гости, и Мишури́н решил слегка пополоскать свою физиономию. Он налил в таз теплой воды, пустил туда немного уксусу и погрузил в эту воду свое лицо. Как видно, уксусу в воде было слишком много, и потому Мишури́н ослеп. До глубокой старости он ходил ощупью и поэтому, а может быть и не поэтому стал еще больше походить на катерпиллера.* Английское *caterpillar* означает 'гусеница' и 'жадный человек; вымогатель, кровопийца'; кроме того, так называется известный американский завод по производству бульдозеров, тракторов и пр. Очевидно, что ни одно из этих толкований не предполагалось Д. Хармсом, который специально выбирал «иностранно» звучащее слово с минимумом общепринятых ассоциаций.

Случаи, когда и субъект, и предикат не подлежат рациональному осмыслению, крайне редки, поскольку такой мир вообще «неудобоварим» для языкового сознания. Это, например, экспериментальная аномалия, созданная Л. В. Щербой: *Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокренка*, это «нескладухи» Л. Кэрролла типа: *Воркалось. Хлипки шорки / пырялись по нове, / и хрюкотали зелюки, / как мумзики в маве* (пер. Д. Г. Орловской) или поэтическая «заумь» В. Хлебникова.

Концептуальные аномалии подобного рода в наименьшей степени имеют отношение к языку, т. к. они неконвенциональны: доказательством этого является легкость их перевода с одного языка на другой, т. к. здесь переводятся концепты безотносительно к их конвенциональному, идиоматичному языковому выражению. Однако многие аномалии в области актуализации субъектно-предикатной сферы «прототипического мира» все же могут сопровождаться и чисто языковыми девиациями. Это касается прежде всего аномалий, неадекватно представляющих базовые для «языка мысли» оппозиции конкретность / абстрактность и одушевленность / неодушевленность.

Неразграничение в языковой концептуализации мира сущностей, принадлежащих миру вещественному, реальному, и сущностей, принадлежащих умозрительному, «ментальному» пространству, находит свое выражение в явлении овеществления абстракции [Радбиль 1998]. Это, в общем, распространенные модели метафоризации и метонимизации абстрактной лексемы типа *надежды рушатся, радость разливается* и пр. Они вовсе не обязательно задают аномальный «прототипический мир»: речь идет лишь о таком рационально не интерпретируемом овеществлении, которое не имеет опоры в лексической и грамматической семантике сочетающихся субъектов и предикатов.

В нашей классификации это случаи, когда рационально осмысляемым субъектам приписаны заведомо неадекватные предикаты. Овеществлению подвергаются, к примеру, абстрактные концепты с семантикой мысли, речи, чувства, состояния, нравственной или эстетической категории и пр. — ср., например, следующие высказывания из А. Введенского: *Достоинство спряталось за последние тучи; ... Я мысли свои разглядывал. / Я видел у них иные начертания; Вон по краям дороги валяются ваши разговоры.*

На наш взгляд, все же есть основания и такие случаи включать в сферу применимости термина «языковые аномалии» (в расширительной трактовке понятия). Основанием для этого является наличие нарушений в области важных пресуппозитивных смыслов образующих подобные высказывания слов, а эти смыслы, безусловно, суть принадлежность системно-языковой семантики. Так, в неассертивной части семантики глагола *разглядывать* присутствует представление о конкретно-чувственном характере объекта действия (в отличие от глагола *рассматривать*, который нормально возможен и при абстрактном объекте: *рассматривать проблему*, но не **разглядывать проблему*).

Аналогичные языковые отклонения сопровождают и чисто концептуальные нарушения в сфере одушевленных и неодушевленных сущностей. Отметим, что аномальным не считается одушевление в сказках или легендах, так как это — норма для «прототипического мира» сказок. Речь идет лишь о рационально не интерпретируемых случаях, помещенных в контекст «реального» мира, как, например, в высказывании из А. Введенского: *Гуляет стул надменный*, — где неодушевленному предмету *стул* припи-

саны предикат *гулять* и признак *надменный*, в норме относящиеся к живому существу. Подобные предикаты, в норме относящиеся к одушевленному существу, могут быть немотивированно приписаны и абстрактным понятиям: *Казалось ему, наслаждение / сидит на усов волосках; вред вокруг меня порхал; ... беда, беда, сказала Лена, / глядит на нас из-под колена* (А. Введенский).

Поскольку одушевленность и неодушевленность в естественном языке имеют разнообразные прямые и косвенные способы языковой охарактеризованности, можно предположить, что и разного рода «манипуляции» с одушевленностью и неодушевленностью в «языке мысли» каким-то образом отразятся и на языковых особенностях полученных высказываний.

Так, например, значительным потенциалом в этом плане обладают так называемые «скрытые категории»: речь идет об особом типе грамматических значений, которые не имеют формально выделяемых, морфологических средств выражения в языке, но, тем не менее, включенных в грамматическую систему языка на основании «косвенных» (например, синтаксических) признаков, позволяющих говорить об их присутствии [Булыгина, Шмелев 1997].

Например, известно, что для «скрытой категории» личных и неличных существительных в русском языке характерно, что неличные существительные, в отличие от личных, не употребляются в дательном падеже со значением предназначенности (нельзя сказать **кутил линолеум кухне*, только — *для кухни*) [Булыгина, Шмелев 1997]. Однако у А. Платонова встречаем: — *Так, — сказал тот и, завязав мешку горло* [вместо *завязав горло у мешка*], *положил себе на спину этот груз*. Таким образом, задается аномалия в концептуализации «прототипического мира», когда *мешок* приобретает возможность выступать в качестве одушевленной субстанции (имя *мешок* аномально относится к классу личных существительных). Аналогичным образом в текстах А. Платонова, например, в позиции объектного детерминанта со значением назначения (*нужен для чего-л.*) часто выступает субъектный детерминант (*нужен кому-л.*): ... *словно коммунизму* [вместо *для коммунизма*] и *луна была необходима*; ... *у нас нет воды, ее не хватает социализму* [вместо *для социализма*].

(2) Аномалии в сфере модальности «прототипического мира» — это разного рода операции с модальностью, в результате которых могут аномально смешиваться разные возможные миры. Причем многозначный термин «модальность» здесь понимается в общелогическом смысле как задание говорящим в своем высказывании некоего «модуса существования» объектов языковой концептуализации — реального или нереального, достоверного или гипотетического и пр.

Подобные концептуальные аномалии также имеют очевидную опору в свойствах естественного языка: так, например, синтаксис, благодаря разного рода операциям с наклоном или с другими типами выражения объективной модальности высказывания, имеет вполне легитимную возможность представлять нам несуществующее событие как существующее, а ги-

потетически вероятное — как реально наличествующее. На этом фундаментальном свойстве основана сама возможность художественной наррации и вообще любой фантазии или лжи.

Наиболее типичная аномалия в сфере модальности связана с неразграничением модуса реального существования объекта и модуса его ментального восприятия. Вообще говоря, в естественном языке существует вполне нормативный способ перехода модальности реального существования в модальность ментального восприятия, который актуализован в моделях образования семантически производных значений некоторых слов. К таким словам относится, например, глагол *открываться*, который в своем «реальном» значении обозначает что-то вроде ‘начинать быть или функционировать’ (*Новый театр открывается завтра*), а в одном из вторичных значений означает ‘становиться видимым взгляду’, т. е. ‘становиться объектом ментального восприятия’ (*Взгляду открывается красивый пейзаж*, который вовсе не ‘начал быть’ в субстанциональном плане, поскольку существовал и до этого, но ‘начал быть’ в ментальном пространстве говорящего).

Однако в примере из А. Платонова: *По аллее они проехали версты полторы. Потом открылась на высоком месте торжественная белая усадьба, обезлюдевшая до бесприютного вида*, — глагол *открылась*, употребленный без вставки конкретизирующего субъекта восприятия (*взгляду открылась усадьба / перед ними открылась усадьба*), аномально переключает модус ментального восприятия в модус реального существования. Аналогично у того же автора: *На краю города открывалась мощная глубокая степь*, где аномально элиминирована позиция наблюдателя: [*перед ними открывалась*].

Своеобразное переключение «регистра модальности» с плана ментального существования в план существования реального обуславливает возможность представлять объективные явления как бы возникающими по воле субъекта, как только они попадают в сферу восприятия, и «исчезающими», как только они выходят за ее пределы: *Люди лежали навзничь, и вверху над ними медленно открывалась трудная, смутная ночь* [вместо *их взгляду / перед их глазами открывалась*] (А. Платонов).

На уровне мыслительных операций в рассмотренных примерах мы имеем дело с парадигматической операцией субституции (замещения) одного модуса другим. Однако возможна и синтагматическая операция совмещения двух модусов в одном акте языковой концептуализации: *Город опускался за Двановым из его оглядывающихся глаз в свою долину...* (А. Платонов). Здесь *город* одновременно присутствует в двух возможных мирах — в реальном пространстве и в пространстве ментального восприятия (что само по себе в принципе нормально), но при этом может каким-то образом «перетекать» из одного в другой.

Ср. аналогичное совмещение двух модусов в одном в следующих примерах из А. Платонова: *Сейчас женщины сидели против взгляда че-*

венгурцев (вместо сидели против чевенгурцев или сидели против [смотревших на них] чевенгурцев); Из-за перелома степи, на урзе неба и земли, показались телеги и поехали **поперек взора Копенкина** (где движение *поперек* в норме может мыслиться только как пересечение реально существующей области пространства). Таким образом, как бы стирается условная граница, дистанция между планом субстанции и планом ее восприятия: два этих возможных мира помещаются в одну плоскость взаимодействия.

Разнообразные аномалии языковой концептуализации «прототипического мира», связанные с неразграничением в области реальной и нереальной модальности, охарактеризованы в нашей монографии как «онтологизация кажимости» [Радбиль 2006с: 251]. Концептуальный и языковой механизм «онтологизации кажимости» можно показать на следующем примере: *После похорон в стороне от колхоза взошло солнце, и сразу стало пустынно и чуждо на свете; из-за утреннего края района выходила густая **подземная туча*** (А. Платонов). Обратим внимание, что здесь устранен модус сравнения: [как бы] *подземной*, [словно] *из-под земли*, — и мир ментальный, т. е. мир концептуальной метафоры в концептосфере говорящего, становится миром реальным.

В норме естественный язык располагает средствами дистанцирования модуса реального существования и модуса ментального восприятия — это, например, конструкция с придаточным изъяснительным, где главное предложение вербализует сферу субстанционального бытия, а придаточное как раз обозначает уже не реальное событие, а факт как элемент концептуального пространства (о различии между событием и фактом см. [Арутюнова 1988]): *Она смотрела, как умирают листья на бульваре.*

Однако у А. Платонова встречаем аномальное сворачивание предикативной конструкции придаточного предложения, в результате которого указанная дистанция между модусами стирается: *...она сидела в школе у окна, уже во второй группе, **смотрела в смерть** листьев на бульваре.* Здесь модус реального существования и модус ментального восприятия помещены в одну плоскость, в одну размерность пространства; при этом абстрактное существительное *смерть*, замещая валентность при *смотреть в* = 'направленность взгляда *внутрь* объекта', приобретает семантику 'наглядного, чувственно представляемого явления, имеющего координаты в физическом пространстве — как минимум, «глубину»'. Отвлеченный процесс *смерть* осмысливается как чувственно воспринимаемый реальный объект, обладающий к тому же пространственными параметрами.

Подобные аномалии опираются и на определенные языковые механизмы. Так, в примере: *Вскоре показалось расположение «Родительских двориков», **беспомощное издали...*** (А. Платонов) — сама возможность аномальной «субстанциональной» вторично-предикативной характеристики *беспомощное издали* является следствием элиминации грамматического показателя субъективной модальности (в норме должно было быть *каза-*

лись беспомощными, и не *расположение «Родительских двориков», но сами «Родительские дворики»).

Кроме того, аномальное сосуществование возможного мира с объективного восприятия и возможного мира объективного бытия субстанций и акциденций на уровне речевой реализации проявляется и в моделях аномальной метафоризации или метонимизации: *Через десять минут последняя видимость берега растаяла* (А. Платонов). Из сферы наблюдателя исчезает не субстанциональный объект берег, но ментальная проекция его свойства 'быть видимым', представленная в виде субстанционального объекта того же мира, что и берег. Ср. аналогично у А. Введенского: *Полет орла струился над рекой*. Здесь *струится* («нормальная» метафора полета), т. е. *летит*, не орел, а его *полет*.

(3) Аномалии пространственных и временных параметров «прототипического мира» представляют собой разного рода отклонения в языковой концептуализации пространственных или временных координат отображаемого «фрагмента мира» или события.

Аномальная языковая концептуализация пространственных категорий «прототипического мира» может быть связана, например, с аномальным существованием предмета или лица одновременно в разных пространственных координатах. В романе «Счастливая Москва» А. Платонова читаем: *Среди голода и сна, в момент любви или какой-нибудь другой молодой радости — вдруг вдалеке, в глубине тела опять раздавался грустный крик мертвого*. Крик раздавался одновременно и вдалеке, т. е. в мире, внешнем по отношению к героине, и в мире внутри героини.

Аномальная языковая концептуализация временных категорий «прототипического мира» связана с аномальным сосуществованием «нестыкуемых» возможных миров времени: *В одно истекшее летнее утро повозка Надежды Михайловны Босталоевой... остановилась в селе у районного комитета партии* (А. Платонов). Здесь актуализованы два взаимоисключающих возможных мира времени: в мире уже свершившегося (*истекшее утро*) непостижимым образом присутствует мир совершающегося (*повозка остановилась*). При нормальной актуализации эти два возможных мира должны задаваться структурой сложноподчиненного предложения с временным придаточным: *повозка остановилась...* [в то время как] *истекло* [= прошло] *одно летнее утро* или: [Когда] *истекло* [= прошло] *одно летнее утро, повозка остановилась*.

Аналогично в примере: *...не имел аппетита к питанию и потому худел в каждое истекшее утро* (А. Платонов), где имперфектив *худел* задает режим настоящего узуального, а причастие *истекшее* — перфектное значение результата. На поверхностном синтаксическом уровне для всех рассмотренных случаев можно говорить об аномалиях таксиса — согласования глагольных форм, выражающих относительное время.

Частным случаем аномальной языковой концептуализации пространственных и временных параметров «прототипического мира» выступает

осмысление временных категорий в категориях пространственных, по всей видимости, имеющее глубокие корни в мифологическом типе мышления — об этом см. [Радбиль 1998]. Это прежде всего связано с тем, что время осмысляется в рамках пространственных параметров: ... *точно все живущее находилось где-то посредине времени...* (А. Платонов). Употребление предлога *посредине* (в отличие, например, от *среди*: ср. *среди ночи*), имеющего явную пространственную ориентацию, придает эту ориентацию и представлению о времени.

2.2. Аномалии языковой концептуализации «прототипической ситуации»

Другую группу аномальной актуализации содержательного компонента в языковой концептуализации мира мы связываем с понятием «прототипическая ситуация» в духе работы А. Вежбицкой «Прототипы и инварианты» [Вежбицкая 1997]. Это некая исходная мыслительная (семантическая) модель реальной ситуации («когнитивная модель ситуации», по Г. И. Кустовой), задаваемая тем или иным словом или высказыванием, которая включает в себя представление о процессе (действии, состоянии, отношении и пр.) — способе его проистекания, его результате, пространственных и временных характеристиках и т. п. — и его участниках (актантах): субъекте, объекте, адресате, орудии, веществе, пациенте, экспериенцере и пр. В отличие от реальной ситуации, «прототипическая ситуация» принадлежит не внеязыковой реальности, а концептуальному пространству.

Как пишет Г. И. Кустова: «В прототипической ситуации есть много дополнительной информации, которая непосредственно не используется и не фиксируется в исходном значении» [Кустова 2004: 39]. Однако именно обращение к «прототипической ситуации» помогает понять концептуальный источник некоторых аномальных высказываний, которые не содержат явных системно-языковых девиаций.

Так, в примере: ... *и бережно пошел дальше* (А. Платонов) — очевидная аномалия (которая снимается, если использовать синоним слова *бережно* — *осторожно пошел*) связана, на наш взгляд, не столько с языковой семантикой слова *бережно*, которая в целом совпадает с *осторожно*, сколько именно с особенностями «прототипической ситуации». В частности, в ситуации, когда используется слово *бережно*, элемент его семантики ‘внимательно, заботливо’, т. е. ‘намереваясь сберечь что-л., не повредить какой-л. объект’, предполагает обязательную направленность на объект этого отношения (кстати, именно это значение А. Б. Пеньковский отмечает для слова *бережно* в примере из А. С. Пушкина: *ступает бережно на лед* [Пеньковский 2004: 204]). Таким образом, «прототипическая ситуация» использования этого слова включает наличие двойного семантического подчинения этого признака не только действию, но и обязательно объекту действия (хотя бы инкорпорированному). Поэтому можно *бережно нести*

что-л., бережно относиться к чему-л., бережно обращаться с чем-л., но нельзя *бережно ходить, стоять, спать, т. е. совершать действия, не имеющие валентности на объект. А в случае использования слова *осторожно*, т. е. 'пытаясь не нарушить положения вещей, целостности предмета', напротив, семантически акцентируется именно план субъекта — источника этого отношения, а наличие объекта не имеет значения: поэтому можно и *осторожно ходить*, и *осторожно спать*, и *осторожно размышлять*.

«Прототипическая ситуация» выступает как результат избирательной языковой концептуализации в языковом выражении некоего реального события, при которой какие-то признаки акцентируются, а какие-то, напротив, затушевываются. Как объясняет Г. И. Кустова: «Например, ситуация „(человек) сел на лошадь“ интерпретируется как 'сел на спину лошади', хотя, по-видимому, ни в каком „обычном“ словаре *сесть на лошадь* не толкуется как 'сесть на спину лошади'» [Кустова 2004: 34]. Добавим, что в этом случае избыточная языковая категоризация части тела лошади, на которую садится человек, будет аномальной, т. к. она и не должна быть эксплицирована (это импликация, так сказать, «по умолчанию»).

Однако, например, у А. Платонова встречаем множество примеров подобной избыточной экспликации: *Вместо людей активист записывал признаки существования: лапоть прошедшего века, оловянную **серьгу от пастушьего уха**, штанину из рядна и разное другое снаряжение трудящегося, но неимущего тела*. В норме должно быть просто *пастушья серьга*, а не конкретизированное **серьга от пастушьего уха*.

«У концептуальных структур есть „выделенная“ (точнее — выделяемая в знаке) часть (акцент, доминанта) и есть „теневая“ часть („остаток“») [Кустова 2004: 41]. Логично допустить, что возможны и разные отклонения в речевой актуализации «прототипической ситуации», связанные как с неправильной акцентуацией ее выделенной части, так и с неправильной (или избыточной) вербализацией части «теневого».

Например, почему при нормальном *водить автобус (такси, трамвай)* существует нормальное же *водитель автобуса (такси, трамвая)*, а при нормальном *писать книги (романы, повести)* аномально **писатель книг (романов, повестей)*? Нам представляется, что в «прототипической ситуации» вождения автобуса (такси, трамвая) акцентируется именно объект вождения, который поэтому не становится «инкорпорированным» при трансформации этой ситуации в предикативно-характеризующее имя действующего лица; в «прототипической ситуации» писания книг (романов, повестей) акцент делается на самом факте творческой активности, и тогда при «переводе» этой ситуации в имя деятеля объект писания становится «инкорпорированным» и в норме вербализован быть не может (по типу глагольных лексем *рыбачить*, где нельзя **рыбачить рыбу*, *асфальтировать* — нельзя **асфальтировать асфальт* и пр.). С этим связаны многочисленные примеры тавтологической экспликации «инкорпори-

рованного объекта», например, у А. Платонова: *плачет своими слезами; вредоносным для зрения глаз; учительница детей; косарь травы*¹ и пр.

В настоящей работе понятие «прототипическая ситуация» трактуется в расширительном смысле — применительно не только к семантике отдельного слова, но и к семантике предложения в целом: в таком случае это понятие коррелирует с понятием пропозиции как мыслительной схемы события, рассмотренной вне привязки к конкретному речевому акту и вне коммуникативного намерения говорящего (см. [Падучева 1996]). В этом смысле возможна неадекватная мыслительная категоризация: (1) отдельных элементов структуры события: предметов, признаков и процессов реальной действительности; (2) структуры события в целом.

(1) В области аномальной категоризации отдельных элементов «прототипической ситуации» прежде всего нужно отметить аномалии, связанные с неадекватным представлением участников событий — например, аномальную субстанциализацию свойства, признака, атрибута: ... *всюду над пространством стоял пар живого дыхания, создавая сонную, душную незримость* (А. Платонов), — где отвлеченное имя свойства / признака выступает как чувственно воспринимаемый предмет с физическими характеристиками. Аналогично у А. Введенского в качестве предмета, обладающего самостоятельным физическим бытием, осмысливается свойство, а именно количество: ... *то видят численность они... и численность лежит как дни*.

Когнитивная суть подобных явлений — гипостазирование, т. е. приписывание отвлеченному признаку предмета самостоятельного субстанционального бытия. Подобная метаморфоза признака в субстанцию может воплощаться на уровне поверхностной структуры в явление отвлечения эпитета: *Захару Павловичу досталась пустота двух комнат* [вместо *две пустые комнаты*]. Смысл подобной субстанциализации с точки зрения «языка мысли» заключается в том, «что отношение предмет и его (имманентный) признак переосмысливается как отношение двух самостоятельных предметов, которые связаны не в логическом «пространстве» предцифрования (то есть определения понятия через его свойство), а в реальном пространстве и времени...» [Радбиль 1998: 74—75].

К рассмотренному явлению близка аномальная мыслительная категоризация объекта (способа, орудия или средства) действия в субъект. Например, творительный образа действия трансформируется в творительный реального субъекта действия: *Другой молчанием погашен / холмом лежит как смерть бесстрашен* (А. Введенский). Видимо, это тоже один из вариантов гипостазирования, при котором отношения ли-

¹ Предложение связать аномалии типа *косарь травы* с понятием «инкорпорированного участника» высказано Е. В. Падучевой, за что автор приносит ей сердечную благодарность.

цо / свойство (*человек / молчание*) при переводе «языка мысли» в его вербальный режим переосмысляются в реальном пространстве / времени как две автономные субстанции.

Примером аномалий в сфере актуализации участников ситуации также может выступать инвертированная концептуализация структуры события посредством аномальной мены ролей актантов — участников события: *У Саши будут ребяташки от Сони* (А. Платонов) — вместо ожидаемого *У Сони будут ребяташки от Саши*. Аналогично происходит аномальная перестановка (метатеза) актантов при глаголе в примере: ... *он успокаивал себя ветром* [вместо *ветер успокаивал его*]... (А. Платонов). См. об этом [Кобозева, Лауфер 1990: 131]: «Из множества предикатов выбирается такой, семантические роли которого вступают в противоречие с нормативной иерархией семантических ролей участников ситуации. Например, в ситуации ‘изменение отношений обладания’ в том случае, если переход собственности происходит от неодушевленного объекта к одушевленному, нормативным является предикат, в котором роль агенса приписывается одушевленному объекту. Пример такого нарушения: *Деревья... отдавали свои ветки на посохи странникам* при нормативном варианте *Странники брали ветки деревьев на посохи*».

Разновидностью подобной аномалии является аномальная дистрибуция элементов в структуре ситуации — распределение предметов, признаков, процессов, участвующих в категоризации события. Ярким образцом такой аномалии является выражение из А. Платонова: ... *будущий человек найдет себе покой в этом прочном доме, чтобы глядеть из высоких окон в протертый, ждущий его мир* (А. Платонов). Здесь признак *протертый*, в норме приписываемый *окну*, при данной модели категоризации аномально приписывается *миру*. Тем самым субстанции *мир* и *окно* аномально объединяются в «языке мысли» в некую нерасторжимую целостность.

Иной тип аномальной мыслительной категоризации элементов структуры «прототипической ситуации» связан с аномальным представлением в «языке мысли» самого действия (состояния, процесса и т. д.). Так, И. М. Кобозева и Н. И. Лауфер обнаружили в языке А. Платонова прием «двойной категоризации действия», когда «в одной предикации совмещены категоризации разных уровней», например: ... *истребил ее* (записку) *на четыре части* — совмещены две категории: РАЗРЫВАНИЕ (физический уровень) и УНИЧТОЖЕНИЕ (уровень результата) [Кобозева, Лауфер 1990: 128—129]. Ср. также наш пример: *Чувства о Розе Люксембург так взволновали Копенкина, что он опечалился глазами* (А. Платонов), — где в одной предикации избыточно совмещены две категории: *опечалился* (уровень психического состояния), и это отразилось в его *глазах* (уровень результата).

Подобные явления могут иметь своим результатом нарушение синтаксического правила. В примере: — *Почему? — озадачился из машины человек*, — где избыточно категоризован внешний план действия: *спросил из*

машины (= *находясь внутри машины*) и план его психического содержания: *озадачился* (= *удивился*); на синтаксическом уровне глаголу *озадачиться* приписана аномальная валентность на источник действия. Ср. аналогично: *О берег реки Чевенгурки волновалась неутомимая вода* (А. Платонов), где на уровне концептуализации в описании действия ‘билась волнами о берег’ «двойной категоризации» подвергаются пространственный аспект действия (*билась о берег*) и образ действия (*волновалась*): на синтаксическом уровне это находит свое выражение в контаминации двух конструкций (*море волнуется + волны бьются о берег*).

Еще один пример неправильной актуализации модели ситуации может быть связан с аномальной категоризацией двух последовательных этапов действия в одном языковом выражении; например, при категоризации ситуации ‘купаться в реке’: ... *а два товарища начали обнажаться навстречу воде* (А. Платонов) — последовательные действия ‘раздеваться’ и ‘идти к воде’ стянуты в одно словосочетание; кроме того, здесь аномально представлена пространственная структура события, так как речь идет о том, что герои просто идут с берега к воде, а «прототипическая ситуация» использования выражения *навстречу воде* предполагает, что субъект находится в воде и стоит против течения реки.

(2) Аномальная категоризация «прототипической ситуации» в целом главным образом связана с неправильной «*н о м и н а л и з а ц и е й*» [Кобозева, Лауфер 1990] предикативной конструкции — аномальным свертыванием пропозициональной структуры. Это выражается в представлении исходной пропозиции не в виде предикативной или вторично-предикативной единицы, а в виде слова или словосочетания. В системе языка существует модель подобной номинализации: *После прихода отца = После того, как пришел отец*. В таких случаях аномалия может быть связана с тем, что выбирается имя, по своим лексико-грамматическим свойствам не подходящее для этого, — например, для обозначения центра свернутой предикативности используется не имя действия (отглагольное существительное, «предикативное имя»), как в норме, а имя собирательное (то есть «чистое имя»): ... *им защиты, кроме товарищества, нет* [= *без того, чтобы стать товарищами, объединиться*] (А. Платонов). В норме с этой целью должно быть использовано имя действия *объединение*, а не *товарищество*.

В результате аномального свертывания пропозиции возникает ложное логическое предикативное — например, **растения солнца: ... чтобы пожирать растения солнца...* (А. Платонов). Реально имеется в виду ‘растения, растущие под солнцем / благодаря солнцу’. Ср. также: *Инженер Прушевский подошел к бараку и поглядел внутрь через отверстие бывшего сучка* (А. Платонов). Здесь можно увидеть, как свертываемый компонент при слове *отверстие*, [*оставшееся на месте отвалившегося*] *сучка*, заменяется словом *бывший*. В результате возникает ложная предикация **отверстие сучка*.

Когнитивный механизм аномального предцирования связан с аномалиями в области неправильной экспликации акцентированных аспектов и «теневого остатка» «прототипической ситуации». Так, в примере: ... **чинили** автомобили **от бездорожной езды** (А. Платонов) в аномальное сочетание *чинить автомобили от езды свернута исходная ситуация 'чинить автомобили, которые ездят по **бездорожью**'. Суть аномалии в том, что в исходной ситуации семантический акцент делается на понятие *бездорожье*, тогда как в получившемся выражении это понятие выражается прилагательным, по определению подчиненным определяемому существительному *езда* (акцент таким образом смещается на *езду*, в силу синтаксических особенностей данной модели словосочетания «прилагательное + существительное»). Ср. также: ... *и пошел вдаль, по **грибной бабьей тропинке*** (А. Платонов). Здесь исходная ситуация связана с 'тропинкой, по которой обычно ходят **за грибами бабы**', при этом *тропинка* помещается в нерематический аспект (невыведенный), а семантический акцент делается на актанты (субъект *бабы* и цель *за грибами*); в получившемся высказывании оба акцентуемые элемента сворачиваются в подчиненный по смыслу и формально компонент мысли — в прилагательное.

Аналогичное явление можно наблюдать и в примере: *Дванов выдергивал гвозди из сундуков в ближних сенцах для нужд всякого **деревянного строительства*** (А. Платонов). Общий смысл всего категоризируемого события заключается в том, что Дванову нужны гвозди именно для ситуации 'постройка **деревянных домов / домов из дерева**', следовательно, семантический акцент здесь делается не на обобщенное понятие *строительство*, а на конкретизатор *деревянные дома / дома из дерева*; при языковой экспликации этого понятия в синтаксически подчиненное слову *строительство* прилагательное *деревянный* семантический акцент аномально смещается на *строительство*.

Аномальной номинализации может быть подвергнута не одна, а несколько исходных пропозиций: ... *красных и белых, которые сейчас **перерабатываются почвой в удобрительную тучность*** (А. Платонов). Здесь аномально стянуты в словосочетание *удобрительная тучность* две пропозиции: *удобрительная* представляет пропозицию 'перерабатываются в удобрения', а *тучность* — пропозицию 'чтобы почва стала тучной'. Получается, что нормальная структура двух детерминированных событий: *перерабатываются в удобрения, чтобы почва стала тучной*, свернута в одно.

При аномальной номинализации могут также нейтрализоваться две противоположные исходные модели ситуации: ... *они все подобно его отцу **погибнут от нетерпения жизни*** (А. Платонов). Здесь смешиваются две взаимоисключающие модели свернутого события / действия — объектная и субъектная: 'оттого, что их не принимает (не терпит) жизнь' ↔ 'оттого, что они не принимают (не терпят) жизнь'. Такое смешение довольно часто встречается и в естественном языке, и его возможность обусловлена системно-языковыми валентными свойствами формы роди-

тельного падежа при имени действия: он может иметь и валентность на субъект (*приезд отца*), и валентность на объект (*ожидание любви*).

В примере: *Воцев стоял с робостью перед глазами шествля этих неизвестных ему, взволнованных детей* (А. Платонов) — перестройка в иерархии отношений между элементами события при его мыслительной категоризации также связана со смещением семантического акцента: **глаза шествля детей* вместо *глаза шествующих детей* ← *глаза детей, которые шествуют*, т. е. на фоне «нормальной» иерархии элементов события: ‘глаза’ → ‘дети’ → ‘шествие’ возникает аномальная иерархия: ‘глаза’ → ‘шествие’ → ‘дети’.

Когнитивный механизм подобного смещения семантического акцента состоит в том, что при категоризации исходной ситуации опорное по смыслу слово связано с одним понятием, а в результате формального синтаксического подчинения связь опорного слова как бы «перетягивается» на другое: ... *принести пользу всему неимущему движению* в колхозное счастье (А. Платонов). Здесь по смыслу исходной ситуации ‘принести пользу неимущим, которые двигаются к колхозному счастью’, а по форме — ‘принести пользу движению’, где субстантивное понятие ‘неимущие’ аномально трансформируется в признак *движения*.

Любопытно, что в итоге всех этих «неправильных» операций с семантическими акцентами и с распределением семантических элементов в мыслительной категоризации «прототипической ситуации» происходит совершенно необычная, уникальная «конденсация смысла», что, в свою очередь, обеспечивает возможность эксплуатации подобных концептуальных аномалий в художественных целях.

3. Аномалии в актуализации интерпретационного компонента в языковой концептуализации мира

Концептуальные аномалии этого типа выступают, условно говоря, как аномалии «логической формы», т. е. они демонстрируют некие отклонения в самом способе мыслительной концептуализации некоего фрагмента реальности безотносительно к его содержательной характеристике. Поэтому данная классификация является пересекающейся по отношению к классификации «содержательных» аномалий. Эти аномалии, по нашему мнению, также имеют две основные разновидности.

Первая разновидность связана с типом мыслительной аномальности, зафиксированной в языковом выражении, которое может эксплицировать противоречие, тавтологию или бессмысленность (алогизм); все вышеперечисленные типы мыслительной аномальности условно названы нами «логические структуры», т. к. в них «неправильно» структурируется наша мысль о мире. Вторая разновидность связана уже с традиционно выделяемыми видами логических операций по связи понятий или су-

ждений в процессе мыслительного освоения действительности (конъюнкция, дизъюнкция и т. п.). Таким образом, далее мы рассматриваем два вида концептуальных аномалий в актуализации интерпретационного компонента в языковой концептуализации мира: (1) аномалии «логических структур»; (2) аномалии логических операций.

3.1. Аномалии «логических структур» в языковой концептуализации мира

Под аномалиями «логических структур» в настоящей работе понимаются аномалии, которые Ю. Д. Апресян квалифицирует как «логические»: это такие аномалии, которые, не содержа в себе видимых нарушений в сфере системных закономерностей языка, тем не менее воспринимаются как некие отклонения. Ю. Д. Апресян выделяет два типа таких аномалий — тавтология и противоречие [Апресян 1995: 622]. Как нам кажется, помимо противоречивости мыслительной (логической) структуры, ее тавтологичности (тавтологической неинформативности), имеет смысл выделять и третий тип аномальной логической структуры — алогизм, ведущий к отсутствию логической валентности (истинностного значения), т. е., попросту говоря, к бессмысленности высказывания посредством соединения несочетающихся концептов (смыслов) из разных сфер («псевдопредложение», по Р. Карнапу).

Итак, далее в качестве аномалий «логических структур» мы рассмотрим: (1) логические противоречия; (2) тавтологии; (3) алогизмы (бессмысленные высказывания). Известная «формальность» этих структур и их относительная независимость от содержательного компонента доказывается, в частности, тем, что, по нашим наблюдениям, они задействованы на всех исследованных нами «уровнях аномальности» языковой концептуализации мира, т. е. проявляются как в чисто логической, так и в прагматической, а также в системно-языковой сферах (что еще раз подтверждает сложность и «многослойность» (многоаспектность) процесса языковой концептуализации мира).

(1) Логические противоречия, возникающие при языковой концептуализации мира, могут быть двух видов — эксплицированные и имплицитные. При эксплицированном противоречии актуализуются две единицы или конструкции с взаимоисключающим или противоположным значением. Такие противоречия часто связаны с нарушением формально-логических законов (законов тождества, противоречия, исключенного третьего, двойного отрицания). Например, в высказывании: *Это яблок, он не птица* (А. Введенский) — нарушен закон исключенного третьего: *яблок* одновременно *птица*, что следует из его лексической семантики, и *не-птица*, что вытекает из эксплицированного в высказывании акта предикации. То же можно наблюдать и при категоризации целой ситуации: *Как сейчас помню, два года тому назад я еще ничего не помнил* (А. Введенский).

Часто такое противоречие порождается из-за невладения говорящим всеми компонентами лексического значения употребляемых слов: *Объявляя подворно объединенный приказ волревкома и губисполкома — о революционном дележе скота без всякого изъятия* (А. Платонов). Видимо, имелось в виду *без исключения*; в настоящем же виде налицо логическое противоречие, так как дележ скота предполагает предварительное его «изъятие» у кулаков.

Отметим, что данное противоречие возникает именно эксплицитно, между компонентами лексических значений слов — поэтому, согласно Ю. Д. Апресяну, оно не ведет к собственно языковой аномалии [Апресян 1995]. Так, в романе А. Платонова герой, Саша Дванов, видит на пальце мертвого отца *обручальное кольцо в честь забытой матери*. В семантику фразеологизованного употребления модели *в честь кого-л. / чего-л.* входит смысл ‘сохранение памяти’, который приходит в противоречие с семантикой слова *забытый*.

Иначе говоря, только эксплицированное противоречие является чисто логическим, концептуальным. В свою очередь, при языковой концептуализации мира имплицитные противоречия всегда задействуют уже другие «уровни аномальности» — прагматическую аномальность или аномальность системно-языковую.

Имплицитное противоречие возникает, когда смысл актуализованной единицы вступает в противоречие с подразумеваемым смыслом, заложенным в интенциональной сфере говорящего, — и тогда его нужно квалифицировать уже не как концептуальную («логическую», по Ю. Д. Апресяну), а как прагматическую аномалию: *Была одна старуха — Игнатьевна, которая лечила от голода малолетних: она им давала грибной настойки пополам со сладкой травой, и дети мирно затихали с сухой пеной на губах* [т. е. умирали. — Т. Р.] (А. Платонов). Здесь возникшее противоречие между лексическим значением слова *лечить* и контекстным смыслом ‘убивать’ (на базе входящего в семантику глагола *лечить* смысла ‘облегчать страдания’) именно имплицитно: оно порождается не логикой и не системой языка, а интенцией говорящего, который предпочитает так нетривиально концептуализировать ситуацию ‘отравить, чтобы не мучились от голода’ посредством словоупотребления *лечить от голода*.

В общем виде имплицитное логическое противоречие как прагматическую аномалию можно сопоставить с ситуацией, когда имеется в виду одно, а вербализуется прямо противоположное: *Дванов и Копенкин пришли, когда Достоевский начал разверстывать скот по беднякам* (А. Платонов). Здесь ситуативный, т. е. наведенный в контексте смысл ‘раздавать скот’ входит в противоречие с исходным смыслом «прототипической ситуации» *разверстка*, означающим в общем ‘отбирать излишки собственности в пользу государства’. Видимо, здесь отражена примета «советского языка», который явно или неявно пародировался А. Платоновым: именно в «советском языке» *раздавать* вполне может значить *отбирать*.

Имплицитное противоречие может характеризоваться и как аномалия системно-языковая (согласно Ю. Д. Апресяну, «логическая аномалия, ведущая к языковой» [Апресян 1995]), если в отношении противоречия вступают лексическая и грамматическая семантика слов, ассертивная и пресуппозитивная сфера их семантики, модальные рамки и пр. Ср.: *За это его **немного почитали*** (А. Платонов), где в пресуппозицию слова *почитать* входит смысл ‘в значительной степени’, который вступает в противоречие с лексическим значением слова *немного*.

А в примере: *Они **увидели отсутствие** людей* (А. Платонов) — в фактивную пресуппозицию слова *видеть* входит в качестве предварительного условия представление говорящего о наличии объекта восприятия, что противоречит лексической семантике слова *отсутствие*. Обратим внимание, что противоречие снимается при употреблении *видеть* в значении глагола пропозициональной установки: *увидели, что никого нет* (т. е. не само *отсутствие*, а *факт отсутствия*). Подробно такие аномалии исследуются в работе [Радбиль 2006b].

(2) Тавтология как «формальная» логическая структура, так же, как и логическое противоречие, может как выступать на собственно концептуальном («логическом», по Ю. Д. Апресяну) уровне, не приводя к прагматическим и системно-языковым нарушениям, так и «проникать» соответственно на уровень прагматической или системно-языковой актуализации данной аномалии.

Тавтологически неинформативные высказывания на чисто «логическом» уровне (не ведущие к прагматической или системно-языковой тавтологии) возникают, когда сталкиваются идентичные лексические значения слов или целых конструкций, т. е. когда тавтология *э к с п л и ц и р о в а н а*: *Простерты руки / **К скучной скуке***; *Я видел **трупов убитых***; *Она **божественная богиня*** (А. Введенский); ... ***оживет и станет живою** гражданкой Роза Люксембург* (А. Платонов).

Имплицитная тавтология возникает уже не на уровне значений слов и выражений, но вытекает из общего смысла ситуации, которая внешне может быть вербализована и словами, в своей семантике тавтологии не содержащими: *Мейн инеллер замочек Густав, у нас **здесь родина**, а у тебя там **чужбина*** (А. Введенский). Подобные тавтологии являются уже прагматическими (точнее, коммуникативно-прагматическими) аномалиями, т. к. они нарушают постулат информативности Г. П. Грайса.

К тавтологиям как аномалиям прагматическим приводит избыточная экспликация пресуппозитивных смыслов, которые в норме должны быть имплицитны: *Чагатаев сел на **краю** песков, там, где они **кончаются*** (А. Платонов). Здесь имплицитное содержание пресуппозиции слова *край* ‘место, где что-то кончается’ разворачивается в целую предикативную конструкцию. Ср. аналогично: ... *начал **будить его**, чтобы он **проснулся*** (А. Платонов). Подобные аномалии подробно исследуются в работе [Радбиль 2006a].

Тавтология может также «проникать» и на уровень системно-языковых нарушений (по Ю. Д. Апресяну, «логическая аномалия, ведущая к языковой»). Это происходит в случае столкновения в одном контексте ассертивной части семантики одного слова с пресуппозитивной частью семантики другого: *дочка девочки* (А. Введенский), где в пресуппозитивной части семантики слова *дочка* содержится компонент значения 'лицо женского пола'. Ср. аналогично: *Как же ты иноземную границу проходила?* (А. Платонов); *Тогда ребенок молодой молиться сочиняет* (А. Введенский). Такие тавтологии не являются строго концептуальными и потому подробно рассматриваются нами в числе собственно языковых, системно-языковых аномалий [Радбиль 2006b].

(3) Явления алогизма (бессмысленных высказываний, «псевдопредложений», по Р. Карнапу) достаточно хорошо изучены, особенно в плане «языковой игры», а также в аспекте механизмов создания «литературного абсурда» — см., например [Клюев 2000], поэтому здесь мы ограничимся лишь общими соображениями.

Как и рассмотренные выше логические противоречия и тавтологии, алогизмы могут выступать как собственно концептуальные («логические аномалии, не ведущие к языковым аномалиям» [Апресян 1995]), как прагматические и как системно-языковые аномалии.

К собственно концептуальным алогизмам следует относить лишь эксплицированные алогизмы, основанные на сочетании несочетающихся концептов в «языке мысли»: *Ветер круглым островам! Дюжий метр пополам!* (Д. Хармс); ... *может время штопали* (А. Введенский). Подобные алогизмы всегда ведут к бессмысленности (в художественном тексте — к нарочитой бессмысленности как к приему абсурда) посредством соединения ассертивных компонентов семантики сближенных в контексте слов и выражений.

Такие алогизмы наиболее, так сказать, «проницаемы» с точки зрения возможности их рациональной осмысленности: ... *вдруг вдалеке, в глубине тела опять раздавался грустный крик мертвого...* (А. Платонов). Понятно, что мертвые кричать не могут, просто героиня А. Платонова, Москва Честнова, таким образом выражает мысль, что снова слышит крик человека, которого некогда убили на ее глазах.

3.2. Аномалии логических операций в языковой концептуализации мира

Данная классификация выступает как пересекающаяся по отношению к классификационной группе аномалий «логических структур», проанализированных выше, в параграфе 3.1. Однако некоторая связь все же наличествует: те или иные логические операции (конъюнкция, дизъюнкция, импликация и пр.), будучи своего рода «квантами» мыслительного освоения действительности, выступают (хотя и не обязательно только они) как средство порождения тех или иных «логических структур» — противоречия, тавто-

логии или алогизма. Поэтому один и тот же пример может быть рассмотрен и с точки зрения актуализованной в нем «логической структуры», и с точки зрения использованной для этого логической операции (или нескольких логических операций).

Мы, впрочем, довольно условно, объединили аномалии логических операций в следующие группы: (1) аномалии операций конъюнкции, дизъюнкции, противопоставления, импликации; (2) аномалии операций отождествления, уподобления, сравнения; (3) аномалии операций включения, исключения, замещения.

(1) Аномалии конъюнкции возможны как чисто концептуальные, когда в сочинительной конструкции соединяются в каком-то плане несопоставимые понятия, но эта «несопоставимость» не обусловлена какими-либо системно-языковыми запретами на сочетаемость единиц или конструкций. Это связано, как правило, с объединением в одном сочинительном ряду номинативных единиц, принадлежащих разным возможным мирам: *Чтобы будущим летом по мере засухи и надобности; Он обволакивался небесной ночью и многолетней усталостью; Будем вместе ехать и существовать; А уж пора бы нам всем молча и широко трудиться* (А. Платонов).

Подобный аномальный паратаксис, при всей его смысловой «странности», остается в пределах концептуальных аномалий и не ведет к аномальности системно-языковой. Это связано с тем, что сочинительная связь вообще не накладывает особых лексических или грамматических ограничений на сочетаемость, кроме одного — морфологической выраженности одной (или близкой по функции) частью речи. В случае нарушения этого языкового правила концептуальная аномалия операции конъюнкции превращается в языковую: *мира нет и нет овец / я не жив и не пловец; ... было жарко и темно / было скучно и окно* (А. Введенский).

При аномальной дизъюнкции также в отношении альтернативного выбора или исключения ставятся денотаты и понятия из разных возможных миров: *Скажи, кто прав, /я/ или вершины трав* (А. Введенский). В случаях, когда смысловая несовместимость поддерживается несовместимостью грамматической, аномалия дизъюнкции из чисто концептуальной становится системно-языковой: *... что в Чевенгуре — коммунизм или обротно* (А. Платонов).

Коммуникативно-прагматический характер подобные аномалии операций конъюнкции или дизъюнкции приобретают в случае тавтологически избыточной конъюнкции или дизъюнкции, ведущей к неинформативности речевого акта как нарушению конвенций общения: *И велит вам собирать-ся поскорее да чтобы вы торопились* (А. Введенский).

Аномальное сопоставление также задействует номинативные единицы из разных возможных миров: *Музыка исполнялась теперь не только в искусстве, но и на этом гурте* (А. Платонов). То же можно сказать и об аномальном противопоставлении: *Он шел вперед, но уже не в степь, а в лучшее будущее; Он действует лишь в овраге, а не в ги-*

гантском руководящем масштабе (А. Платонов); *Что ты опять ближе садишься — ведь я не гусь* (А. Введенский).

Концептуальная аномалия сопоставления или противопоставления приводит к прагматической, если возникает конфликт между тем, что эксплицировано, и тем, что имеется в виду. Пример подобной аномалии можно видеть в следующем высказывании из Д. Хармса: *Из квартиры послышался визгливый собачий лай, но когда молодой человек вошел в прихожую, к нему подбежали две маленькие черные собачки*. Очевидно, что здесь реально имеется в виду: ... **и** *когда молодой человек вошел в прихожую, к нему подбежали две маленькие черные собачки*.

Концептуальная аномалия сопоставления или противопоставления приводит к системно-языковой, если нарушается языковая модель сопоставления или противопоставления, как в следующем примере из А. Платонова: *Хорошо, а просто ерундово как-то...* — где контаминированы две взаимоисключающие модели: *не хорошо, а ерундово + хорошо, а не ерундово*, в результате чего возникает внутренне противоречивая конструкция.

Также концептуальная аномалия ведет к системно-языковой, если употребление синтаксической модели сопоставления или противопоставления входит в противоречие с лексическими значениями слов, не содержащих противопоставленных семантических элементов — например, синонимов: *Звезды, правда, сияли, да не светили* (Д. Хармс).

Аномалии операции импликации могут быть собственно концептуальными, если правильное с точки зрения системно-языковой модели высказывание реально нарушает отношения логической выводимости. Так, например, для языка А. Платонова характерны случаи установления ложной импликации, когда, в полном соответствии с «мифологическим типом детерминизма» слова и реалии, названия явления служат условием его реального бытия: ... *раз сказано, земля — социализм, то пускай то и будет* (А. Платонов). Многочисленные примеры подобных аномалий см. в книге [Михеев 2003].

Аномалии операции импликации выступают как системно-языковые, если семантика самой синтаксической модели входит в противоречие с лексическими значениями поставленных в отношении импликации конструкций. В работе [Радбиль 2006с] описаны явления так называемой псевдомотивации, когда в конструкции, формально являющейся сложно-подчиненной, на семантическом уровне только имитируются причинно-следственные, условные, временные, целевые отношения: *Когда он приотворил распухшие свои глаза, он глаза свои приоткрыл* (А. Введенский).

(2) Аномалии операций отождествления, уподобления, сравнения выступают как чисто концептуальные, не ведущие к языковой аномальности, если нарушения в области операций отождествления, уподобления или сравнения имеют, так сказать, «содержательный» характер, т. е. проявляются только на уровне вербального наполнения правильных в языковом отношении системно-языковых моделей. Это часто связано с нарушениями

формально-логических законов. Так, в примере: *Я прислонясь плечом к стене / стою **подобный мне*** (А. Введенский) — нарушен закон тождества за счет того, что модус отождествления ($я = я$) аномально меняется на модус уподобления (*я подобен мне*, т. е. *не-я*).

Такие аномалии могут выступать как прагматические, если при использовании «нормальной» модели отождествления, уподобления или сравнения возникает конфликт между тем, что эксплицировано в речевом акте, и тем, что на самом деле имеется в виду. Так, при экспликации модели сравнения в примере: *К метели давно притерпелись и забыли **про нее, как про нормальный воздух*** (А. Платонов) — говорящий явно имеет в виду ‘про метель **забыли** так же, как **забывают** про наличие воздуха’, тогда как в речевой актуализации реально получается алогичное сравнение **метель как нормальный воздух*.

Такие аномалии могут выступать как системно-языковые, когда нарушается уже сама исходная языковая модель отождествления, уподобления или сравнения: ... *На небе луна, а под нею громадный трудовой район — и **весь в коммунизме, как рыба в озере*** (А. Платонов). Здесь аномально актуализована модель сравнения, при которой инвертируется порядок следования элементов в сравнительной конструкции, нарушая параллелизм сравниваемого и самого сравнения: в сравнении аномально актуализовано отношение пространственной локализации (*рыба в озере*) вместо отношения избыточного заполнения объема ([*все*] *озеро в рыбе*), т. е. в норме должно быть: [*район*] *весь в коммунизме, как озеро в рыбе*.

(3) Аномалии операций включения, исключения, замещения выступают как чисто концептуальные, если не сопровождаются системно-языковыми нарушениями. Так, например, в уже рассмотренном примере из А. Введенского: *Это зяблик, он **не птица*** — аномально актуализована логическая операция исключения объекта из класса, к которому он «по умолчанию» принадлежит (в норме зяблик входит в класс птиц).

Концептуальные аномалии операций включения, исключения, замещения приобретают прагматический характер, если посредством использования модели включения, исключения или замещения возникает конфликт между словесно эксплицированным содержанием и тем, что имеется в виду. Так, в высказывании: *Видя по его телу, **класс его бедный*** (А. Платонов) — аномально инвертируется направление инклюзивности: актуализована алогичная мыслительная схема ‘класс принадлежит ему’ — вместо заявленной говорящим ‘он принадлежит классу’.

Логические операции включения, исключения, замещения могут выступать и как системно-языковые, если используются с нарушениями каких-либо языковых правил или норм и принципов речевой практики (узуса) в данном коллективе. Например, в монографии [Радбиль 2006с] рассмотрены случаи ненормативного использования генитивных моделей словосочетания со значением включения элемента в целое, что может сопровождаться утратой промежуточного элемента временной семантики

(эпоха, пора и пр.): ... как работает *мещанин капитализма* (А. Платонов) или пространственной семантики (*земля, местность* и пр.): ... боялся пользоваться *людьми коммунизма*... (А. Платонов).

4. Заключение

(1) Итак, многие высказывания естественного языка, производящие впечатление «странных», аномальных, но при этом не нарушающие очевидных системно-языковых закономерностей, являются речевой актуализацией отклонений от принятого в данном языковом сообществе способа языковой концептуализации мира. Именно в этом смысле их можно именовать *концептуальными аномалиями*, которые, имея языковой способ манифестации, аномально представляют в языковом знаке как содержательный (что концептуализируется), так и интерпретационный (каким способом концептуализируется) компонент языковой концептуализации мира.

(2) При этом концептуальные аномалии могут выступать, так сказать, «в чистом виде», т. е. не вести к коммуникативным и языковым нарушениям (такова природа логических парадоксов, алогизмов как нарушений формально-логических законов и пр.), а могут осложняться за счет фиксации в них нарушений в сфере норм и принципов осуществления коммуникации (становиться коммуникативно-прагматическими) или нарушений в актуализации языковых правил (становиться системно-языковыми). Это еще раз подчеркивает комплексный и многоаспектный характер языковой концептуализации мира, которая есть креативная модель мира в человеческой мысли, а не его механическое отображение.

(3) Для концептуальных аномалий верна диалектическая антиномия, отмеченная нами ранее для аномалий прагматических [Радбиль 2006а]. С одной стороны, концептуальная аномалия представляется более глубинной, чем системно-языковая, т. к. ведет к противоречию, тавтологии или алогизму, т. е. создает условия для нарушений в содержательной интерпретации высказывания. С другой стороны, как ни парадоксально, она, так сказать, «менее аномальна», т. к. оперирует смыслами не на уровне бессознательных стереотипов (как это происходит в операциях с языковой семантикой) и, следовательно, имеет значительный потенциал для рациональной осмысляемости (ср. вполне апроприированные узусом высказывания типа *женатый холостяк, ненавижу и люблю* и пр.).

(4) Для концептуальных аномалий, как и для аномалий прагматических и системно-языковых, актуально выдвинутое Ю. Д. Апресяном положение о «конструктивности аномалий» [Апресян 1990: 63—64]. К конструктивным аномалиям относятся отклонения, которые в перспективе могут быть восприняты языком и даже стать толчком к обновлению системы языка и речевой практики общества. Это связано с возможностью их смысловой или коммуникативной рационализации. Вспомним, что даже принципиаль-

но, нарочито аномальная *глокая куздра* получила вполне рациональную интерпретацию (языковое обозначение чего-то неудобоваримого и неудобоговоримого) и стала элементом «культурного кода» общества.

(5) Последний вывод позволяет говорить и о необычайной эвристичности концептуальных аномалий, которые оказываются не «болезнью языка», а единственно возможным и даже необходимым средством языковой концептуализации нетривиального, диалектически противоречивого и многослойного содержания: «Говорящий может прибегать к таким высказываниям для изображения раздвоенного, внутренне противоречивого сознания или для высказывания глубокой, но антиномичной истины» [Булыгина, Шмелев 1997: 450]. Именно это наделяет их значительным потенциалом языковой экспрессивности, что широко эксплуатируется в эстетическом режиме применения языка как на уровне обыденной коммуникации (парадоксы, каламбуры, оксюмороны и пр.), так и на уровне художественной речи. Коммуникативно-прагматический смысл активного использования концептуальных аномалий состоит в активизации когнитивного потенциала адресата, который как бы приглашается поучаствовать в увлекательном интеллектуальном приключении в области небуквальной интерпретации нетривиальных и неочевидных, глубоко запрятанных смыслов.

(6) В наших предыдущих статьях [Радбиль 2006а, б] был сделан вывод о существовании типовых моделей языковой аномальности и типовых моделей аномальности прагматической. Однако представляется куда более очевидным и бесспорным наличие в языковом сообществе типовых моделей аномальности концептуальной: ведь их источником выступает сама жизнь, самый тернистый путь человеческого познания мира. Сложность и катастрофичность человеческой экзистенции, непознаваемость и иррациональность мира, ощущение его бессмысленности обеспечивают постоянный механизм регенерации в культуре моделей аномальной языковой концептуализации мира (абсурд, гротеск и пр.), своего рода «прототипические образцы» последовательно аномального, альтернативного рационально-логическому взгляда на мир и мыслительного освоения действительности.

Л и т е р а т у р а

Апресян 1990 — Ю. Д. А п р е с я н. Языковые аномалии: типы и функции // *Res Philologica* = Филологические исследования: Памяти акад. Георгия Владимировича Степанова (1919—1986) / Под ред. Д. С. Лихачева. М.; Л., 1990. С. 50—71.

Апресян 1995 — Ю. Д. А п р е с я н. Избранные труды: В 2 т. Т. 2. М., 1995.

Арутюнова 1988 — Н. Д. А р у т ю н о в а. Типы языковых значений: Оценка, событие, факт. М., 1988.

Булыгина, Шмелев 1997 — Т. В. Б у л ы г и н а, А. Д. Ш м е л е в. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.

Вежбицкая 1997 — А. Ве ж б и ц к а я. Прототипы и инварианты // Язык. Культура. Познание: Пер. с англ. / Отв. ред. и сост. М. А. Кронгауз. М., 1997. С. 201—230.

Демьянков 1996 — В. З. Д е м ь я н к о в. Прототипический подход // Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина; Под общ. ред. Е. С. Кубряковой. М., 1996. С. 140—145.

Иванов 1982 — В. В. И в а н о в. Семантика возможных миров и филология // Проблемы структурной лингвистики — 80: Сб. науч. тр. / ИРЯ АН СССР. М., 1982. С. 5—19.

Карнап 1993 — Р. К а р н а п. Преодоление метафизики логическим анализом языка // Вестник МГУ. Сер. 7, Философия. 1993. № 6. С. 11—26.

Клюев 2000 — Е. В. К л ю е в. Теория литературы абсурда. М., 2000.

Кобозева, Лауфер 1990 — И. М. К о б о з е в а, Н. И. Л а у ф е р. Языковые аномалии в прозе А. Платонова через призму процесса вербализации // Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста: Сб. науч. тр. / ИЯ АН СССР. М., 1990. С. 124—139.

Крипке 1986 — С. К р и п к е. Загадка контекстов мнения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. Логический анализ естественного языка. М., 1986. С. 194—241.

Кустова 2004 — Г. И. К у с т о в а. Типы производных значений и механизмы языкового расширения. М., 2004.

Михеев 2003 — М. Ю. М и х е е в. В мир Платонова через его язык: Предположения, факты, истолкования, догадки. М., 2003.

Падучева 1996 — Е. В. П а д у ч е в а. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.

Пеньковский 2004 — А. Б. П е н ь к о в с к и й. Очерки по русской семантике. М., 2004.

Радбиль 1998 — Т. Б. Р а д б и л ь. Мифология языка Андрея Платонова. Н. Новгород, 1998.

Радбиль 2006а — Т. Б. Р а д б и л ь. Прагматические аномалии в среде языковых аномалий русской речи // Рус. яз. в науч. освещении. 2006. № 2 (12). С. 56—79.

Радбиль 2006б — Т. Б. Р а д б и л ь. Языковая аномальность в русской речи: к проблеме типологии // Рус. яз. в науч. освещении. 2006. № 1(11). С. 77—100.

Радбиль 2006с — Т. Б. Р а д б и л ь. Языковые аномалии в художественном тексте: Андрей Платонов и другие. М., 2006.

Руденко 1992 — Д. И. Р у д е н к о. Когнитивная наука, лингвофилософские парадигмы и границы культуры // ВЯ. 1992. № 6. С. 19—35.

Хинтикка 1980 — Я. Х и н т и к к а. Логико-эпистемологические исследования: Избр. ст.: Пер. с англ. М., 1980.

Fillmore 1978 — Ch. J. F i l l m o r e. On the organization of semantic information in the lexicon // Papers from the Parasession on the Lexicon. Chicago: CLS, 1978. P. 148—173.

ПОЛЕМИКА

М. Н. ШЕВЕЛЕВА

ЕЩЕ РАЗ О НАПИСАНИЯХ ТИПА **ТРОТ** (НА МЕСТЕ РЕФЛЕКСОВ ПРАСЛАВЯНСКИХ СОЧЕТАНИЙ ГЛАСНЫХ С ПЛАВНЫМИ) В РУКОПИСЯХ XIII—XVI ВВ.

Недавняя статья М. Б. Попова («Русский язык в научном освещении». 2006. № 2 (12)) посвящена проблеме интерпретации известных написаний типа **ТРОТ** в позиции рефлексов праславянских сочетаний редуцированных с плавными, обнаруженных в старших (и некоторых более поздних) списках «Жития Андрея Юродивого» (ЖАЮ) и в ряде других рукописей XIII—XVI вв. преимущественно северо-западного происхождения (см. [Шевелева 1995; 1996; 1997; 2001; Зализняк 1997; 2004: 50—52]). Автору представляются неубедительными интерпретации этих написаний, предложенные в названных выше работах (а также в [Крысько 1994]), и он предлагает свою гипотезу.

Хотелось бы продолжить дискуссию, тем более что за годы, прошедшие со времени публикации указанных работ об орфографии сочетаний гласных с плавными в рукописях ЖАЮ, возникла необходимость внести кое-какие уточнения в предложенную мною трактовку, появились некоторые новые данные. Можно только с благодарностью приветствовать обращение исследователей к этой проблеме, дающее возможность вернуться к ее обсуждению.

М. Б. Попов возражает против того, что написания типа **ТРОТ** в позиции рефлекса *ТЪРТ (**проты, млонна, на трог҃҃, чренило** и под.) могут передавать слоговость плавного или развившееся из слогового плавного произношение с гласным после плавного, — по его мнению, эти написания являются «замаскированным» способом передачи второго полногласия, которое не могло быть отражено напрямую в силу того, что всякое полногласие представлялось переписчику решительно ненормативным («у писца была аллергия именно на отражение полногласия: **ро** — можно, а **оро** — нельзя!» [Попов 2006: 236]). Надо сказать, что критическая часть работы М. Б. Попова аргументирована гораздо более основательно, чем предлагаемая гипотеза, поэтому обратимся сначала к обсуждению выдвинутых возражений против нашей реконструкции.

Напомним, что в старших списках «Жития Андрея Юродивого» (Тип. №182 — РГАДА, Типогр. собр., №182, кон. XIV в. и непосредственной копии с него Сол. №216 — РНБ, Соловецкое собр., №216/216, около 1494 г.) рассматриваемые написания **ТРОТ** оказываются одним из способов передачи рефлексов *ТЪРТ наряду с другими орфографическими вариантами — как стандартными (**ТОРТ**, раннедр.-рус. **ТЪРТ**), так и нестандартными (**ТЪРЪТ**, **ТОРЪТ** — без зависимости редуцированного после плавного от качества последующего согласного, **ТОРОТ**, **ТРТ** — вообще без гласных). Весь ряд свободно варьирующихся написаний в позиции рефлекса праслав. *ТЪРТ в Тип. №182 выглядит как **ТОРТ** — **ТРОТ** — **ТОРЪТ** — **ТЪРТ** — **ТРЪТ** — **ТЪРЪТ** — **ТРТ**; в списке Сол. №216 к этому ряду добавляются варианты **ТОР'Т** — **Т'РОТ** — **ТЪР'Т** — **Т'РЪТ** — **ТОРОТ** — с паерком перед или после плавного (если там не стоит буква гласного) и с двумя **О** вокруг плавного, соответствующее известным огласовкам «второго полногласия» (**моловлаху** Сол., 2; **молониами** Сол., 119 об.; **молоньєю** Сол., 173) (см. подробнее [Шевелева 1996: 42—45; 1997: 24—26]).

Перед нами явно вариантные способы передачи одной и той же рефлексации (и именно в этом смысле все их можно назвать фонетическими, а, конечно, не в смысле «адекватнофонемности» каждого отдельного из них): гласный обозначается то перед плавным, то после плавного, то с обеих сторон, то не обозначается совсем. Что это может быть за рефлексация, если вокальный элемент может указываться то с одной, то с другой, то с обеих сторон плавного, то не указываться вообще? Безусловно, особенно показательны в этом ряду написания с указанием на гласный элемент после плавного (**ТРОТ**, **ТОРЪТ** и др.) — в конце концов, стандартные написания типа **ТОРТ** (**ТЪРТ**) могут просто следовать орфографической норме и потому не быть показательными. Однако их тоже нельзя сбрасывать со счетов, поскольку среди представленных орфографических вариантов есть и такие, где явно налицо стремление обозначить вокальный элемент и перед плавным (**ТЪРЪТ**, **Т'РЪТ**, **Т'РОТ**, **ТОРОТ**). И специально надо подчеркнуть, что в высшей степени показательным является наличие в ряду имеющихся орфографических вариантов написаний типа **ТРТ** — вообще без гласных при плавном (**прострлѣ** Тип., 12 об. = Сол., 18; **прострлѣ/ло** Тип., 12 об.), на что почему-то совсем не обращено внимание нашего оппонента. Наиболее адекватной реконструкцией произношения, которое может передаваться столь разнообразными свободно варьирующимися написаниями, мне представляется реконструкция произношения с плавным, сопровождаемым нефонологическими вокалическими призвуками, т. е. фактически со слоговостью на плавном.

Остановимся подробнее на фонетическом содержании такой реконструкции и на возможности существования систем со слоговыми плавными в древнерусских диалектах — в связи с выдвинутыми М. Б. Поповым возражениями.

Речь идет о реконструкции произношения плавного в сопровождении нефонологических гласных элементов — именно поэтому эти гласные могут появляться то с одной, то с другой, то с обеих сторон или вообще не быть обозначенными. Такой путь развития слоговых плавных хорошо известен в типологии, в том числе и в славянских языках — ср. рефлексy слоговых плавных в болгарских и македонских говорах с гласными перед или после плавного и с возможными колебаниями даже в пределах одной диалектной системы (см., например, [Видоеский 1971]). Скорее всего, орфография ЖАЮ отражает именно такую стадию с нефонологической гласностью при плавном, и, говоря о слоговости на плавном, я имею в виду именно нефонологичность сопровождающих плавный вокалических элементов, возможно, их подвижность. Судя по последующим диалектным рефлексам (а также исходя из типологии развития слоговых плавных в южнославянских диалектах), можно предположить, что в дальнейшем гласный при плавном фонологизируется, занимая, соответственно, определенное положение по отношению к плавному (ср. диалектные варианты *колч* — *клоч*, *бервно* — *бревно*, *портяной* — *протяной* и др. [Зализняк 2004: 51—52], причем если вариант с гласным перед плавным может восходить и к стандартному древнерусскому рефлексу *ТЬРТ, то вариант типа *клоч* никак к нему возведен быть не может).

Сколь долго могла существовать такая стадия с нефонологическими вокальными элементами при плавном, сказать трудно. Во всяком случае, падение редуцированных к этому никакого отношения не имеет, поэтому такая реализация рефлексов *ТЬРТ в принципе могла быть представлена и в XIV, и в XV в. Как отмечалось в [Шевелева 1996: 47], достаточно широкая распространенность в рукописях ЖАЮ написаний типа **ТРОТ** может указывать на тенденцию к закреплению гласного в позиции после плавного — но, вероятно, пока еще только тенденцию. С другой стороны, неясно, насколько существенные изменения в реализации рассматриваемых рефлексов отражают немногочисленные орфографические инновации, появляющиеся в списке Сол. № 216 конца XV в.: при том, что весь основной ряд орфографических вариантов здесь полностью сохраняется, вводятся еще варианты с паерками и **ТОРОТ** (см. выше), указывающие на стремление переписчика обозначить гласные с обеих сторон плавного. Вполне возможно, в этом отражается тенденция к вокализации гласных с обеих сторон плавного, но вряд ли это была уже фонологизация этих гласных — судя по тому, что в большинстве случаев перед нами написания с паерком **ТОР'Т**, **ТЬР'Т** и даже **Т'РОТ**, **Т'РЪТ** и только в трех случаях написание **ТОРОТ** (ведь переписчик Сол. № 216, по мнению М. Б. Попова, уже не страдал аллергией на отражение полногласия — зачем же ему-то было его маскировать с помощью паерка?). Вполне вероятна связь этой вокализации гласных вокруг плавного с развитием известных диалектных огласовок «второго полногласия», о чем и говорилось в [Шевелева 1995; 1996: 49—50; 1997: 25], однако вопрос о том, что такое «второе полногласие», и о позиционных условиях

его развития не представляется мне столь простым — вернемся к нему ниже в связи с обсуждением гипотезы М. Б. Попова.

Основные возражения М. Б. Попова против предложенной реконструкции связаны, с одной стороны, с тем, что ему представляется необоснованным интерпретировать имеющиеся в рукописях написания **ТРОТ** и **ТОРЪТ** (другие орфографические варианты не обсуждаются) как способы передачи слоговости на плавном, с другой стороны, с тем, что ему вообще кажется нереалистичной реконструкция систем со слоговыми плавными для восточнославянских диалектов.

Сначала о возражениях, связанных с интерпретацией рассматриваемых орфографических фактов.

По мнению М. Б. Попова, маловероятна передача слогового плавного посредством **ТРОТ** и **ТРЕТ**, поскольку этому должно было препятствовать наличие фонологического противопоставления [or] — [ro] в других случаях и это привело бы к совпадению в передаче на письме фонологически разных единиц — *прочь* [pročʲ] и *проты* [pɔty] < *pɔty. Единичность «старославянских» написаний типа **ТРЪТ** (однако они все-таки есть даже в списке Тип. № 182, который не содержит следов южнославянского влияния!) М. Б. Попов считает аргументом против передачи в рукописи слоговости плавного — по его мнению, в таком случае эти написания должны были бы быть представлены значительно шире.

Напомним, что и для кажущихся нашему оппоненту вполне подходящими для передачи слоговости плавных написаний **ТРЪТ** стояла та же самая проблема орфографического совпадения фонологически разных единиц: ст.-сл. **ТРЪТ** [tr̥t] и **ТРЪТ** [tr̥tʲ], т. е. *тръгъ* [tr̥gъ] и *тръсть* [tr̥stʲ]. Препятствием к тому, что написания с гласными после плавного стали основным нормативным способом передачи слоговых плавных в старославянской орфографии, это отнюдь не стало.

С другой стороны, оценивать пригодность тех или иных написаний для передачи нефонологических вокальных элементов при плавном можно только в соотношении со стандартной орфографической нормой данного времени. Раннедревнерусские написания с редуцированными типа **ТЪРТ**, **ТРЪТ**, **ТЪРЪТ** в редких случаях встречаются в Тип. № 182 — возможно, сохраняются из более ранних протографов (см. [Шевелева 1997: 33]). Но предполагать, что переписчик конца XIV в. будет считать «старославянские» написания типа **ТРЪТ** наиболее подходящими для передачи своего произношения с вокальным элементом при плавном, можно только предполагая у него наличие хорошей подготовки в области славянского исторического языкознания. В действительности писец XIV в. мог руководствоваться, конечно же, не соотношением с южнославянской орфографией в ее соотношении с южнославянским произношением (кстати, ведь и массово распространившиеся со вторым южнославянским влиянием в XV в. написания типа **ТРЪТ** никакого отношения к реальному произношению не имели!), а соотношением с нормативной орфографией своего времени, на-

выки которой у него должны были быть. Нормативным же позднерусским написанием в позиции рефлекса *ТЪРТ было написание **ТОРТ**. Именно по соотношению с этим стандартным написанием для передачи нефонологического гласного после плавного могло появиться написание **ТРОТ**, причем появление таких написаний стало возможным только тогда, когда позднерусская орфография уже стабилизировалась, т. е. не ранее втор. пол. XIII в. (см. об этом [Шевелева 1997: 33; 2001: 171]).

Надо иметь при этом в виду, что наш писец Тип. № 182 не был уникальным изобретателем такой орфографии¹. Написания типа **ТРОТ** в позиции рефлекса *ТЪРТ известны и в более ранних рукописях: Захарьинском паремейнике 1271 г., Сильвестровском сборнике сер. XIV в. и др. (см., например, [Крысько 1994: 19; 1998: 84]).

По всей видимости, мы имеем дело уже с некоторой орфографической традицией записи рефлексов *ТЪРТ. Традиция эта, очевидно, восходит к раннедревнерусской эпохе, но в раннедревнерусской ее версии еще не могло быть написаний с буквами **о, е** при плавном для передачи рефлексов *ТЪРТ, и нашим написаниям **ТРОТ** тогда действительно соответствовали написания **ТРЪТ**, которые в таких системах имели фонетическое содержание (см. об этом [Зализняк 1997: 257; Шевелева 2001: 171, 217]).

Реальность возможности обозначения раннедревнерусскими написаниями **ТРЪТ** произношения с вокалическим призвуком при плавном надежно подтверждается данными бытовых текстов, для которых условное следование южнославянским образцам исключено, ср. в новгородских берестяных грамотах с графическим эффектом **ъ** → **о**: **мловила, во врозъ** № 731 (сер. XII в.), **во хлостъхо** № 722 (1-я четв. XIII в.); ср. также: **къ влъчкови, не длъжьнь** № 336 (XII в.) [Зализняк 2004: 50]; найденная в 2006 г. грамота № 957 (1-я четв. XII в.) пополняет список таких примеров: **укъдѣть** ‘нанесет повреждение’ (от **кълд-** ‘колдовать’, ‘наводить порчу, наносить вред’) (А. А. Зализняк, устное сообщение).

С установлением орфографической нормы позднерусского типа, отражающей падение и прояснение редуцированных, раннедревнерусские написания с **ъ, ь** могли сохраняться лишь спорадически, а основным способом записи рефлексов *ТЪРТ стала запись с буквами **о, е** (**ТОРТ**) — и написания **ТРЪТ** заменились на **ТРОТ**.

Надо сказать, что сама по себе передача вставочных нефонологических гласных с помощью букв **о, е** не является чем-то противоестественным. В самой статье М. Б. Попова приводятся многочисленные примеры таких вставок **о, е** перед или после сонанта из Пролога 1431—1434 гг. (**во/лижнѣго** 19, **земѣ/лю** 213 об., **поховалиста** 208 об., **велеми** 141, **ано/дрѣ-лне** 144, **самосоново** 88 об., **серегниа** 109 об. и др.). В ранних рукописях та-

¹ Не исключено, кстати, что эти написания **ТРОТ** в ЖАЮ восходят к некоему протографу XIII в., общему для Тип. № 182 и Егор. № 162, поскольку они содержатся и в Егор. № 162 (см. [Шевелева 1997: 34 (примеч. 9)]).

кие нефонологические вставочные гласные обозначались с помощью букв **ѣ, ѥ** (см., например, [Марков 1983]), в поздних — как мы видим, с помощью **о, е**, что вполне соответствует предполагаемой нами замене раннедревнерусских написаний **ТРѢТ** на поздние **ТРОТ**. М. Б. Попов приводит названные примеры со вставочными **о, е** из Пролога 1431—1434 гг. в качестве доказательства того, что за написаниями **ТРОТ** стоит передача не слоговости плавного, а второго полногласия, т. е. вставочного **о, е** после плавного (первый гласный при этом в силу особой «аллергии» писца на полногласие регулярно остается необозначенным). Эти написания, очевидно, действительно подтверждают возможность обозначения в рукописях XIV—XV вв. нефонологических вокальных вставок с помощью букв **о, е** — но почему это должно быть именно второе полногласие, т. е., как я понимаю М. Б. Попова, как раз фонологизированный гласный?

В связи с выдвигаемыми возражениями против реконструкции «системы со слоговыми плавными» явно необходимо еще раз уточнить: под «слоговостью на плавном» имеется в виду произношение плавного в сопровождении нефонологических вокальных элементов, может быть, подвижных, т. е. усиливающихся то с одной, то с другой стороны. Впоследствии гласный закрепляет свое положение по отношению к плавному — аналогичные стадии развития известны в болгаро-македонских и ряде других юж.-слав. диалектов. Допустимость для орфографии XIV—XV вв. обозначения нефонологических гласных призывков с помощью букв **о, е**, подтверждаемая приводимыми М. Б. Поповым данными Пролога 1431—1434 гг., полностью соответствует такой реконструкции.

Самым серьезным из приводимых М. Б. Поповым контраргументов мне представляется аргумент, касающийся написаний типа **ТОРѢТ / ТЕРѢТ** — с соблюдением противопоставления гласных при плавном по ряду вне зависимости от твердости / мягкости последующего согласного. М. Б. Попов указывает на то, что «такая орфография должна предполагать фонологическое различие твердых и мягких слоговых плавных», однако противопоставление слоговых плавных по палатализованности / непалатализованности нехарактерно ни для старославянских памятников, ни для современных славянских диалектов. Впрочем, в старейших славянских памятниках известно последовательное различие букв **ѣ / ѥ** после плавного в соответствии с этимологическим гласным сочетанием *ТЪРТ. Такая орфография представлена в наиболее архаичных Киевских листках, и в других памятниках есть следы различия **ѣ / ѥ** (т. е. **ТРѢТ / ТРѤТ**) при плавных (см. [Селищев 1951: 301—302]), что позволяет исследователям возводить это различие в использовании **ѣ, ѥ** после плавного к кирилло-мефодиевской орфографии и предполагать, что «**ѣ, ѥ** служили в этих случаях не одним только указанием на слоговость **ѣ, ѥ**, а передавали некоторый гласный элемент, похожий на **ѣ** или на **ѥ** и сопровождающий артикуляцию слоговых плавных», различие же «в применении в первых славянских переводах **ѣ, ѥ** при плавных указывает на разные гласные элементы за сло-

говым плавным» [Там же: 301]. Южнославянские памятники XI в. уже это различие **ТРЪТ** / **ТРЬТ** утрачивают; по мнению А. М. Селищева, это может быть указанием на произношение собственно слоговых *r*, *l* — без сопровождения их последующим гласным элементом, к этому времени утраченным [Там же: 302]. Таким образом, возникновение известного в современных славянских языках и отражаемого ст.-сл. памятниками с XI в. произношения со слоговыми *r*, *l*, в которых совпали рефлексы праслав. сочетаний с передним и непредним гласным (**tъrt* — **tьrt*), относится, очевидно, уже к историческому времени. В более раннее время (а может быть, в другой диалектной зоне — ср. известные моравизмы в Киевских листах!) такого совпадения не было.

Напомним еще раз, что реконструируемый нами древненовгородский рефлекс как раз предполагает наличие вокальных элементов при плавном, а не собственно слоговой сонант (см. выше). Поэтому сохранение различия этих гласных по ряду представляется вполне возможным.

Кроме того, в исследованных рукописях отмечались единичные факты, указывающие на колебания в ряде гласного при плавном: **м[гъ]рътвѣцю** Тип. № 182, 23 об. = Сол., 55, исправленное позднее в обеих рукописях на **мерьтвѣцю**; **порвое** Сол., 39 об., ср. также известные **доржаша** Еванг. Тип. № 18 XIV в. псковск., 75 [Каринский 1909: 147; Пряхина 2006: 13] и диалектные огласовки *доржатъ*, *здорживать*, *здоржка* (с *o* после твердого согласного) [Шахматов 1915: 158]; см. об этом [Шевелева 1996: 51—52]. Единичность этих фактов пока не позволяет делать сколько-нибудь определенных выводов относительно отражаемых ими изменений.

В связи с вопросом о достоверности нашей реконструкции хочется особое внимание обратить на написания типа **ТРТ** — без букв гласных при плавном, почему-то совсем проигнорированные нашим оппонентом. Такие написания, в которых вокалические элементы при плавном вообще остались необозначенными (**прострлѣ** Тип., 12 об. = Сол., 18; **прострлѣ/ло** Тип., 12 об.), отнюдь не случайны. Они спорадически встречаются в старославянских текстах как нестандартный способ записи рефлексов ***ТЪРТ** — слоговых плавных, ср.: **сѣмртѣ**, **тврдѣ** Син. пс.; **врхоу**, **срдѣце**, **цркѣве** Зогр. ев.; **милосрдова**, **скврншттаа** Мар. ев. [Вайан 1952: 41; Селищев 1951: 302]. Они известны в других древнерусских рукописях, также содержащих написания **ТРОТ** < ***ТЪРТ**, — повторю замечательные примеры из ПВЛ по Лавр. списку, содержащему следы северо-западного протографа: **хрватѣ** 5 — наряду с **хрватѣ** 2 об. (см. [Шевелева 1996: 36; 1997: 36—37]); такие написания отмечал А. И. Соболевский в юго-западных (галицко-волинских) рукописях²: **смртѣ**, **милосрдовавѣ** Поучения Ефр. Сир. 1492 г. (РНБ, Погод., № 71) — наряду с **трепѣння** 46, **трепѣливѣ** 116 об. там же; **мртвы**^x 208 об., **ѹмрлѣ** 209 об. в западнорусской Четвѣй Минее 1489 г., списанной с галицко-волинского оригинала [Соболевский 1884: 72, 56]. В

² О проблеме диалектной локализации рассматриваемых рефлексов см. ниже.

этих рукописях аналогичными способами может передаваться и вторичная слоговость в рефлексах *TRBT, ср. **кравѣ, крви** Полик. ев., Луцк. ев., ср. также в записи с гласным перед плавным наряду с записью с гласным после плавного: «**кльнущая** Гал. ев., **кьланѣтъся** Луцк. ев. (читай: *кльнущая, клнетъся*)» [Там же: 72], ср. в других консонантных группах с плавным: «**дъври, дъврѣмъ, дъврѣхъ** Гал. ев. (читай: *дври, дврѣмь* и т. д.)» [Там же] и др. — аналогичные написания известны в старославянских памятниках, где также отражается развитие вторичной слоговости в группах TRBT: **крвъ, крстичѣлъ** Мар. ев.; **крстъ, крста** Клоц., Асс.; **пльти** (вм. *пльти*) Макед. кир. л. и др. [Вайан 1952: 41; Селищев 1951: 304—305].

Замечательно, что такое же написание без гласных при плавном обнаружилось в найденной в 2005 г. новгородской берестяной грамоте №954 (1-я четв. XII в.): **млви** [Зализняк, Янин 2006: 3—4] — убедительное подтверждение существования такого рефлекса в живом произношении.

Мы еще раз убеждаемся, что написания типа **ТРОТ** оказываются в ряду вариантов с написаниями без гласных и с «перемещающимися» гласными при плавном. Какие уж тут фонологические **о (ѣ)** вокруг плавного, если они вообще могут не обозначаться! Наиболее адекватной реконструкцией здесь может быть только реконструкция нефонологических вокальных элементов при плавном.

По поводу сомнений в реалистичности реконструкции систем со слоговостью на плавном для восточнославянских диалектов надо сказать следующее. Подобные возращения обычно основываются на данных современного русского литературного языка и диалектов восточнорусского типа и исходят из представлений о диалектном единстве древневосточнославянского ареала, т. е. возводят современные русские рефлексы к общим православнославянским. Ставшая хрестоматийной реконструкция В. Н. Сидорова, к которой обычно апеллируют как к бесспорному обоснованию сохранения полноценного редуцированного гласного перед плавным в древнерусских рефлексах *TЪRT [Сидоров 1966; 1966а], тоже исходит из общего древнерусского рефлекса и не предполагает существования на восточнославянской территории исконных диалектных различий — соответственно современные русские огласовки типа *торг, волк* и под. с последовательным сохранением и прояснением редуцированного перед плавным рассматриваются как основной аргумент для реконструкции единого раннедревнерусского состояния³. Исследования последних десятилетий показали нереалистичность концепции монолитного православнославянского языка, диалектную

³ Об обосновании такой реконструкции хорошо писал П. С. Кузнецов, сравнивая современные русские результаты сочетаний *TЪRT с нормальными *о, е* перед плавным с польскими, где особая рефлексация гласного перед плавным позволяет «предположить неслоговой характер ъ. Для древнерусского же языка это был, по-видимому (разрядка моя. — М.Ш.), слоговой гласный» [Борковский, Кузнецов 1965: 56].

неоднородность древневосточнославянского ареала, восходящую к позднепраславянской эпохе; диалектные отличия древнего новгородско-псковского диалекта от остальной части древнерусских диалектов могут быть возведены только к праславянскому, а не правосточнославянскому уровню [Зализняк 2004: 56—57; Николаев 1994 и др.].

В области рассматриваемых рефлексов отличия диалектов северо-западной и западной зоны обнаруживаются и в орфографии рукописей, о чем мы говорили выше, и в современных говорах: не говоря уже о диалектной локализации «второго полногласия» (согласно концепции В. Н. Сидорова, это связано с диалектными различиями в аналогических процессах выравнивания основ), именно в говорах этой зоны представлены огласовки типа *клоч*, *мрода* ‘рыболовная сеть’, *протяной* и под. (см. выше). Восстанавливать единый общедревнерусский рефлекс *ТЪРТ вряд ли есть основания. Аргументы В. Н. Сидорова относительно реконструкции полноценного сильного ъ (ь) перед плавным актуальны для восточнорусских говоров, а не для всей восточнославянской территории.

Вряд ли стоит сомневаться даже в реальности существования вторичных слоговых плавных из сочетаний ТРЪТ (после падения редуцированных) для украинских и белорусских говоров, как это делает М. Б. Попов. Здесь речь идет не просто о гипотетической реконструкции — произношение со слоговостью на плавном в этих сочетаниях до сих пор существует по говорам этой зоны; мне самой приходилось слышать такое произношение с подвижными гласными призывками при плавном в магнитных записях полевых материалов С. Л. Николаева, причем как из карпатоукраинских говоров, так и из псковских (устные сообщения С. Л. Николаева). В свое время А. И. Соболевский, приводя примеры из галицко-волинских рукописей, отражающие произношение со слоговостью на плавном (см. выше), отмечал существование такого произношения в современных западных говорах (*ккви*, *крстити* и под.): «Не беремся решить, как произносились здесь (т. е. в древнем галицко-волинском наречии. — М. Ш.) *p* и *л*, составляли ли они слог (как в чешском), или не составляли (как в польском); заметим только, что у лемков гласный *p* иногда составляет слог и даже может иметь на себе ударение» [Соболевский 1884: 72].

Вторичная слоговость плавных обычно возникает в системах, где слоговые плавные уже есть [Селищев 1951: 394].

В связи с вопросом о локализации систем с «нестандартными» рефлексами сочетаний редуцированных с плавными надо сказать, что, как мы видим по данным памятников и современных говоров, отличная от основной восточнорусской рефлексация сочетаний *ТЪРТ (как и впоследствии ТРЪТ) была, по всей видимости, характерна для большей части западной древнерусской территории — как северной, так и южной. Обсуждаемые нестандартные написания в позиции рефлекса *ТЪРТ (типа **ТРОТ**, **ТРТ**) известны в памятниках новгородских и псковских (ЖАЮ, Сильв. сб., псковский Захарьинск. парем. 1271 г., Геннадиевская библия 1499 г., новгородские

берестяные грамоты и др.), но также и в памятниках юго-западных (см. материалы А. И. Соболевского [Соболевский 1884]). Встречаются они и в памятниках, имевших северо-западный протограф (Лавр. летопись, Рогожский летописец и др.). Наибольшее количество имеющихся материалов (в том числе данные бытовых текстов, как и обсуждаемые нами материалы рукописей ЖАЮ) связаны с северо-западной зоной, поэтому в данном случае речь идет о реконструкции рассматриваемого рефлекса для древнего новгородско-псковского диалекта. Однако и на остальной части западной древнерусской территории, видимо, была известна сходная рефлексация.

Именно об этом говорилось в связи с проблемой локализации рукописи Синайского патерика кон. XI в. [Шевелева 2001], орфография основного почерка которой (Син. Пат.₁) позволяет предполагать раннедревнерусскую версию той же орфографической системы передачи рефлексов сочетаний гласных с плавными: по всем имеющимся данным (в том числе и по способам передачи рассматриваемых рефлексов) «с определенностью устанавливается связь Син. Пат.₁ с западной частью восточнославянской территории, ...более точно локализовать рукопись не удастся» [Там же: 208]. Ни в коей мере не утверждается северо-западная локализация этого памятника, как предположил наш оппонент (напротив, говорится о наибольшей вероятности собственно западной зоны [Там же]), и предполагается возможность существования в северо-западной и западной (добавим: в том числе и юго-западной) книжности особой «традиции передачи рефлексов сочетаний гласных с плавными, связанной, вероятно, с реальной диалектной фонетикой» [Там же: 217]⁴.

Вопрос о более частных различиях в рефлексации сочетаний *ТЪРТ внутри западной древнерусской зоны остается неясным. Вполне вероятно,

⁴ Критикуя предлагаемую в [Шевелева 2001] интерпретацию орфографии Син. Пат.₁, М. Б. Попов возражает против трактовки написаний с паерком над плавным как указания на вокальность плавного (по его мнению, это указание на «элемент слога»: над гласным диакритика обозначает протетический или эпентетический согласный, над согласным — следующий за ним гласный, что согласуется с гипотезой Ю. С. Кудрявцева). Однако здесь возражения во многом основаны на недоразумениях. Во-первых, в Син. Пат.₁ паерок в обычном случае ставится не над буквой согласного, а над пробелом между согласными, в сочетаниях же ТЪРТ он ставится над самой буквой плавного палеографически точно так же, как над буквой гласного (см. об этом [Шевелева 2001: 177—178], ср. аналогичное явление в кондакарях — постановку нотного знака над буквой плавного [Успенский 1997: 223]). Во-вторых, на недоразумении основано приводимое в подтверждение своей трактовки утверждение, что диакритика не ставится над вторым гласным нестяженных форм имперфекта и прилагательных (со ссылкой на приведенные примеры Син. Пат.₁): в действительности в Син. Пат.₁ паерок ставится и в нестяженных формах имперфекта и прилагательных, в том числе и в приводимых М. Б. Поповым примерах (мьр'твѡа'го 12 об., пьр'вѣн'хъ 118 об., сжци'нхъ 119 и др.) — этот знак вообще довольно последовательно ставится над любым вторым гласным, и редкие пропуски, видимо, надо расценивать как описки по недосмотру.

что реализация этих рефлексов в юго-западных говорах отличалась от псковско-новгородских: хотя бы по тому, что в северо-западной зоне развилось «второе полногласие», ср. также орфографические инновации списка Сол. №216, настойчиво указывающие на наличие двух гласных вокруг плавного. Но во всей этой зоне, видимо, раннедревнерусский рефлекс *ТЪРЪТ отличался от восточнорусского.

Теперь о возможности связи произношения, стоящего за орфографией рукописей ЖАЮ в области передачи рефлексов *ТЪРЪТ, со «вторым полногласием».

Как уже говорилось, наш оппонент предполагает, что за написаниями **ТРОТ** (как, очевидно, и **ТОРЪТ**) писец Тип. №182 просто «маскирует» второе полногласие (непонятно только, как он мог его маскировать с помощью написаний **ТРТ!**). Но, как мы знаем, писец Тип. №182 вовсе не был изобретателем этих написаний — они известны и в других, в том числе более ранних рукописях, у переписчиков которых, кажется, этой особой аллерегии на всякое полногласие не наблюдалось. И почему они попадают и у галицко-волинских писцов (и опять наряду с **ТРТ**), у которых никакого второго полногласия никогда не было? А те, кто писал берестяные грамоты, чего ради вдруг стали маскировать полногласие? Как мы понимаем, последнее предположение уж совсем абсурдно, а данные берестяных грамот здесь совпадают с данными ЖАЮ (см. выше).

С другой стороны, не совсем ясно, что именно понимается нашим оппонентом под «вторым полногласием»: то ли раннедревнерусский рефлекс типа ТЪРЪТ (называемый почему-то общевосточнославянским), то ли «произношение [torot], которое является рефлексом второго полногласия, совпавшего с первым», которое писец «последовательно стремится маскировать» [Попов 2006: 232]. Собственная гипотеза М. Б. Попова строится на реконструкции произношения [torot] в позиции рефлексов *ТЪРЪТ для говора писцов рукописей ЖАЮ — соответственно, в этом смысле используется, видимо, термин «второе полногласие», вынесенный в заглавие статьи.

В работах [Шевелева 1995, 1996, 1997] говорилось о возможности связи развития рассматриваемых рефлексов *ТЪРЪТ с диалектным явлением «второго полногласия» (огласовками типа torot, т. е. вокализацией гласных с двух сторон плавного), однако более определенных выводов сделать не представляется возможным.

Известно, что «второе полногласие» — явление, позиционно обусловленное, причем со сложным позиционным распределением по говорам. Еще А. А. Шахматов показал, что развитие «второго полногласия» наблюдалось перед слогом со слабым редуцированным, прочие же случаи могут быть, видимо, объяснены действием аналогии [Шахматов 1903]. Однако большое количество исключений из этого правила, т. е. отсутствие развития «второго полногласия» в определенном наборе слов (см. [Гринкова 1950; Колесов 1963; Николаев 2001: 88—90]), позволяет предполагать более сложную позиционную обусловленность этого явления. С. Л. Николаевым была выдвинута гипотеза, связывающая возникновение форм со «вто-

рым полногласием» в северо-западных и западных говорах с позицией сохранения праславянских долгот под «новым акутом» и в заударных слогах (при этом в современных говорах рефлекс «второго полногласия» регулярно обнаруживается только в случаях, когда в следующем слоге в древнерусском был слабый редуцированный) [Николаев 2001: 86—103].

Представленные в наших списках ЖАЮ написания типа ТРОТ < *ТЬРТ никакой позиционной обусловленности не обнаруживают. Действительно, большая часть корней, зафиксированных здесь в написаниях ТРОТ, отмечалась в других памятниках с эффектом «второго полногласия» и даже известна в таких огласовках в говорах — материал приводился в [Шевелева 1996: 48—49], — но не все. Отнюдь не все слова, представленные в ЖАЮ в написаниях ТРОТ, известны со «вторым полногласием» в говорах, ср., например: *мрезци*, *мрезьката*, *помрекне*⁵ Тип. № 182, 62 = Сол. № 216, 154; *дрезновенье* Сол., 171 об. и др.⁵ Обратим внимание, что представленные в Сол. № 216 «незамаскированные», по мнению М. Б. Попова, полногласные огласовки в позиции рефлекса *ТЬРТ (*моловлаху* Сол., 2; *молоннами* Сол., 119 об.; *молоньею* Сол., 173) классическим диалектным «вторым полногласием» не являются: форма *молонья*, широко известная за пределами северо-западной и западной зоны, может отражать вставной гласный между сонантами, не связанный со «вторым полногласием» [Николаев 2001: 87—97], *моловлаху* представляет собой книжный имперфект, причем сам глагол *мълавити* в полногласной огласовке в современных говорах не зафиксирован [Николаев 2001: 103].

Вопрос о характере возможной связи написаний типа ТРОТ с диалектным «вторым полногласием» представляется мне сейчас даже более сложным, чем в [Шевелева 1995; 1996; 1997]. Под расплывчатым термином

⁵ В старших списках ЖАЮ в написаниях типа ТРОТ < *ТЬРТ зафиксированы словоформы: *влочечь* Тип., 27 = Сол., 61 об.; *съ вребнимъ* ‘с ветвями вербы’ Сол., 99 об.; *поврезъше* Сол., 26 об.; *вресту* ‘сверстника’ Тип., 36 = Сол., 81 об.; *двѣ на десять врестѣ* Сол., 149 об.; *гробата* Сол., 27 об.; *гронецъ* Сол., 30 об.; *грошокъ* Сол., 34; *дрезновенье* Сол., 171 об.; *ж’лотѣ* (мест. ед. от ‘желтый’) Сол., 10 об.; *кросту* ‘гроб’ Тип., 61 = Сол., 139, *къ крести* ‘к гробу’ Сол., 138 об.; *ис кресты* ‘из гроба’ Сол., 138 об.; *кочасъ* ‘корчась’ Сол., 15; *млонна* Тип., 54 = Сол., 119, Тип., 54 = Сол., 119 об., Тип., 54 = Сол., 120, Тип., 21, *млонню* Тип., 54 = Сол., 119 об., *млоннами* Тип., 11 = Сол., 16; *мредага* ‘усмехаясь, гримасничая’ Сол., 133 об.; *мредатн* Егор., 105, *помродавъ* ‘усмехнувшись’ Тип., 24 об. = Сол., 56 об.; *помродаша* Сол., 100; *мрезци*, *мрезьката* Тип., 62 = Сол., 154, *мрезити* ‘вызывать омерзение, отвращение’ Сол., 163; *помрекне*⁷ Тип., 62 = Сол., 154; *припретѣ* ‘на паперти’ Тип., 61 = Сол., 138; *проты* Тип., 19 = Сол., 44, *прота* Тип., 9 об. = Сол., 8 об., Тип., 22; *трение* ‘терние’ Егор., 24; *на трогу* Тип., 20 = Сол., 46, *троговнок* Тип., 30 об. = Сол., 71 об.; *истрогаль* ‘выдернул, вырвал’ Сол., 27 об.; *охлоставъ* ‘взнуздав’ Тип., 10 об. = Сол., 10; *чревленами* Сол., 64 об.; *почревленъ* Тип., 11 об. = Сол., 16 об.; *чрѣмно* ‘красное’ Тип., 61 об. = Сол., 139 об.; *чремныа* Сол., 149; *чренило* Тип., 18 об. = Сол., 43 об.; *чреници* ‘чернецы’ Сол., 165 об.; *чреница* (вин. мн.) Сол., 149 (подробнее см. [Шевелева 1996]).

«второе полногласие» часто объединяются разные явления; известные в русских говорах огласовки типа *torot* в позиции рефлекса *ТЪРТ могут, возможно, иметь не единственное происхождение и разную позиционную обусловленность. Напомним к тому же еще раз, что написания типа **ТРОТ** < *ТЪРТ известны не только в северо-западных рукописях.

Очень интересны приводимые М. Б. Поповым примеры из новгородского Пролога 1431—1434 гг. написаний типа **ТОРОТ** и **ТОРЪТ**, действительно, кажется, представляющие определенную параллель к материалу старших списков ЖАЮ, особенно Сол. № 216⁶. Эти «полногласные» написания **ТОРОТ** здесь тоже не обнаруживают никакой позиционной обусловленности, причем М. Б. Попов специально отмечает, что «среди примеров с *o*, *e* отсутствуют такие, где бы эти графемы отражали вставочную гласность перед группой согласных или в новом закрытом слоге (т. е. перед выпавшим слабым редуцированным)» — как раз в той позиции, где нормально было бы ожидать развития «второго полногласия», но М. Б. Попов почему-то считает это, напротив, аргументом в пользу того, что перед нами отражение диалектного второго полногласия. Среди зафиксированных в Прологе 1431—1434 гг. с огласовкой **ТОРОТ** слов и даже корней есть такие, которые в говорах с полногласием неизвестны: **перевын** 247 об.; **скоровить** 84 об.; **оскоро/вимъ** 138; **горо/достъ** 253 об.; **оумолочавъ** 135 и др.; при этом для ряда из них обнаруживаются прямые параллели в ЖАЮ, ср.: **мерезъкыми** 46 — **мрезци**, **мрезъката** Тип. № 182, 62 = Сол. № 216, 154; **дере/знухъ** 217 — **дрезновеньє** Сол., 171 об. и др. Особенно важно, что в том же Прологе 1431—1434 гг. «довольно часто встречаются написания с вставкой *o* и *e* в группах согласных, не связанных с вторым полногласием» (в большинстве случаев — перед или после сонанта): **земє/лю** 213 об.; **тє/ремн** 23; **поховалиста** 208 об., **самосоново** 88 об.; **серегниа** 109 об.; **велеми** 141 и др. (см. об этих написаниях выше). Не указывает ли это на то, что буквы *o*, *e* в Прологе 1431—1434 гг. могут обозначать нефонологические вокальные вставки, а не полноценные фонемы *o*, *e* (см. выше)? И если здесь это может быть так, почему и при передаче рефлексов *ТЪРТ это не может быть тем же самым? В свете данных написаний со вставочными *o*, *e* становится объяснимо и отсутствие всякой позиционной обусловленности «полногласных» написаний типа **ТОРОТ** < *ТЪРТ в этой рукописи: перед нами может быть отражение не огласовок типа *torot* (с фонемами *o*, *e* вокруг плавного), а передача вокалического призвука после плавного.

Определенный параллелизм материалов Пролога 1431—1434 гг. и рукописей ЖАЮ (особенно Сол. № 216) наводит на мысль о возможном сходстве диалектной рефлексации, а может быть, тенденций развития древне-новгородского рефлекса *ТЪРТ с вокалическими призвуками при плавном

⁶ Если здесь перед нами не чисто графическое явление: отсутствие полных данных о характере орфографии рукописи не позволяет делать сколько-нибудь определенных выводов.

(см. выше о данных списка Сол. №216). Повторю, что под названием «второе полногласие» часто объединяют разные явления.

Теперь о написаниях **ТРОТ** в позиции первого полногласия (в рефлексах праслав. *ТОРТ). Как справедливо отметил М. Б. Попов, здесь мои соображения относительно реконструкции стоящего за ними произношения высказываются в [Шевелева 1996; 1997; 2001] очень предположительно: имеющихся данных существенно меньше, чем относительно рефлексов сочетаний *ТЪРТ. Однако все-таки некоторые показательные материалы есть.

Сейчас уже не вызывает сомнения, что «[т]радиционная формула так наз. полногласия: *ТОРТ > ТОРОТ... — слишком упрощенно отображает реальную ситуацию в вост.-слав. зоне» [Зализняк 2004: 39—40]. Для юго-западной (украинской и части белорусской) территории следует реконструировать рефлекс типа ТО^оР^оТ, где второй гласный фонологически не тождествен первому и более краток, чем полноценное о (ѣ) (см. об этом [Зализняк 1985, § 3.5]; ср. реконструкцию на основании данных украинской фонетики в [Селищев 1951: 40]). Такой же рефлекс восстанавливается для части северо-западных говоров [Зализняк 2004: 40], однако в этом (кривичском) ареале, как показывают последние исследования С. Л. Николаева, представлен был также рефлекс типа Т^оР^оТ, где обе гласные вокруг плавного более кратки, чем обычное о, и имели рефлексы, близкие к рефлексам *ѣ [Николаев 1996: 212—213].

Написания типа **ТРОТ** < *ТОРТ известны в северо-западных и западных памятниках давно [Шахматов 1915: 155—156]. Высказывалось предположение как об их искусственном характере [Селищев 1951: 91], так и о фонетическом [Колесов 1980: 69—75; Зализняк 2004: 40—41; Шевелева 1996; 1997; 2001; Крысько 1998: 84; 2003: 345]. Исследования последних лет увеличивают число таких примеров, причем аналогичные огласовки фиксируются и в говорах, в том числе и под ударением (см. примеры в [Зализняк 2004: 41]). Показательно, что примеры таких написаний **ТРОТ** < *ТОРТ отмечаются и в бытовой письменности (в берестяных грамотах: 2 **срочька** 2 раза, **срочькъ** (род. мн.) № 336 (XII в.), **срочеке** Торж. 3 (XII / XIII вв.), **погродье** № 718 (XIII в.)), где предполагать «маскировку» полногласия, как мы уже говорили применительно к написаниям **ТРОТ** < *ТЪРТ, вряд ли реалистично (см. об этом же [Крысько 2003: 343]).

Обращает на себя внимание факт сосуществования в ряде источников этих нестандартных написаний **ТРОТ** < *ТОРТ и написаний **ТРОТ** / **ТРЪТ** < *ТЪРТ: такова ситуация в наших списках ЖАЮ (**словие** Тип., 12; **дрогое** Тип., 30 об. = Сол., 71 и др.), в берестяной грамоте № 336 (XII в.), в Син. Пат.₁ (см. [Шевелева 1996: 56; 2001: 187—190]) — отсюда возникает предположение о принадлежности этих особых рефлексов праслав. сочетаний гласных с плавными одной и той же диалектной системе, т. е. связи их с одними и теми же западными и северо-западными говорами.

Каков был характер конкретной фонетической реализации рефлекса *ТОРТ в таких системах, представляется неясным. В работах [Шевелева

1996: 61; 2001: 196, 216] не утверждается совпадение рефлексов *ТЪРТ и *ТОРТ в таких говорах, а высказывается предварительное предположение о возможности сближения их развития — в смысле нетождественности нормальному *o* то первого, то второго гласного при плавном. Это предположение основывается, с одной стороны, на единичных фактах написаний рефлексов *ТОРТ без второго гласного (после плавного) в западных и северо-западных рукописях, традиционно квалифицировавшихся как описки (чер' *via* Хлебн. сп. Гал.-Вол. лет., сер' *брьньць* Син. Пат.₁, 130 об. (см. [Шевелева 2001: 191—192]), ср. также *горда* Смол. грам. 1229 г. и др.); с другой стороны, известная в северных говорах новгородского происхождения рефлексация *-оры-*, *-олы-* (*балынья*, *шолымя*, *скорыню* в одном из списков ЖАЮ) указывает на фонологическую нетождественность *o* второго гласного сочетаний *ТОРТ [Зализняк 2004: 40]. Либо на западной и северо-западной территории мы имеем дело с двумя разными рефлексами *ТОРТ: $TOR^O T$ и $T^O R^O T$, как-то распределенными по говорам, либо они сосуществуют в тех же говорах — для принятия обоснованного решения у нас пока нет достаточных данных.

Однако второе предположение никак не исключено. В этом случае реализация рефлексов *ТОРТ и *ТЪРТ оказывается сходной: гласный появляется то с одной, то с другой стороны плавного, и этот гласный более краток, чем нормальное *o*. Надо сказать, что предложенная С. Л. Николаевым реконструкция древнекривичского рефлекса *ТОРТ как $T^O R^O T$ (т. е. $T^O R^O T$), где обе гласные отличались от обычного **o* и имели рефлекс, близкий к **ъ* [Николаев 1996: 212—213], согласуется как раз с этим последним предположением. Но, повторю, для серьезно обоснованной гипотезы пока еще достаточных данных нет.

Литература

- Борковский, Кузнецов 1965 — В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. М., 1965.
- Вайан 1952 — А. В а й а н. Руководство по старославянскому языку. М., 1952.
- Видоеский 1971 — Б. В и д о е с к и й. Судьба слогового *p* в говорах македонского языка // Исследования по славянскому языкознанию: Сб. в честь 60-летия проф. С. Б. Бернштейна. М., 1971. С. 305—313.
- Гринкова 1950 — Н. П. Г р и н к о в а. О случаях второго полногласия в северо-западных диалектах // Тр. Ин-та русского языка. Ч. 2. М.; Л., 1950. С. 211—227.
- Зализняк 1985 — А. А. З а л и з н я к. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.
- Зализняк 1997 — А. А. З а л и з н я к. Об одном ранее неизвестном рефлексе сочетаний *ТъгТ в древненовгородском диалекте // Балто-славянские исследования 1988—1996 гг. М., 1997. С. 250—258.
- Зализняк 2004 — А. А. З а л и з н я к. Древненовгородский диалект. 2-е изд., перераб. с учетом материала находок 1995—2003 гг. М., 2004.

- Зализняк, Янин 2006 — А. А. З а л и з н я к, В. Л. Я н и н. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2005 г. // ВЯ. 2006. № 3. С. 3—13.
- Каринский 1909 — Н. М. К а р и н с к и й. Язык Пскова и его области в XV веке. СПб., 1909.
- Колесов 1963 — В. В. К о л е с о в. Развитие второго полногласия в русских северо-западных говорах // Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та. Вып. 68. Л., 1963. С. 148—159.
- Колесов 1980 — В. В. К о л е с о в. Историческая фонетика русского языка. М., 1980.
- Крысько 1994 — В. Б. К р ы с ь к о. Заметки о древненовгородском диалекте (II. Varia) // ВЯ. 1994. № 6. С. 16—30.
- Крысько 1998 — В. Б. К р ы с ь к о. Древний новгородско-псковский диалект на общеславянском фоне // ВЯ. 1998. № 3. С. 74—93.
- Крысько 2003 — В. Б. К р ы с ь к о. Русско-церковнославянские рукописи XI—XIV вв. как источник по истории старославянского и древнерусского языков: новые данные // Славянское языкознание. XIII Междунар. съезд славистов: Докл. рос. делегации. М., 2003. С. 339—355.
- Марков 1983 — В. М. М а р к о в. К истории неорганической гласности в русском языке // ВЯ. 1983. № 4. С. 109—120.
- Николаев 1994 — С. Л. Н и к о л а е в. Раннее диалектное членение и внешние связи восточнославянских диалектов // ВЯ. 1994. № 3. С. 23—49.
- Николаев 1996 — С. Л. Н и к о л а е в. Histoire d'O // Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сб. к 60-летию А. А. Зализняка. М., 1996. С. 203—242.
- Николаев 2001 — С. Л. Н и к о л а е в. Из исторической фонетики и просодии северо-западных говоров // Диалектная фонетика русского языка в диахронном и синхронном аспектах. М., 2001. С. 86—121. (Вопросы русского языкознания. Вып. 9).
- Попов 2006 — М. Б. П о п о в. К вопросу о написаниях типа ТРОТ < *ТЪРТ в рукописях XIV—XV вв.: слоговые плавные или второе полногласие? // Рус. яз. в науч. освещении. 2006. № 2 (12). С. 230—241.
- Пряхина 2006 — И. И. П р я х и н а. Палеографическое и лингвистическое описание рукописи Евангелия-апракос XIV в. из собрания РГАДА ф. 381 (Син. тип.) № 18: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2006.
- Селищев 1951 — А. М. С е л и щ е в. Старославянский язык. Ч. I. М., 1951.
- Сидоров 1966 — В. Н. С и д о р о в. Редуцированные гласные ъ и ь в древнерусском языке XI в. // Из истории звуков русского языка. М., 1966. С. 5—37.
- Сидоров 1966а — В. Н. С и д о р о в. Из истории сочетаний типа *tɔrt в русском языке // Из истории звуков русского языка. М., 1966. С. 38—97.
- Соболевский 1884 — А. И. С о б о л е в с к и й. Очерки из истории русского языка. Киев, 1884.
- Успенский 1997 — Б. А. У с п е н с к и й. Древнерусские кондакари как фонетический источник // Избранные труды. Т. 3. М., 1997. С. 209—245.
- Шахматов 1903 — А. А. Ш а х м а т о в. К истории звуков русского языка. О полногласии и некоторых других явлениях. СПб., 1903.
- Шахматов 1915 — А. А. Ш а х м а т о в. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915.
- Шевелева 1995 — М. Н. Ш е в е л е в а. Новые данные церковнославянских рукописей о рефlekсах сочетаний редуцированных с плавными и развитии второго полногласия // ВЯ. 1995. № 4. С. 78—93.

Шевелева 1996 — М. Н. Шевелева. «Житие Андрея Юродивого» как уникальный источник сведений по исторической фонетике русского языка // Актуальные проблемы современной русистики: Диахрония и синхрония. М., 1996. С. 20—65 (Вопросы русского языкознания. Вып. 6).

Шевелева 1997 — М. Н. Шевелева. Еще раз об орфографии церковнославянских рукописей и проблеме реконструкции системы говора писца // Русские диалекты: История и современность. М., 1997. С. 16—46 (Вопросы русского языкознания. Вып. 7).

Шевелева 2001 — М. Н. Шевелева. Орфография сочетаний гласных с плавными в Синайском Патерике и проблема его диалектной локализации // Диалектная фонетика русского языка в диахронном и синхронном аспектах. М., 2001. С. 168—221 (Вопросы русского языкознания. Вып. 9).

ИНФОРМАЦИОННО-ХРОНИКАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

II Международная конференция «Актуальные проблемы русской диалектологии»

Отдел диалектологии и лингвогеографии Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН организовал II Международную конференцию «Актуальные проблемы русской диалектологии»¹, которая проходила с 22 по 25 октября 2006 г. в пансионате «Звенигородский». С докладами на конференции выступили ученые из России, Латвии, Эстонии, Украины, Норвегии, Австрии, Польши, Германии, Румынии. Опубликованный сборник тезисов² позволил не приехавшим на конференцию докладчикам участвовать в дискуссиях хотя бы заочно.

На двух пленарных заседаниях было заслушано 14 докладов.

В докладе *В. Е. Гольдина* и *О. Ю. Крючковой* (Саратов) рассматривались общие принципы организации создаваемого в Саратовском университете корпуса диалектных текстов, основной целью которого является разработка модели традиционной сельской коммуникации.

Доклад *С. А. Мызникова* (Санкт-Петербург) был посвящен проблеме дифференциации типов прибалтийско-финского языкового субстрата в русских говорах Северо-Запада. Автор представил

различные характеристики, помогающие разграничить типы субстрата: общеприбалтийско-финский, водско-эстонский, вепсский и др.

В докладе *Л. Л. Касаткина* (Москва) была охарактеризована система консонантизма, функционирующая в слободских говорах (Харовский район Вологодской области).

Е. М. Сморгунова (Москва) в докладе «Рукописи как источник диалектологических исследований» проанализировала особенности орфографии рукописей Верхокамья, отражающей местное произношение.

А. А. Соколянский (Магадан) в своем выступлении выделил ряд фонетических особенностей, характеризующих фонетическую систему говоров Крайнего Северо-Востока России и представляющих собой конвергентные явления, которые получили развитие под влиянием внешних и внутренних факторов.

Доклад *Е. А. Нефедовой* (Москва) был посвящен закономерностям переходов номинаций из одной семантической сферы в другую. Были охарактеризованы семантические связи между базовыми понятиями человеческого сознания, такими как *время* и *жизнь*, *время* и *погода*, *время* и *поворот*.

В докладе *Е. А. Брызгуновой* (Москва) «Русская речь между диалектом и литературным языком» проанализирована особая наддиалектная форма как один из основных признаков современного русского литературного языка.

А. Ф. Журавлев (Москва) в своем докладе предложил обзор типичных

¹ Конференция проводилась при поддержке РГНФ (грант № 06-04-14004г).

² Тезисы докладов Международной конференции опубликованы отдельным сборником «Актуальные проблемы русской диалектологии: Тезисы докладов Международной конференции 23—25 октября 2006 года».

просчетов в современных диалектных словарях, затрагивающий различные стороны лексикографического описания: жанровая целостность словаря, формирование словника, морфологическая информация, указание на сочетаемость и синтаксические характеристики слова и др. особенности.

С. Гжибовский (Торунь, Польша) выявил особенности функционирования русского (псковского по происхождению) говора старообрядцев в условиях польско-русского двуязычия.

Ю. И. Бедношея (Киев, Украина) в докладе «Этнолингвистический аспект диалектной текстологии» еще раз обратил внимание на значение диалектных текстов как универсального первичного источника, позволяющего описывать частные диалектные системы на разных уровнях. Одним из методов, позволяющих зафиксировать максимальное количество информации от старшего поколения диалектоносителей, является, по мнению исследователя, запись текстов по этнолингвистическим программам.

Т. А. Демешкина (Томск) в своем выступлении обосновала правомерность и необходимость выделения новой отрасли знания — когнитивной диалектологии.

В докладе *Е. А. Оглезневой* (Благовещенск) на примере амурских говоров затрагивались вопросы лингвогеографического изучения говоров позднего заселения, возникших в результате взаимодействия разнодиалектных систем.

Доклад *К. Штайнке* «Казашко и Тарарица: 20 лет спустя» (Эрланген, Германия) посвящен изменениям диалектной системы в русских старообрядческих говорах Болгарии, которые обследовались автором в 1986 и 2006 годах.

К. Санток (Бохум, Германия) в докладе «Деревня Сафоново Архангельской области: диалект и деградация»

обозначил особенности реализаций диалектных явлений в речи двух поколений жителей деревни.

На конференции работало 5 секций. На секции «Фонетика» было прочитано 7 докладов. В выступлении *Д. М. Савинова* (Москва) отмечалось, что различные системы ударного вокализма, характерные для южнорусских говоров, а также изменения этих систем неодинаково воздействуют на гласные первого предударного слога и приводят к формированию различных типов предударного вокализма.

В. О. Кузнецов (Брянск) показал, что диссимилятивное аканье в речи брянцев реализуется с различной степенью выраженности и сосуществует с различными остаточными диалектными и региональными особенностями.

В докладе *А. П. Майорова* (Улан-Удэ), основанном на анализе памятников деловой письменности, выявлены некоторые особенности консонантизма русских говоров Забайкалья XVIII века. Так, смешение глухих и звонких согласных в сигнификативно сильных позициях исследователь рассматривает как реликт материнских севернорусских говоров, отражающих переход противопоставления согласных по напряженности — ненапряженности к противопоставлению по глухости — звонкости.

Н. В. Удалов (Набережные Челны) исследовал проблему функционирования фонетических систем говоров вторичного формирования в Предкамье Татарстана. Автор отмечает, что в этих говорах практически отсутствует тюркский языковой субстрат, но проявляются финно-угорские фонетические элементы. Этот факт позволяет сделать вывод о тесном взаимодействии русских и финно-угорских говоров на территории Предкамья.

Акцентуационные особенности русских говоров с различением двух фонем

«типа о» были обозначены в докладе *А. В. Тер-Аванесовой* (Москва).

В докладе *И. И. Исаева* (Москва) намечены основные подходы к созданию базы данных Диалектологического атласа русских говоров северо-западных областей России.

На секции также был прочитан доклад *С. В. Князева* и *Е. В. Шаульского* (Москва) «О „протодиссимилиативном“ аканье», вызвавший бурную дискуссию.

На секции «**Грамматика**» было заслушано 8 докладов.

Доклад *С. К. Пожарицкой* (Москва) был посвящен проблеме дистрибуции форм прошедшего времени глагола в системе говора д. Мосеево Мезенского района Архангельской области.

С. П. Петрунина (Новокузнецк) на материале говоров Среднего Приобья (Томская и Кемеровская области) рассмотрела коммуникативные стратегии в употреблении частиц и модальных слов, называемых «паразитами». Проанализированы группы «слов-паразитов», в которых преобладают стратегия говорящего, стратегия слушающего, стратегия говорящего и слушающего.

И. Кюльмоя, *Н. Богданова*, *О. Бурдакова* (Тарту, Эстония) провели анализ глагольной системы русских диалектов Эстонии, который позволил сделать вывод о типологической неоднородности говоров на данной территории.

С. М. Белякова (Тюмень) в выступлении, посвященном особенностям восприятия феномена времени в языковом сознании носителей диалекта, указала на отсутствие в русских говорах исторического времени.

Особенности способов глагольного действия в аспектуальной системе русских говоров были обозначены в докладе *О. Г. Ровновой* (Москва). Автором отмечены три наиболее продуктивных в диалекте способа действия: многократный, дистрибутивный, начинательный.

Первые два способа связаны с семантическим признаком повторяемости, третьих — с семантическим признаком разовости.

М. Пост (Тромсе, Норвегия) в докладе «О способах выражения семантического сочинения и подчинения в севернорусских говорах в сопоставлении с литературным языком» проанализировала семантику и особенности функционирования недифференцированных частиц *да* и *дак* в говоре д. Варзуга Терского района Мурманской области. Анализ материала показал, что отношения между предикативными конструкциями в диалекте строятся на иных принципах, нежели в литературном языке.

В докладе *Н. Л. Голубевой* «Некоторые особенности синтаксиса слободских говоров» был поставлен вопрос о важности анализа структурных слов при описании диалектного синтаксиса: частиц, союзов, местоимений, сочетаний перечисленных элементов. В подтверждение этой идеи рассматривались некоторые диалектные явления; основное внимание докладчика было сосредоточено на структурных словах: *всё*: (*да*) *всё*, *да всё* (*такое*); *да чё ли*, *ли как ли*, *или чё ли*, *или как ли*.

В совместном докладе *И. Б. Качинской* и *С. А. Крылова* (Москва) были представлены основные подходы к решению прикладной задачи лемматизации, то есть автоматического приведения словоформы к начальной форме слова на базе электронной картотеки «Архангельского областного словаря».

На секции «**Лексикология**» было прочитано 18 докладов. *Н. С. Ганцовская* (Кострома) проанализировала региональную лексику, отмеченную в материалах «Этнографического бюро» В. Н. Тенишева. В частности, этот лексический материал содержит новую информацию о лексическом составе говоров Кост-

ромского акающего острова, об их семантико-структурных, функционально-стилистических и ареальных особенностях.

Л. Ф. Баранник (Одесса, Украина) посвятила свое сообщение специфическим особенностям лексико-семантической системы русских переселенческих говоров юга Украины, длительное время функционирующих в отрыве от основного материнского южнорусского массива.

В докладе *О. А. Глуценко* (Петропавловск-Камчатский) были выявлены диалектные особенности камчатского наречия, сформированного на основе севернорусской лексики в условиях иноязычного окружения. В качестве примера был проанализирован идиолект коренной камчадалки Ксении Семеновны Толман.

О. Г. Щитова (Томск) в докладе «Сибирские деловые документы XVII в. как источник изучения иноязычной лексики русских говоров Среднего Приобья» обратилась к анализу корпуса иноязычной лексики как западноевропейского, так и алтайского (прежде всего тюркского) и уральского происхождения в сибирских деловых документах XVII в.

В докладе *Н. В. Лабунец* (Тюмень) рассматривались вопросы формирования геотерминологического фонда сибирских старожильческих говоров.

Е. В. Колесникова (Москва) выявила некоторые отличия в семантике общерусских лексем *путь* и *дорога* в архангельских говорах по сравнению с литературным языком.

Н. Г. Ильинская (Петропавловск-Камчатский) охарактеризовала семантическую структуру бесприставочных глаголов движения, функционирующих в камчатских говорах. Докладчик показал, что глаголы движения в литературном языке и в диалектных системах Камчатки имеют существенные различительные особенности.

Е. С. Обухова (Воронеж) в докладе «Названия одежды в селе Старая Чигла Аннинского района Воронежской об-

ласти» представила классификацию диалектной лексики тематической группы «одежда». Автором были выявлены особенности употребления слов данной лексической группы с целью указания на социальное положение человека.

В докладе *Е. С. Рудыкиной* (Волгоград) наименования элементов одежды донских казаков рассматривались в этнолингвистическом аспекте.

О. Н. Крылова (Санкт-Петербург) представила различные наименования головных уборов в говорах Русского Севера, снабдив каждую лексему этнографическими комментариями.

М. В. Панова (Воронеж) посвятила выступление характеристике наименований головных уборов замужних женщин, бытовавших в конце XIX — начале XX в. в воронежских говорах. Докладчик представила этимологии ряда наименований, а также выявила особенности их функционирования в говорах.

М. В. Костромичева (Орел) обратилась к анализу группы обрядовых агентов в русских говорах. В докладе было отмечено, что подавляющее большинство этих лексических единиц производно и мотивировано обрядовой реальностью, а в основе мотивации, как правило, лежит функциональный признак.

Л. Г. Самотик (Красноярск) в своем докладе выявила основные функции диалектизмов в построении художественного пространства.

В докладе *А. Д. Черенковой* (Воронеж) сопоставлялись способы выражения речемыслительной деятельности в языке и речи на материале воронежской литературной разговорной речи и воронежских диалектов.

И. А. Кобелева (Сыктывкар) в докладе «Единичный контекст как достоверный факт употребления диалектного фразеологизма» отметила, что фразеологизмы-гапаксы могут быть описаны в региональном словаре лишь в том случае, если: а) занимают в единичной ил-

люстрации сильную позицию; б) находят соответствия в словарях сопредельных ареалов; в) поддерживаются лексическим материалом (отфразеологическими дериватами).

Ж. А. Зубова (Орел) на материале орловских говоров проанализировала лексические единицы, характеризующие состояние человека. Внутри этого семантического поля автором были противопоставлены 2 микрополя — характеристика физического vs психического состояния. В результате исследования автор пришел к выводу, что в литературном языке преобладают фразеологизмы, характеризующие психическое состояние человека, а в говоре — его физическое состояние.

В докладе *А. В. Ефимовой* (Пермь) были рассмотрены основные лексико-семантические группы слов с корнями *-костр-* и *-кост-* — «Человек и свойства его характера», «Рыбы», «Растения». Автор сделала вывод о гетерогенном развитии данных корней, а также об активном взаимодействии семантики исследуемых корней в языковом сознании носителей говора.

Доклад *Л. А. Инютиной* (Новокузнецк) был посвящен проблеме формирования семантических отношений, характеризующих лексическую парадигму *елань* — *поле* — *луг-кулига* в современном сибирском говоре.

На секции «Словообразование и этимология» было прочитано 7 докладов.

В докладе *Е. Н. Шабровой* (Вологда) освещались проблемы, связанные с морфемным анализом слова: установление тождества и границ слов и морфем; описание специфики морфемной структуры общерусских слов, функционирующих в говорах; интерпретация словообразовательных отношений слов диалекта; изучение морфемной репрезентации грамматических отношений в говорах.

В. А. Закревская (Тюмень) в докладе «Глаголы с приставкой *неза-* в русском языке (на материале архангельских говоров)» поставила вопрос о выделении приставки *неза-* как единого форманта в глаголах типа *незамогла*, которые без *не-* являются глаголами начинательного способа действия, а с присоединением *не-* могут утрачивать значение начальной фазы действия и приобретать новое значение «прекратить действие, перестать делать то, что названо производящей основой».

В докладе *Л. И. Шелеповой* (Барнаул) были представлены результаты работы над региональным историко-этимологическим словарем русских говоров Алтая. К настоящему времени дана историко-этимологическая интерпретация около тысячи слов (буквы А—Б), которая позволяет сделать некоторые предварительные выводы об этимологическом и историческом статусах диалектных слов алтайского региона.

Р. Ф. Касаткина (Москва) предложила этимологию слова *обалбеть* (*оболбеть*), отмеченного в говоре д. Деулино (Рязанская обл.). Докладчиком были представлены образования с этим корнем в других диалектах русского языка: *балберя*, *балберить*, *болоболка* и др., а также привлечены данные чешского и словацкого языков. Выявленные связи свидетельствуют в пользу того, что и слова русского литературного языка *болван*, *балда*, *балбес* генетически связаны с праславянским корнем **blb-*.

В докладе *Л. Н. Новиковой* (Тверь) на примере диалектного модификационного словообразования были выделены семантические группы лексики, в которые входят семантическая группа названий лиц мужского и женского пола; семантические группы собирательных существительных; существительных с суффиксами субъективной оценки; семантические группы со значением

предмета и действия. Докладчиком были представлены привативные и эквивалентные оппозиции в образовании производных модификационного типа.

Проблема лексикализации фонетических явлений субстратного происхождения была поднята в докладе *Л. П. Михайловой* (Петрозаводск). Были представлены данные севернорусских говоров, в которых отражено влияние особенностей прибалтийско-финской языковой системы.

С. М. Васильченко (Орел) на материале «Словаря орловских говоров» рассмотрела проблему морфемной и словообразовательной структуры слова.

На секции «**Диалектный текст и традиционная культура**» прозвучало 7 докладов.

И. А. Букринская и *О. Е. Кармакова* (Москва) обратились к проблеме строения и жанровой характеристики диалектных текстов. На примере анализа текстов, записанных авторами в д. Варавино Нижегородской области, были показаны возможные подходы к решению задачи членения диалектного текстового пространства.

В докладе *Е. Е. Королевой* (Даугавпилс, Латвия) были проанализированы креативные возможности диалектоносителя-мужчины, проявляющиеся в языковой игре, использовании иноязычных вкраплений, повторов, обыгрывании фразеологизмов, словотворчестве, использовании метафор, гипербол, сравнительных конструкций. Автором был сделан вывод о близости диалектной речи и книжного кодифицированного языка, используемого мастерами художественного слова.

В докладе *Н. Г. Архитовой* (Благовещенск) оппозиция «свой — чужой» была рассмотрена в культурно-историческом контексте формирования амурских старообрядцев (семейских) как особой профессиональной группы. По-

казаны возможности диалектного текста для изучения традиционной культуры как системы ценностей.

А. Б. Коконова (Москва) в докладе «Представления о смерти в северной народной культуре» на материале архангельских говоров показала, что в сознании диалектоносителя *смерть* включается в естественный ход событий и представляется как процесс, состояние и персона.

В докладе *Л. Ю. Зориной* (Вологда) были выявлены особенности вологодских народных благожеланий при стрижке овцы. Исследуемый материал показал, что этикетные выражения в вологодских говорах функционируют в составе диалоговых единиц, структуры развертываются за счет указания адресата и включения вокатива.

В. А. Мальшева (Пермь) посвятила свое выступление анализу пословиц в идиолекте жительницы д. Акчим Красновишерского района Пермской области *А. Г. Горшковой*. В докладе отмечалось, что наиболее яркой чертой в идиолекте является вариативность пословиц и поговорок, которая обусловлена вариативностью языковых единиц в диалекте в целом и природой устойчивых образований в частности.

В докладе *М. Краузе* (Вена, Австрия) были показаны коммуникативная и когнитивная природа повествования-воспоминания, а также верификационные стратегии в нарративах диалектоносителей русского языка.

Подводя итоги конференции, председатель оргкомитета *Л. Л. Касаткин* отметил высокий уровень представленных докладов. Тексты докладов будут опубликованы в очередном выпуске «Материалов и исследований по русской диалектологии».

Е. В. Колесникова, Д. М. Савинов

Хроника научной конференции «Семантика языковых единиц разных уровней»

4—6 сентября 2006 года на филологическом факультете Калужского государственного педагогического университета им. К. Э. Циолковского проводилась научная конференция «Семантика языковых единиц разных уровней».

Более 40 докладов было прочитано учеными из разных регионов России: Калуги, Москвы, Брянска, Дубны, Кирова, Смоленска, Йошкар-Олы, Екатеринбурга, Стерлитамака и др. В конференции приняли участие как ведущие ученые страны, так и молодые, начинающие лингвисты.

Все доклады условно можно распределить по группам, объединенным тем или иным аспектом лингвистических изысканий: собственно лексическая семантика, семантика в морфологии, словообразовании, синтаксисе, семантика интонации, сопоставительная семантика в межкультурной коммуникации и др. Остановимся на наиболее интересных сообщениях.

Выступление **Л. П. Крысина (Москва)** «Терминологическая лексика в современных лингвистических словарях» было посвящено практике и теоретическому осмыслению подачи значений терминов в современных толковых лингвистических словарях. Докладчик отметил, что в разных типах словарей соотношение собственно языковой, энциклопедической, а также прагматической информации неодинаково. Толковые словари русского языка и словари иностранных слов различаются, по мнению автора доклада, во-первых, отбором терминов для словника, во-вторых, характером толкования, в-третьих, системой помет, которые используются в словарных статьях, описывающих термины. Не всегда объем и содержание информации, представленные в толковании слова, достаточны или, наоборот, избы-

точны. Так, в общих толковых словарях термины не имеют строгих дефиниций, которые замещены толкованиями, соответствующими представлениям обычного носителя языка — неспециалиста в данной области науки или техники. Словари иностранных слов в этом отношении ближе к словарям терминологическим, т. к. нередко толкования терминов в них носят не лингвистический, а энциклопедический характер. Во многих случаях такие сведения избыточно специализированы. В то же время многие термины, получившие широкое распространение в языковой практике, не вошли в современные толковые словари и т. п.

Сообщение **Е. А. Земской (Москва)** «Функционирование жаргона в разных слоях русского общества на рубеже XXI века» содержит размышления о презентативности жаргонной лексики в речи представителей разных социальных групп и возрастов. Автор отметила, что использование жаргонизмов говорящим может быть вызвано разными причинами, как внеязыковыми, так и собственно лингвистическими.

В совместном докладе **М. В. Кутайгородской и Н. Н. Розановой (Москва)** «Проблема описания малых жанров городского общения» рассматривались особенности реализации городских стереотипов со сходными иллюкутивными намерениями в типовой коммуникативной ситуации «Маршрутное такси». Докладчицы отметили, что на характер реализации различных прескриптивных жанров (просьба vs. требование) оказывают решающее воздействие ролевой статус собеседников и характер отношений между ними.

Г. Е. Крейдлин (Москва) в своем сообщении дал подробное описание языковых и жестовых представлений эмоций. Им было высказано несколько

важных теоретических положений о знаковом характере жеста в отличие от физиологических движений, о различной природе семантики жеста в разных культурах и др. Доклад содержал также подробное описание русских глаголов, выражающих «эмоциональные судороги», в частности, глагола *дрожать*.

Т. Е. Янко (Москва) посвятила свое исследование семантике интонации, ею была рассмотрена инвариантная модель ИК-4 и ее реализация в речи. Автору удалось показать, что отклонение от типичного интонирования может быть связано с определенными коммуникативными задачами говорящего. Наблюдения над речью теле- и радиоведущих позволили докладчице высказать предположение о том, что в речевой практике последних лет русские акцентные типы испытывают влияние акцентных типов английского языка.

В докладе **Н. А. Николиной (Москва)** «Новые типы сращений в современной речи» были рассмотрены окказиональные модели новых сращений, которые сегодня все шире встречаются в художественных текстах. Докладчица отметила их семантическую и оценочную новизну в сравнении с исходными единицами — сочетаниями слов или целых предложений.

Сообщение **С. М. Кузьминой (Москва)** было посвящено актуальным проблемам русского письма. В докладе была высказана важная мысль о том, что правописание часто связано с семантикой, с системными отношениями в лексике и т. п. Автор справедливо замечает, что желательный рост факультативных написаний определяется не столько волей лингвиста, сколько переходным характером языковых единиц. Это касается написаний многих наречий, образованных из сочетаний существительных с предлогом, прилагательных-причастий и других подобных языковых единиц. С. М. Кузьмина предложила в таких случаях давать в словаре пред-

почтительный и допустимый варианты написания, а не настаивать на единственно правильном.

И. Б. Шатуновский (Дубна) представил в своем докладе исследование разных типов иронических высказываний. По мнению докладчика, иронические высказывания обычно сохраняют и прямое значение и не всегда являются «особым видом лжи».

Тема доклада **О. А. Михайловой (Екатеринбург)** — «Языковые маркеры эпохи в романе А. Кабакова “Все поправимо”». Выделяется особый тип лексем, названных докладчицей «событийными знаками». В разряд этих своего рода словесных знаков времени чаще всего попадают имена лиц, названия реалий быта, «модные» слова и т. п.

С темой предыдущего доклада переключалось и интересное сообщение **И. Т. Вепревой (Екатеринбург)**. В центре исследовательского внимания автора — «модные слова» в современной публицистике, которые, по ее мнению, представляют собой характерную особенность языка нашего времени. Проанализировав значительный по объему материал, И. Т. Вепрева пришла к выводу, что эти единицы, как правило, семантически диффузны, нередко «семантически опустошены».

Н. А. Купина (Екатеринбург) в своем докладе «Актуальные смыслы российского идеологического пространства» исследует тексты публицистики, содержащие разного рода идеологемы. Автор полагает, что в современном российском идеологическом пространстве «картина мира XXI века характеризуется неупорядоченностью»: в нем представлены как уходящие коммунистические идеологические стратегии, так и стратегии нового общественно-экономического уклада.

В сообщении **О. П. Ермаковой (Калуга)** рассматривалось «поведение» лексической метафоры в высказываниях

разной модальности. Докладчица показала, что в подобных высказываниях реализация тех или иных типов метафор имеет определенные ограничения. Метафора, фактически создавая «иллюзорный мир», нередко противится откровенному выявлению ее «кажимости». В ряде случаев вступают в действие различные ограничители, что может приводить к нейтрализации метафорического и прямого значений.

Тема доклада **Ю. Ю. Ушаковой (Калуга)** — «Семантические функции атрибутов при компаративных тропах». В докладе отмечалось, что атрибут как элемент контекста активно «вмешивается» в семантику компаративного тропа, являясь важным средством художественной выразительности, а также формирования образной системы языка и коннотативной системы слова.

Актуальным проблемам гендерной лингвистики был посвящен доклад **А. Н. Еремина (Калуга)**. Автор обратился к анализу гендерной семантики, зафиксированной в слове. Гендерные смыслы, которые могут быть переданы дифференциальными и потенциальными семами, а также прагматической семантикой, не всегда очевидны на первый взгляд, о чем свидетельствуют данные толковых словарей.

В сообщении **М. В. Сандаковой (Киров)** представлены наблюдения над корреляцией типов метонимического переноса у адъективных прилагательных. Рассматривалась возможность / невозможность занимать исследуемыми прилагательными те или иные синтаксиче-

ские позиции в зависимости от типа и содержания переноса. М. В. Сандакова отметила ряд любопытных закономерностей. Так, прилагательные с узуальными метонимическими значениями свободнее транспонируются из позиции атрибута в позицию предиката, нежели прилагательные с дискурсивными метонимическими значениями. Ограничения для метонимических значений прилагательных в рассмотренных синтаксических позициях могут быть связаны и с семантикой опорного слова атрибутивного словосочетания.

На конференции также были заслушаны следующие доклады: **В. А. Королькова (Смоленск)** «Аксиологическая семантика наименований лиц общего рода в смоленских говорах», **Е. С. Ярыгина (Йошкар-Ола)** «Субъект сознания в конструкциях вывода-основания», **И. А. Сыров (Стерлитамак)** «Локальная имплицитная связность художественного текста», **М. И. Смольянинова (Калуга)** «К вопросу об употреблении местоименных словосочетаний в бытийных предложениях», **А. Л. Голованевский (Брянск)** «Лексема „вдруг“ в художественном дискурсе», **И. А. Кондакова (Киров)** «Образный компонент в семантической структуре топонимов», **Ю. Юань Цуй (Москва)** «Устная разговорная речь в тексте газеты» и многие другие, в том числе и сообщения аспирантов.

По итогам работы конференции планируется выпустить сборник научных трудов.

А. Н. Еремин

Хроника научной конференции «Скрытые смыслы в языке и коммуникации»

23—24 октября 2006 г. в Российском государственном гуманитарном университете прошла конференция «Скрытые смыслы в языке и коммуни-

кации», организованная Институтом лингвистики РГГУ. С докладами выступили 28 российских и зарубежных лингвистов, филологов и психологов. Кон-

ференцию кратким вступительным словом открыл декан Института лингвистики доц. И. А. Шаронов.

В проблематику конференции был включен ряд вопросов, связанных с неабсолютной «прозрачностью» смысла в языке. В прозвучавших докладах обсуждались механизмы передачи и восприятия тонких смысловых нюансов, речевые интенции и намеки как языковые средства, использующиеся в процессе коммуникации, способы эффективного воздействия на аудиторию. В силу широты проблемы тематика докладов была разнообразной. Затрагивались вопросы из разных областей лингвистики, филологии и психологии — от общих до прикладных.

Доклады, представленные на конференции, были разделены на четыре тематических блока: имплицитность, косвенность и коммуникативные эффекты; приемы порождения и интерпретации скрытых смыслов высказывания; языковые средства, содержащие имплицитные смыслы; скрытые смыслы в тексте.

В докладах первой секции «Имплицитность, косвенность и коммуникативные эффекты» рассматривались вопросы имплицитного потенциала коммуникативного акта и его отдельных единиц, а также запланированные и незапланированные коммуникативные эффекты, возникающие благодаря имплицитным смыслам. В представленных на секции докладах обсуждался самый широкий круг вопросов: скрытые компоненты значения отдельных лексем или концептов, имплицитные значения в этикетных репликах, проблемы понимания имплицитных смыслов в межкультурной коммуникации, коммуникативные эффекты и их оценка.

Лексике, обладающей неявными или неустойчивыми компонентами смысла, был посвящен доклад *Г. Е. Крейдлина* «Концепт ‘воспитание’ — явные и неявные компоненты». В докладе шла

речь о различных подзначениях глагола «воспитывать», выделяемых на основании совокупности семантических и синтаксических признаков. Первые два значения подразумевают цель воспитания (общее воспитание человека и воспитание отдельных качеств в нем, напр., *воспитывать детей* и *воспитывать уравновешенность темперамента*). Третье значение близко к значению глагола «поучать» и возникает в том случае, если объект, о чьем поведении идет речь, или отдельные его качества оцениваются негативно. В семантическом поле концепта «воспитание» существуют также и идеологически окрашенные элементы, т. е. воспитание может быть «правильным» только относительно принятых в данном обществе норм и правил, таким образом, не лояльные правящему режиму граждане могут быть отнесены к числу «неправильно воспитанных».

Незапланированным коммуникативным эффектам, возникающим при употреблении в диалоге реплик, содержащих компоненты со скрытым для говорящего, но эксплицитным для слушающего значением, был посвящен доклад *И. Б. Иткина*. Речь шла о встречающихся в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» репликах, которые приобретали для Раскольникова совершенно иной смысл и напоминали ему о совершенном убийстве. Например, рассуждение следователя Порфирия Петровича о «казенной квартире» как о «славной вещи» наталкивает Раскольникова на мысли о тюрьме ввиду ассоциации «казенной квартиры» с «казенным домом», т. е. тюрьмой.

В докладе *С. С. Тахтаровой* «Имплицитурности вежливости в мейотической коммуникации» рассматривались проблемы непрямого, имплицитного представления сообщаемого и варьируемой иллокутивной силы высказывания при помощи косвенной реализации ре-

чевых стратегий. Наиболее сильно возможность подобной варьированности проявляется в оценочных речевых актах, особенно в ситуациях отрицательной оценки, которые могут привести к незапланированному негативным эффектам. Этнокультурная специфика стратегий вежливости рассматривалась в докладе на примере русской и немецкой культур.

Межкультурной коммуникации, в частности, проблеме экспликации имплицитных смыслов (выделения, смягчения или усиления определенных семантических элементов текста), меняющихся при переходе от одного языка к другому, были посвящены и доклады **Р. А. Говорухо** «„Лишние“ глаголы в итальянском тексте: риторика или грамматика?» (на материале итальянского и русского языков), доклад **К. В. Антонян** «Принцип *sapientī sat* в китайском дискурсе», в котором шла речь о лексемах и фразах китайского языка, значение которых не выводится из значения составляющих, и для понимания которых требуется наличие у говорящих некоторой общей «базы знаний». В этих докладах рассматривались механизмы естественно-языкового вывода; понимания интенций и стратегий автора в ситуации недостатка информации и неоднозначности исходного сообщения.

О различиях в оценке коммуникативного акта для лингвиста и простого носителя языка, возникающих благодаря запланированным и незапланированным коммуникативным эффектам, рассказала **Л. Н. Петракова** в докладе «Оценка коммуникативного акта носителями языка». Автор выделяет три типа оценки: успешный, неуспешный и безразличный коммуникативный акт (оценка «безразличный» присваивается либо в затруднительных случаях, либо когда значения разных параметров компенсируются, т. е. достижение цели сочетается с получением позитивного

эмоционального эффекта). При этом отмечается, что бытовое понимание успешности коммуникации (с точки зрения наивного носителя языка) может не совпадать с исследовательским пониманием, хотя в обоих случаях основополагающим моментом видится достижение говорящим своей цели.

В докладе **Е. Н. Басовской** «За что борются те, кто борется за „чистоту языка“?» была предпринята попытка проследить изменение понятия о «чистоте языка» на примерах статей «Литературной газеты», посвященных борьбе за языковую чистоту. Автор проанализировал мнения отдельных обозревателей «Литературной газеты» на протяжении нескольких десятков лет.

Докладом, во многом обобщающим темы, прозвучавшие ранее, стал доклад **Е. Г. Борисовой** «Средства выражения имплицитности в языке». В докладе говорилось о том, что вопрос о скрытом и эксплицитном в языке еще далек от своего разрешения и решающим фактором в определении скрытых в языке смыслов является узус. Эксплицитным следует считать то, что в данный момент закреплено узואльно. Докладчица предложила интерактивное понимание коммуникации: деятельность слушающего не является пассивной, говорящий и слушающий в равной степени прогнозируют понимание, и обусловлено это понимание не только лексикой, важное значение имеют также импликатуры.

Вторая секция «Приемы порождения и интерпретации скрытых смыслов высказывания» включала в себя доклады, посвященные типовым способам образования языковых единиц, содержащих имплицитные смыслы, эмоциональной интерпретации скрытых смыслов и моделям, служащим для распознавания импликатур.

Е. П. Буторина в докладе «Типы мотивации искусственных антропонимов (псевдонимов, ником)» рассказала о

причинах взятия псевдонимов или ников и о продуктивных способах их образования, а **И. Ф. Рагозина** в докладе «Ирреально-условное высказывание: от смысла явного к смыслам сокровенным» исследовала условные конструкции типа *Если бы было / не было А, то было бы / не было В* и конкретные глубинные смыслы высказываний, содержащих подобные конструкции, с применением новых аналитических критериев.

Типовым способом образования сложных слов и новым неявным смыслам, возникающим при этом, был посвящен также доклад **Л. Л. Федоровой** «Скрытая диалогичность сложных слов». Докладчица выделила четыре основных типа диалогичности, возникающей между основами составляющих сложного слова, в составе каждого из которых существует несколько подтипов.

С докладом, посвященным скрытым в экспрессивной идиоматике смыслам, выступил **И. А. Шаронов** («Вторичные междометия: мотивационная база анализа»). Вторичные междометия представляют собой группу слов, в разной степени соотносительных со словами или формами той или иной знаменательной части речи, и, в отличие от первичных междометий, представляют собой пополняющуюся группу слов. Переход какой-либо языковой единицы в класс междометий характеризуется полной потерей изменчивости и десемантизацией. Превращение отдельной конструкции в междометие может проходить посредством а) устранения всех открытых валентностей исходной фразеосхемы: *Надо же!* (из (Ну) **НАДО ЖЕ** + *INF.*, ср. **Ну надо же** было им на вокзале, в толкучке встретиться!) и б) заполнения валентностей одним словом или словами из закрытого списка, как в случае *Вот это да!* (из **ВОТ ЭТО Х!**) или *Вот так-так!* (из **ВОТ ТАК Х!**).

О механизмах понимания импликатур и о построении моделей, позволя-

ющих распознать скрытые за отдельным высказыванием смыслы, говорилось в докладах **А. А. Котова** и **М. И. Бойцовой**.

А. А. Котов выступил с докладом «Угадывание эмоциональных состояний за семантическими смещениями». За одинаково построенными фразами (использующими одни и те же механизмы смещения смысла) может скрываться либо юмор, либо издевка, либо дружеская шутка. В докладе исследовались способы распознавания слушающим скрытого смысла, стоящего за подобными фразами.

В докладе **М. И. Бойцовой** «О построении системы моделей понимания имплицитных смыслов» была предпринята попытка построения системы моделей понимания имплицитных смыслов, передаваемых посредством косвенных речевых актов. Основными формами проявления имплицитности являются эллипсис, подтекст, пресуппозиция, импликатура, коннотации и ассоциации. В качестве примера **М. И. Бойцова** рассмотрела различные способы выражения просьбы в русском языке.

Об эмоциональной интерпретации скрытых смыслов высказывания рассказала **Ю. Е. Кравченко** в докладе «Скрытые смыслы при обозначении страха и тревоги». Темой доклада стало соотношение субъективного переживания эмоций и их наименований в языке на примере эмоций страха и тревоги. Исследование представляло собой опрос, в котором респондентам было предложено охарактеризовать определенные ситуации как вызывающие у них эмоции страха и тревоги. Целью исследования было выявление возможного сходства между ситуациями, объединяемыми названием соответствующей эмоции, а также попытка выяснить, стоит ли за названием эмоции в языке некий единый механизм переживания или несколько разнородных механизмов.

Темой третьей секции конференции стали языковые средства, содержащие имплицитные смыслы. Докладчики обращались в своих исследованиях в основном к лексическим (Н. Н. Воропаев, А. А. Дасько, И. В. Шумкина), морфологическим (Е. Л. Рудницкая) и прагматическим (М. А. Кронгауз) средствам.

Заседание третьей секции открылось докладом *М. А. Кронгауза* «Имплицитные смыслы в параметрических прилагательных». Для описания параметрических прилагательных чрезвычайно важно понятие нормы, впервые введенное Э. Сепиром. Представление о норме (например, роста, веса, размера) существует в человеческом сознании: «маленький слон» все равно больше «большой мыши», потому что нормальные размеры для слона и мыши разные, а прилагательные «большой» и «маленький» маркируют отклонение от нормы, не называя размеры. Информация о стандартном значении признака может задаваться в словарной статье. Существует несколько типов нормы: ситуативная (норма для некоторой ситуации), норма ожидания (признак проявляется в большей или меньшей степени, чем этого можно было ожидать) и некоторые другие. Кроме того, в определении нормы большую роль играет прагматика. Норма меняется с возрастом, с накоплением жизненного опыта говорящего. Параметры адресата при этом оказываются менее важными.

Н. Н. Воропаев в докладе «Прецедентные имена как носители скрытых смыслов (на материале китайского языка)» рассмотрел механизм явления интертекстуальности, базирующийся на понятии прецедентных имен. Под прецедентным именем (ПИ) понимается индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом, или с прецедентной ситуацией, которое актуализируется в речи посредством дифференциальных признаков данного имени.

Объектом исследования являются национально-прецедентные имена китайскоязычного дискурса, история употребления которых насчитывает несколько сотен и даже тысяч лет и которые стали единицами словаря сами по себе или в составе фразеологизмов.

И. В. Шумкина («К вопросу о коммуникативном потенциале „чужого слова“ в газетном заголовке (на материале заголовков, взятых из текстов авторской песни)») обратилась к прецеденту использования готовых коммуникативных единиц. В докладе выяснялись причины использования тех или иных «цитат» в газетных заголовках, рассматривались изменение первоначального коннотативного значения «чужого» высказывания и влияние подобного изменения на достигаемый коммуникативный эффект, была предложена типология коммуникативных эффектов, возникающих при подобном «цитировании».

А. А. Дасько («Ассоциативное поле лексико-семантического ряда „творчество — художник — рисовать“») рассмотрел аспекты ассоциативного мышления, которое является скрытой вербально-визуальной сферой образования смыслов, создания персональной картины мира в индивидуальном сознании.

Доклад *Е. Л. Рудницкой* «Корейский конвербный аффикс *-(ni)nteyu* как маркер связности текста» был посвящен морфологическим средствам, содержащим имплицитные смыслы. Автор рассматривает вопросы функционирования указанного корейского конвербного аффикса, который служит показателем связности реплик одного говорящего в диалоге или предложений одного текста.

Объектом исследования в докладе *Э. Т. Кабиной* «Скрытые смыслы и их роль в стратегии и тактике языковой игры (на примере интернет-коммуникации)» стали варианты реализации коммуникативной стратегии, используемой в ролевых интернет-играх, происходя-

щих на форумах и в чатах в сети Интернет (на примере сайта prikol.ru). Использование скрытых смыслов коммуникативных единиц в ролевых интернет-играх является тактически обоснованным приемом для ведения языковой игры.

Скрытые смыслы в текстах разных типов стали объектом исследования для докладчиков, выступивших в рамках четвертой секции конференции.

В докладе *Е. Е. Левкиевской* «Неявные формы интродукции в восточнославянской быличке» шла речь о проблеме номинации «потусторонних» существ в мифологических текстах на примере восточнославянской былички. Эта проблема возникает в данных типах текстов при необходимости упоминания мифологического существа в третьем лице. В быличках упоминания мифологических существ и нечистой силы редко имеют явную форму. Правила интродукции нарушаются в силу эвфемизации, табуированности отдельных имен, а в некоторых случаях — по причине неопределенности в сознании говорящего самого объекта референции. В докладе были выделены и проанализированы разные способы неявной интродукции. В завершение автор провел параллели способов интродукции славянских быличек с интродукцией в текстах А. Блока и А. Ахматовой.

Имплицитные смыслы в текстах художественной литературы стали объектом исследования в докладах *М. И. Лекомцевой* («О теоретических проблемах исследования имплицитности текста в филологии»), а также *Н. В. Лукиной*. Последняя выступила на конференции с докладом «Механизмы формирования неявных смыслов в художественном тексте». Н. В. Лукина рассказала о дополнительном имплицитном оценочном содержании художественного текста, изменяющем качество эксплицитного содержания, и проиллюстрировала свой доклад примерами из произведений Т. Толстой.

К драматургии обратилась *Д. И. Черашняя* в докладе «Роль первичного говорящего в структуре драматического текста». Исследовательница проанализировала проявления лиризма и роль первичного лирического авторского «голоса» в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Предметом доклада *Э. Бялэк* «Об имплицитных смыслах и коннотациях в переводе» являлись семантические ассоциации и импликации как составные части единицы текста и единицы перевода и формирование смысла единиц перевода в конкретной речевой ситуации, а также способы их передачи на другой язык.

Д. М. Кондрашова в докладе «Имплицитная информация в аспекте проблем судебной лингвистической экспертизы» рассмотрела типовые семантические задачи, возникающие перед экспертами судебной лингвистической экспертизы в связи с имплицитной информацией. Данный тип экспертизы предполагает выявление смыслов, передаваемых исследуемыми текстами, и анализ этих смыслов с разных точек зрения.

Были приведены результаты анализа конкретных примеров, взятых из текстов реальных экспертных исследований. Кондрашова рассмотрела также вопрос о необходимости разработки единой методики подобной анализа, которая могла бы позволить давать описание имплицитного плана выражения языкового текста, необходимого для решения экспертных задач, и повысить степень объективности результатов экспертизы.

Е. Н. Чиркова (доклад «Непрямые способы выражения оценки чужой речи в интернет-сленге (интернет-комментарии)») рассмотрела систему речевых единиц сложившегося в конце прошлого века нового пласта интернет-жаргона, используемого в основном в молодежной среде интернет-пользователей. К данным речевым единицам относятся, на-

пример, такие клишированные формулы, как «зачот!», «это пять!», «+ 1», «выпей йаду», «баян» и многие другие, называемые стереотипными интернет-комментариями и использующиеся для оценки чужого текста. Иногда значение таких формул очевидно, иногда для понимания сказанного необходимо знать, что выражает та или иная формула. В докладе рассматривались орфографические особенности подобных клишированных формул, вопросы происхождения и значения, их место в структуре интернет-текста, а также типы образования формул-комментариев, была предпринята попытка классификации интернет-комментариев по способу их образования.

Таким образом, в рамках конференции скрытые смыслы в языке и коммуникации рассматривались при анализе

лексики, обладающей неявными или неустойчивыми компонентами смысла, лексики с большим прагматическим потенциалом, содержащей разного рода имплицитные оценки, стилистически, эмоционально или этикетно окрашенной лексики, экспрессивной идиоматики, при анализе механизмов трансформации смысла и образующихся в результате языковых и речевых форм и конструкций (ирония, эвфемизация, языковые игры и т. д.), в аспекте их применения в различных дискурсивных практиках, с позиций моделирования стратегий социально и этикетно обусловленного диалогического взаимодействия, с точки зрения их воздействия на адресата.

Е. Н. Чиркова

Отчет о диалектологических экспедициях Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН 2006 года

В 2006 г. отделом диалектологии и лингвогеографии ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН было организовано 10 экспедиций в различные регионы России и за ее пределы*. Экспедиции работали в Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Псковской, Рязанской областях, Республике Карелия, а также в Эстонии, на Украине и в Южной Америке. Сделаны аудиозаписи диалектной речи продолжительностью более 350 часов.

В 2006 г. в соответствии с плановой темой «Язык старообрядцев: история в современности» было продолжено обследование говоров старообрядцев за рубежом.

Л. Л. Касаткин и И. И. Исаев в течение 18 дней в июле обследовали **два се-**

ла в Болгарии — Казашко и Татарйца, где живут русские старообрядцы. Записано на магнитофоны 50 часов звучащей речи.

Село Казашко расположено в 7 км от г. Варны у бывшего озера, а ныне залива Черного моря, возникшего в результате соединения озера с морем каналом, прорытым для захода морских судов. Село основано в 1920-х гг. выходцами из пос. Хамамидии, находившегося в Турции близ Мраморного моря. Отцы старших жителей Казашко приехали в эти места из-за несогласия служить в турецкой армии («Не хотели фес на голову класть», т. е. феску — головной убор турецких солдат). Местные жители называют себя некрасовцами — потомками донских казаков, бежавших с атаманом Некрасовым в 1708 г. с Дона на Кубань, а затем в Турцию. В Хамамидии жили старообрядцы-беспопов-

* Экспедиции были поддержаны грантом РГНФ № 06-04-18003е.

цы. Недавно жители Казашко разделились: часть из них сохраняет старую веру, другие перешли в поповство белокрыницкого согласия. Село Татарица находится у Дуная в 10 км от г. Силистры. Основано оно в конце XVIII или начале XIX в. некрасовцами, смешавшимися здесь с выходцами из других губерний России, главным образом западных и юго-западных. Местные жители называют себя липованами, основные места расселения которых в Нижнем Подунавье в Румынии и на Украине. До Второй мировой войны область Силистры принадлежала Румынии. Старообрядцы Татарицы — поповцы белокрыницкого согласия, их митрополия в г. Браиле в Румынии.

Большинство диалектных черт этих говоров одни и те же, они характерны для Юго-Западной диалектной зоны:

1. Пять гласных фонем.
2. Неразличение безударных гласных неверхнего подъема. Но говор Татарицы характеризуется диссимилятивным аканьем и яканьем жиздринского типа, а говор Казашко — сильным аканьем со следами диссимилятивного прохоровского типа и иканьем.
3. На месте /o/ и /a/ в предупредных слогах, кроме 1-го предупредного, после твердых согласных наряду с [э] часто произносится [а]; в заударных, кроме конечного открытого, наряду с [э] — [ы].
4. В конечном открытом слоге после мягких согласных возможно понижение гласных: 1) обычно произносится [а] на месте *e* в окончании глаголов 2-го лица мн. ч. и в постфиксе формы мн. ч. повелительного наклонения; 2) часто произносится [e] в конце фонетической синтагмы перед паузой на месте *и* в формах разных частей речи.
5. Фонема /ɣ/, представленная звуком [ɣ], реже — [h], чередующимся с [x] на конце слова и перед согласным.
6. Фонема /w/, представленная звуками [w] и [v] перед гласным, звуками [ʏ], реже — [ɔ], [w], [v] в середине слова перед согласным и в конце слова, звуками [y], реже — [w], [v] в начале слова перед согласным.
7. Протетические [v], [w] перед /y/, /o/.
8. Предлог *ув* на месте *в*.
9. На месте /ф/, /ф'/ [ф], [ф'] и [x], [x'].
10. В некоторых словах [ф] на месте [хв].
11. На месте *ч* [ч'] и [ч] — в Татарице, [ч'] и [ш'] — в Казашко.
12. На месте /ш/, /ж/ твердые звуки, но перед мягкими согласными обычно, а иногда и перед [и] и на конце слова произносятся мягкие [ш'], [ж']; в Татарице встречаются [с], [з].
13. Мягкие долгие шипящие [ш'ш'], [ж'ж'].
14. На месте мягкого [р'] встречается твердый [p], в Татарице чаще, чем в Казашко.
15. Нуль звука на месте /j/ после согласного перед гласным.
16. Частое произношение вставного [j] или [й] после губного согласного перед ударным гласным.
17. Твердые губные согласные на месте мягких на конце слова.
18. [мн] на месте [вн].
19. Мягкий [к'] на месте твердого в словах *скól'к'и*, *кóл'к'и*, *тóл'к'и* и в редких случаях после парных мягких согласных.
20. [кы] в соответствии с [к'и] на стыке основы и окончания в формах прилагательных.
21. На месте *к* [x], [ɣ] перед взрывными согласными.
22. Протетический *и* перед группой согласных.
23. Мягкие согласные в соответствии с твердыми в корнях слов *д'ирá*, *ка-мáр'*.
24. Употребление слова *один* в качестве неопределенного артикля.
25. Переход существительных ср. рода в женский.

26. У существительных 1-го склонения:
- 1) Окончание *-[ы]* в Р., Д., П. пп. ед. ч.
 - 2) Выравнивание места ударения на окончании в форме В. п. ед. ч.
 - 3) Мягкие заднеязычные согласные перед безударным окончанием Т. п. ед. ч.
27. В Т. п. мн. ч. мягкие заднеязычные перед безударным окончанием.
28. Форма *свекрѹха*.
29. Прилагательные
- 1) Твердые заднеязычные согласные перед окончанием И. п. ед. ч. м. р.
 - 2) Окончание *-им/-ым* в форме П. п. ед. ч. муж.-ср. р.
 - 3) Окончание *-ей* в формах Р., Д., Т., П. пп. ед. ч. жен. р.
30. Местоимения
- 1) Личные и возвратные: формы Р., Д., В. пп. *м'ин'э, т'иб'э, с'иб'э*; И. п. мн. ч. *ан'э*.
 - 2) Указательные: м. р. И. п. *той, ѓтый*, Т. п. *јѣтым*, П. п. *у тѣм ѹаду*, ж. р. И. п. *тѣѣ*; В. п. *тѣѣу, јѣту*, Д. п. *ѣтый*, П. п. *в тѣѣ*, мн. ч. И. п. *т'ѣу*, П. п. *па тѣѣх*.
 - 3) Отсутствие протетического *н* после предлогов: *к' имѹ, с' им, у јѣѣ, у јѣѣх, за ѣѣх, к' им*.
31. Числительное: *з дѹма, з дѹм'и*.
32. Глагол
- 1) Выравнивание основы в форме 1-го лица ед. ч.: место ударения и согласный как в остальных формах.
 - 2) *-[т']* в окончаниях 3-го лица ед. и мн. ч.
 - 3) В возвратном постфиксе наличие гласного после гласных и согласных; после [л] обычно [с], в остальных случаях чаще [с'], реже [с].
33. Одно отрицание на месте двойного.
34. Повтор предлога перед определенным и определяемым словом в словосочетании.
35. Деепричастие в роли сказуемого со значением перфекта.
36. Глагол *иметь* вместо *быть*.
37. Отрицательная частица *не* перед вспомогательным глаголом-связкой вместо приставки *не* у местоимения, наречия.
38. Неопределенные местоимения и наречия образуются с постфиксом *-ся* после согласных и *-с'* после гласных.
39. Частицы *нали, ѹѣѣда*.
40. Особое употребление предлогов *до, за, коло, на, о, об, от, по, повз, при, с (ис), чи*.
- В ноябре 2006 г. состоялась экспедиция О. Г. Ровновой к старообрядцам Южной Америки**. Было начато обследование языка и культуры старообрядческой диаспоры Аргентины, Уругвая, Чили. Целью экспедиции являлось определение мест проживания старообрядцев, установление контактов с ними, выполнение аудиозаписей диалектной речи, проведение фото- и видеосъемки. Несмотря на то что старообрядцы Южной Америки представляют собой сообщество, в соответствии со своим конфессиональным мировоззрением закрытое от посторонних людей, цель экспедиции успешно достигнута; удалось сделать аудиозаписи их речи продолжительностью 18 часов.
- Старообрядцы перебрались в Южную Америку в начале 60-х гг. из Китая; они называют себя «синьцзянцы» и «харбинцы» и связаны родственными и конфессиональными связями со старообрядцами Боливии, Бразилии, США (штаты Аляска и Орегон), также эмигрировавшими из Китая. Старообрядцы всех поколений говорят на абсолютно чистом русском диалектном языке, характеризующемся замечательной сохранностью. Это среднерусский говор, сформировавшийся на севернорусской основе. Староверы Аргентины, Уругвая

** Экспедиция была поддержана грантом РГНФ № 06-04-92861е/Л.

и Чили относятся к русскому языку как к величайшей святыне, гордятся тем, что сохранили его и что самое младшее поколение, в отличие от говорящих только «по-американски» детей старообрядцев в Северной Америке, говорит на чистом русском языке. Все старообрядцы владеют разговорным испанским языком, который старшее поколение усвоило из общения с местными жителями, а среднее, молодое и младшее — в испанской школе.

Влияние испанского языка на русский диалектный язык староверов минимально и выражается в заимствованиях бытовой лексики. Отмечены такие испанизмы, как *аккомпанировать* (кого) 'сопровождать', *бас* 'автобус', *камион* 'грузовик', *кахон* 'ящик', *пéза* 'песо', *рута* 'дорога', *чáкра* 'ферма, небольшое имение'. Говор старообрядцев сохраняет диалектные особенности на всех языковых уровнях, в том числе и в лексике: *бадán* 'настой из сушеных ягод, плодов, листьев', *братán*, *братáник* 'двоюродный брат', *глянуться* 'нравиться', *дівный* 'длительный, долгий', *домáшность* 'домашнее хозяйство', *éслив* 'если', *жаркóвенький* 'красненький', *казёнка* 'кладовая', *костить* 'гадить; портить, ломать', *кράдучи* 'тайком', *лапиáнница* 'машинка для резки лапши', *лédник* 'холодильник', *лесина* 'дерево', *лóвко* 'удобно', *наёмник* 'наемный рабочий', *найтись* 'родиться', *ожина* 'ежевика', *отворóток*, *сворóток* 'поворот дороги', *перерóдок* 'ребенок от смешанного брака', *рясно* 'много', *рясный* 'обильный', *сестря́нка* 'двоюродная сестра', *скать свечи* 'вручную изготавливать свечи', *смеситься* 'смешаться', *чёрные* 'нерусские, испанцы', *чúшка* 'свинья', *шúбо* 'очень' и др.

Большую помощь в организации экспедиции оказали российские посольства в Аргентине, Уругвае и Чили, а также представительства Российского центра международного научного и за-

рубежного сотрудничества МИД России (Росзарубежцентра). Изучение языка и культуры старообрядцев, проживающих в названных и других странах Южной Америки, имеет богатые перспективы и должно быть продолжено.

В июле-августе О. Г. Ровнова работала в **старообрядческих поселениях Эстонии**. Были сделаны аудиозаписи диалектной речи (длительностью 46 часов) от новых информантов в гг. Калласте, Муствезе, дд. Рая, Кикита, Тихеда, Варнья; начато обследование говора деревни Большие Кольки. Работа проводилась вместе с коллегами из Литвы — фольклористом Ю. А. Новиковым, профессором Вильнюсского педагогического университета, и славистом Н. А. Морозовой, доцентом кафедры славянской филологии Вильнюсского университета. В ходе экспедиции основное внимание было уделено сбору фольклорного материала и выявлению информантов с мифологическим сознанием.

С 3 по 13 июля 2006 г. сотрудники отдела диалектологии и лингвогеографии И. И. Исаев, О. Г. Ровнова и сотрудник отдела фонетики ИРЯ РАН Д. М. Савинов работали в **Ивнянском районе Белгородской области**. Работа велась в двух селах — Березовка и Драгунка (Выезжее), обследованных по программе ДАРЯ в начале 50-х гг. В ходе экспедиции сделаны аудиозаписи диалектной речи продолжительностью 40 часов и обнаружены интересные фонетические особенности.

В области консонантизма.

Звонкий заднеязычный в говоре имеет фрикативное ([ɣ]) или фарингальное ([h])-образование, в слабой позиции этот согласный реализуется звуком [x] (*на́ид'ин'уáх* — *д'én'их*). В соответствии с шипящей и свистящей аффрикатами в говоре произносятся звуки [ш'] и [с] ([сэп сэл] 'цеп цел', [ш'ип'эс] 'чепец'). Звуки [ф]-[ф'] в сильной позиции в говоре появились сравнительно недавно,

о чем свидетельствуют варианты, образующие последовательную шкалу (от консонантного дифтонга [хв]-[хв'] через стадию с глухим губным спيرانтом [хф]-[хф'] к [ф]-[ф'] и [ф]-[ф']): [кух-ва́йкэ], [шэхв'арбу́], [нахф'э́ршэлэ], [н'ип'ифшы н'и́ефшы], [фштэ́на́х]. В результате гиперкоррекции становятся возможными формы типа [э́т'иф] («этих»). В конце слова сохраняется *ʹ*-неслоговое ([шэхв'арбу́]).

В результате мены [к] // [х] становятся возможны случаи [на́йку́тэр] — [со́тэх] ('на хутор' — 'соток'). Консонантные сочетания глухой шумный + сонорный [р], [л] могут разбиваться вокалическими вставками: [дыл'анби́], [кэрава́т'], [пэла́н]. Сонорные в позиции конца слова не после глухого шумного могут выделять слоговой гласный [жы́з'эн'э] 'жизнь', [засту́лэ] 'за стул'. После глухого шумного сонорный оглушается и исчезает: [уи́б'ино́к] 'в бинокль'. Сочетание согласных [стр] упрощается путем устранения смычного элемента: [усрби́л'э]. Отмечены также примеры [л':анби́э], [л':анби́], свидетельствующие об ассимиляции согласных по способу образования, и озвончение [п] в интервокальной позиции: [настоба́је] 'наступает'.

В области вокализма.

Типологически важной чертой говора является диссимилятивное аканье жидринского типа. Важно заметить, что этот тип вокализма разрушается: большинство примеров, представляющих диссимиляцию, приобрело позиционную прикрепленность. Дополнительным условием диссимиляции стало не только положение перед [а́], но и соседство с губным согласным, причем гласный «не-а» часто имеет лабиализацию: [дроува́м'и], [зума́шнэ́иэ] 'замашная', [нэ́эва́л'инк'и], [два́ два'ра́]; также [тэ́т'я́нэ], [с'ирэ́'та́]; перед гласными верхнего подъема [квэхту́хэ]. Гиперкорректными формами являются, по-види-

мому, [настоба́је] 'наступает', [ба́к'и́] 'быки', [адбува́иш] 'отбываешь'.

В этом говоре в 1952 г. И. А. Оссовецким был отмечен довольно редкий тип предупредительного вокализма после мягких согласных — диссимилятивное яканье дмитриевского типа. В результате обследования было отмечено, что тип вокализма после мягких согласных, характерный для говора Берёзовки, можно определить как суджанское диссимилятивное яканье с некоторыми лексикализованными и грамматикализованными исключениями. В частности, [и] перед ударным [о] регулярно произносится в суффиксе *-ок* (*н'исо́к*), в наречиях типа *б'иуо́м*, а также *св'икро́ф*'. Подобный тип вокализма был описан в диссертации К. Ф. Захаровой.

Экспедиция И. А. Букринской и О. Е. Кармаковой по плановой теме «Востоочнославянские изоглоссы» проходила с 25 июля по 3 августа 2006 г. В процессе работы были обследованы говоры нескольких деревень **Невельского района Псковской области**: Усть-Дольссы (22 км на север от Невеля в сторону Пскова), Иваново (7 км на северо-восток от Невеля), Лобок (18 км на юг от Невеля, на границе с Белоруссией). Они относятся к Юго-Западной диалектной зоне и характеризуются комплексом черт, которые объединяют их с белорусскими говорами северной части Витебской области. Цель экспедиции — изучение диалектов русско-белорусского пограничья (морфологический и лексический уровень, традиционная ментальность), исторически связанных с племенным языком кривичей. Выбор места для сбора материала осуществлялся с учетом данных ДАРЯ, ДАБМ и атласа «Востоочнославянские изоглоссы». Записано 25 часов звучащей речи.

В области фонетики зафиксированы следующие черты.

Для обследованных говоров характерен пятифонемный вокализм, дисси-

милятивное аканье: к[э]ня́, п[э]ля́, д[э]ма́, б[э]тва́, ст[э]я́нка, а также сосуществование диссимлятивного и сильного яканья; фрикативное [γ]; чередование [в] с [ў] и [ф]: *корова* — *коро[ў]ка*, *коро[ў]*, *коро[ф]*; *ночо[ў]ки* ‘корыто’, возможно произношение [у] в начале слова и вместо предлога, *улюбил* ‘влюбил’, *учара* ‘вчера’, *усех* ‘всех’, *у доме* ‘в доме’; лексикализовано произношение [w] в слове [w]о[ў]на ‘овечья шерсть’; на месте [ф] встречается единично [х] и [хв]: *ко[х]та*, [хв]орс, [хв]орсит; на месте [л] в конце слова и перед последующим согласным зафиксировано [ў] и спорадически [w]: *во[ў]к*, *забра[ў]*, *де[w]ся*; реликты цоканья: [ц]еловек, *усякая уся[ц]ина*; у ряда информантов на месте [с] шепелявые звуки: [ш]яструшка ‘двоюродная сестра’, но[ш]или; зафиксировано [ч], но единично встречается [ч]: *дья[ч]онка*, *до[ч]ушка*, *у[ч]ытсья*; отмечен звонкий [з] на месте приставки *с* перед сонорными и [в]: [з]разу, [з]варит; долгие твердые шипящие: *ра[шшы]на* ‘закваска’; распределение [р] и [р'] такое же, как в литературном языке: *т[р']и*, *т[р]ойка*.

В области морфологии. Отмечено окончание [у] у сущ. м. р. ед. ч., одуш. и неодуш.: *на быку́*, *на чердаку́*; окончания [ы] у сущ. ж. р. ед. ч. в Д. и П. п.: *по воды́*, *в Литвы́* и [е] в Р. п.: *из мукé*, *у ма́ме*; окончание *-оуо* у местоимений и прилагательных в Р. п. ед. ч.: *но́в[ауа]*, *втор[о́уа]*; сосуществование окончаний [ей] и [ий] в соответствии с литературным [ой] у прилагательных и указательных местоимений в ед. ч.: *такéй*, *другéй*, *какéй*, *други́й*; наличие окончания [и] / [ы] у сущ. в И. п. мн. ч. в соответствии с литературным [а]: *гла́зы*, *домы́*, *бо́ки*, *лу́ги*; совпадение форм Д. и Т. п. во мн. ч. существительных: *молотили цепам*, *подошел к домам*. Характерно употребление дееспричастий в функции сказуемого: *он поехавши и устроивши, оставши отцы*, *была научивши крюч-*

ком вязать; наличие форм указательных местоимений *тая*, *тые* в соответствии с литературными *та*, *те*; сосуществование в окончании глаголов 3 л. ед. и мн. ч. [т] и [т']: *идеть* — *идет*, *сидят* — *сидятъ*. Отрицательные местоимения в Р. п. имеют наосновное ударение: *ник[о́уа]*, *нич[о́уа]*; существительные ж. р. с подвижным ударением употребляются с ударением на окончании, т. е. известен переход из акцентной парадигмы *с* в акцентную парадигму *в*: *ваду́*, *голову́*. Употребляются частицы *ти* и *коли*.

Говорам присуще наличие лексем: *супрядки* ‘вечерние собрания молодежи’, *толока́* ‘коллективная помощь в работе’, *ка́лика* ‘брюква’, *хата*, *бура́к* ‘свекла’, *мо́рква*, *жито* ‘рожь’, *лен таскают* и *тягают*, *зыбка* ‘подвешивающаяся колыбель для ребенка’, *жба́нок* ‘посуда для молока’, *ви́лы*, *ви́лки* ‘ухват’, *чепéльник* ‘сковородник’, *пра́йник* ‘валек’, *ма́тка*, *дочка́*, *квохту́ха* ‘наседка’, *са́желка* ‘пруд’, *ла́пина* и *ла́ник* ‘заплата’, *колоту́ха* ‘каша из муки’, *ни́ва* ‘поле’, *бреха́ть* ‘о собаке’, *кут* ‘красный угол’, *голоси́ть* ‘плакать по покойнику’, *ба́бки* ‘малые укладки снопов’, *мура́шки* ‘черные муравьи’, *секля́шки* ‘рыжие муравьи’, *хоро́мина* ‘хороший дом’, *дю́же* ‘очень’, *испо́дки* ‘вязанные рукавицы’, *паха́ть* ‘возделывать’, *лу́сточка* хлеба ‘ломоть хлеба’.

Е. В. Колесникова обследовала говор **с. Кречетово Каргопольского района Архангельской области**. За 20 дней работы записано 82 часа звучания диалектной речи. Отмечены следующие диалектные особенности.

В фонетике. В области гласных: пентифонемный вокализм со следами реализации фонемы /ѣ/: *хл'и́ба*, *ли́с*; последовательная реализация *е* (из *ѣ*) в звуке [и]: *м'идв'и́д'ево*, *з'д'ис'*, *п'ис'н'у*, *ју́зь-д'ил'и*; фонема /а/ между мягкими реализуется в [е]: *от'е́т'*, *п'им'е́н'н'ик*, *п'је́н'ица*. В области согласных: наблюдает-

ся как неразличение аффрикат, мягкое цоканье: *зна́ц'ит, от'э́ц', ц'а́й, нац'а́л'-ник'и*, так и различение их по твердому типу: *ча́сто, по́чта, Л'идочка, цыга́н, опера́ц'я́; /л/* в сильной позиции реализуется в качестве [w]: *бы́во, ува́ж'ят', постав'ува* и [l]: *говор'у́ла, ц'ерт'у́лас', плат'у́ла*, в слабой позиции — в [j]: *сл'уж'я́ў, паў, рабо́таў, освободи́ўс'е*; произношение бифонемных сочетаний [жд'] и [шт']: *дро́жд'и, пое́жд'а́й, шт'у́ка, т'о́шт'а, ни пу́шт'у́*, а также долгих твердых [ж:] и [ш:]: *пои́жж'а́й, до́жж'я́т, страши́а́јут, плóшиат'* в соответствии с литературными [ж:] и [ш:]; утрата взрывного элемента в сочетаниях [ст], [с'т']: *журна́лис, пóес, јес', бр'эс'*.

В области грамматики зафиксирован падежный синкретизм в окончаниях Р., Д., П. пп. существительных I склонения: *дл'а с'и́стр'и́, у ба́нк'и, отдал' же́ньи́, раздал'и́ по кокл'э́тк'и, на дво́рьи́, на з'имл'и́*; отмечена высокая продуктивность окончания *-ов* в Р. п. существительных во множественном числе: *соўда́тоф, твора́гоф, дел'о́ф, плас'т'и́ноф*; существование совпадающих форм Д. и Т. п. мн. ч. существительных и местоимений: *стира́л'и́ рука́м, по́јэ́хал'и́ с нам*; изменение существительных *парни́шка, деду́шка* по II типу склонения; наличие стяженных и нестяженных форм прилагательных; местоимение мн. ч. 3-го лица: *он'э́*; выравнивание основы глагола на заднеязычный путем замены чередования заднеязычный / шипящий на чередование твердого / мягкого заднеязычного: *т'ек'о́т, н'ек'о́т, б'ер'ег'о́т*; употребление в значении сказуемого деепричастий на *-миш, -диш*: *то́л'ко возвра́ти́миш, он в'и́шетши*; употребление существительных в И. п. в функции прямого объекта: *трава́ кос'ит', коро́ва до́ит'*; активное использование двойных предлогов: *јей фс'а́ко поза бо́сим'д'ис'ат; вза р'икб'и́ жы́в'ут*.

Сбор лексического материала проводился при помощи специальных во-

просников, с целью уточнения значений отдельных слов для составителей «Архангельского областного словаря».

В июле 2006 г. состоялась экспедиция под руководством Е. И. Щигель в **Медвежьегорский район Республики Карелия**. В течение шести рабочих дней было сделано около 30 часов магнитофонных записей.

Исследуемые говоры относятся к Онежской группе межзональных говоров севернорусского наречия. Большинство информантов утратили оканье или являются носителями двух вариантов фонетических систем — акающей и окающей, причем наличие второй системы часто не осознается носителем говора, но на нее переходят, общаясь со старшей и малограмотной группой местного населения (например, дочь общается с матерью). Зафиксировано много примеров так называемого «ляпанья» (переноса ударения в некоторых словоформах на начальный слог). Часть записей была сделана в с. Толвуя, остальные записи из сел Кузаранда, Загубье и Падмозеро. Поскольку большинство информантов 20-х гг. рождения, во многих записях есть рассказы о финской оккупации.

В июле 2006 г. аспирант А. Израелян обследовал говор с. **Новая Ольшанка Нижнедевицкого района Воронежской области**. Основная цель экспедиции — сбор материала для работы над кандидатской диссертацией. В результате экспедиции на цифровые аудионосители записано около 20 часов звучания. Следует отметить, что эти записи несколько отличаются от большинства записей, сделанных другими диалектологами, что продиктовано темой кандидатской работы аспиранта, связанной с исследованием произношения долгих / кратких согласных звуков на месте сочетаний двух или более согласных.

Говор с. Новая Ольшанка относится к говорам Юго-Западной диалектной

зоны. В области фонетики сохраняются следы диссимилятивного аканья. Для говора характерно наличие сильного яканья, произношение звуков [w] и [ÿ] в соответствии с фонемой /в/; звуков [xв], [хф], [х] в соответствии с /ф/ (в некоторых случаях). Особенностью данного говора явилось произношение краткого согласного на месте долгого внутри корня, даже в интервокальной позиции, то есть в словах типа *тонна* [тónа, тóна] (почти в половине случаев), а в некоторых случаях — и на стыке морфем [ра-са́да].

С 5 по 19 ноября 2006 г. прошла пятнадцатидневная экспедиция под руководством И. И. Исаева в **Спас-Клепиковский район Рязанской области** (деревни Алексеево, Ильино, Переве, Новоникольское, Лихунино) и **Гусь-Хрустальный район Владимирской области** (деревни Головари, Бутылки, Бобы). Записано 18 часов звучащей речи.

Экспедиция была направлена на установление южной и западной границы говора бывшей Парахинской волости Касимовского уезда Рязанской губернии; материал записывался в деревнях, расположенных в соседних волостях. Деревни Алексеевской волости расположены ниже по течению реки Гусь. В этих населенных пунктах записаны образцы говора со всем тем комплексом черт, который обычно характеризует среднерусские говоры. Это акающий говор с [т] твердым в личных окончаниях глаголов (*он говори́[т]*) и смычно-взрывным характером заднеязычного. Однако говоры бывшей Алексеевской волости имеют южную основу. По воспоминаниям старых жителей, здесь раньше говорили «на [т']» и «на [γ]» ([он у́варит']). Кроме метаязыковой характеристики говора, данной самими жителями, может быть высказано утверждение о южной основе этого говора на основе лингвистических данных.

В названии одной из обследованных деревень — Ильино — сохранена диалектная особенность: в местном произношении деревня называется [ил'г'инó]. Это произношение свидетельствует о бывшем здесь фрикативном характере звонкого заднеязычного [γ]. Мягкое [γ'] в этом говоре совпадало с близким по артикуляции палатальным [j]. В результате такого сопоставления стало возможным восстановление гиперкорректной формы [ил'г'инó], которой не существовало во время действия в говоре противопоставления [γ]—[j] как пары по твердости—мягкости.

Тип предударного вокализма после мягких согласных в говоре не единообразен. В тех населенных пунктах, которые находились на трактовой дороге, отмечено умеренное яканье, а в тех, что находятся в стороне от бывшего тракта, отмечено ассимилятивно-диссимилятивное яканье, которое является южнорусской диалектной особенностью.

Однако говор Алексеевской волости не имеет тех диалектных фонетических черт, которые отмечены в соседней Парахинской волости. Здесь не отмечается совпадение аффрикат, палатальной артикуляции переднеязычных, нет актуального противопоставления двух типов *о* и двух типов *е* (два *е* в недавнем прошлом этого говора, видимо, существовали, о чем говорит сохранение особого произношения в некоторых корнях и в П. п. имен существительных гласного [ê], дифтонга [ие]), нет дифтонгизации гласных верхнего подъема в ударных конечных слогах, отсутствуют специфические явления в области интонации (растягивание конца фразы с понижением интонации). Говор д. Головари во Владимирской области также не повторяет в своей совокупности черт Парахинского говора. Однако система гласных имеет характерную для этого региона особенность: семифонемную структуру с актуальным и сегодня про-

тивопоставлением двух *о* и двух *е*. При чем, по-видимому, гласные в этом говоре распределены по подъему так: верхний (*и, ы, у*), средне-верхний (*ѐ, ё*), средне-нижний (*е, о*), нижний (*а*). Гласные среднего подъема (*е, о*) выступают как новые факультативные представители гласных *ѐ, ё, ъ, ѓ* соответственно.

В ноябре 2006 г. состоялась экспедиция Н. Л. Голубевой в **Почепский район Брянской области**. Сделано более 30 часов аудиозаписей от семи носителей говоров старшего и среднего поколений (говоры дд. Староселье и Вормино Тубольского сельсовета, дд. Трусовка и Близницы Супрягинского сельсовета, д. Долбежи Шуморовского сельсовета, а также уроженки д. Деремна Мглинского района, 60 лет прожившей в Почепском районе — в д. Добыничи Бельковского сельсовета); больше всего записей говора д. Староселье. Кроме этого, небольшая часть записей сделана от уроженцев Почепского района, в большей или меньшей степени утративших говор. Записи относятся к разным речевым ситуациям.

Почепский район находится на границе юго-западных русских говоров и смешанных говоров так называемого «брянского угла». В современных почепских говорах отмечаются черты как юго-западных говоров (отраженные на картах ДАРЯ), так и смешанных говоров: диссимильативное аканье и диссимильативное яканье жиздринского типа, чередование *ж//жд//ждж*, твердая аффриката *ч* на месте мягкой, шепелявые на месте свистящих *с* и *з*, протетический *в*, *у* неслоговой на месте *л, в* бибиальный на месте *в* и др. Регулярно употребляются неопределенные место-

имения типа *ктось, гдесь, откудась* и т. п., формы личных и др. местоимений *ѐн, ёна, у ёй, оны, тый, який, такий, тады, коли*; такие глагольные словоформы, как *ѐсь, есте* ‘есть’, *пáстивала, пáстились* ‘пáсла, пáслись’; формы сравнительной степени типа *молоджѐй* и *молоджѐй от няѐ*. Употребительна конструкция типа *А она тебе надо?* (*надо* + И. п.), предлог *с* (*з*) на месте *из*, частица *во* на месте общерусских *из* (последняя в говорах отсутствует), частица *нехай*, частицы-союзы *чи, же, тож, дак* (= *так* литературного языка).

Очень своеобразна лексика почепских говоров. Здесь распространены редкие слова, в том числе заимствования, например: *кáнапа* ‘диван’, *олѐйно, олѐйце* ‘масло’, *лѐмент* ‘работа, практика’, *лементовáться* ‘работать, практиковаться’, *кóкот* ‘сук, ветка дерева’, *окриáть* ‘выздороветь’; особые значения и особые образования общерусских слов: *грьб, грьбы* ‘губа, губы’, *кáчка, кáчки* ‘челюсть, челюсти’, *спасíбковать* ‘благодарить’, *гíбкаться* ‘качаться’. Распространены формы личных имен *Мóша* от *Машиа*, *Лѐн* от *Лѐня*, *Кольмáк* от *Коля*, *Петру́к* от *Пѐтр* (не только в вокативном, но и в номинативном употреблении).

Носители почепских говоров часто употребляют в своей речи пословицы и поговорки, которые здесь характеризуются своеобразием и нетривиальностью: *Часом с квасом, порой с водой* (*Калí ѐсь что — едím, калí нет — напьёмся*); *Его счастье у вянку* (о счастливом удачливом человеке); *Идѐ гóря — то моя* (если в жизни было много несчастий).

О. Г. Ровнова

РЕЦЕНЗИИ

М. А. Грачев. Словарь современного молодежного жаргона
М.: Эксмо, 2006. 672 с. (Школьные словари)

Новый словарь современного молодежного жаргона профессора М. А. Грачева охватывает значительный по объему (более 6000 жаргонизмов) и хронологическим рамкам (1980—2005 гг.) лексический материал, зачастую ранее не описывавшийся в лексикографии. В нем зафиксированы специфические слова и выражения различных групп молодежи: школьников, учащихся профессионально-технических училищ, студентов, солдат и матросов срочной службы, хиппи, фанатов, панков, уличных музыкантов, хип-хоперов и т. д., в итоге отражены лексические особенности более 40 разновидностей молодежного жаргона. В свое время В. И. Даль, горячо отстаивая предпринимаемые им разыскания в области народных (в сущности крестьянских) говоров и подчеркивая их ценность и выразительность, тем не менее не считал достойным словарной фиксации такой сомнительный, с его точки зрения, объект лексикографического описания, как «шуточные выражения гульливой молодежи» [Даль, I: LXXVIII]. Сегодня для специалистов по русской социолингвистике этот феномен живой речи является предметом столь же серьезного научного интереса и комплексного изучения, каким были для В. И. Даля лексические диалектизмы русского простонародья. См., например, анализ нескольких словарей молодежного жаргона последних лет [Никитина 2003, 2005; Вальтер, Мокриенко, Никитина 2005] в нашей рецензии: [Шаповал 2006]. И это оживление исследовательского интереса вполне закономерно, поскольку речь молодежи

является фронтом активных словообразовательных экспериментов, поисков новых экспрессивных способов номинации, ресурсом вероятных лексических и фразеологических инноваций.

Несмотря на заметные достижения в этой области, автор словаря совершенно справедливо квалифицирует молодежный жаргон как один из «неопознанных лингвистических объектов» (с. 5)¹. Вместе с тем представляется не вполне справедливым мнение, что «будущие учителя-словесники выходят практически не подготовленными» в области социолингвистики (там же). Достаточно указать на спецкурсы и полевые исследования с участием студентов, давно уже проводимые под руководством В. Д. Бондалетова, В. М. Мокриенко, Т. Г. Никитиной, Б. Я. Шарифуллина, самого М. А. Грачева и мн. др. Рецензируемый словарь, как и иные лексикографические труды этого бурно развивающегося сегодня направления, свидетельствует о том, что эта лакуна в описании живого русского языка активно заполняется.

Солидный по объему словарь является основательным лексикографическим источником, в котором структура словарной статьи отражает современные представления о том, как следует описывать такого рода текучий и непрстой в лингвистическом отношении материал: обязательно приведены указа-

¹ Здесь и далее ссылки на рецензируемое издание даны с указанием страниц в круглых скобках.

ния на источник жаргонизма, время его фиксации и принадлежность к определенной молодежной группе.

При расположении близких по написанию вариантов жаргонных слов частично использованы принципы построения гнездового словаря, что в ряде случаев позволило свести их в единую словарную статью и более плотно подать наличный лексический материал.

Проблемы орфографического оформления жаргонных слов в словарях остаются не вполне решенными, что в некоторых случаях демонстрирует и рецензируемый словарь. Например, *алгебройчка* 'женск. к *алгеброид* (учитель математики)' (с. 39) оформлено, очевидно, под влиянием *алгеброид*, хотя как производное от прилагательного *алгебраический* должно писаться *алгебраичка*. Ср., также: *вахрушка* 'вахтерша в общежитии' (с. 96), где предпочтение отдано фонетическому написанию существительного, производного от *ВОХР* 'вневедомственная / военизированная охрана'. Также и *аля-панк* 'вид прически у панка' (с. 40) в более традиционном написании должно было бы выглядеть как *а-ля панк*.

По-разному оформляются результаты контаминации двух сходных по звучанию слов, например: *ботинок* 'отец', от *батя* + *ботинок* (с. 80), но: *макрушник* 'программист-системщик, работающих на Macro Assembler', от *макро* + *мокрушник* 'убийца' (с. 304). В первом случае в оформлении первого слога результата контаминации *ботинок* не отражено влияние слова *батя* (ср.: *батинок*, *ботинок* 'отец' [Мокиенко, Никитина 2000: 53]), а во втором замена *ма-* подчеркивает участие в образовании слова *макрушник* слова *макро*.

Учет всех вариантов места ударения в жаргонных словах чрезвычайно затруднен. Вероятно, немало слов в речи разных групп представлены с разными

ударениями, документировать и перечислить их все вряд ли возможно, хотя бы потому, что игра с ударением является излюбленным способом трансформации слова в жаргоне. Остановимся лишь на нескольких случаях, в которых альтернативное место ударения может быть обосновано более или менее надёжно.

Думается, первообразным все-таки является ударение *асися́*, а не *аси́ся* 'любовь' (с. 45), ср. «заумное» слово *асися́й*, давшее название легендарной уже лирической репризе Вячеслава Ползунина «Асисяй» 1980 г.

Производное от жаргонизма *бабки* 'деньги' слово *безба́бье* 'безденежье' (с. 63) еще раз повторено в составе той же иллюстративной цитаты из той же статьи 1993 г., но с иным ударением *безбабьё* (см. под словом *лоханка* 'необеспеченная жизнь', с. 294), вероятно, потому, что в самом источнике ударение отсутствует, ср.: «*безбабье* „отсутствие денег“, по типу *безденежье*» [Зайковская 1993: 42].

Слово *граффи́ти* 'художественные рисунки на уличных стенах' (с. 141) именно в молодежном жаргоне под влиянием английского языка нередко получают альтернативное ударение *гра́ффити*, которое воспринимается как речевой маркер «своего».

Сильной стороной словаря является документированность словоупотреблений. При толкованиях всех слов даются иллюстративные примеры из письменных источников или устной молодежной речи, что позволяет при необходимости обратиться в ряде случаев к печатным источникам, процитированным в отдельных словарных статьях.

К большинству слов приводятся краткие этимологические справки, что также весьма важно, поскольку жаргонные номинации, как правило, живут лишь до тех пор, пока для носителей ос-

таются ясными способ создания номинации и образ, стоящий за словом. Например: «**ХАРИТО́ХА**, -и, ж. Учебный предмет „Аналитическая геометрия“. (Студ.). Я контролку по харитохе завалил! (Зап. 1997)» (с. 597). Эта не разъясненная в словаре с точки зрения происхождения номинация, вероятно, восходит к имени автора учебника или преподавателя и по этой причине воспринимается носителями жаргона как яркое индивидуализированное переименование.

Довольно много английских слов заимствовано без особых изменений, но все же к ним не помешали бы этимологические справки, например: *луп* ‘циклически повторяющийся фрагмент аудиофайла’ (с. 295), от англ. *loop* ‘петля’; *комп*² ‘соревнование по скейтбордингу’ (с. 260), усечение англ. *competition* ‘соревнование, конкурс’; *спот* ‘популярное место катания на скейтборде’ (с. 513), от англ. *spot* ‘пятно’ и т. д. Особенно интересны, как кажется, явные и неявные кальки с компьютерного английского, например: *грузить* ‘1. Говорить о неприятных для слушателя проблемах’ (с. 144), компьютерное *to load* ‘грузить, загружать информацию в память компьютера’; *обои* ‘изображение, являющееся фоном панели «Рабочий стол» оперативной системы Microsoft Windows’ (с. 355), англ. *wall-paper* ‘то же’; *лапа* ‘переносной компьютер’ (с. 286), в данном случае, указывая потенциальный источник, даже трудно выбрать между усечением *laptop* ‘переносной компьютер’ и калькой *palm* ‘переносной компьютер, наладонник’, букв. ‘ладонь’.

Видимо, далеко не всегда следует доверять носителям жаргона и при объяснении происхождения заимствований из английского языка. Например: *гроулинг* ‘разновидность искаженного вокала, представляющая собой гортанный рык’. В этом случае этимологическая

справка отражает, видимо, народную этимологию, предложенную носителем жаргона: «англ. *grow* — прорастать» (с. 143), ср. *growl* ‘рык, рычание (животного)’. Еще более осторожно надо относиться к комментариям с философской, мировоззренческой подоплекой: *пис*¹ ‘художественный рисунок, сделанный быстро’, «от англ. *piece* — „кусочек“», «подчеркивая временность и фрагментарность уличного искусства» (с. 399); однако многозначность английского *piece* вполне удовлетворительно объясняет и значение *piece of art* ‘произведение искусства’.

В словаре отмечено два цыганизма, вообще трудноуловимых в русских жаргонах. Ранее заимствованное в уголовное арго в прямом значении *балабас* (из севернорусского диалекта цыганского языка: *балавас* / *балэвас* м. р. ‘сало’) представлено в новом переносном значении: «**БАЛАБА́С**, -а, м. Небольшое количество гашиша (3—4 порции), завернутое в целлофановый пакетик. (Нарк.) Мне уже на одного балабаса не хватает! (В арго — высококалорийные продукты)» (с. 53). Давно известное название наркотика для курения *драп* (от общецыганского *драб* м. р. ‘зелье, лекарство’) зафиксировано в новой форме, возможно, возникшей на базе народной этимологии: «**ТРАП**, -а, м. Марихуана. (Нарк.) У меня есть отличный трап, две дозы. (Зап. 1997) (От арг. „драп“ — наркотик?)» (с. 547).

При определении объекта описания автор словаря поставил перед собой задачу провести границу между молодежным жаргоном и криминальным арго: «Мы не задавались целью включить в Словарь лексемы молодых преступников — оставим их арготологам» (с. 6, а также: 10, 18). Представляется, что в целом автору удалось соблюсти тонкую грань между этими двумя социолектами. Однако одна словарная статья, как

кажется, требует определенных уточнений в этом отношении: «**ДРАП**, -а, м. Бегство. Не хватало только **драпом** открыто расписаться в содеянном. (ВО). Ты видишь, какая толпа нас поджидает? Без **драпа** здесь не обойтись. (Зап. 1989)» (с. 173). Отсутствие уточняющей пометы, указывающей на определенную молодежную группу, заставляет присмотреться к этому слову повнимательнее. В списке источников сокращение *ВО* при первой иллюстративной цитате не раскрыто, однако есть похожее: «ВД — *Горохов Л.* Володька-Освод // *Знамя.* 1988» (с. 653). С некоторыми усилиями в рассказе Леонида Шорохова (sic!) с тем же названием обнаруживается искомый иллюстративный контекст, однако «содеянным» здесь является убийство человека браконьером, и далее приведенная цитата продолжается фразой с явным арготизмом *фарт*, вполне органичным в устах героя с криминальным прошлым: «Оставалось лишь надеяться на фарт, на всегдашнюю свою удачу» [Шорохов 1988: 115]. Может быть, нет оснований спорить о принадлежности слова *драп* тому или иному социолекту, можно согласиться даже с тем, что оно может быть признано широко известным за пределами как молодежного жаргона, так и криминального арготизма. Однако этот пример позволяет еще раз поставить вопрос о принципах ограничения объекта описания в словаре.

Наряду с некоторыми профессионализмами автор счел уместным включить в словарь военные жаргонизмы (с. 9). Это представляется обоснованным, но лишь тогда, когда такого рода лексика переходит в общий молодежный жаргон. Однако такое решение не могло не повлиять на отбор источников и подбор иллюстративных цитат, которые отражают специфику употребления таких слов. Рассмотрим в этой связи один

пример: «**АСУШКА**, -и, ж. Пулемет „АСУ“. (Воен.) Наши специалисты пришли к выводу, что это стволы пулеметов, калибр 14,5. Скорее всего, „асушки“, скорее всего, управляются с внутреннего пульта охраны. (ПОЛЕГ)» (с. 47). Насколько удалось выяснить, ни один пулемет калибра 14,5 мм не имеет названия, похожего на *АСУ*. Имеются с похожими названиями: авиадесантная самоходная установка (*АСУ-85*, калибр 85 мм), автомат специальный (*АС «Вал»*, 9 мм). Судя же по контексту, слово *асушки* здесь может обозначать любые единицы огнестрельного оружия, но обязательно подключенные к «автоматизированной системе управления» огнем. Впрочем, обращение к сокращению *ПОЛЕГ* (*Попов К. С.* Легионер. Роман. М.: ЭКСМО-Пресс, 1999) подсказывает и другое возможное решение. Источник является художественным произведением и может содержать наименования даже фантастического оружия. Однако в словаре все-таки должна быть обозначена разница между реальностью и вымыслом.

Жаргонная речь представляет собой постоянно изменяющийся и трудноуловимый объект описания. В отдельных рабочих записях, сделанных, вероятно, первоначально от руки и самими молодыми носителями арготизма, можно заподозрить некоторые погрешности, возникшие при последующем прочтении по причине нечеткости исходных записей. По этой причине в ряде случаев в материалах нельзя исключить неточности, вызванные визуальным смещением графем: *г — ч, х — л, з — т, ле — м, з — б, т — ш, д — з.*

Например, смешение *г — ч*: «**БАЧ**, -а, м. Ошибка в работе программы. **Бач** получилась — и **комп** тогда **глючил** целый час. (Зап. 2001). **БАЧА**, -и, ж. Из-за **бачи** не могли найти нужный файл. (Зап. 2001)» (с. 61). Ср. там же широко из-

вестный англицизм: *баг* ‘ошибка в компьютерной программе’ (с. 51).

Часть компьютера, именуемая винтом (винчестером), вероятно, обязана своим неформальным названием стандартной надписи на одной из программных папок «WINNT», в соответствующей словарной статье восстанавливается либо распространенное *винт*, либо усечение **винч* на месте чтения *винг*, вызванного сходством *г* и *т* или *г* и *ч*: «**ВИНГ**, -а, м. Жесткий диск — постоянное запоминающее устройство. (Комп.). *Вири* (вирусы) *капитально повредили мне винг*. (От англ. *winchester*)» (с. 104).

Возможно, и в следующем случае представлено смешение графем, спровоцированное визуальным сходством рукописных *г* — *ч*: «**ФИГА**, -и, ж. Малоизвестная (недокументированная) особенность компьютерной программы. (Комп.) *В этой фиге ни фига непонятно!* (Зап. 2004)» (с. 578). Здесь нельзя исключить игру слов, основанную на сходстве слов *фига* и *фича*, как, впрочем, и визуального их смешения, ср.: *фича* ‘1. Особая функция или характеристика компьютерной программы’, от англ. *feature* ‘характерная черта, особенность’ (с. 582).

В следующей словарной статье наряду с хорошо документированным вариантом *барбухайка* (*бурбухайка*) представлен также и вариант *бурбулайка*: «**БУРБУЛАЙКА**, -и, ж. Автомобиль афганского производства. (Афг.) (...) *отвезя на афганской „бурбулайке“ в морг груз-200* (...) (КД). **БАРБУХАЙКА**, -и, ж. *Когда все кончилось, первая рота принялась эвакуировать убитых и раненых. Их отправляли на барбухайках* (Боровик, 1990)» (с. 87). Проверка первого иллюстративного примера по источнику позволяет внести уточнение в чтение первого варианта слова: «на... бурбухайке» [Рокотов 1990, № 10: 63].

Таким образом, вариант *бурбулайка* является, судя по единственной искаженной иллюстрации, призрачным словом, и его появление, вероятно, спровоцировано визуальным сходством букв *л* и *х*.

Глагол *бомбить* в переносном смысле может обозначать некое энергичное и результативное действие. В рецензируемом словаре представлены два глагола, которые, вероятно, связаны с *бомбить*:

а) «**ЗАБОЛЁБИТЬ**, -лю, -бишь, сов. Забить гол. (Спорт., фан.). Контекст см. в ст. **ЗАМАСТЕРИТЬСЯ**²» (с. 194). Иллюстративный контекст представляет собой цитату из научной статьи, где приведены примеры слов из спортивного сленга, к интересующему нас глаголу относится «*заболёбить* — забить гол».

б) «**ЗОМБИТЬ**, -блю, -бишь, несов. Рисовать на стенах. (Граффити). *Пацаны с девочками всю зомбили перед выборами*. (Зап. 2000)» (с. 218). Представляется вероятным в обоих случаях восстановить чтение: **забомб́ить*, *бомб́ить*. Ср.: *забомбить* ‘1. Удачно провести энергичный концерт; 2. Выпустить новый музыкальный альбом’ (с. 194—195) и особенно следующее: *бомбить* ‘быстро рисовать рисунки на стене’ (с. 76).

В качестве разговорных усечений от *маршрутка* (маршрутного такси) ожидается **маршира* (ж. р.) и *марш* (м. р.). В первом случае можно заподозрить неточность, вызванную визуальным смешением букв *т* и *ш*: «**МА́РТРА**, -ы, ж. Маршрутное такси. *Мужики на мартре хотели карманника линчевать* (...) (Зап. 1999). **МАРШ**, -а, м. *Целых сорок минут ждала марша!* (Зап. 1997)» (с. 304—305).

Вызывает вопросы один из иллюстративных контекстов к широко известному слову: «**БЫЧО́К**¹, -чка, м. Окурочок. (...) *местные красавицы нехотя роняют сигареты на пол и, раздавив тлеющие „бычки“ изящными неолита-*

ми, не спеша расходятся по классам. (ШРМ) <...>» (с. 92). Поскольку *изящные неолиты* не только не разъяснены, но даже и не выделены в цитате как жаргонное слово ни автором заметки, ни лексикографом, пришлось обратиться к источнику цитаты, по которому и было уточнено чтение: «изящными каблучками» [Рудь 1990: 15]. Вероятно, в данном случае представлена ошибка сканера, которую чрезвычайно трудно выявить в электронном тексте на экране компьютера, поскольку и словоформу *неолитами* как реальную для русского языка последовательность букв программа автоматической проверки орфографии не выделяет подчеркиванием.

В иллюстративном примере к слову *форум* также нельзя исключить смешение *д* — *з* при чтении слова *лузер* в рукописной фиксации: «**ФОРУМ**, -а, м. Способ сетевого компьютерного общения. (Комп.). На нашем *форуме* теперь одни *лудеры* остались. (Зап. 2005)» (с. 585). Ср.: *лузер* ‘неопытный компьютерный пользователь’ (с. 295).

Семантика жаргонного слова является весьма непростым объектом описания. М. А. Грачев много сделал для совершенствования методики семантического описания арготизмов, что проявилось во всех его лексикографических трудах. В столь богатый и объемный материал, который представлен в рецензируемом словаре, тем не менее, не могло не просочиться несколько не вполне обоснованных, на наш взгляд, семантических трактовок, которые, возможно, объясняются излишним доверием к слишком лаконичному контексту иллюстративного примера: «**ТРЕНД**, -а, м. Брюки. *Тренд номер два* — *полоски на всем*. (Штучка, 2004, февраль). **ТРЕНЧ**, -а, м. *Купила сапоги, а тренч оказался из новой коллекции и, в общем, денег на него не хватило*. (Ре-акция, 2005, № 4)» (с. 548). Представляется вероятным, что слово *тренд* означает ‘те-

чение в моде, основную тенденцию’, в данном случае — ‘предпочтение при выборе тканям в полоску’, т. е. вполне обычное употребление уже общеизвестного слова *тренд* (англ. *trend* ‘курс, направление’). Консультации с экспертами позволили выявить, что *тренч* — это ‘плащ-пальто’. Еще один косвенный аргумент в пользу исправления толкований состоит в том, что все названия брюк и прочих подобных зеркально симметричных по внешнему виду парных предметов одежды в русском языке (не исключая и жаргоны, где *трузерá*, *левисá*, *джиньí*) относятся к группе *pluralia tantum*.

Думается, «**ФЭНЗИН**, -а, м. Музыкальное произведение в стиле *панк*. (Муз., панк.) *Тиражи российских панк / хардкор фэнзинов не превышают 10—500 экземпляров, в то время как на Западе достигают 10—15 тысяч*. (Аксютина, 2003)» (с. 591) и «**ЗИН**, -а, м. Музыкальное произведение в стиле панк. (Муз., панк.) *Маленькие тиражи отечественных зиннов также обусловлены тем, что музыка и идеи, транслируемые ими, в России мало кому интересны и известны*. (Аксютина, 2003) (*Усечение лексемы фэнзин, см.*)» (с. 217) являются транслитерационными вариантами слова *фанзин* ‘фанатский журнал’ (ср. англ. *fanzine*, возникшего в результате контаминации *fan* ‘фанат’ + *magazine* ‘журнал’). На это понимание как будто указывает и цитированная в словаре статья О. Аксютинной, где о *фэнзинах / зинах* сообщается следующее: «текст зачастую печатается на машинке», «наиболее известный панк-метод оформления — коллаж» [Аксютинная 2003: 88]. Типология фэнзинов включает музыкальные социально-политические, этические (в защиту животных) и другие [Там же: 89].

Ср. в том же словаре похожее слово: «**ФА́НЗИС**, -а, м. Печатное издание *фанатской* группировки (журнал группи-

ровки). (Фан.) *Мне не понравился последний номер фанзиса: там было очень много про махаловки и ни слова — про футбол.* (Зап. 2005)» (с. 575). Однако, поскольку в записях, сделанных, вероятно, молодыми носителями арго, встречаются иногда некоторые неточности, в данном случае можно предположить фонетически приемлемую исходную запись **fánzen*, прочитанную затем ошибочно с переразложением элементов букв *en > is*.

В толковании глагола *мазить* частица *не* представляется излишней: «**МАЗИТЬ**, -ит; *несов., только в безл. зн.* Не нравиться. *Мне это дело не мазит.* (Зап. 1999)» (с. 301).

Толкование, вероятно, отсутствует в следующем случае: «**ЖМУР**¹, -а, м. Команда. (Филоня, 2003—2004, №2)» (с. 191). Поскольку обычно в описании слова представлена иллюстративная цитата и очень часто указание на молодежную группу, где данное слово отмечено, то в данной словарной статье по причине отсутствия этих довольно обязательных компонентов можно заподозрить неполноту описания предполагаемого цельного наименования **жмур-команда* ‘похоронная команда? / похоронный оркестр?’.

Морфологические характеристики жаргонных слов в системном плане не отличаются от морфологических характеристик иных слов русского языка, однако в ряде случаев возникает возможность двойного выбора грамматической трактовки, если описание ведется при опоре на не вполне информативный контекст. Например: «**БЕРЛ**, -а, м. Еда. (Муз.) *Я тогда сказал жлобу, что без берла лабать жмурику не будем!* (Зап. 1988). **БЕРЛА**, -и, ж. *И берла не лезла в горло. Вот до чего доигрался!* (Зап. 1988). **БЕРЛЮ**, -а, ср. *Мужики! Не забудьте берло взять.* (Зап. 1988)» (с. 66). Думается, первый контекст с формой *берла́* (род. пад. ед. ч.) также иллюстри-

рует употребление варианта *берло́* (ср. р., а не м. р.).

«**КАДЛ**, -а, м. Барабан. (Муз., мет.) *Довольно по кадлу долбать, лучше по своей пустой башке вдарь, пользы больше будет.* (Зап. 1989). **КАДЛИК**, -а, м. *Наш кадлик пробил какой-то сумасшедший металлуга.* (Зап. 1989)» (с. 228). В первом случае контекст не дает выбора между мужским и средним родами, альтернативно документированным оказывается существительное среднего рода *кадло́* ‘корпус барабана, обечайка’: «кадло барабана из медной латуни» [Историческое 1902: 201 сл.].

«**КАНДЯ**, -и, ж. Девушка. *Я из-за этой канди махаться не буду.* (Зап. 1987)» (с. 233). Контекст не указывает однозначно на морфологическую адаптацию обычно несклоняемого *канди* ‘девушка’ (от англ. *candy* ‘булочка’).

«**СРЯКА**, -и, ж. 1. Учебный предмет „Современный русский язык“. (Студ.) *У кого сегодня по сряку сообщение?* (Зап. 1987) 2. Учебник „Современный русский язык“. *И куда девалась моя сряка?* (Зап. 1987)» (с. 513). Первый иллюстративный пример содержит не описанный эксплицитно морфологический вариант м. р. *сряк*.

Переходный глагол *плющить*¹ с сомнительным толкованием ‘нравиться’ (ср.: «несов., *кого*, безл.» ‘о плохом настроении’, ‘об удовольствии’ и др. [Никитина 2003: 512]) в рецензируемом словаре имеет совершенно нетипичный иллюстративный пример: «*Мне* *особо не плющит весь этот бардак*» (с. 402). Глагольное управление в жаргоне, как правило, сохраняется неизменным и в переносных значениях. Например, в песне группы «Несчастный случай»: «Ой, плющит-плющит, | Мама, как меня плющит». Думается все-таки, что подавляющее большинство носителей жаргона, судя и по выборке из Интернета, употребляет безличным глагол *плющит* как переходный.

Разумеется, эти весьма немногочисленные описания жаргонных слов, вызывающие частные вопросы и некоторые уточнения, видимо, неизбежны в силу особенностей фиксируемого материала в лексикографическом описании столь значительного объема.

Молодежный жаргон — часть русского языка, которая, бесспорно, изучена пока далеко не во всех аспектах. В рецензируемом словаре зафиксирован богатый пласт слов, употребляемых различными молодежными группами в течение минувшей четверти столетия. Было бы неверно думать, как справедливо отмечает автор-составитель, что этот материал исчерпывается 6000 единиц. Чтобы продемонстрировать текучесть и размах жаргонной лексики, рассмотрим один пример: «ПОЛНЫЙ КИРДЕЦ — крах, неудача» (с. 245). Любопытно, что в выборку попало это производное выражение, явно зависящее от слова *кирдык* ‘смерть, гибель, крах’, ставшего на краткое время популярным в связи с киносериалом «Брат» (с 1997 г.), но само слово *кирдык* в словаре осталось за кадром. Этот пример показывает, насколько прихотливо жаргонный материал попадает в сети собирателя.

Вместе с тем, несмотря на все трудности, этот новый лексикографический труд охватывает значительный объем молодежной лексики и представляет большой интерес для исследования русского языка в его неформальных вариантах. Молодежный жаргон не только эволюционирует сам по себе, но и своеобразно отражает изменения в обществе, системе ценностей, предметном мире. С этой точки зрения еще один лексикографический источник по молодежному жаргону представляет ценность не только как серьезный лингвистический труд, но и как памятник целой эпохи, между крайними точками которой, несмотря на существенные измене-

ния в социуме, в плане особенностей лексики молодежного жаргона обнаруживается много общего.

Л и т е р а т у р а

Аксютинина 2003 — О. А к с ю т и н а. Пункт в России 90-х: протест или товар // Философия. 2003. № 4. С. 32—50; № 5. С. 83—96.

Вальтер, Мокиенко, Никитина 2005 — Х. В а л ь т е р, В. М. М о к и е н к о, Т. Г. Н и к и т и н а. Толковый словарь русского школьного и студенческого жаргона: Ок. 5000 слов и выражений. М., 2005.

Даль I—IV — В. И. Д а л ь. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1—4. М., 1978.

Зайковская 1993 — Т. В. З а й к о в с к а я. Можно мозжечёкнуться // Рус. речь. 1993. № 6. С. 40—43.

Историческое 1902 — Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Т. 19. СПб., 1902.

Мокиенко, Никитина 2000 — В. М. М о к и е н к о, Т. Г. Н и к и т и н а. Большой словарь русского жаргона. СПб., 2000.

Никитина 2003 — Т. Г. Н и к и т и н а. Молодежный сленг: Толковый словарь: Более 12 000 слов; свыше 3000 фразеологизмов. М., 2003.

Никитина 2005 — Т. Г. Н и к и т и н а. Толковый словарь молодежного сленга. М., 2005.

Рокотов 1990 — С. Р о к о т о в. Карточный домик // Аврора. 1990. № 9. С. 52—90; № 10. С. 40—80.

Рудь 1990 — Р. Р у д ь. ШРМанка // Парус. 1990. № 1. С. 15, 25.

Шаповал 2006 — В. В. Ш а п о в а л. Речь наших детей (рецензия) // Слово в словаре и дискурсе: Сб. науч. ст. к 50-летию Харри Вальтера. М., 2006. С. 750—757.

Шорохов 1988 — Л. Ш о р о х о в. Володька-Освод // Знамя. 1988. № 1. С. 84—124.

В. В. Шаповал

**В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян, Е. Э. Бабаева,
О. Ю. Богуславская, Б. Л. Иомдин, Т. В. Крылова,
И. Б. Левонтина, А. В. Санников, Е. В. Урысон.
Языковая картина мира и системная лексикография.**

Отв. ред. Ю. Д. Апресян. М.: Языки славянских культур, 2006. 912 с.

Монография представляет собой фундаментальное исследование картины мира, характерной для русского языка, в ее отражении лексическими и фразеологическими средствами. Она продолжает серию исследований, осуществленных самим Ю. Д. Апресяном и под его руководством, выполненных с позиций Московской семантической школы — с тем важным уточнением рамок этой школы, которое Ю. Д. Апресян делает в Предисловии: «Московская семантическая школа интегрального описания языка и системной лексикографии». Основание для такого уточнения дают два фактора: 1) компьютерная реализация модели «Смысл \Leftrightarrow Текст», ориентированная на анализ текстов (в отличие от этой модели в ее «классическом» виде, ориентированном на синтез) и позволяющая оптимально согласовывать морфологический, синтаксический и словарный компоненты лингвистического анализа (принцип интегрального описания языка, сформулированный Ю. Д. Апресяном еще в 1980 году), и 2) исследования Ю. Д. Апресяна в области теоретической семантики и работа коллектива составителей под его руководством над «Новым объяснительным словарем синонимов русского языка», что в совокупности дало возможность распространить принцип интегрального описания языка на лексическую и грамматическую семантику, лингвистическую прагматику и на коммуникативные и просодические свойства лексем.

Цель данной работы (как и других работ, отражающих указанный теоретический подход) ответственный редактор книги видит в построении общей тео-

рии семантики и в реализации этой теории в виде практически полезных лексикографических продуктов (см. Предисловие).

Книга состоит из девяти частей. Первая, написанная Ю. Д. Апресяном, вводит читателя в проблематику книги. Здесь рассматриваются основные принципы теоретической семантики (в ее понимании представителями Московской семантической школы), определяются ключевые понятия, используемые в дальнейшем описании: реконструкция языковой картины мира, системообразующий смысл, семантический мета-язык, лексема, лексикографический тип и др. (глава 1). Как кажется, весьма важно — в связи с задачами данного труда — рассматриваемое автором понятие этноспецифичности (раздел 1.1 части 1-й) и указание условий, одни из которых позволяют говорить об этноспецифичности той или иной языковой единицы в сильном смысле, а другие — в слабом. Во второй главе дается фундаментальная классификация предикатов, в третьей описываются правила взаимодействия значений в тексте, четвертая глава посвящена подробному описанию интерпретационных глаголов как определенного лексикографического типа.

Автор второй части монографии И. Б. Левонтина исследует понятие цели и описывает семантику слов русского языка со значением цели (*цель, задача, зачем, для, замысел, намерение* и др.).

В третьей части (автор Т. В. Крылова) содержатся результаты изучения наивно-этикетных представлений о вежливости и средств выражения этих представлений в русском языке (даются

описания таких лексем, как *уважительный, почтительный, деликатный, грубый, бесцеремонный* и под.).

Четвертая часть (автор А. В. Санников) тематически перекликается с третьей: здесь описываются понятия достоинства и смирения в их выражении лексическими средствами русского языка. Даны описания семантики таких слов, как *достоинство, честь, самолюбие, гордость, унижать, оскорблять, издеваться* и др., а также оборотов с этими словами — например, *держаться с достоинством, гордость не позволяет*.

Автор пятой части О. Ю. Богуславская описывает ментальные способности человека и способы отражения их в семантике прилагательных, обозначающих интеллектуальные свойства человека.

Б. Л. Иомдин, автор шестой части, анализирует лексику тематического поля 'понимание'. Он определяет место понимания среди других форм мышления, описывает сходства и различия рационального и иррационального в мыслительной деятельности человека и тех языковых средств, в которых эти сходства и различия получают отражение, дает лексикографическое описание ряда лексем, относящихся к этому тематическому полю (*понимать, осознать, доходчиво, ясно, прийти в голову, осеменить, угадать, интуиция* и др.).

В седьмой части (автор В. Ю. Апресян) исследуется группа лексем с общим значением уступительности: *хотя, тем не менее, несмотря на, все-таки, все равно* и др., семантика которых в значительной степени грамматикализована.

Восьмая часть, написанная Е. В. Урысон, посвящена семантическому анализу русских параметрических прилагательных — таких как *большой, маленький, крупный, мелкий, огромный, крошечный* и т. п. — применительно к неодушевленным предметам (глава 1) и обозначений параметров человеческого тела средствами русского языка (глава 2).

Девятая, заключительная, часть книги (автор Е. Э. Бабаева) значительно отличается от всех предыдущих по характеру языкового материала и аналитическому подходу: семантическая структура слова описывается здесь в ее исторической перспективе, с привлечением данных дописменного и письменного периодов развития русского языка, с обращением к праславянским корням и их реконструируемой семантике. Это историко-этимологическое исследование, отличающееся глубиной и тщательностью, выполнено на материале истории многозначного прилагательного *простой*.

Глубина исследования и тщательность описания всех существенных свойств языковых единиц, послуживших объектом анализа, характеризует и другие, предыдущие части рецензируемой монографии. При этом сохраняется единство теоретической концепции, лежащей в основании работы. Определенную монолитность придает книге и то обстоятельство, что при всем разнообразии языкового материала он концентрируется в круге лексем, так или иначе связанных с человеком и его деятельностью.

Можно отметить также некоторые более конкретные достоинства монографии:

— последовательность в осуществлении установки на интегральность описания, то есть на максимально полное согласование всех аспектов анализа языковых единиц — семантического, морфологического, синтаксического, коммуникативного и других;

— сочетание глубокой теоретической разработки ряда фундаментальных понятий теоретической семантики и лексикографии (часть 1) — и практического их приложения к анализу и лексикографическому описанию конкретных лексических и фразеологических средств русского языка (главы 2—9);

— концептуальная и содержательная взаимосвязанность всех частей мо-

нографии: несмотря на разнообразие описываемого лексического материала, его анализ осуществляется со строго определенных теоретических позиций и с применением столь же определенного исследовательского аппарата;

— сознательная и целенаправленная ориентация только на факты языка и на их собственно лингвистическое описание (ср.: «Материалом для реконструкции языковой картины мира служат только факты языка...» — с. 2 части 1). Может показаться, что с этой оценкой плохо согласуется содержание части 3, в которой при описании категорий наивной этики и наивного этикета к рассмотрению привлекаются социологические и психологические понятия (статус, роль, горизонтальная и вертикальная дистанции между партнерами коммуникации, вежливость, почтительность / непочтительность, поза и местоположение участников общения и др.). Однако это не так: все эти понятия фигурируют в данном разделе монографии лишь постольку, поскольку они необхо-

димы для семантического анализа соответствующих слов и оборотов, и надо сказать, что этот анализ весьма точен и в подавляющем большинстве случаев вполне согласуется с языковой интуицией носителя русского языка;

— в работе представлено описание *массового* языкового материала, относящегося к определенным понятийным классам и тематическим группам, а не отдельных примеров, иллюстрирующих те или иные свойства произвольно выбранных лексем; это обстоятельство придает особую убедительность результатам исследования, представленным на страницах этой книги.

Эти и другие положительные свойства представленной монографии свидетельствуют о том, что перед нами значительный лингвистический труд, который является шагом вперед на пути развития теоретической семантики и системной лексикографии.

Л. П. Крысин

ОБЗОРЫ

А. К. М а т в е е в. Ономатология. М.: Наука, 2006. 292 с.

В книге А. К. Матвеева, основателя и руководителя Уральской топонимической школы, собраны работы различных лет, посвященные наиболее актуальным проблемам изучения географических названий в историческом и этимологическом аспектах, а также общим вопросам ономастики.

Книга открывается разделом «Общая ономатология». Первая из глав («Апология имени») посвящена специфике имен собственных как особых языковых единиц и роли имен в человеческом обществе. Резко выступая против ставшего модным в последнее время тезиса о том, что имя определяет судьбу, автор демонстрирует высокую ценность имен как сгустков информации о быте, культуре, истории народов, их породивших. По мнению А. К. Матвеева, имя — «ключ ко многим проблемам человечества и его языков».

Вторая глава раздела посвящена терминологическим вопросам. Рассмотрению подвергается ряд ономастических терминов. Это прежде всего имеющие хождение в лингвистике обозначения науки о собственных именах — ономастика и ономатология — и совокупности собственных имен — ономастика и онимия. Обозревая употребление указанных терминов в отечественной и международной традиции, автор предлагает использование термина *ономатология* в значении 'наука о собственных именах' (именно в этом смысле он употреблен в названии книги), а *ономастика* — в значении 'совокупность собственных имен'.

В первой главе следующего раздела, посвященного проблемам теоретиче-

ской топонимики, анализируются возможности и недостатки «искусственной», т. е. созданной конкретными номинаторами топонимии (на примере индивидуальных наименований охотничьих угодий группой охотников-любителей). Сопоставление естественно сложившихся и искусственно созданных топосистем приводит А. К. Матвеева к мысли о сложном взаимодействии естественной и искусственной номинации и в определенном смысле «качественной несостоятельности» последней на современном этапе.

Вторая глава раздела обращена к проблеме разграничения субстрата и заимствования в топонимии. Опираясь на конкретные факты освоения русскими аборигенами названий Русского Севера, Урала и Сибири, А. К. Матвеев выдвигает постулат о квазисубстрате, т. е. о топонимических заимствованиях, возникших либо при маргинальном контакте народов, либо при маршрутном контактировании, либо при многостепенной иррадиации языковых данных от народа к народу. По мысли автора, именно такими квазисубстратными названиями являются, например, *Лена* и *Обь*. Что касается подлинного субстрата, то главным его показателем следует считать системность. Разграничение субстрата и квазисубстрата (и — шире — заимствований) весьма существенно в плане использования топонимических данных для выводов лингвоэтнического характера, поэтому важно установление типологии топонимического субстрата и критериев его выявления на примере изучения результатов сравнительно недавних и исторически бесспорных язы-

ковых контактов. В качестве примеров наиболее показательных зон такого контактирования рассматриваются северо-восточное Зауралье, горнозаводская часть Северного Урала и некоторые микрорегионы Русского Севера.

В третьем разделе — «Методы топонимических исследований» — демонстрируются оригинальные приемы этимологизации субстратных топонимов. Среди них основное место занимают разработка принципа семантической мотивированности топонимов и приемов моделирования компонентов топонимических систем, а также использование данных лингвистической географии.

Эффективная реализация этих методов представлена в четвертом и пятом

разделах книги. В первом из них этимологизация субстратных топонимов Русского Севера становится орудием установления путей миграции мерян из зоны их первоначального расселения; во втором прослеживаются зоны первоначального расселения аборигенов Урала (прежде всего манси). В обоих разделах представлен богатый набор тщательно аргументированных конкретных этимологий финно-угорских и русских топонимов.

В конце книги дается весьма обширный список использованных источников и литературы по ономастике на русском, немецком и финском языках.

Е. Березович

**Типографский Устав: Устав с кондакарем конца
XI — начала XII века / Под ред. Б. А. Успенского. Т. 1—3.
М.: Языки славянских культур, 2006.**

Если взглянуть на перечень рукописей в классической работе Н. Н. Дурново «Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка», видно, в сколь малой степени он мог опираться на издания памятников, сколь многие рукописи оставались неопубликованными. В последние десятилетия советского режима кое-какие издания осуществлялись, хотя эта работа наталкивалась на разнообразные препятствия. Последние годы принесли нам ряд замечательных публикаций (Путятина Минея, Ильина книга, Студийский устав по рукописи ГИМ, Син. 330), хотя даже в рамках списка Дурново остается сделать еще весьма много. Типографский Устав является одной из наиболее важных древнейших восточнославянских рукописей, так что его научное издание представляется весьма заметным событием в палеославистике. Существовало, что это издание можно считать в ряде отношений образцовым.

Первый том издания содержит факсимильное воспроизведение рукописи, особенно важное для ее кондакарной части, поскольку кондакарная нотация остается нерасшифрованной и, следовательно, никаких принципов ее типографского воспроизведения не выработано. Факсимильное воспроизведение оказывается неоценимым подспорьем и для палеографического описания, палеографических комментариев и анализа рисунков рукописи. Особо высокой оценки заслуживает второй том издания. В нем дается наборное воспроизведение рукописи, во многих случаях лучше отражающее текст, чем факсимиле, поскольку ряд мест был прочтен в ультрафиолетовых лучах или с помощью увеличения электронной сканировки. Текст снабжен построчным текстологическим комментарием, расшифровывающим сокращенные обозначения рукописи, при необходимости проясняющим чтение с помощью греческого ори-

гинала, указывающим ошибки писцов и переводчиков; текстологический комментарий подготовлен С. В. Петровой. Параллельно с текстологическим комментарием дается палеографический комментарий, составленный В. С. Голышенко; в нем указываются палеографические особенности написания, смена почерков, исправленные, затертые и нечитающиеся буквы. В этом же томе читатель найдет сделанный С. В. Петровой словоуказатель к рукописи, представляющий самостоятельную научную ценность.

Типографский Устав является уникальным источником в ряде отношений: и как памятник лингвистический, и в историко-литургической перспективе как древнейший славянский Студийский устав, и как древнейший кондакарь, дающий уникальные сведения для музыковедов, и благодаря своим рисункам как предмет искусствоведческого анализа. Все эти аспекты нашли отражение в третьем томе издания, представляющем собою своеобразную антологию ученых трудов, посвященных Типографскому Уставу. Том открывается статьей В. С. Голышенко, содержащей палеографическое описание памятника. За этим следуют две работы, описывающие историю рукописи. Далее следует лингвистическая часть, представленная выдержкой из «Русских рукописей XI и XII вв. как памятников старославянского языка» Н. Н. Дурново, известной статьей Б. А. Успенского «Древнерусские кондакари как фонетический источник» и работой С. В. Петровой «Грамматическая и текстологическая вариативность в древнерусских кондакарях». В музыковедческой части публикуются выдержки из старой книги «Богослужебного пения русской церкви» с обширной новой статьей Т. Ф. Владышевской «Типографский Устав и музыкальная культура Древней Руси XI—XII веков». Искусствоведческий анализ

представлен работой Г. И. Вздорнова «Рисунки на полях Типографского Устава», историко-литургический — выдержками из работ Сергия Спасского и И. Д. Мансветова и статьей Е. В. Ухановой «Древнейшая русская редакция Студийского устава: происхождение и особенности богослужения по Типографскому списку».

Эти работы, собранные воедино, впечатляющим образом свидетельствуют о научной значимости опубликованного памятника. Было бы, однако, опрометчиво думать, что они в сколько-нибудь существенной степени исчерпывают возможности изучения данной рукописи. Публикация, как можно надеяться, не завершает познавательный процесс, а кладет начало его новому этапу. Так, в частности, отсутствует подробное описание орфографии рукописи; статья Б. А. Успенского посвящена по преимуществу кондакарным написаниям в соотношении с некондакарной (нерастяжной) записью тех же кондаков; между тем орфографические системы, которым следуют писцы данной рукописи, различны, и их различия весьма показательны для становления восточнославянской орфографической нормы. Лишь отчасти затронуты в работе С. В. Петровой морфологические особенности рукописи. Отсутствует описание того, как славянский текст соотносится с греческим оригиналом, как, впрочем, и текстологическое исследование данного перевода, в уставной части совпадающего с переводом, представленным в рукописи ГИМ, Син. 330. Куда более тщательного описания с более широким фоном требует и историко-литургический аспект памятника, отражающего весьма сложный этап в развитии византийской богослужебной практики.

В. Ж.

**Helmut Keipert. Das «Sprache»-Kapitel in
August Ludwig Schlözers «Nestor»
und die Grundlegung der historisch-vergleichenden Methode
für die slavische Sprachwissenschaft.
Mit einem Anhang: Josef Dobrovskýs «Slavin»-Artikel
«Über die altslawonische Sprache nach Schlözer» und dessen russische
Übersetzung von Aleksandr Chr. Vostokov /
Hrsg. von H. Keipert in Verbindung mit Michail Šmil'evič Fajnštejn.
Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht, 2006. 137 S.
(Anhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen,
Philologisch-historische Klasse, Dritte Folge. Bd. 276).**

Данная монография продолжает серию работ Г. Кайперта по истории славистики, точнее сказать, по истории того, как в филологии XVIII—XIX вв. выработывались основные концепты истории славянских языков, которые и по сей день входят в наш аппарат историко-лингвистических славистических исследований. Основным текстом в аннотируемой книге является лингвистическая глава в первом томе знаменитого «Нестора» Августа Шлёцера, появившемся в Геттингене в 1802 г. и составившем эпоху в изучении источников древней русской истории (прежде всего летописей).

Шлёцер, как показано в монографии, сформулировал ряд общих положений о древнем языке славян, которые существенно повлияли на последующее развитие славистической мысли. Он полагал, что св. Кирилл перевел в IX в. Св. Писание на язык, понятный для болгар и моравян и бывший для них «общенародным». Полемизируя с М. В. Ломоносовым, он утверждал, что язык русских летописей — это книжный язык, отличный от языка руссов при Св. Владимире, но тождественный языку Св. Писания.

Эти и еще некоторые важные положения были отчасти развиты, а отчасти оспорены Иосифом Добровским в его книге «Slavin» (1806). В частности, Добровский распределял славянские народы и языки на две группы: «антские»

(хорваты, сербы, русские) и «славенские» (поляки, чехи, лужичане). Он указывал, что старославянский был доступнее для первой группы, нежели для второй и связывал это с тем, что Кирилл переводил на «сербский» диалект Фессалоник. Добровский далее проводит различие между древнейшим переводом и текстом Острожской Библии, указывает на отличия церковнославянского языка, употреблявшегося у «русских», от языка «Русской Правды» и «Слова о полку Игореве», ставит под сомнение тезис об образовании церковнославянского по греческой модели.

Глава Шлёцера и замечания Добровского были в 1810 г. переведены А. Х. Востоковым; перевод в двух различающихся редакциях (Кайперт проанализировал и объяснил их различия) сохранился в архиве Российской академии наук. Посвящая отдельную главу этому переводу, автор особо останавливается на истории русских терминов *старославянский* и *церковнославянский*. Востоков снабжает свой перевод рядом важных примечаний, имеющих собственную научную ценность. И эти примечания анализируются в книге. В частности, Востоков вслед за Добровским и в отличие от Шлёцера полагает, что русский не развился со временем из старославянского (языка славянского Св. Писания), а был генетически другим наречием; Востоков дополняет ука-

зания Добровского на «Русскую Правду» и «Слово о полку Игореве» отсылкой к «Поучению» Владимира Мономаха и указаниями на полногласие и аугмент имперфекта как особые «русские» черты. Востоков пишет также о том, что буква ер (Ъ) обозначала гласный звук, имевший разную судьбу в разных славянских языках, и о том, что в древнем славянском наречии имелся супин.

В отдельном разделе Г. Кайперт показывает, в каких отношениях этот перевод с примечаниями послужил исходным моментом для восточковского «Рассуждения о славянском языке» (1820). Ряд положений Добровского оказывается радикально пересмотренным, ряд тезисов, сформулированных в

примечаниях, получает существенное развитие.

В заключении монографии Г. Кайперт при участии М. Ш. Файнштейна дает научное издание перевода Востокова с параллельным немецким текстом из Добровского («Slavin»). Стоит отметить, что издание текста сделано безупречно.

Итак, в аннотируемой книге прослежено, как в преемственном развитии трех поколений славянских филологов формировались основные идеи о сходствах и различиях славянских наречий, о языке древнейших славянских памятников, о значении отдельных форм и написаний.

В. Ж.

А. И. Соболевский. Труды по истории русского языка.

Т. 2: Статьи и рецензии / Сост., подгот. текста, предисл., коммент. и указ. В. Б. Крысько.

М.: Языки славянских культур, 2006. 688 с.
(Классики отечественной филологии).

Издание второго тома трудов А. И. Соболевского (первый том вышел в 2004 г. и содержал «Очерки из истории русского языка» и «Лекции по истории русского языка») внушает надежду, что обширное научное наследие одного из классиков русской славистики будет когда-нибудь собрано и издано. Интересы А. И. Соболевского были весьма разнообразны, его обширные труды по фольклору и древнерусской литературе ждут собирателя и комментатора, но в отношении его лингвистических трудов заметен решительный прогресс. В. Б. Крысько проделал огромную работу, собрав в аннотируемом втором томе многочисленные статьи, заметки и рецензии А. И. Соболевского, посвященные тому, что могло бы быть в традиционных терминах определено как историческая грамматика русского языка (или восточнославянских языков). В

книгу вошли работы по исторической фонетике и исторической морфологии, об орфографии отдельных рукописей, о диалектных особенностях памятников письменности, этимологические заметки и т. д. от самых ранних (1881 г.) до последних статей ученого. В данный том не вошли труды по истории русского литературного языка (курс лекций, работы о языке переводной литературы и т. п.), палеографии и восточнославянской диалектологии. Надо надеяться, что эта часть oeuvre'a Соболевского составит содержание последующих томов.

В. Б. Крысько не только собрал разбросанные по многочисленным, порою малодоступным изданиям труды замечательного ученого, но и снабдил их весьма ценными и обстоятельными комментариями, указывающими, какая полемика возникла вокруг отдельных тезисов Соболевского и как они оцени-

ваются в современной славистике. Лишь в редких случаях эти комментарии нуждаются, как представляется, в корректировке (например, о новгородско-псковских написаниях с *жс*, отражающих, на взгляд комментатора, произношение с [ж'д'] — с. 610) или дополнениях (например, о датировке Реймского евангелия — с. 583 — или о том, чем обусловлено смешение *ятя* и

естя в новгородских грамотах — с. 633). В конце книги помещен указатель упоминаемых Соболевским восточнославянских памятников XI—XVII вв. и указатель слов и форм. Отдельный раздел составляют дополнения и исправления к библиографии А. И. Соболевского, напечатанной в первом томе.

В. Ж.

А. П. Майоров.

Очерки лексики региональной деловой письменности XVIII века.

М.: Азбуковник, 2006. 262 с.

В последние два десятилетия появился целый ряд работ, посвященных региональной деловой письменности, в особенности письменности сибирской. Относительно интенсивная разработка этой тематики обусловлена, видимо, тем простым обстоятельством, что лингвисты, работающие в далеких от обеих столиц центрах, черпают материал для своих исследований из местных архивов. Все подобные работы ценны тем, что вводят в научный оборот неизученный и весьма сложный в языковом отношении материал, позволяющий поставить вопросы и о взаимодействии общих норм и локального узуса, и о типах общих норм и их социолингвистических параметрах, и об отношении деловой письменности к формирующемуся языковому стандарту, и об исторических особенностях внедрения этого стандарта в неэлитарных секторах общества. Сибирские исследователи существенно продвинулись в изучении этих проблем в силу, надо думать, того факта, что они имеют дело по преимуществу с документами XVIII в., для которых данные проблемы принципиальны, а не с документами более древними, с которыми в основном имели дело столичные филологи. Значимость подобных исследований в существенной сте-

пени зависит от адекватности описательного аппарата.

В книге А. П. Майорова, посвященной забайкальской деловой письменности XVIII в., используется вполне адекватный аппарат, и благодаря ему автор получает весьма существенные результаты. Расклассифицировав документы по жанрам (распорядительная, уведомительная, просительная, регистрационная и т. д. документация), автор, разделяя прежде всего бумаги, идущие сверху вниз (указы, промемории и т. п.), и бумаги, идущие снизу вверх (челобитные, протоколы и т. п.), получает возможность оценить используемые в них языковые средства по их функционально-стилистическим параметрам. В главе, посвященной славянизмам в деловой письменности, показано, как славянизмы характеризуют новый канцелярский слог, появляющийся в первой половине XVIII в. (прежде всего в распорядительных документах), как они противопоставляют его старой приказной традиции. Особенно интересен в этом контексте анализ употребления местоимений *сей*, *тот*, *оний*, *этот* в дейктической и анафорической функциях, демонстрирующий и преемственность делового языка XVIII в. со старым деловым языком, и отталкивание от него. Такие

книжные (церковнославянские) по происхождению элементы, как местоимения *оний* и *сей*, союзы *дабы* и *егда* оказываются наделенными особыми модальными оттенками, подчеркивающими императивность предписания. Вместе с тем, если в первой половине XVIII в. славянизмы маркируют отдельные типы деловой речи, то во второй половине этого столетия они (или, вернее, определенная их часть) становятся стандартным элементом канцелярского дискурсивного обихода.

Отдельная глава посвящена заимствованиям в региональной деловой письменности. Здесь проводится значимое различие между заимствованиями европейскими и заимствованиями автохтонными. Европеизмы характерны, естественно, для отдельных тематических групп лексики, их употребление в региональном деловом языке, как правило, терминологично. Интересно при

этом, что в провинциальном употреблении оказываются закрепленными такие фонетико-орфографические варианты заимствований, которые и в литературном стандарте, и в подверженных влиянию этого стандарта документах центрального управления редки и нерегулярны. Автохтонные заимствования не являются экзотизмами и не противостоят другим элементам разговорной лексики. В главе об употреблении разговорной и диалектной лексики подчеркивается, что для делового языка, по крайней мере в первой половине XVIII столетия, эти группы являются стилистически немаркированными. Во второй половине XVIII века намечается тенденция к ограничению использования данных элементов в определенных (обладающих официальным статусом) деловых документах.

В. Ж.

**Жития Павла Обнорского и Сергия Нуромского:
Тексты и словоуказатель / Сост. И. В. Азарова, Е. Л. Алексеева,
Л. А. Захарова, К. Н. Лемешев; Под ред. А. С. Герда.
СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2005. 331 с.
(Памятники русской агиографической литературы).**

Опубликованный выпуск является шестым в издаваемой С.-Петербургским университетом серии «Памятники русской агиографической литературы». Он посвящен житиям двух вологодских святых — Павла Обнорского и Сергия Нуромского, — выдающихся христианских подвижников XIV — начала XV в., учеников и последователей Сергия Радонежского. Оба жития, написанные в XVI в., публикуются с соблюдением правил лингвистического издания по рукописи РНБ, Соф. 1470 (кон. XVI в.), за исключением начальной части Жития Павла Обнорского пространной редакции, которая приведена по рукописи РНБ, Погод. 659. При этом издание не

дает информации о палеографических, графико-орфографических и лингвистических особенностях публикуемых списков. В отдельных случаях (только когда интерпретация текста вызвала у издательниц затруднения) приводятся данные других списков житий, относящихся к XVI—XVIII вв.

В Предисловии неточно сказано, что «в книгу включены статьи по текстологии Житий Павла Обнорского и Сергия Нуромского». На самом деле задачи выяснения текстологических взаимоотношений списков авторы перед собой не ставили, ограничиваясь сведениями о структурных элементах редакций житий с указанием относящихся к ним

списков. Опираясь на классификацию М. Д. Каган (Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV — нач. XVI в.). Ч. 1. Л., 1988. С. 316) и несколько уточняя ее, издатели выделяют четыре редакции Жития Павла Обнорского: пространную, включающую вводную, биографическую и заключительную части (10 списков); краткую, представляющую собой сокращенный пересказ биографической части (3 списка) и две проложные редакции, одна из которых сохранилась в единственном списке, а другая — в одном списке и в составе печатного Пролога. В определении редакций Жития Сергия Нуромского, написанного в 1584 г. иеромонахом Ионой и дошедшего до нас в 29 списках, издатели также опирались на структурные признаки редакций (количество «чудес», наличие или отсутствие датировок «чудес» в их

заглавиях, связующих фраз между «чудесами» и т. п.).

Указатель словоформ объединяет лексический материал обоих житий. Хотя адреса словоформ содержат указания на соответствующие тексты, едва ли можно считать удачным решение свести в один указатель лексику разных произведений разных авторов. Кроме того, указатель сохраняет существенный недостаток всех выпусков этой серии: словоформы в нем не сгруппированы в словарные статьи и не лемматизированы.

Издание содержит две статьи: «Спасо-Нуромский Сергиев монастырь» (авт. Е. А. Павлович) и «Спасо-Прилуцкий Дмитриев монастырь» (авт. А. П. Анишина), рассказывающие об истории этих монастырей.

А. М.

В. М. Загребин. Исследования памятников южнославянской и древнерусской письменности. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2006. 304 с.

Недавно ушедший от нас Вячеслав Михайлович Загребин, последние годы руководивший Сектором древнерусских фондов Отдела рукописей РНБ, останется в благодарной памяти славистического научного сообщества благодаря прежде всего той дружеской коллегиальности, с которой он помогал приходившим в Отдел исследователям. Работа по описанию и систематизации находившихся в его ведении рукописей была основным делом его жизни. Вместе с тем В. М. Загребин занимался и иными славистическими исследованиями, часть из которых осталась неопубликованной. Эти исследования вместе с полудюжиной статей и заметок, напечатанных ранее в малодоступных изданиях, и составляют аннотируемый том.

Большую часть книги занимает незавершенная монография «Диакритика

средневековых славянских рукописей». Публикуются три главы этой монографии — вторая, третья и четвертая. Вторая глава «Просодические надстрочные знаки в средневековых сербских рукописях: периодизация их употребления, форма и функции, генезис» была первоначально задумана как кандидатская диссертация, но впоследствии разрасталась и совершенствовалась. Для исследователя сербских рукописей она остается вполне актуальной и содержит много полезных сведений. Третья глава «Экфонетические знаки в Куприяновских (Новгородских) листках X—XI вв. и Остромировом евангелии 1057 г. и их отношение к соответствующим системам знаков в греческих рукописях того же периода» содержит детальный анализ экфонетической нотации указанных рукописей (даются и текст исследуемых

фрагментов, и фототипические снимки) в сопоставлении с двумя греческими апракосами 985 г. и 1033 г. Четвертая глава посвящена экфонетической нотации в Киевских листках; автор высказывает вызывающую скепсис у славистического сообщества гипотезу о том, что сходство в исследуемом аспекте Киевского миссала с сербскими рукописями XIV—XVI вв. указывает, что именно к этому периоду относится и создание знаменитого памятника западнославянской церковнославянской письменности (или, как в одном месте с осторожностью оговаривается автор, внесение экфонетической нотации); такая датировка не согласуется ни с лингвистическими (например, сохранение редуцированных), ни с историко-литургическими особенностями рукописи и должна быть безусловно отвергнута, учитывая в особенности то, что о западнославянских диакритиках X—XI вв. нам не известно ровно ничего. Автор вообще, видимо, усвоил от своего учителя В. В. Колесова открытость к фантастическим гипотезам, которые невозможно доказать (ср. повторение неправдоподобной идеи В. В. Колесова об «оригинальных рус-

ских способах обозначения» ударения в рукописях XI в. — с. 98).

Вторая часть книги составлена из разнообразных статей автора, некоторые из которых уже были опубликованы. Они посвящены проблемам археологии, палеографии, трансмиссии рукописных текстов. Не все они равноценны, и в отдельных работах сказывается отмеченное выше пристрастие к смелым гипотезам, например, в статье «О названии одной буквы древнего славянского алфавита», где наименование буквы *херь* возводится к новгородскому корню без второй палатализации, соответствующего *сер-* других славянских диалектов, или в статье «Об одной особенности орфографии протодеякона Спиридона (конец XIV века)» гипотеза о происхождении названий славянских букв из «наименований языческих славянских письмен». Однако ряд работ содержит много весьма полезной информации, как, скажем, статья о славянских палимпсестах Синая или исследование о заупокойных стихирах в сербском Требнике XIII в.

В. Ж.

Редакция журнала просит читателей присылать новейшие издания по русистике для их рецензирования и / или аннотированного представления в разделе «Новые книги».